

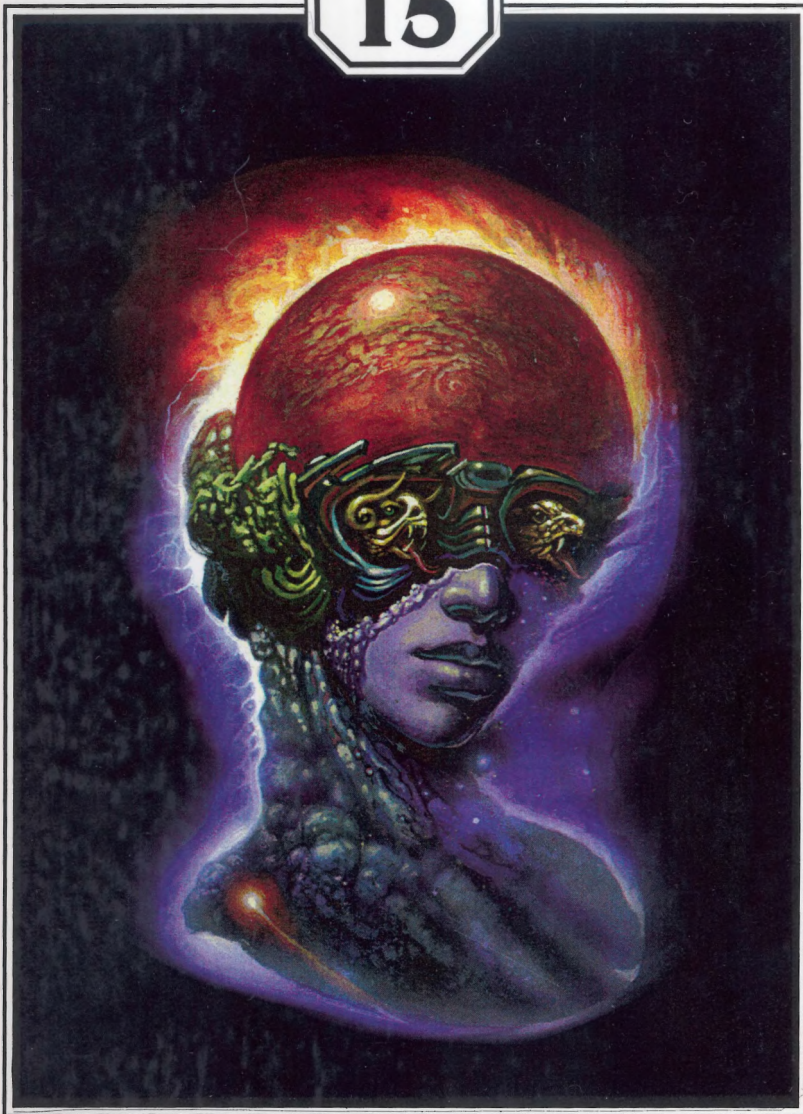
МФФ

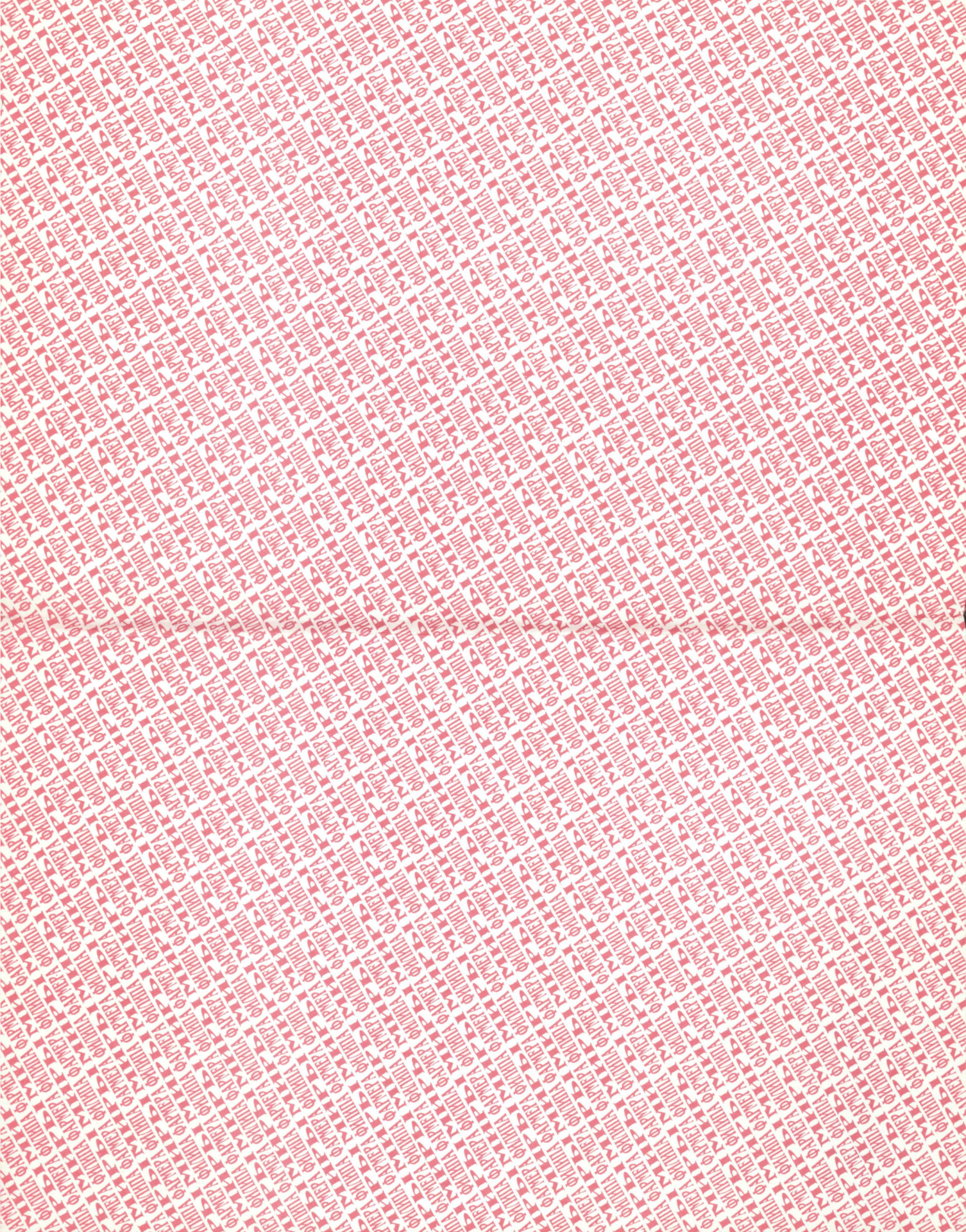
МИРЫ ФИЛИПА ФАРМЕРА

15

МИРЫ ФИЛИПА ФАРМЕРА

15





ФИЛИП ФАРМЕР



WORLDS OF PHILIP FARMER

15

SHORT STORIES



**«POLARIS» PUBLISHERS
1997**

МИРЫ ФИЛИПА ФАРМЕРА



РАССКАЗЫ



**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997**

Серия основана в 1996 году

Миры Филипа Фармера. Т. 15 / Пер. с англ. —
Рига: Полярис, 1997. — 399 с.

В очередной том собрания сочинений Филипа Хосе Фармера вошли его произведения малой формы, в том числе удостоенная премии «Хьюго» повесть «На королевском жалованье».

Произведения, включенные в данное издание, охраняются законом Российской Федерации об авторском праве. Перепечатка отдельных романов и всего издания в целом запрещена без разрешения издателя. Всякое коммерческое использование данного издания возможно исключительно с письменного разрешения издателя.

ISBN 5-88132-275-4

© Издательство «Полярис»,
перевод, составление, 1997

© Издательство «Полярис»,
оформление, название серии, 1996

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В очередной том собрания сочинений Филипа Хосе Фармера вошли произведения, принесшие писателю, пожалуй, наибольшую славу — его неподражаемые рассказы.

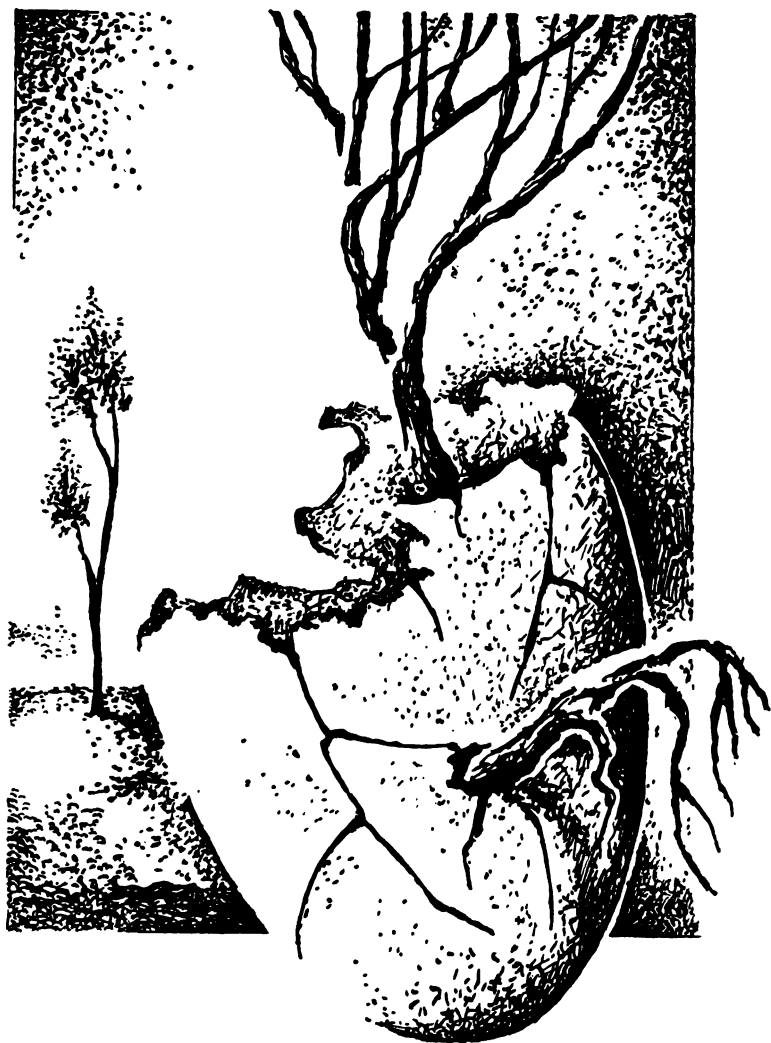
Филип Фармер создал не так много произведений малой формы, однако они не только поддерживали его славу восходящей «звезды» фантастики после публикации его пионерских романов «Любовь зла» и «Конец времен», но и открыли поклонникам неожиданные стороны в его многообразном творчестве.

Первый раздел этой книги составлен из рассказов и повестей, посвященных эротической и биологической тематике. В творчестве Фармера эти две темы неразрывно переплетены. Их сочетание и взаимовлияние всегда интересовало писателя, говорит ли он о них всерьез, как в программной повести «Отвори мне, сестра...», описывающей необычный и, с точки зрения землянина, отвратительный способ размножения инопланетян-ильго, или с легкой иронией, как в рассказе «Мать» — *reductio ad absurdum* теорий Фрейда, где подавленный властной матерью инфантильный герой находит свое счастье в чреве инопланетного существа Полифемы. К этому же разделу относится и самый, пожалуй, страшный рассказ писателя — «Монолог».

Во второй раздел включены произведения, отнесенные автором к «политропическим парамифам» — смеси обогнавшего свое время постмодерна и комедии положений. В парамифе возможно все — история прекрасной ученой и ее безумной дочери, дающие неимоверно древнюю шумерскую клятву под гром там-тамов. К этой же группе относится и одно из самых известных произведений писателя — удостоенная престижнейшей премии «Хьюго» повесть «На королевском жалованье», шедевр абсурдистской литературы и одновременно глубокое и тонкое исследование побуждений художника в мире всеобщего изобилия, где труд окончательно перестал быть необходимостью.

А в третьем разделе собраны рассказы веселые, пародийные, нелепые и странные — от прославленного «Человека на задворках», который продолжил в свое время серию «звездных» произведений молодого Фармера, и парадоксально-жуткого «Они сверкали, как алмазы» до изящного юмора таких рассказов, как «Вперед! Вперед!» и «Тотем и табу», и ехидной пародии «Последнего экстаза Ника Адамса».

Далеко не все созданные писателем произведения малой формы включены в эту книгу. И в следующем томе любителей фантастики будут ждать блистательные рассказы Филипа Фармера, его шедевры.



СТРАННЫЕ РОДИЧИ

ОТВОРИ МНЕ, СЕСТРА...

Шестая ночь пребывания на Марсе стала для Лейна ночью слез.

Неудержимые, хлынули они и потекли по щекам ручьями; Лейн громко всхлипывал, он не просто плакал — рыдал взахлеб. Пытаясь унять слезы, до синяков измочалил ладонь кулаком; он стонал от физической боли и выл от одиночества, кляня свою судьбу на чем только свет стоит — из потаенных уголков памяти всплывали самые непристойные выражения.

Когда запасы хулы и слез иссякли сами собой, Лейн отер щеки и плеснул в бокал шотландского. Пропустив глоток-другой, он почувствовал себя значительно лучше.

Своей истерики он не стыдился и не считал, что ведет себя не по-мужски. Настоящие мужчины тоже плачут — слезы только шлифуют характер, крепя его монолит. Лейн чувствовал себя точно тростник под ураганным ветром, вырывающим с корнем могучие дубы; он и был сейчас здесь, на Марсе, одиноким гибким стеблем, упрямо встающим вновь навстречу гибельным порывам бури.

Теперь, когда с души свалился камень и приступ отчаяния миновал, Лейн спокойно, эдаким бодрячком радировал на орбиту очередное дежурное донесение. Корабль с высоты в пятьсот восемь миль немедленно подтвердил прием. Отключив передатчик, Лейн отдал дань естеству, — сделал то, что приходится мужчинам делать в любой части Галактики. Затем бросился на койку и раскрыл толстый том. Только одну личную книгу разрешалось взять с собой на корабль участникам экспедиции; Лейн выбрал антологию шедевров мировой поэзии.

Взгляд скользил по строчкам, задерживаясь на отдельных, любимых, сотни раз читанных — память тут же подсказывала продолжение. Словно пчела в поисках наисладчайшего из нектаров, Лейн листал книгу...

Я сплю, но бодрствует сердце мое. Голос! То стучится возлюбленный мой: Отвори мне, сестра моя, подруга моя, горлинка моя, чистая моя...

Сестрица у нас маленькая, и грудей нет у нее. Что сделаем мы для сестры нашей в день, когда придут свататься к ней?

Даже если пойду долиной смертной тени, Не убоюсь я зла, ибо Ты со мною...

Приди, любимая, побудь сейчас со мною, / И мы вкусим блаженство неземное...

Любовь и ненависть, увы, не в нашей власти, / Злой рок ввергает нас в подобные напасти...

С тобой беседуя, забуду о докуке / Постылых буден, коим несть числа...

Лейн читал строчки, посвященные любви и страданиям незнакомых людей, пока собственные тревоги не отступили, не оставили его. Веки отяжелели и начали слипаться; книга выпала из рук. Последним усилием воли Лейн заставил себя встать из постели и опустился на колени. Он молил о прощении за свои богомерзкие проклятия, за крайность отчаяния, надеясь быть понятым Тем, кто наверху. Помолившись напоследок за исчезнувших товарищей и пожелав им отыскаться живыми и невредимыми, он улегся и тут же провалился в глухой тревожный сон.

Разбуженный на рассвете назойливой трелью будильника, Лейн с трудом разлепил веки, выбрался из койки и включил радио. Затем насыпал в чашку кофе, залил кипятком, бросил туда же пилюлю. Когда из динамика донесся голос капитана Строянски, он уже допивал свой утренний кофе. Капитан разговаривал с сильным славянским акцентом:

— Кардиган Лейн! Ты слушаешь? Уже проснулся?

— Более-менее. Как там у вас дела?

— У нас-то в порядке, только вот за вас голова болит.

— Понимаю. Ладно, жду указаний.

— Не вижу альтернативы, Лейн. Придется тебе отправиться на поиски. Иначе ведь ты и сам не сможешь вернуться на орбиту — с управлением ракеты в одиночку не справишься.

— В принципе совладать с этой тварью можно и одному, — ответил Лейн. — Без особых, впрочем, гарантий. Но не в этом

дело. Я немедленно выхожу на поиски пропавших — даже если бы получил категорический приказ оставаться на месте.

Строянски поперхнулся и закашлялся. Затем отчеканил:

— Успех всей экспедиции в целом неизмеримо важнее судьбы отдельных ее участников. С точки зрения Земли, во всяком случае. — Тон капитана смягчился. — Но будь я на твоем месте — к счастью, это не так, — поступил бы точно так же, пожалуй. Удачи тебе, Лейн!

— Спасибо! — ответил Лейн. — Это весьма кстати. Мне потребуется немало удачи. А также Божья помощь — вся, на какую только Господь способен. Надеюсь, Он все же здесь, хотя местечко выглядит точно покинутое Им навсегда.

Сквозь прозрачный двойной пластик купола Лейн обвел окрестности хмурым взглядом:

— Ветер порядка двадцати пяти миль в час. Пыль почти замела следы вездехода. Надо поспешить, пока хоть что-то осталось. Я еще вчера успел упаковаться — питание, вода и воздух на шесть дней. Рюкзачок получился довольно объемистый: баллоны и палатка заняли немало места. На Земле он потянул бы фунтов на сто, но здесь — всего сорок. Захватил также трос, нож, ракетницу, полдюжины ракет и рацию. Надеюсь уложиться в шесть дней: два дня на путь до точки последней связи с вездеходами, два дня — поиск на месте и два на возвращение.

— Даю пять дней! — отрезал капитан. — Это приказ! Хватит и одного дня на разведку. Понял? Рисковать не смей! Пять дней и ни минутой больше!

И тоном полубезнее добавил:

— Еще раз желаю удачи, и да поможет тебе Бог, если Он есть!

И хотя Лейну хотелось сказать напоследок что-либо значительное — сочинить прощальную реплику в духе доктора Ливингстона, например, — он ограничился незатейливым «пока!». А двадцать минут спустя уже захлопывал за собой дверцу шлюза. Взгромоздив на спину здоровенный рюкзак, Лейн отправился в путь.

Через сотню шагов он ощутил необходимость оглянуться и обвести прощальным взглядом то, что, возможно, уже никогда больше не увидит. Пластиковый пузырь, предназначенный служить домом для пятерых мужчин в течение целого земного года, поблескивал чужеродным вкраплением посреди мертвенно-багровой равнины. Пришвартованный рядом, застыл глайдер, который и доставил их всех с орбиты. Широко распростертые крылья аппарата точно требовали, молили о свободном полете. Но взлететь ему не было более суждено. Глайдер навсегда

обречен оставаться посреди багровой пыли, намертво сковавшей его посадочные салазки.

Прямо впереди, на стабилизаторах, напоминающих рыбы плавники, высилась ракета, нацеленная в иссиня-черное марсианское небо. Надежный ее блеск в лучах далекого Солнца успокаивал Лейна, обещая скорое возвращение на орбитальную базу. Доставленную с орбиты на посадочном глайдере, ракету позднее сняли с него и установили на стартовую площадку с помощью лебедок шеститонных гусеничных вездеходов. Сейчас, готовая к немедленному старту, серебристая капсула терпеливо поджидала Лейна и остальных членов экипажа.

— Я вернусь, — пробормотал Лейн вслух. — И если придется, сумею запустить тебя в одиночку.

И он отправился в путь по двойной гусеничной колее. Двухдневной давности, след едва различался под слоем вездесущей кремневой пыли. Колею первого вездехода, прошедшего здесь почти целыми сутками ранее, занесло уже полностью.

Путь вел Лейна на северо-запад. Колея покидала вскоре просторную равнину, окаймленную невысокими каменными грядами, и углублялась в широкий, с четверть мили, коридор меж двух рядов марсианской растительности. Ровные, точно рельсы неведомого пути, они тянулись от горизонта к горизонту, на многие мили и вперед, и назад.

Двигаясь близко к одному из этих рядов, Лейн прекрасно видел, что представляет собой эта грядка на самом деле. Основанием для растений служила бесконечная труба, точно айсберг открывавшая солнцу лишь малую толику своего солидного туловища. Но и то, что выступало над поверхностью, возвышалось на добрых три фута, давая представление о подлинных размерах трубы. Гладкие цилиндрические стенки сплошь облепили наросты голубоватого лишайника, который покрывал на Марсе любую ровную поверхность и быстро приживался на новых местах. А строго по хребтине трубы, высаженные с правильными интервалами, торчали стебли растений — точно столбики цвета морской волны с фут толщиной и высотой футов шесть. Верхушки всех растений однообразно увенчивал единственный поразительно несоразмерный лист, напоминающий гигантский перевернутый зонтик — изрядно изношенный, с отдельными недостающими спицами и без рукоятки, — того же цвета, что и стебель.

Когда, заводя глайдер на посадку, Лейн увидел растения впервые, с высоты они показались ему вереницей великанских ладоней, воздетых из-под земли навстречу лучам далекого светила. Они и оказались на поверку гигантскими — каждая спица в

«зонтике» достигала в длину пятидесяти футов. И действительно они улавливали энергию нежаркого на таком отдалении Солнца. Точно земные подсолнухи, растения в течение всего светового дня послушно поворачивали свои мембраны следом за светилем, стремясь не упустить ни единого живительного лучика, не оставить в тени ни дюйма своей поверхности.

Еще при подготовке экспедиции предполагалось обнаружить здесь самые удивительные формы растительной жизни. Но найти следы жизнедеятельности более высоких форм не ожидал никто. Особенно следы такого размаха, покрывающие чуть ли не восьмую часть всей планеты.

Трубы, на которых росли «зонтичные» деревья, и являлись упомянутыми следами. Лейн решил было однажды добыть для лабораторных исследований образец материала загадочных труб, но поверхность оказалась настолько твердой, что, прежде чем удалось отщипнуть самый крохотный осколок, он потерял несколько сверхпрочных сверл. Довольный уже этим, Лейн затопился с добычей в лагерь и поместил образец под микроскоп. То, что он увидел в окуляре, заставило присвистнуть от изумления: посреди цементобразной массы обнаружились вкрапления живых клеток — частью невредимые, частью разрушенные.

Дальнейшие анализы показали: исследуемая субстанция состоит из целлюлозы, лигниноподобных соединений, различных нуклеиновых кислот и целого ряда веществ, науке неизвестных.

Лейн немедленно доложил на орбиту о своем открытии и связанных с ним догадках. Он полагал, что какие-то неведомые животные жевали (а может, и сейчас продолжают жевать) местную древесину, затем, частично переварив, срыгивали в виде клейкой массы. Из этой-то жвачки, как из цемента, и изготовлены древние трубы.

Лейн намеревался на следующий же день вернуться к трубе со взрывчаткой, чтобы пробить дыру побольше. Но обстоятельства не сложились: вездеход с двумя членами экипажа как раз отправлялся на полевые изыскания, и Лейну в порядке очереди предстояло продежурить весь день возле рации, принимая каждые четверть часа сообщения.

Вездеход был в пути уже более двух часов и удалился от купола не меньше чем на тридцать миль, когда связь внезапно оборвалась. Спустя несколько часов, проведенных в тревогах и безуспешных попытках ее восстановить, следом отправился второй вездеход с двумя оставшимися коллегами Лейна. Они намеревались двигаться строго по маршруту первого, точно по колее, ни на мгновение не прерывая радиосвязи.

— Впереди небольшое препятствие, — сообщил Гринберг часа через два. — От трубы, вдоль которой мы движемся, ответвляется еще одна, перпендикулярная. Растений на ней нет. Барьерчик невысок, и по ту сторону как будто все чисто. Мы возьмем его с ходу.

Затем в наушниках раздался испуганный вскрик и воцарилась мертвая тишина, прерываемая лишь шорохом эфира.

Сейчас, сутки спустя, Лейн шагал по полузанесенным следам. Купол базового лагеря остался позади, почти на скрещении «каналов», названных астрономами древности *Avernus* и *Tartarus*. Две гигантские грядки слева и справа от Лейна и образовывали этот самый *Tartarus*, или Тартар — так называемый канал. Путь вел Лейна в сторону *Sirenum Mare*, или Моря сирен — так называемого моря. Лейн полагал, что и оно образовано такими же точно грядками, как канал, — лишь пошире раздвинутыми и, может статься, не столь прямыми.

Шагал Лейн размеренно, сберегая силы. Солнце между тем добралось до зенита, и воздух прогрелся. Лейн давно уже выключил обогрев скафандра. Стояло лето, и здесь, в экваториальных широтах, температура к полудню поднималась до семи-десяти по Фаренгейту.

Но в сумерках, когда сухой разреженный воздух стал быстро остывать, Лейну пришлось разбить палатку — кокон, напоминавший формой колбаску, а габаритами чуть больше человеческого тела. Когда герметичная палатка раздувалась полностью, внутри ее вполне можно было освободиться от тяжелого шлема. Встроенный в кокон обогреватель давал достаточно тепла. Лейн перевел дыхание, затем не спеша поужинал. Конструктор палатки предусмотрел все до мелочей — кокон принял форму пирамидки, когда Лейн уселся на встроенный в оболочку стульчак, снабженный съемным пластиковым пакетом.

В течение дня у Лейна не было нужды в подобных случаях прибегать к услугам палатки. Смекалистый конструктор скафандра не уступал в изобретательности автору палатки-кокона: сзади, чуть ниже пояса, имелся небольшой клапан-шлюзик, позволявший избавляться от всего лишнего чуть ли не на ходу и практически без потерь воздуха. Воздуха, но не тепла, поэтому никто не рискнул бы испытать работоспособность этого устройства на себе марсианской полночью — попытка закончилась бы мгновенным и жестоким обморожением.

Лейн проснулся по сигналу будильника. Уже рассвело. Позавтракав, он оделся, сложил палатку и упаковал в рюкзак вместе со всем прочим. Оставив на песке лишь пластиковый пакет

с мусором — как знак пребывания человека в этом Богом забытом уголке, — Лейн возобновил путешествие.

К полудню следы гусениц исчезли окончательно. Особой роли это не играло: для вездеходов здесь имелся единственный маршрут — бесконечный коридор меж грядок на трубах.

То, что Лейн видел сейчас, подтверждало сообщения водителей вездеходов: растения по правую руку выглядели захиревшими. Стволы и мембраны приобрели мертвенный буроватый оттенок, многие «спицы» казались надломленными.

Лейн ускорил шаг, и сердце вскоре тяжело забухало в груди. Целый час он понуждал себя выдерживать такой резвый темп, но конца бесконечной череде увядающих листьев все не было видно.

— Это уже где-то здесь, совсем рядом, — вслух известил он самого себя и притормозил. И тотчас же заметил впереди препятствие.

Та самая перпендикулярная труба, о которой сообщал по радио Гринберг, соединяла грядки между собой. Лейн подошел поближе, чтобы оценить и пощупать преграду. В памяти снова отчетливо зазвенел отчаянный вскрик Гринберга.

Воспоминание словно открыло некий клапан в душе, и безмерное его одиночество, запертое до сих пор в потаенных уголках сознания, как бы хлынуло мощным потоком, затопляя все прочие чувства. Иссиня-черное марсианское небо, вмиг утратив последние краски, оглушило космической беспредельностью. Лейн ощутил себя мизерным атомом живой плоти, затерянным в бесконечном просторе, — крошкой, ведающей об окружающем мире не больше новорожденного.

Словно младенец, крохотный и беспомощный...

Нет, одернул он себя решительно, не младенец. Пусть крохотный, но не беспомощный. И не младенец. Я человек, мужчина. Я — землянин, в конце концов...

Землянин: Кардиган Лейн. Гражданство — США. Место рождения — Гавайи, пятидесятый штат. Потомок немцев, датчан, китайцев, японцев, африканцев, чероки, полинезийцев, португальцев, российских евреев, ирландцев, шотландцев, норвежцев, финнов, чехов, англичан и валлийцев — как вам такой букетец? Тридцать один год. Пять футов, шесть дюймов. Сто шестьдесят фунтов. Голубоглазый шатен. Орлиный нос. Особые приметы: отсутствуют. Доктор медицинских и философских наук. Женат. Детей нет. Вероисповедание — методист. Относительно коммуникабелен. Радиолюбитель. Собаковод. Охотник на оленей. Ловец жемчуга. Неплохой сочинитель, но куда там до настоящей поэзии! Вот вам и все содержимое скафандра.

Можно добавить, впрочем, любовь к дружеским посиделкам за бутылочкой, неутолимую любознательность и отвагу. А сейчас еще и страх, отчаянный страх одиночества.

Наконец, стоя перед трехфутовым препятствием, Лейн взял себя в руки. Избавляясь окончательно от страхов и наваждений, он энергично, точно пес, выскочивший из воды, тряхнул головой. Легко, будто рюкзак вдруг утратил часть своего веса, Лейн вскочил на макушку преграды. Бросил взгляд на ландшафт за нею, но не заметил ничего необычного — все та же багряная пыль, что и за спиной.

Пейзаж впереди имел одно-единственное отличие от пройденного пути: песок здесь густо усеивали крохотные растения. При более внимательном рассмотрении Лейн обнаружил, что нежные футовые росточки — точные копии гигантских «зонтиков» на трубах. И произрастали они не беспорядочно — нет, не ветер разносил здесь семена, — глазам землянина представили ровные ряды рассады с регулярным интервалом примерно в два фута.

Сердце Лейна екнуло и зачастило. Такие посадки — несомненный след недавней деятельности разумных существ. Для диких марсианских ландшафтов это казалось невероятным, но было ведь — от факта не отмахнешься.

Лейну оставалось еще убедиться, что иные объяснения невозможны, что никакая игра случая, никакие природные механизмы не смогли бы придать «огороду» вид артефакта. Предстоит изучить эту рассадку поближе.

Но главное в его положении — осторожность и еще раз осторожность. Жизнь четверых товарищей, успех всей экспедиции — все зависело сейчас от Лейна, от его решений, все легло на его небогатырские плечи. И ноша легкой не казалась. Если экспедиция провалится, она может оказаться последней. Множество горлодеров на Земле точат зубы на бюджет Космических сил, требуя немедленных прибылей от вложений — в виде новых источников сырья и энергии — им только повод дай!

Огород через триста ярдов завершался точно такой же перпендикулярной трубой, как и та, на которой стоял Лейн. И сразу же за ней обрывался бурый цвет усохших «зонтов» на главных трубах, сменяясь живым — зеленовато-голубым.

Весь квадрат в целом действительно напоминал заглубленный огород. Ограждение из труб могло защитить посадки от ветра и иссушающей пыли. А может, задерживало в какой-то мере и тепло.

Лейн прошел вдоль трубы в поисках следов — ободранного гусеницами вездеходов лишайника. Не обнаружив, он ничуть

не удивился — в теплое летнее время лишайник восстанавливался фантастически быстро.

По другую сторону трубы тоже не обнаружилось следа предполагаемого схода тяжелых гусениц. Уже в двух футах от края начинались ряды миниатюрных зонтиков, и ни одного раздавленного Лейн не заметил. Он тщательно осмотрел место, где грядки начинались — из конца в конец, — и совершенно безрезультатно.

Тогда Лейн устроил передышку, чтобы тщательно обдумать следующий шаг. И вдруг поймал себя на затрудненном дыхании. Беглый взгляд на манометр успокоил Лейна: не отсутствие кислорода в баллоне тому причиной. Нет, просто сердце учащенно билось из-за тревожных предчувствий, ожидания чего-то сверхъестественного и определенно скверного. Поэтому-то и недоставало легким кислорода. Что-то вокруг него было не так.

Куда могли подеваться здесь четыре человека и два вездехода? Что послужило причиной бесследного их исчезновения?

Уж не атаковали ли их неведомые аборигены? Если так, то нападавшим пришлось утащить отсюда и спрятать шеститонные машины. Это вам не иголка. А может, марсиане сами разобрались в управлении или как-то сумели подчинить своей воле водителей-землян, чтобы ехали куда им велено?

Но куда? Как? И зачем?

Волосы на затылке Лейна неприятно зашевелились. От тревожных предчувствий он поежился.

— Случиться это могло только здесь, — принялся рассуждать он вслух. — С первого вездехода доложили о препятствии на пути и обещали связаться спустя десять минут. Больше я их не слышал. Второй оборвал передачу точно на трубе. Что же с ними стряслось такое? На поверхности Марса никаких руин не обнаружено, нет и признаков подземной цивилизации. Иначе с орбиты зафиксировали бы выходы тепла...

От неожиданного зрелища, представшего перед глазами, Лейн вскрикнул так громко, что едва не оглох в тесной оболочке скафандра. Голубые капли — размером с баскетбольный мяч — выныривали одна за другой из-под земли в дальнем конце огорода и цепочкой устремлялись в небо. Лейн провожал их недоуменным взглядом.

Когда голова уперлась в шлем скафандра и не позволила поднять глаза выше, Лейн обратил взгляд на место, их породившее. Ничем на вид не примечательное, оно продолжало истекать в небо удивительными голубыми слезами. Отрываясь от земли, капли медленно набухали, превращаясь в вышине в гигантские мыльные пузыри. Неожиданно самый верхний бесследно

исчез. Достигнув той же высоты, лопнул и следующий. Та же участь ждала, видимо, и остальные.

Сквозь полупрозрачную оболочку пузырей Лейн мог разглядеть белесые перья далеких облаков в марсианском небе.

Не двигаясь с места, землянин изучал взглядом странную, струящуюся из-под земли цепочку. Вопреки начальному испугу, он в первую очередь продолжал оставаться ученым. И обратил внимание, что пузыри, на вид невесомые, совершенно неподвластны порывам ветра — поднимаются строго по вертикали. Лейн совершенно автоматически стал их пересчитывать и, когда явление прекратилось, добрался до сорока девяти.

Затем Лейн решил подождать повторения и ждал добрую четверть часа. Но больше ничего не происходило. Когда землянин понял, что ждать нечего, пришло в голову исследовать место, породившее столь загадочное явление. Сделав глубокий вдох, Лейн подогнул колени и спрыгнул в огород. Первый десяток шагов от трубы между грядками рассады дался ему относительно легко — но не больше.

Уже понимая: что-то здесь не так! — бесконечно долгое мгновение Лейн не мог догадаться, что же именно. А сообразив, рванул назад. Но не тут-то было! Одну ногу из песка ему вырвать удалось, но другая только сильнее увязла.

Сделав широкий шаг, Лейн тут же снова утопил свободную ногу в вязком веществе, скрытом под тонким слоем желтоватобагровой пыли. Вырвать из трясины вторую ногу он уже и не помышлял.

Лейн быстро тонул и, когда погрузился почти по пояс, в панике схватился за стебли растущих рядом зонтиков. Совершенно без сопротивления они отделились корнями от почвы и остались у Лейна в руках.

Отбросив ростки в сторону, Лейн откинулся назад и попытался лечь на спину в надежде освободить ноги из песчаного желе. Если увеличить площадь опоры, лихорадочно соображал он, это замедлит погружение. А там, глядишь, удастся перекачаться поближе к трубе. Лейн смутно надеялся, что там почва плотнее.

Его усилия увенчались относительным успехом — ноги медленно всплыли из песчаного плена на поверхность. Распластавшись как можно ровнее, Лейн перевел дыхание. Полежал, рассматривая сквозь стекло скафандра небо. Солнце уже переползло зенит и начинало клониться к закату. Марсианский день минут на сорок длиннее земного, прикидывал Лейн, и если раньше до твердой поверхности добраться не удастся, то надо постараться как-то протянуть время до захода солнца. Лейн предполагал,

что трясина под ним должна замерзнуть или хотя бы подмерзнуть — покрыться твердой корочкой, которая позволит подняться на ноги и выбраться. Вот только не околеть бы от холода при этом еще и самому!

Можно опробовать и другой метод спасения, проверенный в выбучих песках еще на Земле — Лейну вспомнился эпизод из собственных охотничьих приключений. Для начала надо быстро перекатиться, затем распластаться снова. Повторив такую процедуру несколько раз, в конечном счете докатишься до трубы. А там вроде potvrждение.

Но рюкзак за спиной препятствовал осуществлению подобного замысла. Сперва предстояло освободиться от лямок.

Лейн сумел без особенных затруднений выпростать плечи; но ноги почти сразу же снова погрузились в трясину. Вес рюкзака с баллонами и палаткой пришелся теперь на них. Зато пузырь шлема да значительно облегчавший баллон на груди неплохо удерживали на поверхности верхнюю часть тела.

Повернувшись на бок, Лейн отцепил рюкзак от себя окончательно. Тот, разумеется, сразу исчез. Зато ноги, сплошь облепленные быстро подсыхающей корочкой грязи, при этом высвободились. Он даже умудрился поймать ими медленно уходящий вглубь островок рюкзака и вроде бы как опереться на него.

Песчаная жижа неумолимо всползала к коленям, пока Лейн лихорадочно прикидывал, что же ему делать дальше.

Может, дожидаться, опираясь на рюкзак, как на зыбкий поплавок, пока тот не упрется в слой вечной мерзлоты — должна же она тут существовать! Вот только на какой глубине? При первом знакомстве с топью Лейн погружался почти по пояс и не нащупал ногами ничего твердого. К тому же... Он простонал. Вездеходы! Теперь он понял, что стряслось с мощными машинами. Не подозревая, что под твердой на вид поверхностью огорода скрывается топь, коллеги перевалили через трубу. Последний вопль Гринберга свидетельствовал об ужасном открытии, которым он уже и поделиться-то с базой не успевал — настолько быстро канул в бездну вездеход вместе с выступающей над крышей антенной.

Стало быть, добираться до клочка открытого пространства между растениями и трубой бесполезно — там точно такая же топь, как и повсюду. Именно там утонули вездеходы.

Но одна мысль по-прежнему не давала покоя Лейну: ведь нигде на сходе с трубы он не обнаружил поврежденной гусеницами рассады. Такого просто быть не могло. Разве что кто-то успел навести здесь порядок и аккуратно рассадил новые зонтики взамен попорченных.

Тогда, может, этот некто, этот марсианский садовод-трудяга появится вовремя и вытащит Лейна?

Или же предпочтет прикончить?

В любом случае проблемы Лейна были бы разрешены.

Тем временем Лейн пришел к твердому убеждению, что пытаться достичь трубы или открытого пространства возле нее бесполезно. Оставалось только ждать, опираясь на рюкзак — в надежде, что слишком глубоко тот не погрузится.

А рюкзак между тем продолжал тонуть. Жижка быстро поднялась до колен Лейна, чуть ленивее охватила бедра, затем погружение замедлилось. Землянин взмолился, на сей раз не о чуде, а лишь о том, чтобы хватило плавучести рюкзака и баллона на груди.

И не успел он завершить короткую молитву, как погружение вдруг прекратилось. Клейкая жижка, проглотив Лейна по грудь, оставила руки свободными. Землянин вздохнул с заметным облегчением. Но особо радоваться было бы преждевременно, а то и вовсе нечему — воздуха в баллоне на груди оставалось меньше чем на четыре часа. Если не удастся извлечь запасной из затопленного рюкзака, Лейн обречен — так или иначе.

Недолго думая, Лейн раскинул руки в стороны и назад и, в надежде вырваться из клейких объятий и снова распластаться спиной на зыбкой поверхности, резко оттолкнулся от рюкзака ногами. Удайся такой маневр, освободившийся от нагрузки рюкзак, возможно, и привсплыв бы. Достать из него баллон — и самая насущная проблема, проблема дыхания, будет хоть на время решена.

Но на этот раз трясина проявила неожиданную цепкость и до конца Лейна не выпустила. Ноги затянуло вглубь снова, и вдруг — о ужас! — они не нащупали опоры. Толчок сдвинул Лейна, отодвинул от рюкзака — пусть ненамного, но, увы, достаточно, чтобы промахнуться. Теперь оставалось надеяться лишь на плавучесть баллона, что на груди, да шлема на голове.

А ее явно не хватало. Медленно, но неуклонно марсианская топь поглощала землянина: вот песок всосал по грудь, вот уже скрылись плечи. Только голова в шлеме еще торчала над поверхностью.

Никогда прежде Лейну еще не доводилось ощущать себя столь беспомощным.

Возможно, спустя несколько лет, следующая экспедиция, если она вопреки всему состоится, по блеску шлема обнаружит тело Лейна, пойманное трясинной, — точно муху в варенье.

Если такому суждено случиться, думал Лейн, то от моей гибели будет хоть какой-то прок, мое тело сыграет роль сигнальной

вешки, пометит смертельную ловушку: И все же сомневаюсь, что мне суждено такое, скорее всего кто-то или что-то приберет останки — столь же аккуратно, как ликвидировал следы вездеходов.

Чтобы удержать себя от отчаяния, уже чувствуя подступающий к горлу горький комок, Лейн крепко зажмурился и принялся декламировать строки, прочитанные ночью накануне выхода с базы. Ему не нужен был текст перед глазами, он смолоду знал многие стихи наизусть.

Даже если пойду долиной смертной тени, Не убоюсь я зла, ибо Ты со мною...

На этот раз поэзия почти не помогла, и удавка, сдавившая грудь безнадежностью, не отпускала. Лейн был здесь так одинок, заброшен, покинут всеми, даже Господом. Одиночество — вот символ Марса, мрачно констатировал Лейн.

Но когда открыл глаза, оказалось, что он более не одинок. Лейн узрел марсиан.

По левую руку в стенке трубы открылось отверстие, идеально круглое, футов четырех в диаметре — участок цилиндрической стенки ушел вовнутрь. Мгновение спустя из отверстия показалась голова, размером и формой напоминавшая небольшой арбуз, из тех, какие растут в Джорджии, но нежно-розового, как попка младенца, цвета. Два огромных, с кофейную чашку глаза помаргивали вертикальными веками. Существо раскрыло раздвоенный крючковатый клюв чудовищной величины, выстрелило бесконечно длинный трубчатый язык, потом всосало его назад и захлопнуло пасть. Затем, суетливо ерзая, вывалилось из отверстия полностью. Туловище марсианина тоже напоминало розовый арбуз, только раза в три больше первого. Десять длинных паучьих лапок — по пять с каждого боку — поддерживали тело на высоте в три фута над поверхностью топи. Каждая лапка заканчивалась широкой округлой подушечкой, почти не тонувшей в зыбком желе.

Следом из дыры в трубе высыпало не меньше полусотни таких же существ. Они толпились, суетились кругом, двое резво подхватили лапками ростки, вырванные Лейном, и принялись вылизывать их начисто своими лягушечьими языками. И общались они между собой, похоже, посредством кончика языка, прикасаясь друг к другу, как земные насекомые усиками.

Так как Лейн оказался в междурядье, его присутствие ничуть не помешало марсианам в наведении должного порядка на грядке. Один из них коснулся было языком шлема, но это прикосновение оказалось единственным знаком внимания к его скромной

персоне. Казалось, присутствие в огороде постороннего совершенно не беспокоит марсиан. Страх у Лейна исчез — опасаться, что чудовищные клювы забарабнят по стеклу шлема с целью покопаться внутри, вроде бы не приходилось. Наоборот, землянина бросило в жар при мысли, что его проигнорируют, оставив на погибель в трясине.

А дело, похоже, к тому и шло. Вскоре, аккуратно вправив тонкие корешки поврежденных ростков в полужидкий песок, вся команда аборигенов заторопилась назад к трубе.

Охваченный паникой, Лейн дернулся, отчаянно забился и заорал сквозь стекло скафандра и разреженную атмосферу планеты вслед этим, возможно, и вовсе лишенным органов слуха созданиям:

— Вы что же, подышать меня здесь бросите?!

Но марсиане продолжали заскакивать в трубу один за другим. Вот уже последний розовый колобок втянулся в черное отверстие — словно сама смерть подмигнула Лейну напоследок темным оком.

Лейн снова яростно задергался в трясине, но только понапрасну растратил силы. И вдруг, напряженно уставившись на трубу, замер.

А оттуда уже выбиралась новая фигура, к тому же как будто в скафандре. Лейн вскрикнул, на этот раз от радости. Пусть марсианин, пусть хоть сам черт, но смахивает он на представителя вида *Noto sapiens* и кажется впрямь разумным.

Лейн не сумел бы пережить нового разочарования — к счастью, и не довелось. Встав на пару красных металлических полушарий, существо в скафандре заскользило по поверхности топи прямо к нему. Приблизившись, сунуло землянину в руки конец синтетической бечевы.

Лейн чуть было не обронил ее. Костюм марсианина оказался так тонок, почти прозрачен, что землянин впал в легкое ошеломенение от лицезрения деталей организма своего спасителя. В полный же шок Лейна повергло то, что у существа под стекловидным шлемом помещалось две головы.

А марсианин уже заскользил к трубе, которую Лейн недавно так неосмотрительно покинул. Оставив сферические «лыжи» на поверхности, существо легко вспрыгнуло на трехфуттовую преграду и принялось вытаскивать Лейна. Жижга подавалась неохотно, но усилия существа все же увенчались успехом, и Лейн, цепляясь за веревку, медленно заскользил вперед. Достигнув подножия трубы, он обосновался сперва на блестящих красных полушариях, затем, малость переведя дух, запрыгнул на трубу.

Существо сняло со спины два запасных полушария, вручило их Лейну, само же спустилось на оставшиеся внизу. Лейн последовал примеру марсианина.

Добравшись до отверстия в трубе, землянин обнаружил помещение столь низкое, что, забираясь туда следом за марсианином, скрючился в три погибели. Спутник Лейна и его соплеменники, если таковые вообще имелись, к строительству этого сооружения явно непричастны — ему, как и Лейну, было здесь тесновато. Зато десятиножкам вполне уютно.

А те как раз, прилаживая на место толстую и серую, как сама труба, крышку люка, потеснили Лейна в сторону. Затем выплюнули из клювов длинные и вязкие серые нити и мгновенно замазали ими швы.

Двуногое существо, жестом пригласив Лейна следовать за собой, двинулось по круто уходящему вниз туннелю. Путь оно освещало снятым с пояса фонариком. Вскоре туннель привел в помещение значительно больше первого — здесь оказалась вся давешняя ватага десятиножек. При появлении двуногих никто даже не шелохнулся. Гид Лейна, словно почувствовав невысказанный вопрос землянина, снял перчатку и поднес руку к ряду небольших отдушин в стене. Лейн последовал примеру существа и ощутил исходящий из отверстий теплый воздух.

Очевидно, помещение это, выстроенное десятиногими тварями, служило камерой давления, своеобразным шлюзом. Но такой образчик разумной архитектуры отнюдь не доказывал, что твари обладают интеллектом наподобие человеческого. Это мог быть продукт и коллективного псевдоразума — как у земных термитов, например.

Ждать пришлось недолго. Вскоре шлюз наполнился, и в стенке камеры открылся люк. Лейн послушно двинулся следом за десятиножками и своим спасителем по очередному крутому туннелю, теперь ведущему полого вверх. Землянин предположил, что окажется опять в основной трубе, и не ошибся: очень скоро через узкий лаз он буквально вывалился туда.

И тут же по стеклу шлема клацнул громадный раздвоенный клюв. Автоматическим движением, не рассуждая, Лейн тут же отшвырнул атаковавшую тварь в сторону — путаясь во множестве отчаянно дергающихся лапок, она покатилась по полу.

Землянин не стал за нее переживать. Хоть тварь весила и немного, она должна была обладать весьма прочной шкурой, чтобы выдерживать перепады давления между воздухом в трубе и сильным разрежением снаружи.

На случай повторного нападения Лейн даже приготовился к обороне — извлек из ножен на поясе стилет. Но двуногое создание

мягко прикоснулось к его руке и неодобрительно покачало одной из своих голов.

Позже Лейн убедился, что нападение было досадной случайностью. За исключением этого инцидента, десятиножки не обращали на него никакого внимания.

Землянин также убедился позднее, что он счастливчик. Десятиножки явились в огород по неведомо как полученному сигналу, чтобы привести в порядок поврежденные Лейном грядки. Двухное существо обычно никогда при этом их не сопровождало. Но на этот раз третий сигнал в течение трех дней подряд с одного участка все же заинтересовал, и оно решило полюбопытствовать.

Двухное выключило фонарь и жестом пригласило Лейна следовать за собой. Переборов сомнения, землянин подчинился. Множество лепившихся к потолку небольших червеобразных тварей розового цвета тускло освещали туннель. Каждый червь плавно помахивал дюжиной конечностей-ресничек — этим, сообразил Лейн, и поддерживается в трубе постоянная циркуляция воздуха.

Слабый свет исходил от пары округлых отростков, пульсирующих по краям беззубого рта червей. Из самих ртов сочилась мерзкая на вид слизь, ее бесконечно длинные капли срывались в канавку посреди покатога пола. Вода в канавке была первой натуральной водой, которую Лейн встретил на Марсе. Унести далеко стекающую с потолка слизь поток не успевал — животное, лежащее посреди канавки, жадно ее поглощало.

Когда глаза землянина приспособились к сумеречному освещению и он сумел разглядеть обитателя канавки в деталях, выяснилось, что деталей этих, собственно, и не было: тот был обтекаемой, точно торпеда, формы и начисто лишен каких-либо конечностей или органов. Одно отверстие в носу «торпеды» неустанно всасывало воду, другое — в корме — извергало.

Лейн мгновенно сообразил, что перед ним незамысловатая, но эффективная естественная ирригационная система. Вода с тающей в летнее время полярной шапки, попадая в этот трубопровод, отчасти силами гравитации, отчасти с помощью ряда живых насосов — как этот, лежащий в канаве перед глазами, — достигает экваториальных областей планеты.

Десятиножки проносились мимо Лейна по своим загадочным делам. Некоторые, однако, приостанавливались под висящими на потолке светляками — так Лейн называл про себя светящихся червей, — поднимались на задние лапки и выстреливали трубочками языков прямо в окаймленные огненными шариками рты. Светляки, бешено работая конечностями-лепе-

стками, сразу же начинали вытягиваться в длину и, свешиваясь с потолка, опускали навстречу свои безгубые рты. Там соединялись с клювами десятиножек в непродолжительном поцелуе, обмениваясь, видимо, какими-то веществами.

Двухголовый гид нетерпеливо тронул Лейна за руку, и они двинулись по трубе дальше. Вскоре оказались в секции, где из дыр в потолке свисали бледные корни растений, струясь вдоль округлых стен. Плоская сетка побегов толщиной с нить, стремящихся к воде в канаве, устилала пол.

Десятиножки, сновавшие здесь, как и повсюду, то и дело отщипывали клювами от корней кусочки, быстро разжевывали и спешили предложить жвачку живым светильникам на потолке.

Спустя еще несколько минут монотонной прогулки по трубе двухголовый спутник Лейна перешагнул через ручеек и, опасливо поглядывая в сторону, стал продвигаться вплотную к стенке. Лейн пытался проследить за взглядом существа, но ничего тревожного не заметил. Правда, на противоположной стене, у самого основания, темнело отверстие — очевидно, вход еще в один туннель, ведущий в иные помещения. Десятиножки, во всяком случае, ныряли в него и выныривали обратно без заметного для себя ущерба. С дюжину таких же особей, но покрупнее размерами вышагивали возле лаза на манер часовых.

Когда вход в боковой туннель остался далеко позади, гид Лейна заметно расслабился. А спустя еще десяток минут путешествия остановился и коснулся стены голый, без перчатки, конечностью. Землянин отметил, что рука и кисть у существа изящных очертаний, прямо как женские.

Участок стены беззвучно повернулся, и существо наклонилось, чтобы забраться в новый лаз, демонстрируя при этом Лейну через полупрозрачную оболочку костюма весьма женственные ягодицы. Вот тогда-то землянин и решил, что имеет дело с особью женского пола. Правда, бедра у существа при всей их округлости были недостаточно широки для порождения потомства, если подходить к делу с земными мерками.

Когда оба оказались внутри нового туннеля, люк за ними захлопнулся. Спутница Лейна фонарик включать на этот раз не стала — поодаль туннель ярко светился. И потолок, и стены здесь отличались от давешних, из серого вещества. И были не из утрамбованной почвы, как можно бы предположить. Гладкие на ощупь, словно стекло, и темные по цвету, они при изготовлении явно подвергались тепловой обработке.

Марсианка подождала Лейна, пока тот неуклюже протискивался в невысокое — меньше трех футов — очередное отверстие. Землянин очутился в большом помещении, где на минуту

ослеп от яркого света. Когда глаза привыкли, Лейна заинтересовала его природа, источник. Но свет был как бы повсюду и нигде — тени от предметов в комнате отсутствовали.

Хозяйка помещения сняла шлем, стащила прозрачную обложку и повесила все в стенной шкаф. Дверца шкафа автоматически распахнулась при ее приближении, когда отошла — опять закрылась.

Заметив, что гость продолжает неподвижно стоять, хозяйка жестами порекомендовала ему тоже избавиться от костюма. Хотя воздух в комнате мог оказаться непригодным для дыхания, альтернативы ему не имелось: баллон Лейна должен был вот-вот опустеть. К тому же очень уж хотелось верить, что здесь, внутри труб, кислорода достаточно. Это подтвердило бы сложившуюся у Лейна на ходу теорию относительно гигантских зонтиков. Он предполагал, что наверху, на поверхности планеты, листья получают солнечную энергию, а корневая система, поглощая из труб воду и двуокись углерода, выдыхаемую десятиножками, поставляет сюда взамен кислород и глюкозу.

Даже здесь, в весьма удаленном от трубы помещении, Лейн обнаружил пробившееся сквозь потолок корневище. Стаскивая с головы шлем и делая первый вдох в марсианской атмосфере, землянин стоял прямо под ним и, когда что-то мокрое шмякнулось на макушку, вздрогнул от неожиданности. Глянув вверх, Лейн увидел, что сквозь крупные поры корня сочится жидкость. Он утер волосы ладонью и поднес пальцы к губам. Жидкость была вязкой и сладковатой на вкус.

То, что в соке растения содержится сахар, подумал Лейн, это нормально. Но отчего сок течет так обильно — а с корня уже срывались очередные крупные капли — вот вопрос!

Затем в голову пришла мысль, объясняющая и это. С наступлением ночи поверхность планеты жутко промерзает, поэтому, чтобы спасти стволы и мембраны листьев от разрывов и трещин, зонтики научились скачивать свой сок в туннели. А по утрам забирают обратно.

Лейну собственная теория понравилась, она представлялась вполне правдоподобной и стройной.

Он огляделся. Комната, где они оказались, выглядела наполовину жилой, наполовину рабочей — нечто вроде биологической лаборатории, хозяин которой, с головой погруженный в исследования, неделями ее не покидает. Меблировку составляли столы, стулья, кровати и несколько предметов непонятного назначения. Из одного такого предмета — большого куба из черного металла в углу помещения, — выскакивая с регуляр-

ными интервалами, струились к потолку крошечные голубые пузырьки. Поднимаясь, они постепенно набухали; достигнув потолка, не лопались и не накапливались там, а просачивались, словно стекловидная твердь преградой им не являлась, как бы и вовсе не существовала.

Теперь Лейн знал, откуда взялись голубые шары, полет которых он наблюдал на марсианском огороде, но назначение их оставалось для него по-прежнему загадочным.

И сейчас не представилась возможность понаблюдать за ними подольше. Хозяйка сняла с полки шкафа зеленую, керамическую на вид чашу и водрузила на стол. Лейн с любопытством следил за ее действиями. Он успел разобраться, что поспешил с выводами и вторая голова, вернее, головка принадлежит совершенно самостоятельному созданию, видимо, животному, напоминающему очень крупного червя и уютно пристроившему кольца своего четырехфутового розового тельца на плечах хозяйки. Крошечное плоское личико полыхнуло в Лейна голубыми и немигающими, почти змеиными глазками; рот неожиданно распахнулся, демонстрируя беззубые десны — существо будто бы дразнилось, задиристо показывая землянину свой ярко-красный, отнюдь не змеиный язык.

Не обращая внимания на шалости любимца, хозяйка аккуратно сняла его с себя и, ласково проворковав несколько слов на певучем своем языке, поместила в большую чашу. Существо свернулось в ней клубком, точно змея в норке.

А марсианка тем временем взяла кувшин, стоявший на крышке бордовой пластмассовой коробки, которая, несмотря на отсутствие видимых источников энергии, чем-то напоминала Лейну кухонную плиту. Вода из кувшина хлынула в чашу с червем, и тварь под теплым душем зажмурила глазки от удовольствия.

То, что произошло сразу после, буквально ошарашило Лейна.

Хозяйка, склонясь над чашей, отрыгнула в нее добрую толику содержимого собственного желудка.

Землянин шагнул вперед. Совершенно позабыв, что не будет понят, он встревоженно спросил:

— Вы не заболели?

Марсианка, как бы успокаивая гостя, совершенно по-человечески приоткрыла в улыбке белые зубы и отошла от стола. Лейн глянул на паразита, который уже погрузил голову в мерзкую на вид смесь. Землянин ощутил слабость в коленях — он понял, что тварь именно этим и питается, а сам он свидетель безобидного будничного эпизода, обычной сценки кормления домашнего любимца.

Лейн пытался убедить себя, что перед ним инопланетные существа и земные мерки к ним неприменимы. Но брезгливое чувство все же не покинуло землянина. Умом он понимал, что иные обычные для марсианина поступки могут показаться шокирующими и значения им придавать не следует, но с тошнотворным комом в глубине живота, под ложечкой, не поспоришь.

Даже беззастенчиво разглядывая обнаженную хозяйку под душем в крохотной стенной нише, Лейн не смог до конца избавиться от накатившей брезгливости. А посмотреть было на что! Пяти футов ростом, стройная, все при ней. Ноги совершенно как у земной женщины — в нейлоне да на высоких каблуках смотрелись бы просто превосходно. И все остальное соответствовало. Лишь ступни малость подкачали — обуй ее в босоножки, переудов не оберешься — всего по четыре пальца на каждой.

Зато руки оказались почему-то привычно пятипалыми и совершенной формы. Правда, при беглом взгляде почудилось, что на пальцах рук, как и ног, отсутствуют ногти, но затем, пристотревшись внимательнее, Лейн разглядел рудиментарные остатки.

Хозяйка вышла из-под душа и, прежде чем вытереться, жестом пригласила Лейна раздеться и занять освободившееся в нише место. Землянин так упорно воротил взгляд в сторону, что она рассмеялась коротким принужденным смехом. Неглубоким и весьма женственным. Затем заговорила.

Лейн прикрыл глаза и стал вслушиваться в чарующие звуки. Он уже долгие годы не слышал женского голоса, а голос марсианки был и вовсе особенным: пусть чуточку и сипловатым, но вместе с тем необыкновенно мелодичным.

Но как только он приоткрыл глаза, наваждение ушло, исчезло бесследно. Кто стоял перед ним? Мужчина? Женщина? Бесполое существо среднего рода? Искушение называть ее — хотя бы про себя — женщиной возобладало над прочими, несмотря на явный дефицит признаков слабого пола. На груди марсианки Лейн не увидел даже рудиментарных сосков. Нежно округлые бугорки мышц под тонкой жировой прослойкой создавали впечатление нераспустившихся бутонов.

Но, очевидно, этим бутонам так и не суждено раскрыться. Похоже, кормление младенцев грудью марсианке не угрожало. Она и выносить-то ребенка не смогла бы, даже если б каким-то чудом понесла. На мраморно гладком животе напрочь отсутствовал пупок.

И между ног у нее ничто не нарушало мраморной гладкости кожи — ни складки, ни волосы. Словно у нимфы с картинки в детской книжке, напечатанной в викторианскую эпоху.

Именно это последнее наблюдение произвело на Лейна самое гнетущее впечатление. Как у белой лягушки, содрогнулся он.

Однако жилка ученого возобладала в землянине над чувствами. Каким образом такое существо спаривается и размножается, задумался он.

Раскрыв в улыбке совершенно по-земному розовые губки и забавно сморщив слегка вздернутый носик, марсианка снова рассмеялась. Затем провела рукой по золотисто-рыжеватому меху на голове. Именно меху, а не волосам, отметил про себя Лейн, и мех этот даже слегка отсвечивал, точно маслянистая шкурка земного водоплавающего.

Лицо, впрочем, могло сойти или же быть принято за человеческое. Именно быть принято — никак не более. Высокие скулы для человечьих слишком уж выпирали в сторону. Вполне по-земному выглядели, правда, большие темно-синие глаза. Но ведь и у спрута они почти человечьи.

Хозяйка направилась к стенному шкафу, на этот раз к другому, и небеспристрастный взгляд Лейна снова отметил, что ее женственных очертаний бедра при ходьбе движутся вовсе не по-женски, ничуть не покачиваясь.

Дверца шкафа мгновенно утонула в стене, обнаруживая содержимое: подвешенные на крюках обезноженные тушки десятиножек. Хозяйка сняла одну из них с подвески, перенесла на металлический стол, вынула из шкафа ножовку и прочий хирургический инструментарий и принялась за разделку.

Чтобы разобраться в анатомическом устройстве десятиножек, Лейн придвинулся поближе, но хозяйка жестами погнала его в душ. Снимая оболочку скафандра и дойдя до пояса с кинжалом в ножнах, землянин заколебался было, но — из опасения обидеть хозяйку подозрительностью — махнул рукой и повесил в шкаф ремень вместе со скафандром. Остальную же одежду снимать пока не стал, поскольку еще до душа хотел познакомиться с анатомией десятиножки. Душ может и немного обождать.

Несмотря на паучью наружность, десятиножка оказалась все не насекомым. Во всяком случае, не в земном смысле. Но и не позвоночным. Гладкая безволосая шкура животного пестрела пигментными пятнами, точно человеческая кожа веснушками. И хотя тварь обладала внутренним скелетом, хребет напроць отсутствовал. Тонкие ребра, начинаясь от хрящевого воротничка у основания головы, образовывали почти сферическую грудную клетку и практически смыкались в нижней части туловища. Внутри клетки открылись мешочки легких, довольно крупное сердце и нечто, напоминающее печень и почки. В отличие

от земных млекопитающих, из сердца которых выходят две артерии, у сердца десятиножки их было целых три. При столь поверхностном осмотре Лейн, конечно, ни в чем не мог быть уверен твердо, но все же ему показалось, что третья напоминает спинную аорту земных рептилий, несущую одновременно и чистую, и отработанную кровь.

Обнаружились и более удивительные вещи — Лейн не усмотрел среди органов никаких следов пищеварительного тракта. Ни кишечника, ни анального отверстия — разве что принять за кишечник продолговатый мешочек в центре шаровидного тельца, выбегавший прямо из глотки. И никаких признаков органов размножения, хотя кто знает, как они должны выглядеть?

Длинный трубчатый язык, разрезанный хозяйкой вдоль, как и предполагалось, скрывал канальчик, переходящий у основания языка в небольшой пузырь — очевидно, часть экскреторной системы животного.

Лейн продолжал гадать, каков же механизм, помогающий животному выдерживать резкий перепад между давлением в трубе и атмосферным. По зрелом размышлении решил, что ответ могут подсказать и земные киты, без всякого ущерба для здоровья ныряющие на полмили и глубже.

Хозяйка устала на землянина очаровательными округлыми глазками, мелодично хихикнула, запустила руку в раскрытый череп и извлекла оттуда крохотный мозг.

— Гауяйми, — медленно и отчетливо произнесла она. Затем поднесла пальчик поочередно к своему виску и виску Лейна и повторила дважды: — Гауяйми.

Вторя ей, Лейн указал на собственную голову:

— Гауяйми. Мозг.

— Мосг, — повторила марсианка и прыснула со смеху. Затем продолжила урок, называя те части тела десятиножки, которые соответствовали ее собственным. Закончив с органами, перешла к предметам обстановки. К тому моменту когда хозяйка заканчивала приготовление трапезы — она пожарила мясо и сварила с добавлением неких экзотических приправ зонтичную ботву, — они успели обменяться минимум четырьмя десятками слов. Спустя всего час Лейн сумел припомнить не больше половины.

Оставалось еще одно слово, которое следовало узнать и запомнить. Землянин ткнул пальцем себе в грудь и представился:

— Лейн.

Затем указал на собеседницу и состроил вопросительную гримасу.

— Майршийя, — ответила та.

— Марсия? — изумился Лейн. Хозяйка поправила, но землянин был так поражен сходством звучания имени с названием планеты, что и впоследствии называл ее только так, как услышалось впервые. И она вскоре оставила всякие попытки его переучить.

Марсия вымыла руки сама и поднесла чашу с чистой водой гостю. Лейн воспользовался предоставленным ему мылом и полотенцем, затем отправился к столу. Хозяйка ждала стоя. На столе дымился в большой чаше густой жирный суп, стояло блюдо с жареными мозгами, миска с салатом из отваренной листвы и каких-то неведомых овощей, тарелка с мясистыми темными ребрышками десятиножки, крутые странноватого вида яйца и горка крохотных булочек.

Марсия жестом пригласила за стол. Очевидно, этикет не позволял ей сесть самой прежде гостя. Но, пройдя мимо отведенного ему места, Лейн миновал хозяйку, взялся за спинку ее стула и усадил, слегка надавив свободной рукой на плечо. Марсия обратила к нему сияющее личико. Мех волос, скользя в сторону, приоткрыл ушко — узкое и почти без мочки. Лейн едва обратил на эту деталь внимание, настолько захватило сложное чувство — смесь брезгливости и восторга, — порожденное прикосновением. И причиной волнению было даже не собственно прикосновение к коже хозяйки, нежной и бархатистой на ощупь, как у младенца, а пронзившая Лейна мысль, что он таки *решился* на это.

Отчасти все эти переживания от неестественной ее наготы, рассудил землянин, усаживаясь на свое место за столом. Наготы, обнаруживающей не так называемый срам, а полное отсутствие оного. Ни груди, ни сосков, ни пупка, ни складок или, напротив, выпуклостей на лобке. Подобная телесная невинность представлялась Лейну чем-то совершенно нелепым, неправдоподобным, попросту невозможным. Постыдно не иметь ничего постыдного, подумал он, и мысль эта, показавшись ему самому чересчур эксцентричной, даже повергла в смущение — Лейн покраснел.

Не замечая переживаний гостя, Марсия наполнила его стакан темной жидкостью из высокой бутылки. Лейн пригубил. Напиток оказался вином, и неожиданно изысканным для Марса — на уровне вполне приличных земных.

Марсия разломилась одну из булочек, протянула половинку гостю. Затем, сжимая хлеб в одной руке, а стакан с вином в другой, склонила голову и, прикрыв глаза, принялась что-то декламировать.

Землянин во все глаза следил за ее действиями. А хозяйка, похоже, попросту молилась, служила благодарственную молитву. И если она являлась прелюдией к причастию, то сходство с земными обычаями было просто поразительное.

Собственно, чему удивляться? — остудил себя Лейн. Плоть и кровь, хлеб и вино — символика простая, логичная и вполне может оказаться универсальной во всей необъятной Вселенной.

А может статься, что все эти аллюзии — плод взбудораженного воображения. Происхождение ритуала, исполняемого хозяйкой, и самый смысл его могли быть настолько далеки от всего земного, что и во сне не привидится.

С такой точки зрения для ложных толкований давали повод и последующие действия хозяйки. Вкусив от хлеба и пригубив вина, она недвусмысленным жестом призвала Лейна последовать своему примеру. Он подчинился. Затем же Марсия пожевала хлеб, сплюнула кашу в свободную чашку и, поощрительно кивнув головой, протянула ее Лейну. Тот снова подчинился — ему было занято, чем может закончиться необычная процедура.

Но уже в следующее мгновение землянин ощутил сосущую пустоту под ложечкой: Марсия, перемешав жижу из обоих ртов в чашке пальцем, протянула его к губам Лейна. Похоже, палец следовало облизать.

Таким образом, помимо аспекта метафизического ритуал приобретал еще и физический, телесный аспект. Хлеб и вино играли роль плоти и крови божества, которому поклонялась Марсия. Теперь, слившись со своим богом телесно и духовно, она желала соединиться также и с ним, Лейном.

Что вкушу я от Бога, тем и стану. Что вкусишь от меня, тем ты и станешь. Что вкушу от тебя, тем стану я. Своеобразное триединство, троица.

Лейн отмел мелькнувшую было мысль о собственной ереси. Напротив, подобная трактовка происходящего даже взволновала слегка. Он не сомневался, что большинство христиан отказалось бы участвовать в подобном причастии, означающем наверняка совсем иное и к тому же весьма далеко от земного в деталях. Они зачислили бы весь этот обряд в категорию языческих ритуалов. Но не Лейн: пресловутое большинство находил он косным и узколобым, а подобную реакцию считал бы нелогичной, жестокой и смехотворной. Создатель во Вселенной един, и не важно, как Он наречен, каким именем назовет Господа собственное творение.

Лейн искренне веровал в Бога, но весьма личностного Бога — такого, которому его, Лейна, судьба отнюдь небезразлична. А также в то, что Спаситель уже был однажды ниспослан человечеству, нуждавшемуся в искуплении грехов. И если иные миры, инопланетные цивилизации тоже нуждались в искуплении, то почему бы и им не получить своего Избавителя? Возможно, кое в чем Лейн заходил дальше иных своих благочестивых земных собратьев: он исповедовал, а вернее, что называется, практиковал истинную любовь ко всему человечеству и во всех ситуациях стремился вести себя соответствующим образом. Из-за того среди друзей приобрел репутацию чуть ли не религиозного фанатика. Лейн, однако, не устраивал шумихи вокруг собственных взглядов, он умел сдерживать свои порывы — в достаточной мере, чтобы не создавать в жизни лишних неудобств и не терять друзей, — а его искренность и сердечность, несмотря на некоторую экстравагантность образа жизни, привлекали многих.

Всего шесть лет назад Лейн был убежденным агностиком. Но первое же путешествие в космос преобразило его, изменило совершенно. Обогащенный новым опытом, вдребезги разбившим все прежние взгляды и представления, Лейн осознал, как ничтожен человек перед устрашающе многоликой и необъятной Вселенной и как нуждается он в спасительной соломинке, способной удержать на плаву посреди бушующего космического океана.

Парадоксальный случай, связанный с обращением Лейна, часто вспоминался ему впоследствии: один из товарищей по экспедиции, человек ранее невероятно благочестивый, по возвращении из космоса напрочь отрекся и сделался совершенным атеистом...

Все это промелькнуло перед мысленным взором, пока Лейн обсасывал хозяйкин палец. Затем, подчиняясь ее жесту, окунул в смесь собственный и сунул в рот Марсии.

Томно зажмурив глазки, она нежно облизывала палец. Когда Лейн потянул его, решив, что хорошенького понемножку, Марсия придержала руку. Лейн не настаивал, опасаясь обидеть хозяйку. Возможно, так полагалось в соответствии с ритуалом.

Но чуть ли не экстатическое выражение, написанное на лице Марсии, поставило землянина в весьма нелегкое положение. Хозяйка сосала его палец, как изголодавшийся младенец — материнскую грудь. И Лейн не выдержал — не видя никаких признаков скорого завершения церемонии, он неторопливо, но настойчиво освободил руку. Широко распахнув глаза, Марсия вздохнула, но смолчала. И занялась угощением.

Густой горячий суп, напоминавший по консистенции похлебку из планктона, столь популярную нынче на изголодавшейся Земле, — только без привкуса рыбы, — оказался восхитительным на вкус и весьма сытным. Коричневые булочки походили на ржаной хлеб. Мясо десятиножек оказалось не хуже крольчатины, но чуть слаще и с каким-то незнакомым резковатым запахом. Лишь разок Лейн отщипнул от листвы в салате, но и этого показалось ему с избытком: дыхание перехватило, он поперхнулся, на глазах проступили слезы. Хозяйка встревоженно наблюдала, как Лейн поспешно запивал салат вином. Он успокоил Марсию вымученной улыбкой и более к салату не прикасался. А выдержанное вино не только охладило пылающее горло — в свою очередь оно огнем прошло по жилам. Осторожно, к этому напитку следует умерить пыл, приказал себе Лейн. Но как-то незаметно для себя осушил и второй стакан.

Крепкое питье ударило в голову: стены поплыли, и Лейна охватило безудержное веселье. События уходящего дня: горе по утопшим в болоте товарищам, собственное чудесное избавление от, казалось бы, неминуемой гибели, случайная атака десятиножки, неутоленное любопытство по поводу происхождения Марсии и местонахождения ее соплеменников — все это, вместе взятое, то ли повергло Лейна в умственный ступор, то ли наоборот — вызвало в нем желание слегка побуйнить.

Покачиваясь, Лейн поднялся и, чтобы занять себя чем-нибудь полезным, предложил свою помощь в мытье посуды. Хозяйка отрицательно помотала головой и сложила все в мойку. А Лейну в голову пришла новая идея: почему бы и не смыть сейчас липкий пот и ароматы двухдневного перехода? Распахнув дверь в душевую кабинку, он обнаружил, что одежду там повесить негде. Разгоряченный вином и утомленный тяготами прошедшего дня, а также памятуя, что Марсия в конце концов *вовсе не женщина*, Лейн стал решительно сбрасывать с себя все прямо посреди комнаты.

Марсия наблюдала, и ее глаза с каждым снятым покровом округлялись все сильнее. Под конец, всплеснув руками, она ахнула и отшатнулась. Лицо ее побелело.

— А что тут такого? — буркнул Лейн, дивясь, что же в нем могло вызвать подобную реакцию. — Мне тоже, в конце концов, не все в тебе нравится.

Марсия вытянула дрожащий пальчик и спросила о чем-то взволнованным голосом. Возможно, немалую роль сыграло разгулявшееся воображение, но Лейн мог побожиться, что она с интонациями парламентского спикера поинтересовалась:

— Уж не болен ли ты? Этот нарост часом не злокачественная опухоль?

Чтобы объяснить хозяйке что к чему, Лейну явно не доставало слов, а демонстрировать функции органа в действии было как-то не с руки. Вместо ответа землянин малодушно укрылся в душевой кабинке, тщательно прикрыл за собой дверку и уткнулся в стене крановую кнопку. Горячая вода, свежий аромат мыла, легко растворяющего въевшуюся в кожу грязь, освежили и тело, и мысли — и малость отрезвили. Под тугими горячими струйками спокойно размышлялось о том, что в спешке было упущено.

Во-первых, придется выучить язык Марсии или же научить ее английскому. Одно, впрочем, не исключало другого. И еще в одном Лейн был совершенно уверен: ее намерения по отношению к нему, по крайней мере до сих пор, вполне миролюбивы. Когда Марсия допустила Лейна к причастию, вела себя она достаточно искренне. И у землянина не складывалось впечатления, что среди духовных традиций ее народа может наличествовать ритуал разделения вина и хлеба с приговоренным к казни.

Чувствуя себя куда свежее, но все же утомленный тяготами дня и коварным напитком, Лейн, выйдя из душевой, досадливо потянулся за своими грязными шортами. И просиял. Пока он плескался под душем, его одежда женскими заботами успела стать совершенно чистой. Марсия, не обратив никакого внимания на его просветлевшую от приятного сюрприза физиономию, с мрачным видом махнула рукой в направлении кровати: устраивайся, мол, и почивай. Сама же, вместо того чтобы улечься, подхватила корзинку и выбралась в туннель. Лейн самовольно последовал за ней; заметив сопровождение, Марсия только пожала плечами.

Выбравшись из туннеля в основную трубу, на этот раз совершенно темную, Марсия зажгла фонарь. Его луч пробежался по потолку, выхватывая из темноты угасших — видимо, крепко спящих — светляков. Десятиножек в поле зрения на этот раз не было.

Марсия направила лучик на протоку, и Лейн заметил, что рыба-насос продолжает свою нескончаемую работу. Землянин придержал руку Марсии с фонариком и свободной рукой выудил животное из канавы. Это потребовало некоторого усилия; перевернув рыбу, Лейн понял почему: с ее брюха свисала обмякшая мембрана. Стало понятно, почему довольно бурный поток не сносит этих тварей — мембрана служит мощным присоском, позволяющим надежно прилепиться к гладкому дну канавы.

Несколько обеспокоенная поведением Лейна, Марсия вырвала руку и быстро двинулась по туннелю. Землянин поспешил следом. Вскоре они приблизились к отверстию, так встретившему Марсию во время предыдущей прогулки по трубе. Пригнувшись, марсианка нырнула туда — на этот раз абсолютно без волнений. Напоследок указала лучиком на угловатую грудку десятиножек по одну сторону от входа. Те самые здоровенные твари, что вроде бы исполняли обязанности часовых, теперь спокойно дрыхли на своем посту.

Если так, рассудил Лейн, тогда спят, видимо, и те, кого им положено охранять.

А Марсия? Как вписывается она в эту картину? Может статья, и вовсе не имеет ничего общего с этими тварями? Лейну хотелось верить, что так — настолько чуждой этому миру насекомоподобных с их инстинктивным псевдоразумом она представлялась. Навряд ли Марсия — порождение этого странного сообщества. Тем более что и ее здесь совершенно игнорировали. Это, кстати, роднило Марсию с ним самим, оставленным десятиножками в болоте без внимания.

Однако, похоже, у этого правила бывали и исключения — не случайно же Марсия стремилась проскользнуть в прошлый раз мимо часовых, стараясь ничем не привлечь их внимания.

И мгновением позже Лейн уже понял почему. Они оказались в огромном помещении, погруженном, как и труба, во тьму. Но днем света здесь, похоже, вполне хватало — луч фонаря пал на сплошь залепленный спящими светляками потолок.

Затем луч скользнул по полу, выхватывая из потемок штабеля неподвижных десятиножек, и неожиданно замер. Лейн взглянул только — сердце екнуло, волосы встали дыбом.

Луч упирался в протянувшегося перед ними гигантского — с небольшую субмарину — червя.

Инстинктивно Лейн выбросил вперед руку, чтобы удержать Марсию от неосторожного шага. Но застыл, не доведя жест до конца, — она, должно быть, знает что делает.

Видимо, Марсия почувствовала тревогу землянина: чтобы рассеять опасения, она осветила фонариком свое улыбающееся личико. И деликатно, почти нежно пожала запястье спутнику.

Мгновение тот не мог сообразить, за что ему такая ласка. Потом понял: Марсия растрогана беспокойством за себя. Более того, такая реакция свидетельствовала, что от потрясения, которое вызвал вид обнаженного мужского тела, она уже вполне оправилась.

Лейн внимательно всмотрелся в распростертое по полу чудище. Его тоже сморил сон, гигантские глаза прятались за вер-

тикальными штормами век. Огромная голова по форме была округлой, как и у валявшихся вокруг десятиножек. На фоне огромной захлопнутой пасти крохотный клювик терялся, точно двойная ороговевшая на губе бородавка. Туловище, если представить его себе волосатым, напоминало чудовищно разбухшую земную гусеницу. Десять бесполезных ножек — слишком коротких, чтобы дотянуться до пола, — свисали по бокам. Складывалось впечатление, что тело надуту газом, как аэростат.

Марсия прошла вдоль чудища. Задержавшись возле хвоста, она приподняла складку кожи, под которой обнаружилось с дюжину кожистого же вида яиц, склеенных вместе какой-то слизью — очевидно, гормональными выделениями.

— Наконец хоть что-то проясняется, — пробормотал Лейн. — Конечно же! Это королева-матка, несущая яйца. Воспроизводство потомства — ее обязанность. Вот почему у остальных половых органов и в помине нет, или же они настолько рудиментарны, что обнаружить их не просто. Значит, хотя десятиножки — это животные, но во многом напоминают земных насекомых. Однако отсутствия у них пищеварительного тракта это не объясняет.

Марсия сложила в корзину липкие яйца и собралась уходить. Но Лейн остановил ее, объяснив жестами, что желал бы еще немного осмотреться. Пожав плечами, она повела землянина по кругу. Приходилось соблюдать осторожность, чтобы не наступить на развалившихся где и как попало десятиножек.

Они приблизились к большому открытому бункеру, стенки которого состояли из того же серого вещества, что и стены туннеля. На множестве полок внутри, окутанные чем-то вроде паутины, покоились сотни, тысячи яиц.

Рядом находился еще один бункер, доверху наполненный водой. На дне фонарь Марсии тоже осветил великое множество яиц. А над ними замелькали, брызнули в стороны мальки — точная копия рыбы в канаве туннеля.

Лейн ошарашенно выкатил глаза. Оказывается, рыба-насос — не самостоятельный генетический вид, а лишь личинка, вернее, головастик десятиножки. И запускают ее в протоку не только лишь для того, чтобы поддержать давление воды, текущей от северной полярной шапки, но также чтобы и дорастить личинку до метаморфозы во взрослую особь.

Однако Марсия, продемонстрировав ему содержимое следующего бункера, внесла в гипотезу коррективы. На сухом дне этого также громоздились яйца. Марсия вскрыла ножом упругую кожистую оболочку одного из них и выплеснула содержимое на ладонь.

Вот теперь действительно было чему подивиться. На ладошке лежало крохотное цилиндрическое существо, с одной стороны наделенное присоском, с другой — округлым ротиком с двумя каплевидными наростами по краям. Светляк-зародыш.

Пытливо глядя в глаза, Марсия дожидалась от Лейна кивка, который свидетельствовал бы о понимании. Но землянин только развел руками: мол, не доходит. Тогда Марсия поманила к следующему бункеру. Там, среди множества яиц и мягкой скорлупы, пошатываясь, уже ковыляли на десяти хилых лапках беспомощные свежевylупившиеся крохи — миниатюрные копии взрослых десятиножек.

В сущности Марсия торопливо провела Лейна сквозь серию живых и заковыристых шарад. И, следуя за ней, он начал кое-что постигать.

Эмбрионы, остававшиеся в яйцах до полного завершения развития, претерпевали три основные метаморфозы: стадию реактивной рыбы, стадию светящегося червя и — наконец — стадию зародыша-десятиножки. Если взрослые сиделки, присматривавшие за инкубатором, вскрывали яйца на одной из двух первых стадий, то эмбрионы и оставались в этих стадиях, хотя после и подрастали.

А как же оплодотворяется королева? — возник у Лейна вопрос, и он недоумевающе указал на разбухшее от яиц гигантское тело.

Вместо ответа Марсия выхватила из бункера одного из новорожденных. Бедолага отчаянно засучил хилыми ножками. Не будь он немой, как и все его соплеменники, наверняка зал огласился бы пронзительным верещанием. Марсия перевернула малыша кверху брюшком и продемонстрировала Лейну крохотный выступ в подбрюшье. Затем указала на ту же точку на теле спящей взрослой особи — там все оказалось девственно гладким.

Теперь наступил черед пантомимы: Марсия изображала питающуюся десятиножку. Сообразив что к чему, Лейн закивал. Твари появляются на свет с рудиментами половых органов, которые с возрастом не развиваются. Более того, как землянин только что видел, атрофируются совершенно — в яйцекладущую особь десятиножку может превратить лишь специальная диета.

Однако в складывающейся схеме еще зиял один, но весьма немаловажный пробел. Если есть самка, нужен самец. Как-то не верилось, что столь высокоорганизованные животные размножаются путем самооплодотворения или партеногенеза.

Но затем, припомнив полное отсутствие гениталий даже у Марсии, Лейн усомнился снова. Может, и она относится к самовоспроизводящимся? А может быть, как у прочих встреченных марсиан, природная ее — материнская? — планида заглушена специальной диетой?..

Это тоже не казалось слишком правдоподобным, но для полной уверенности Лейну недоставало данных.

Как всякий истинный ученый, он обладал неутолимой жаждой познания. Вот и сейчас, игнорируя очевидное желание Марсии поскорее покинуть мрачное помещение и вернуться домой, Лейн склонился над бункером и стал одну за другой перебирать маленьких десятиножек. Все оказались потенциальными самками.

Внезапно Марсия, озабоченно следившая до сих пор за действиями землянина, просияла, словно осененная новой мыслью, схватила Лейна за руку и потащила к дальней стене. По мере приближения к неясным в потемках очертаниям все резче становился запах, явственно напоминающий земную хлорку.

Лишь подойдя вплотную, Лейн понял, что перед ними не очередной бункер, а клетка в форме полусферы. Прутья из того же серого материала, как бы вырастая прямо из пола и загибаясь вовнутрь, смыкались в центральной точке. Дверь в клетке отсутствовала. Видимо, рассчитана она была на содержание пленника до самой смерти.

Марсия вскоре наглядно продемонстрировала, к чему тут такие строгости. Существо в клетке мирно спало, но Марсия, протянув руку сквозь прутья, постучала по краешку головы и тут же отпрянула. Однако одного прикосновения оказалось недостаточно — лишь с пятой попытки ей удалось пробудить тварь. Вертикальные шторы век медленно разъехались, открыв гигантские изучающие буркала цвета яркой артериальной крови.

Марсия метнула одно из яиц в голову твари. Добыча была поймана неуловимым движением гигантского клюва. Вслед за шелканьем пасти раздался гулкий глоток чудовищного горла.

Пища разбудила тварь окончательно. Подскочив на десяти длинных лапах, чудище еще раз шелкнуло могучим клювом и принялось бешено биться о прочные серые прутья.

Марсия невольно отшатнулась под прицелом ее горящего взора, полыхающего неутолимой жадной убийства. Лейн прекрасно ее понимал. Здоровенная бестия, фута на два превосходящая ростом стражников из туннеля, в два счета могла оторвать человеку голову, проглотить и не поперхнуться при этом.

Землянин обошел вокруг клетки, чтобы рассмотреть тварь сзади. Ошарашенный увиденным, сделал дополнительный круг,

но не обнаружил никаких признаков мужского пола, кроме разве что дикой ярости — сродни бешенству жеребца, запертого на конюшне в брачный сезон. За исключением габаритов, необычных глаз, багровеющих в слабых отблесках фонаря, и клоаки, тварь казалась точной копией стражей из туннеля.

Лейн попытался объяснить свое недоумение. Марсия поняла все с ходу; растерянность Лейна, похоже, и предполагалась ею. Она тут же устроила целое представление из каскада энергичных пантомим; некоторые показались землянину столь комичными, что вызвали у него невольную улыбку.

Для начала она продемонстрировала Лейну два яйца из ближайшего инкубатора — крупнее прежних и испещренные оранжевыми пятнышками. Именно из них, похоже, и вылуплялись мужские особи.

Затем Марсия изобразила, что случится, если взрослый самец вырвется на свободу. Скорчив забавную рожицу, долженствующую означать по ее представлению дикую свирепость, класая зубами и загребая скрюченными пальцами, она пыталась изобразить самца, одержимого амоком и уничтожающего на своем пути все и вся. Убивает все племя: королеву, рабочих, стражу, личинок, яйца — всех до единого; откусывает головы, калечит тела и все пожирает. Закончив резню здесь, прорывается в трубы, уничтожая всех встречных десятиножек, поглощая реактивных рыб, срывая с потолка и пожирая светляков, а также обгрызая корни деревьев. Убивать и насыщать ненасытное брюхо — вот все, что он умеет.

Понятно, понятно, закивал, улыбаясь, Лейн. Но вот как он, ну, это самое?..

Марсия изобразила, как в один прекрасный день работяги, точно бревно, подкатывают матку к клетке. Здесь ее располагают тылом, яйцекладом к прутьям, буквально в нескольких дюймах от разъяренного самца. И, обуреваемый жаждой крови, желанием все рвать и крушить, вонзая смертоносный клюв в мягкую плоть, самец вдруг обнаруживает, что уже не властен над собой, теряет самоконтроль. Природа берет свое; убийца подпадает под власть все сильного, самого главного в жизни инстинкта.

Лейн понимающе кивнул. В памяти всплыла картинка недавнего вскрытия десятиножки. Та особь имела лишь одну полость в основании длинного трубчатого языка; а у этой, возможно, две емкости — одна для экскреторной субстанции, другая для семенной жидкости.

Всплеснув внезапно руками, Марсия застыла как вкопанная. Еще до начала своего представления она приладила фонарик на

полу; теперь же луч выхватил из темноты ее разом побелевшее лицо.

— Что такое? — вздрогнул Лейн и шагнул к ней.

Выставив перед собой ладони, Марсия отступила на шаг. Она выглядела чем-то отчаянно перепуганной.

— Да не собираюсь я причинять тебе никакого вреда! — сказал Лейн и остановился, чтобы не напугать еще больше.

Что могло так взволновать Марсию? Во всем зале ничто, кроме самца в клетке, и не шелохнулось, а тот находился у нее прямо за спиной.

И тут она вытянула руку, указав сперва на Лейна, затем на бушующую в клетке тварь. Жест был столь недвусмысленным, что землянин сразу понял, в чем кроется причина ее страха. До Марсии наконец дошло, что Лейн тоже, как и тварь за ее спиной, самец; понятным стало, видимо, и назначение определенных его органов.

Но землянин никак не мог постичь, что кроется для нее в этом столь уж страшное. Отталкивающее, пожалуй. Он и сам ведь, разглядев как следует ее тело, абсолютно лишенное признаков пола, испытал вначале необычное чувство, почти на грани омерзения. И лишь естественно, если бы Марсия реагировала аналогично. Но она, казалось, впала в настоящий шок.

В чем причина столь неожиданной перемены, чем объяснить этот внезапный ужас?

В клетке снова раздалось кланье чудовищного клюва. Эхом отдалось оно в сознании Лейна.

Вот где собака зарыта! Конечно же, ведь этот монстр жаждет крови!

До встречи с ним, с Лейном, Марсия не встречала ни единого самца, кроме этого жуткого убийцы. А сейчас она неожиданно обнаружила связь между ними, углядев в Лейне черты беспощадной твари. Самец несет смерть!

Отчаянно боясь спугнуть Марсию, обратить ее неосторожным жестом в паническое бегство, Лейн с умоляющим видом отрицательно замотал головой: нет, нет и еще раз нет! Он вовсе не такой, как эта тварь, он никому не желает вреда, а тем более смерти.

Его настойчивость и взволнованный вид принесли свои плоды: Марсия стала оживать на глазах. Кожа приняла нормальный розоватый оттенок, взгляд перестал панически метаться, а по губам даже скользнула слегка вымученная, но все же улыбка.

Дабы отвлечь внимание от щекотливой темы, Лейн сам устроил ей пантомиму. Его заинтересовало теперь, почему лишь королева-матка и самец-консорт обладают органами пищеварения, у

остальных же их и в помине нет. Вместо ответа Марсия дотянулась до свисавшей с потолка головки огненного червя и засушила ладонь в пасть. Затем, понюхав клейкую массу, облепившую пальцы, протянула их с той же целью Лейну. Впрочем, когда землянин коснулся руки, Марсия непроизвольно вздрогнула. Лейн сделал вид, будто ничего не заметил.

Запашок был как у всякой полупереваренной пищи.

Марсия перешла к следующему червю-светляку, усики которого были не красного тона, как у большинства остальных, а имели зеленоватую окраску. Марсия пощекотала пальчиком его язык и подставила лодочкой ладонь. С кончика языка закапала жидкость.

Лейн понюхал снова — на этот раз никакого запаха не было. Обмакнув и облизав палец, он обнаружил, что жидкость — густой сладкий сироп.

В дальнейшем пантомима призвана была объяснить, что именно огненные черви играют роль своеобразной пищеварительной системы для рабочих десятиножек, а также служат им продуктовой кладовой. Часть необходимой энергетической подпитки десятиножки могут получить в виде глюкозы прямо из корней деревьев, протеин же и клетчатку для них переваривают светляки. А десятиножки взамен подкармливают их яйцами и листьями зонтичных деревьев. Листву в трубы доставляют сборщики урожая, выходящие в дневное время на поверхность. Черви, частично переварив яйца, останки погибших десятиножек и клочки зонтичной мембраны, обращают все это в суп-пюре, который и попадает вслед за глюкозой десятиножкам в их продолговатые мешочки-желудки, соединенные с глоткой и основными кровеносными сосудами. Продукты жизнедеятельности исторгаются, видимо, через кожу или обратно через языковый канал.

Лейн задумчиво покивал и медленно двинулся к выходу из помещения. С заметным облегчением Марсия последовала за ним. Когда добрались до ее апартаментов, она сложила яйца в холодильник и наполнила вином два стакана. Окунув палец в оба поочередно, Марсия коснулась им сперва своих губ, затем губ гостя. Землянин едва успел щекотнуть пальчик Марсии кончиком языка. Еще один ритуал, отметил Лейн, видимо, ночной, призванный подтвердить, что они в мире и заодно. Если ритуал имел другой, менее очевидный смысл, то от землянина он ускользнул.

Марсия занялась существом, свернувшимся в чаше. Оно уже съело всю свою пищу, и Марсия извлекла его, ополоснув теплой водой. Затем налила в вымытую чашу до половины свежей подслащенной водички, поставила ее на столик возле кровати,

заботливо уложила внутрь создание и, расположившись рядом, смежила очи. Сама Марсия ничем на ночь не укрывалась; не догадалась она предложить какое-либо подобие одеяла и землянину.

Но и помимо этого у Лейна были причины для бессонницы. Несмотря на жуткую усталость, успокоиться он никак не мог. Точно тигр в клетке, мерил комнату шагами. Из головы никак не выходили ни загадка Марсии, ни проблема возвращения на базу для связи с кораблем. Земля должна знать о случившемся!

Марсия, выдержав беспокойное соседство не более получаса, села на кровати и пытливо уставилась на неугомонного гостя. Затем, видно, угадав причину его бессонницы, поднялась и подошла к висящему на стене шкафчику. За его дверцами скрывалась целая стопка книг.

— О! Это как раз то что надо! — обрадовался Лейн и принялся листать в нетерпении все подряд. Отобрав три тома полтще, перенес на кровать для более внимательного изучения.

Естественно, землянин не понимал ни слова, но выбранные книги содержали множество иллюстраций и фотографий. Первая вроде бы оказалась детским учебником мировой истории.

Пролистав первые же несколько страниц с иллюстрациями, Лейн воскликнул внезапно охрипшим голосом:

— О Боже, да ты марсианка не более, чем я сам!

Встревоженная его тоном, Марсия подошла и устроилась рядом на кровати. Она спокойно следила за порхающими страницами, пока Лейн не добрался до одной из фотографий. Тут она неожиданно спрятала лицо в ладони, и плечи ее содрогнулись от сдавленных рыданий.

Лейн приостановился и задумался. Причина такого горя была не вполне ему ясна. На фото был вид на город — то ли ее родной планеты, то ли иного обитаемого мира — с высоты птичьего полета. Возможно, это все-таки был город, где ей и довелось появиться на свет.

Чтобы вызвать в исстрадавшейся душе Лейна отклик, многого не требовалось. Спустя минуту уже оба плакали, не таясь, в голос.

Теперь-то Лейн понял. Одиночество, жуткое беспредельное одиночество — того же рода, что недавно, утратив последнюю надежду разыскать товарищей, изведal он сам, — чувство, что ты остался один-одинешенек на поверхности целой планеты.

Когда слезы иссякли, Лейну опять полегчало; он надеялся, что и Марсии тоже. Она приняла его сочувствие, об этом свидетельствовала не только улыбка, вернее, попытка улыбнуться сквозь слезы Лейну, подбодрить его. В неодолимом порыве

зарождающейся привязанности Марсия схватила ладонь Лейна, поцеловала и охватила губами два пальца. Таков, возможно, подумал Лейн, их способ выказывать дружеское расположение. А возможно, это благодарность за разделенное с нею одиночество. Или просто чистая, ничем не замутненная радость взаимопонимания. В любом случае в ее социуме невероятно высока роль оральной ориентации в чувственных проявлениях.

— Бедняжка Марсия, — вздохнул Лейн. — Тебе должно быть действительно ужасно тяжело здесь одной, чтобы почувствовать расположение к такому чужаку, как я. Особенно учитывая, что еще совсем недавно ты ждала от меня всяческих смертельно опасных каверз.

Землянин высвободил руку, но, поймав недоумевающий и обиженный взгляд, импульсивным движением — во искупление вины — поместил пальчики Марсии себе в рот.

Неожиданно это породило у нее новый приступ рыданий. Но Лейн скоро обнаружил, что на сей раз текут слезы не горя, а радости. Когда они подсохли, Марсия тихонько засмеялась от удовольствия, словно приглушенно прозвенел малиновый колокольчик.

Лейн вытер ее глаза и нос полотенцем. Теперь, полностью взяв себя в руки, Марсия снова оказалась в состоянии пояснять знаками гостю содержание и смысл отдельных иллюстраций.

Детская книга открывалась диаграммой зарождения жизни на родной планете Марсии. Судя по приложенной к книге весьма упрощенной космической схеме, планета вращалась вокруг солнца, которое находилось где-то неподалеку от центра Галактики.

Зарождение на планете жизни повторяло историю Земли во многом, на ранних стадиях так даже в точности. И все же иллюстрации из жизни древних форм океанической жизни поражали воображение. Не слишком уверенный в собственной интерпретации увиденного, Лейн все же нашел рисунки достаточно красноречивыми.

Они наглядно свидетельствовали, что эволюция избрала для развития природы на этой планете иные биологические механизмы, полностью отличные от земных.

Захваченный открывшимся, Лейн пробежал раздел от археорыб до двоякодышащих, затем пролистал главу о рептилиях и добрался до раздела теплокровных, но отнюдь не млекопитающих созданий. Завершался раздел прямоходящими обезьяноподобными существами, весьма близкими по эволюционной лесенке к Марсии.

Следующие обильно иллюстрированные главы повествовали о различных аспектах доисторической жизни этих существ. Затем речь зашла о переходе племен от кочевого образа жизни к зачаткам земледелия, первых попытках обработки металлов и тому подобном.

История же самой цивилизации была отражена во множестве иллюстраций, смысл которых Лейн угадывал далеко не всегда. Но одно установил он твердо: от земной их историю действительно отличало практически полное отсутствие войн и иных кровопролитий. Казалось, цивилизация Марсии благополучно избежала появления личностей, подобных Чингиз-хану, Атилле, Цезарю и Гитлеру. И получила за это неплохую компенсацию. Невзирая на отсутствие такого мощного стимула, как вооружение армий, технология далеко опередила земную. Сдается, отметил Лейн, в технике стартовали они куда раньше нас. Складывалось впечатление, что соплеменники Марсии значительно опередили человечество и эволюционно: похоже, когда ее раса достигла своего нынешнего вида, предки *Homo sapiens* на Земле еще прыгали по деревьям.

Так или иначе, но техника на планете Марсии намного превосходила земную. Ее обитатели путешествовали по космосу с субсветовыми скоростями, а возможно, и со сверхсветовыми, и давно освоили межзвездные перелеты.

Марсия обратила внимание Лейна на страницу с несколькими фотографиями Земли, сделанными с различного расстояния из космического пространства. Под снимками художник изобразил мрачную фигуру полуобезьяны, полудракона.

— Земля означает для вас *это*?! — изумился Лейн. — Опасность? Не приближаться?

Он еще полистал книгу в поисках фотографий Земли, но больше их не обнаружил. Множество страниц было посвящено самым разным планетам, но его родному дому — лишь эта, единственная. Она исчерпывала тему.

— Почему вы держите нас на дистанции, только наблюдаете издали? — спросил Лейн. — Ведь вы так нас во всем опередили; в техническом отношении мы для вас как дикари. Чего же вы боитесь?

Марсия поднялась с кровати и «показала». Скорчив мрачную физиономию, она злобно зарычала и скрючила пальцы точно хищные когти.

Лейн почувствовал между лопатками холодок. Точно те же изобразительные средства использовала она и при демонстрации безумных действий вырвавшегося на волю самца-десятиножки.

Землянин понурил голову:

— Да, винить вас, пожалуй, не в чем. Вы совершенно правы. Если установите с нами контакт, мы овладеем всеми вашими секретами. И вперед с песней — заполним собою весь космос!

Кусая в задумчивости губы, он добавил:

— Но все же у нас наблюдаются некоторые признаки прогресса. Уже целых пятнадцать лет нет ни больших войн, ни революций. ООН улаживает проблемы, которые могли бы привести к новой мировой войне. Россия и США милитаризованы по-прежнему, но отношения между ними сейчас спокойнее, чем в год моего рождения. Возможно, когда-нибудь...

...Держу пари, что никогда прежде ты не встречала землянина во плоти. Возможно, не видела и на картинке. А если и видела, то лишь в одежде. И в этих твоих книжках ни единой фотографии человека нет. Может, ты и слыхала, что люди делятся на мужчин и женщин, но пока не увидела меня под душем, не очень-то и понимала, что это значит. А потому и провела так ужаснувшую тебя параллель между мной и бешеной десятиножкой. Такой жуткой тварью показался я — и в целом мире тебе не с кем больше разделить одиночество. Все равно что выбраться после кораблекрушения на остров и обнаружить, что единственный его обитатель — изголодавшийся тигр.

...Но все же в чем причина твоего отшельничества на Марсе? Что ты делаешь одна-одинешенька здесь, в этих глухих трубах, среди неразумных туземцев? О, как бы хотелось по-настоящему поговорить с тобой!

С тобой беседуя, забуду о докуке... — продекламировал Лейн нараспев из любимой книги, оставшейся на далекой нынешней базе.

Марсия ласково улыбнулась Лейну, и он добавил:

— Ладно уж, ты преодолела по крайней мере свои страхи. Не так уж я и ужасен, в конце концов, а?

Марсия снова улыбнулась, подошла к шкафчику и извлекла оттуда письменные принадлежности. Затем стала быстро набрасывать эскизы, целую их серию. Следя за ее проворным пером, Лейн начал наконец постигать, что здесь стряслось до его появления.

Инопланетяне долгое, очень долгое время базировались на обратной, невидимой с Земли стороне Луны. И ликвидировали базу, а также все следы своего пребывания лишь после запуска землянами на орбиту первых спутников. А новую базу устроили на Марсе.

Затем, когда стало очевидным, что земляне готовят экспедицию на Марс, здешнюю базу эвакуировали тоже — на Ганимед.

На планете оставалось всего лишь пятеро ученых, завершающих цикл исследований, посвященных десятиножкам. Именно в этом простеньком помещении. Хотя десятиножек изучали уже довольно долго, по-прежнему оставалось неясным, как те переносят разницу между атмосферным давлением и тем, что в трубах. Четверо ученых были совершенно убеждены, что уже нащупали ключ к разгадке, и выговорили себе разрешение отложить вылет до первого появления здесь землян.

Марсия и на самом деле оказалась в каком-то смысле марсианкой, то есть уроженкой Марса — родилась и выросла она уже здесь, на марсианском этапе базирования экспедиции. Она провела на планете семь местных лет — на это указывал рисунок орбиты Марса вокруг Солнца и семь загнутых пальчиков.

По земному летоисчислению выходит около четырнадцати, прикинул Лейн. Возможно, ее соплеменники достигают зрелости раньше нас. Это если Марсия уже взрослая. Определить трудно.

Мрачные воспоминания перекосили милое ее личико и заставили в ужасе округлиться глаза, когда она поведала в рисунках, что стряслось в ночь накануне предполагавшегося отлета на Ганимед.

Ученые мирно спали, когда их атаковал взбесившийся самец десятиножка, сумевший проломить прутья в клетке.

Такое случается чрезвычайно редко. Но иногда самцам все же удается вырваться на свободу. В таких случаях погибают целые колонии, вся жизнь на целых участках труб замирает. Деревья без корней вымирают, и длинные секции туннелей остаются без кислорода.

Для колонии, предупрежденной о надвигающейся опасности, существует лишь один и весьма рискованный способ справиться со взбесившимся самцом-чужаком. Выпустить на волю собственного самца. Для заклания избирается несколько особей; своими гормональными кислотами они растворяют в клетке несколько прутьев, а остальные обитатели колонии спасаются тем временем бегством. Недвижная и нетранспортабельная матка тоже обречена на гибель. Но сохраняются, эвакуируются яйца — в количестве, достаточном для возрождения колонии на новом месте во всей полноте, включая выращивание и новой королевы, и консорта.

Надежда же, вернее, единственный шанс на спасение заключается в том, что в схватке самцы могут уничтожить друг друга или же, если победитель все же уцелеет, то, измотанный

сражением, он станет легкой добычей для охранников инкубатора.

Лейн кивнул. Никаких других естественных врагов, кроме самца, сбегающего время от времени на волю, у десятиножек на планете не было. Размножаясь беспрепятственно, они могли бы заполнить трубы до отказа, истощив запасы пищи и воздуха. Кровавый и бессмысленный на первый взгляд, рейд свирепого зверя играл роль своеобразного демографического регулятора и, может быть, служил в конечном счете обитателям колоний единственной гарантией от голода и окончательного вымирания.

Тем не менее соплеменникам Марсии благодарить столь полезное создание было особенно не за что. Лишь двое из пятидесяти ученых, которых атака чудища застала врасплох, вообще успели проснуться. Один из уцелевших, прикрывая Марсию собственным телом, приказал ей бежать, спастись.

Почти без ума от страха, Марсия все же совладала с собой и сумела не удариться в панику — она бросилась к шкафчику за оружием.

«Оружие! — призадумался Лейн. — Вон оно что. Узнать бы поподробнее».

А Марсия уже показывала, как все происходило дальше. Едва она успела распахнуть дверцы шкафа и дотянуться до оружия, как чудовищный клюв сомкнулся на ее бедре. Невзирая на дикую боль в разорванных мышцах, Марсия изловчилась повернуться и ткнуть стволом в зверюгу. Оружие сработало — тот рухнул как подкошенный, увлекая за собой зажатую мертвой хваткой ногу Марсии.

Здесь Лейн перебил ее, чтобы уточнить, на что похоже упомянутое оружие и каков принцип его действия. Однако выудить что-либо полезное из Марсии на эту тему не удалось. Внешне все выглядело так, будто она не вполне уразумела его интерес, но Лейн не сомневался: Марсия прекрасно все поняла. Просто не доверяла до конца, да оно и понятно. Можно ли винить ее за это? Марсия оказалась бы полной дурой, прояви беспечность в жизненно важных вопросах с такой темной личностью, как он, с неведомой и непредсказуемой для нее переменной — даже не знай о людях она ничего. Но ведь кое-что Марсии уже известно. В конце концов, авторы учебников старались не даром и уже успели сформировать ее мнение, породить предубеждение, вот она и ждет всяческих каверз. Удивительно еще, что не бросила его на погибель в трясине, а что поделила с ним хлеб и вино, казалось уж и вовсе невероятным.

Возможно, Марсию просто допекло одиночество, решил Лейн, и она приняла его общество за неимением более достойного. А может статься, согласно этическим нормам, куда более строгим, чем земные, Марсия просто не могла допустить гибели разумного существа, пусть это, по ее представлениям, и необузданный кровожадный дикарь.

Впрочем, возможно, она имела на него и другие виды — держать в плену, например.

Марсия между тем свое графическое повествование продолжала. От боли в раненой ноге она потеряла сознание, а очнувшись, обнаружила, что начинает приходить в себя и кровожадная тварь. Снова пустив в ход оружие, Марсия на этот раз прикончила ее.

Вот еще кроха полезной информации, отметил Лейн. Их оружие может поражать с различной силой.

Затем, продолжая оставаться на грани между жизнью и смертью, Марсия все же нашла в себе силы доползти до аптечки и проделать с грехом пополам необходимые лечебные процедуры. Через день-другой она уже встала на ноги, шрамы стали затягиваться, осталась лишь легкая хромота.

Во всем они далеко опередили нас, подумал землянин. Судя по рассказу, Марсия сумела в кратчайшее время срastить разорванные мышцы.

Далее она поведала, что регенерация тканей потребовала от организма большого количества энергии и почти все время лечения ей пришлось проводить либо в режиме усиленного питания, либо в спячке. Ничего удивительного: процессы заживления и при обычных темпах протекания требуют немалых энергетических затрат.

За время выздоровления Марсии тела погибших друзей и убитого животного начали разлагаться — новая для нее забота. Преодолев чувства, она расчленила трупы и отправила их в мусоросжигатель.

Рассказывая об этом, Марсия не сумела сдержаться и расплакалась снова.

Лейна интересовало, почему Марсия не захоронила тела коллег, но расспрашивать он не стал. Может быть, таков обычай ее народа — сжигать усопших, но более вероятной причиной землянину представлялась необходимость замести все следы пребывания на Марсе до прилета экспедиции с Земли.

Вместо этого Лейн спросил, вернее, изобразил вопрос, как удалось зверю прорваться в помещение через, казалось бы, непреодолимые ворота бокового туннеля. Утерев слезы, Марсия объяснила, что наглухо ворота запирались лишь днем, когда

десятиножки бодрствовали, либо когда она и ее коллеги сами ложились отдыхать. А когда стряслась беда, одной из ученых как раз пришла очередь отправиться в инкубатор за свежими яйцами. И, как Марсия полагает, та оставила дверь приоткрытой. Разумеется, она же сама первой и погибла, прямо на месте. Когда, перебив спящую колонию, зверь помчался по туннелю, его внимание привлек свет из бокового хода. Остальное уже известно.

А почему, энергично жестикулировал Лейн, сбежавший самец ночью не спал, как все прочие десятиножки? Тот, которого они наблюдали в клетке, вроде бы соблюдал общее биологическое расписание. Да и беспечность мирно спящих стражей королевы-матки как будто свидетельствовала о безопасности колонии в ночные часы.

Увы, это не так, объяснила Марсия. Самец, сбежавший из заключения, не подчинен никаким законам, кроме собственной усталости. Лишь умаявшись от непрерывных убийств и пожирания жертв, он засыпает в изнеможении. А биологические часы не властны над ним. Передохнув, он возобновляет свой кровавый рейд по трубам до следующего привала.

Это вполне объясняет встреченный им по пути участок трубы с увядшими зонтиками, подумал Лейн. А соседняя колония, проникнув в опустошенную зону, немедленно занялась восстанавлением. Для этого и понадобился ей огород с новой зонтичной рассадой.

Как же это угораздило меня и моих спутников, дивился Лейн, за шесть дней ни разу не заметить выходящих на поверхность десятиножек? Каждая колония имеет по меньшей мере один выход со шлюзом, а отсюда до базы разместится в трубах добрых пятнадцать колоний. Возможно, разгадка в том, что десятиножки-огородники выбирались наружу крайне редко. Как Лейн теперь припоминал, ни он, ни остальные не обнаружили на листьях-зонтиках никаких дыр или иных повреждений. Сейчас-то он понимал, что это означало: последний урожай собран уже давно, и растительность созрела для очередной жатвы. Если бы довелось отложить отправку вездеходов на день-другой, они наверняка заметили бы десятиножек-сборщиков за работой. И все могло бы повернуться иначе.

У Лейна были к Марсии и иные вопросы. Относительно корабля, которому предстояло забрать ученых на Ганимед, например. Спрятан ли он где-либо снаружи, или они ожидали его прилета? Если за ними высылался челнок, то как поддерживалась связь с базой на Ганимеде? По радио? Или каким-либо иным, неведомым землянам способом?

Голубые шары! — мелькнула мысль. — Не они ли средство передачи сообщений?

Но ни о чем более подумать Лейн уже не успел — внезапно его сморила накопившаяся за последние сутки усталость. Землянин уснул, как выключился. Последней запомнилась улыбка склонившейся над изголовьем Марсии.

Когда же Лейн проснулся, точнее, с трудом продрал глаза, спина затекла, а во рту было сухо, как в марсианской пустыне. Он приподнялся на жесткой койке как раз вовремя, чтобы заметить Марсию, возвращавшуюся с корзинкой яиц из очередного похода в инкубатор. Лейн сдавленно замычал, как от зубной боли, — это означало, что он проспал полные марсианские сутки.

Шатаясь и путаясь в собственных ногах, доковылял он до душевой. Горячая вода освежила тело и прояснила мысли. Когда же выбрался из-под душа, завтрак уже дымился на столе. Марсия снова провела церемонию причастия, и они приступили к трапезе. Лейн с тоской вспомнил свой обычный утренний кофе. Горячий суп был неплох, но заменить кофе все же не мог. Зато каша из каких-то консервов, на вкус почти фруктовых, пробудила окончательно — в ее состав, видимо, входили тонизирующие вещества.

Пока хозяйка занималась посудой, Лейн решил размяться и занялся физическими упражнениями. Отжимаясь и приседая, он мог без помех прикинуть свои дальнейшие планы.

Каков должен быть его следующий ход?

Долг требовал возвращения на базу для связи с кораблем. Новостей для доклада хватало вполне, даже с лихвой. От таких новостей вся Земля встанет на уши!

Плану возвращения Лейна с Марсией в качестве трофея мешало только одно обстоятельство — она могла воспротивиться.

Присев в очередной раз, Лейн так и застыл неподвижно на корточках. Какой же он олух! Лишь крайней усталостью и полным разбродом в мыслях накануне он мог объяснить теперь собственную слепоту. Марсия ни словом не обмолвилась об оружии, но, ничуть не колеблясь, поведала о Ганимеде — открыла тайну местонахождения новой базы инопланетян! Стало быть, уверена, что ему уже никому и ничего не доведется рассказать. Без подобной уверенности ее болтливость обернулась бы большим проколом в системе их безопасности.

Означать это могло лишь одно — корабль инопланетян уже в пути и вот-вот сядет на Марсе. И заберет с собой не только ее — его, Лейна, тоже. Если бы предполагалось убить, он давно стал бы трупом — незачем и из болота было вытаскивать.

Лейна не включили бы в состав первой марсианской экспедиции, если бы ему не доставало решительности. Спустя пять минут план был готов. Долг его ясен. Следует вырваться на свободу даже вопреки собственным чувствам к Марсии, и если предстоит применить силу — колебаться не приходится.

Для начала следовало чем-то ее связать. Затем собрать вещи: упаковать два скафандра, книги, кое-какие не слишком громоздкие инструменты — путь предстоял долгий. Он заставит Марсию шагать по трубе перед собой до тех пор, пока не доберутся по трубе до окрестностей базы. Там оба натянут скафандры и переберутся под купол. Но ненадолго. Ракету запустить он сумеет. Пусть в одиночку это и рискованный шаг, но раз теоретически он возможен, Лейн справится.

Чтобы избавиться от нервной дрожи, вызванной вынужденным вероломством и необходимостью наказать Марсию за гостеприимство, землянин крепко сжал зубы и на мгновение напряг мышцы. В конце концов, угождала она ему вовсе не из альтруистических побуждений. Судя по всему, что Лейн уже успел понять, Марсия тоже готовила гостю сюрприз.

Вспомнив, что в одном из шкафчиков видел веревку — такую же, как и та, что вытащила его из болота, — Лейн открыл дверцы и достал ее. Марсия, стоя посреди комнаты и поглаживая головку распластавшегося по ее плечам синеокого червя, следила безмятежным взглядом за действиями Лейна. Землянин надеялся подобраться поближе, чтобы застичь врасплох. Никакого оружия при ней сейчас не имелось. Да и вообще, кроме ее любимца, по-прежнему ничего на ней не было — она сияла целомудренной наготой с тех самых пор, как сняла скафандр.

При виде Лейна, приближающегося с веревкой в руках, Марсия заговорила слегка встревоженным голосом. Не нужно было особого телепатического дара, чтобы понять смысл ее слов: она явно интересовалась, что Лейн собирается делать с этой веревкой. Землянин попытался изобразить дружелюбную улыбку и неожиданно безуспешно — его разом скрутила острая физическая боль.

Спустя мгновение — и все после того, как Марсия громко произнесла одно-единственное слово, — муки Лейна стали буквально невыносимыми. Боль, ударив точно под ложечку, отозвалась в горле жестоким рвотным позывом. Рот переполнился слюной и Лейн, обронив веревку, бросился в душ, чтобы не оплошать посреди комнаты.

Спустя десять минут он чувствовал себя вывернутой наизнанку перчаткой. Ватные ноги не держали, и Марсия помогла добраться до кровати.

Уже лежа, Лейн ругался про себя. Вот окаянный желудок! Так отреагировать на необычную пищу в самый ответственный момент! Похоже, удача сегодня отвернулась от Лейна.

Но простое ли это невезение? — задумался Лейн, припомнив, как необычно резко произнесла Марсия некое словцо. Уж не загипнотизировала ли она его, не закодировала ли подобную реакцию его организма на ключевое слово? В иных случаях такое оружие может оказаться посильнее огнестрельного.

Лейн до конца уверен не был в своих догадках. Но казалось весьма подозрительным, что желудок, вроде бы смиравшийся с непривычной пищей до сих пор, вдруг забастовал. Гипноз, впрочем, представлялся слишком маловероятным объяснением случившемуся — как удался бы он, если объект знает от силы десятка два слов на языке гипнотизера?

Язык? Слова? Но так ли уж это необходимо? А если она подсыпала в пищу наркотический препарат, затем разбудила ночью и объяснила мимикой и жестами, как он должен реагировать на определенное слово — фактически закодировала, — и снова уложила спать?

Лейн знал о гипнозе достаточно, чтобы счесть свое предположение вполне правдоподобным. Справедливы его подозрения или же нет, так или иначе он лежал сейчас совершенно беспомощный и едва мог пошевелиться.

Но день не оказался совершенно потерянным. Лейн усвоил еще десятка два слов языка Марсии, а она устроила для него очередной сеанс рисования. Из ряда выразительных эскизов Лейн узнал, что едва не поглотившее его болото в буквальном смысле слова суп, зооглей, подкормка для зонтичной рассады и представляет собой вязкую смесь одноклеточных растений и питающихся ими чуть более крупных форм анаэробных живых существ. Тепло их крохотных водянистых тел предохраняет огород и рассаду от промерзания, но лишь летом, когда ночная температура опускается всего до сорока ниже нуля по Фаренгейту.

После высадки ростков на поверхность труб взамен погибших деревьев суп-зооглей постепенно возвращают, выливая в канал. Рыбы-насосы частично потребляют его в пищу, а частично перекачивают вместе с водой до самого экватора.

Позже Лейн сам попробовал это блюдо и сумел удержать его в желудке. А потом поел и немного каши.

Марсия даже не позволила ему взять тарелку в руки, кормила с ложечки. В ее заботе было нечто столь женственное, столь трогательное, что Лейн и не пытался противиться.

— Знаешь, Марсия, — проглотив очередную ложку каши, сказал землянин, — может, я и не прав. Имею же я право ошибаться? Может быть, между нашими расами все же смогут установиться добрососедские отношения. Только взгляните на нас без предубеждения. Боже, будь ты только настоящей женщиной, я бы влюбился в тебя по уши!

Ты не хотела причинять мне боль, правда ведь? Так уж вышло. Это была простая необходимость, непреложная целесообразность — отнюдь не злой умысел. А сейчас ты нянчишься со мной, своим врагом. Любите врагов ваших, благословляйте проклиняющих вас, благотворите ненавидящим вас...

Марсия, разумеется, не поняла ни слова. Но когда заговорила, Лейн уловил в ее голосе лишь приязнь и ласку — отражение чувств, которые и сам к ней испытывал.

И засыпая, Лейн мечтал о том, как они с Марсией в качестве полномочных представителей двух цивилизаций, двух различных миров приведут свои расы к миру и согласию. За чем дело стало — обе высокоразвиты, обе преследуют лишь мирные цели, обе стремятся блюсти благочестие. И воцарится космическое братство, и не для одних лишь людей, а для всех наделенных душой тварей Божиих, и наступит тогда...

Проснулся Лейн по весьма прозаической причине — его разбудил переполненный мочевой пузырь. Землянин с трудом разлепил веки — и потолок, и стены помещения перед глазами ходили ходуном. Часы на руке расплывались в неясную светящуюся лужицу, лишь неимоверным усилием воли Лейну удалось сфокусировать взгляд и мысленно выпрямить стрелки: циферблат, рассчитанный специально под марсианские сутки, показывал полночь.

Покачиваясь точно пьяный, он с трудом поднялся на ноги. Не только пузырь был переполнен, самого Лейна тоже распирало — от уверенности, что спать бы ему еще да спать под воздействием наркотика, кабы не острая боль в паху. Вот бы найти что принять внутрь, чтобы нейтрализовать наркотик, мелькнула мысль. Тогда он смог бы осуществить свой план немедленно. Но прежде всего в туалет.

Чтобы добраться туда, предстояло миновать спящую Марсию. Та неподвижно лежала на спине, привольно раскинув руки и необычайно широко распахнув рот.

Лейн быстро отвел взгляд в сторону — казалось неловким рассматривать хозяйку в подобной позе.

Но что-то зацепило взгляд, привлекло внимание: движение, крохотный отблеск у нее во рту, словно от бриллиантовой коронки.

Лейн склонился над ней, вгляделся и — в ужасе выпрямился.

Между зубами выростала, поднималась, выползала наружу голова.

Землянин протянул было руку — машинально, — чтобы схватить подлую тварь, но рука застыла на полпути: он узнал вечно недовольные пухлые губки и крохотные синие глаза. Это был червь Марсии.

Сперва землянин решил, что Марсия умерла, задохнулась. Червь не просто расположился во рту, как в чаше — он вылезал из самой глотки.

Но затем заметил, что ее грудь вздымается, как у живой. Казалось, происходящее Марсию вовсе не беспокоит.

Сделав над собой усилие, преодолев мучительный позыв к рвоте, Лейн придвинулся ближе и поднес ладонь к губкам червя.

Теплый воздух с едва слышным шипением коснулся пальцев. Марсия дышала сквозь эту тварь!

— Боже всемогущий! — выдохнул Лейн мгновенно осипшим голосом и подергал Марсию за плечо. Касаться червя он брезговал, да и неизвестно, какими последствиями могло это для нее обернуться. От ужаса Лейн напрочь позабыл о своих коварных планах, он готов был уже лишиться единственного преимущества бодрствующего перед спящей.

Веки Марсии дрогнули, приоткрылись, но пелена сна с огромных серо-голубых глаз так и не спала.

— Только не пугайся! — успокоительно шепнул Лейн.

Легкая судорога пробежала по всему телу Марсии. Ресницы снова плотно сомкнулись, голова откинулась назад, лицо исказилось в гримасе.

Лейну непросто было судить, означало ли это выражение боль или нечто совсем иное.

— Что же это за чудище? — воззвал он. — Может, симбиот? Или все же паразит?

В сознании завертелись обрывки рассказней о кровожадных вампирах, о червях, заползающих внутрь уснувших людей, чтобы высосать жизненные соки.

Неожиданно Марсия резко села на кровати и призывно потянулась к Лейну. Он принял ее руки в свои, продолжая беспомощно вопрошать:

— Что же это такое?

Марсия привлекла его к себе, потянувшись лицом к лицу. Но изо рта высунулся червь, крохотные и пухлые его губки изогнулись омерзительным колечком.

Это был безусловный рефлекс, смесь животного ужаса и брезгливости, и Лейн оказался не в состоянии с ним совладать. Он резко отбросил руки Марсии и отпрянул.

Марсия, словно очнувшись от дурмана, полностью пришла в себя. Червяк, во всю свою тошнотворную длину выпроставшись из ее нутра, жалкой мокрой кучкой шмякнулся на кровать между ног, мгновение-другое недоуменно бился, затем уютно свернулся и, не спуская взгляда синих глазок с землянина, пристроил головку на бедре хозяйки.

Марсия выглядела такой расстроенной, разочарованной и подавленной, что никаких сомнений относительно природы случившегося у землянина уже не оставалось.

Лейн поднялся и сделал шаг назад. Он должен был справиться с собой — вопреки слабости в коленях, вопреки сердцебиению, назло остальным омерзительным ощущениям, — это ведь его призвание, долг ученого.

Лейн снова уселся на кровать, на этот раз за спиной Марсии, за пределами досягаемости червя.

Марсия махнула рукой, указывая Лейну на его кровать, мол, отправляйся досыпать. Похоже, ничего экстраординарного в произошедшем она не усматривает, мелькнула у Лейна мысль.

Но ему требовалось объяснение — без этого было не уснуть. Землянин протянул хозяйке бумагу и перо с ближайшего столика и выразительно почертил пальцами. Пожав плечами, Марсия принялась за рисование. Лейн следил через плечо за ее эскизами. На пятом рисунке она остановилась.

Лейн побледнел, глаза его расширились.

Итак, Марсия все-таки женщина. В том смысле, что вынашивает в себе яйца, яйцеклетки, или как их там еще называть, а порою носит внутри себя и ребенка.

Этого мерзкого так называемого червя. Так называемого. Непросто подобрать ему подходящее, исчерпывающее определение. Слишком много функций сошлось в нем воедино. Червь был личинкой. Червь был ее половым органом, ее фаллосом. А также отпрыском Марсии, плодом ее плоти и крови.

Но не продуктом хромосом. Генетически червь вел иное происхождение, и весьма неожиданное.

И хотя именно Марсии предназначалось родить его, она не являлась ему матерью — ни даже одной из матерей.

Замешательство, смятение, охватившие Лейна, трудно было списать целиком на счет болезненного состояния после вчераш-

них событий. Слишком много новой информации, слишком много новых ощущений. И слишком вдруг все навалилось. Лейн отчаянно пытался все с ходу переварить, разложить по полочкам, но в мыслях царил полный разброд.

«Не с чего впадать в столбняк! — мысленно прикрикнул он на себя. — В самом деле, деление животных на два различных пола — всего лишь один из путей эволюции, апробированный Создателем на Земле. На планете Марсии Господь — или природа — изобрели для высших животных иные методы воспроизводства. И один лишь Бог ведает, сколько еще различных способов размножения существует в бесчисленном множестве обитаемых миров».

Но преодолеть шок землянину все же не удалось — рассуждения помогали слабо.

Этот червяк, нет, эта личинка, этот нематочный эмбрион своей приемной матери... Ладно, остановимся на личинке, так как метаморфоза с ним произойдет позднее.

Эта необычная личинка обречена оставаться в нынешнем виде до самого конца — до смерти от старости.

В случае, если Марсия не сыщет себе пару — другого взрослого ильто. И они не почувствуют взаимного влечения.

Тогда, согласно рисунку, Марсия и ее друг, или любовник, ложатся либо садятся вместе. Подобно всем возлюбленным Вселенной, подобно влюбленным и на планете Земля, они шепчут друг другу нежности, комплименты, пикантные двусмысленности. Как мужчины и женщины Земли, они ласкают и целуют друг друга. Разница лишь в том, что на родной планете Лейна никому и в голову не придет восхититься большим ртом возлюбленного, сделать ему подобный комплимент.

А затем, теперь уже в отличие от земных обычаев, в дело вмешивается третий — и извечный треугольник, для этой расы необходимый и возжеланный, обретает полную и окончательную завершенность.

Разбуженная взаимными ласками возлюбленных, личинка слепо и бессознательно, подчиняясь природному инстинкту, погружает свой хвост сперва в горло одному из двоих ильто. Чтобы принять вовнутрь скользкое тело личинки, в теле приоткрывается мясистый клапан, и открытый кончик ее хвоста прикасается к яичнику хозяина, вернее, хозяйки. Личинка, подобно электрическому угрю, способна вырабатывать слабые токи. Электрохимические реакции приводят хозяйку в экстаз, и яичник испускает яйцеклетку размером с булавоочное острие. Попадая на кончик хвоста, яйцеклетка, побуждаемая сокращением мышц и

подстегиваемая ресничками в канале, начинает путешествие к центру тела личинки.

Затем личинка выскальзывает из тела первой ильто и погружает свой хвост внутрь другой. Весь процесс повторяется. Порою личинка улавливает яйцеклетку, порою же нет — в зависимости от наличия в яичнике полностью развитых гамет и различных иных факторов.

При полной удаче два яйца, две крохотные клеточки сближаются друг с другом — сближаются, но пока не встречаются.

Еще не время.

В темном природном инкубаторе личинки собраться должны и другие яйцеклетки, разбитые по две, и это могут быть клетки от иных донорских пар.

Общее количество таких пар колеблется от двадцати до сорока.

Затем в один прекрасный день, когда яйцеклеток накопится достаточно, включаются таинственные биохимические процессы в теле личинки. Начинает вырабатываться гормон, приводящий к метаморфозе личинки. Она разбухает, и мать-носительница тогда особенно внимательна к будущему чаду; увеличивая рацион из смеси полупереваренной пищи с сиропом до необходимого для интенсивного роста, она нежно ласкает личинку и баюкает и даже пылинке не позволит сесть на драгоценное чадо.

На глазах у матери личинка становится короче и толще. Хвост сжимается; хрящевидные позвонки, не связанные друг с другом в личиночной стадии, сближаются и постепенно окостеневают — формируется скелет. Прорезаются, растут и принимают человеческую форму конечности. Проходит шесть месяцев, и вот уже в колыбельке нечто, весьма напоминающее человеческое дитя.

Дальнейший рост и развитие ребенка вплоть до четырнадцати лет ничем не отличается от земного.

Но с наступлением полового созревания начинаются необычные внутренние перемены. Один за другим в теле ильто вырабатываются гормоны — до тех пор пока не сближается самая первая пара гамет, продремавших долгие четырнадцать лет.

Гаметы сливаются воедино, хроматин одной смешивается с хроматином другой, и из этой смеси в утробе хозяйки зарождается новое существо — четырех дюймов длиной, похожее на червя по своим очертаниям.

Хозяйку тогда начинает подташнивать. Случается рвота. Так, относительно безболезненно, и появляется на свет божий генетически новое существо. Внеутробный зародыш.

Этот безобразный червь, стало быть, и эмбрион, и половой орган, доводящий любовников до оргазма, и хранитель яйцеклеток, и личинка, становящаяся после метаморфозы младенцем, вырастающим после во взрослую особь.

И так без конца.

Лейн поднялся и на неверных ватных ногах доковылял до собственной койки. Здесь присел, понурил голову и забормотал вслух самому себе:

— Давай рассмотрим ситуацию спокойно. Марсия рождает, вернее, выделяет (или же извергает) личинку. Но у самой личинки совершенно нет генов матери — Марсия только ее носитель.

Однако если Марсия вступит в любовную связь, то сможет посредством этого червя передать свои наследственные признаки. Червь вырастет, станет взрослым и родит — выделит — ребенка Марсии.

В отчаянии Лейн воздел руки:

— Но как же ильто справляются с вопросами генеалогии? Как отыскивают родню? И ищут ли вообще? Может, им легче считать своей настоящей матерью приемную мать, мать-носительницу? Как это, в общем-то, и есть в смысле вынашивания и родов.

А какими нормами морали руководствуются они в любви и привязанностях? Наверняка нет ничего с нами общего. Не вижу, не могу вообразить никаких пересечений с нами, никаких общих точек.

А кто несет ответственность перед обществом за личинку, а позднее ребенка? Его приемная мать? Может, часть ответственности и обязанностей по воспитанию ложится на остальных любовников? А как же у них с вопросами наследования собственности? А также...

Лейн беспомощно уставился на Марсию.

Нежно поглаживая головку личинки, она ответила ему спокойным взглядом.

Лейн схватился за голову: «Я ошибался, я был не прав. Ильто и люди не смогут найти общего языка, для этого нет никакой мыслимой основы. Человечествоотреагирует на них как на отвратительных насекомых. Всколыхнутся глубочайшие предрассудки, давно схороненные в потемках людского сознания. Самый факт существования ильто станет осквернением святейших древних табу. Люди не смогут научиться жить вместе с

тобой, Марсия, не станут считать тебя за человека — даже отдаленно.

Но, если разобраться, ведь и ты не смогла бы жить вместе с нами. Вспомнить только потрясение, которое ты испытала, увидев меня нагишом. И такая реакция проявляет лишь часть причин, по которым вы избегали контактов с человечеством!

Отложив дремлющую личинку, Марсия встала, подошла к Лейну и поцеловала кончики его пальцев. Явственно вздрогнув, землянин превозмог себя, подавил отвращение и ответил ей тем же. И мягко при этом произнес:

— Но ведь... отдельные личности могут научиться взаимопониманию, могут даже полюбить друг друга. А народ из них и состоит, из этих самых отдельных личностей.

Затем улегся на кровать. Неустойчивость окружающего пространства, шаткость стен, отступившие на время перед охватившим его возбуждением, вернулись, нахлынули с новой силой. Лейн не мог больше противиться усталости.

— Красивые слова, — бормотал он. — И только. Ничего они не значат. Ильты не хотят иметь с нами никаких дел, а мы, сами того не ведая, выдавливаем их из космоса. Что же случится, когда человечество научится совершать межзвездные скачки? Война? Или же они не позволят нашей технологии развиваться, уничтожат нас и нашу промышленность до того, как это произойдет? В сущности, хватило бы всего лишь одной кобальтовой бомбы...

Лейн повернул голову и снова взглянул на Марсию, на ее не вполне человеческое, но прекрасное лицо, на мраморную кожу груди, живота и лобка, целомудренно гладких, лишенных даже намека на соответствующие женские органы. Из какого ужасающего далека явилась она сюда, из каких загадочных мест? Какие безбрежные пространства пришлось ей покорить в пути, какие гибельные опасности преодолеть! И все же Лейн испытывал мало трепета по отношению к ней — куда больше приязни, тепла и симпатии. К Марсии, столь дружелюбной, человеческой и привлекательной...

Словно невидимый тумблер щелкнул в голове, и в память хлынули строчки — те самые, что Лейн перечитывал в ночь накануне похода:

Я сплю, но бодрствует сердце мое. Голос! То стучится возлюбленный мой: Отвори мне, сестра моя, подруга моя, горлинка моя, чистая моя...

Сестрица у нас маленькая, и грудей нет у нее. Что сделаем мы для сестры нашей в день, когда придут свататься к ней?

С тобой беседуя, забуду о докуке / Постылых буден, коим несть числа...

— С тобой беседуя! — вслух простонал Лейн. Повернувшись на бок, спиной к хозяйке, он безжалостно врезал кулаком по твердой поверхности кровати. — О Боже всемогущий! Почему же это невозможно?

Он долго еще лежал так, уткнувшись лицом в матрас, лелея боль в ушибленной кисти. Что-то случилось — переполнявшее его изнеможение ушло, растворилось, тело словно черпало силу из неведомого источника. Лейн не засыпал. Убедившись в этом, он сел на кровати и с улыбкой поманил к себе Марсию.

Заметив призыв, она поднялась и неторопливо направилась к нему. Лейн показал жестом, чтобы прихватила с собой личинку. Лицо Марсии сперва исказила гримаска растерянности, затем оно прояснилось — замешательство уступило место радостному пониманию. Счастливо улыбаясь, она приблизилась, и, хотя Лейн уверял себя, что это всего лишь игра расшалившегося воображения, ему казалось, что и бедра у Марсии покачиваются при ходьбе — точь-в-точь женские.

Перед кроватью она помешкала мгновение, затем пригнулась, порывисто прижалась губами к губам Лейна и томно зажмурилась.

Какую-то долю секунды Лейн тоже колебался. Она — оно, поправил Лейн сам себя — выглядела такой ласковой и женственной, была столь доверчива, столь бесхитростна, что перейти к действиям оказалось не так-то и просто.

— Ради Земли! — выкрикнул он взбешенно, нанося по хрупкой шейке удар ребром ладони. Марсия, скользнув лицом по груди Лейна, мгновенно обмякла у него на руках. Лейн подхватил ее под мышки и уложил на кровать лицом вниз. Выпавшая из руки Марсии личинка корчилась на полу от боли и недоумения. Землянин подхватил ее за хвост и в неистовстве, в бешенстве на самого себя — за свой собственный страх, страх перед тем, что творит, — стегнул ею, как плетью. Головка личинки с негромким хрустом врезалась в пол, изо рта и глаз брызнула кровь. Лейн наступил на нее и давил ногами, топтал, давил, топтал — пока не растер по полу совершенно.

Торопливо, пока Марсия не пришла в себя и снова не пустила в ход свое гипнотическое оружие, подбежал к шкафчику.

Выхватив оттуда узкое длинное полотенце, запихнул конец ей в рот. Затем прочно стянул руки за спиной веревкой.

— Ну что, сука! — хрипло выдохнул он после. — Теперь посмотрим, кто кого! Ты сама собиралась проделать это со мной. Ты сама на это и напросилась. А тварь твоя мерзкая, кроме смерти, ничего и не заслуживала!

Лейн стал яростно складывать вещи. В четверть часа он скатал костюмы, собрал шлемы, баллоны, продукты — все, что могло понадобиться в пути и после, — увязал в два здоровенных узла и отправился на поиски пресловутого оружия. Что-то похожее Лейн как будто нашел: рукоятка удобно ложилась в ладонь, лимб служил, похоже, для изменения интенсивности выброса, какова бы там ни оказалась его природа, на конце ствола — пузырь, похожий на емкость. Лейн предположил, что оттуда и исходит неведомая убийственная энергия. Он вполне мог ошибаться — незнакомый предмет мог предназначаться для самых неожиданных, совершенно противоположных и вполне мирных целей.

Марсия очнулась и зашевелилась. Перекатившись на бок, она уселась на краю кровати, свесила голову и сгорбила плечи. Слезы, сбегающие по щекам, исчезали в полотенце-кляпе. Немигающий, остановившийся взгляд был прочно прикован к кровавой лужице под ногами.

Схватив за плечи, Лейн рывком поставил ее на ноги. Марсия смерила землянина диким, отсутствующим взглядом. Лейн грубо пихнул ее. Внутренне он ощущал дурноту от содеянного с личинкой, но от собственного страха — не перед ней, перед самим собой, перед своими поступками — становился все яростнее. Омерзение к простодушной Марсии, попавшей в ловушку собственных чувств, перекрывалось в Лейне отвращением к самому себе — он чувствовал, что еще немного, и он совершил бы грех, содеял бы с нею любовный акт. Содеял — очень точное слово, подумал он. В нем есть некий криминальный аспект.

Марсия повернулась, вернее, попыталась повернуться к Лейну, едва не потеряв равновесие. Она пыталась что-то сказать, она дико вращала глазами, но сквозь кляп прорывалось лишь глухое невнятное мычание.

— Заткнись! — рывкнул Лейн, снова подталкивая Марсию вперед. Она споткнулась, и лишь чудом, упав на колени, избежала от удара лицо. Лейн снова поставил Марсию на ноги, заметив при этом, что колени у нее кровоточат. Вид крови ничуть не смягчил Лейна — наоборот, разъярил пуще прежнего.

— Смотри у меня! Хуже будет! — прорычал землянин.

Марсия снова обратила к нему умоляющий взгляд, откинула назад голову и издала странный сдавленный звук. Лицо приобрело голубоватый оттенок, а секунду спустя она уже тяжело грохнулась об пол.

Встревоженный, Лейн перевернул Марсию на спину. То был глубокий обморок, вызванный удушьем.

Землянин вытащил кляп, запустил пальцы в рот и схватился за основание языка. Тот выскальзывал, как живой.

Наконец Лейн вытащил язык наружу, вытащил из глубины глотки — заглотив его, Марсия пыталась свести счеты с жизнью.

Лейн подождал. Когда увидел, что она приходит в себя, вернул кляп на место. Завязывая узел сзади на шее, задумался — как быть дальше? Если убрать кляп, Марсия одним своим словом сможет вызвать у него новый приступ мучительной рвоты. Если оставить, снова попытается покончить с собой.

Так придется оживлять ее постоянно. И в конечном счете очередная попытка самоубийства увенчается успехом.

Единственный способ решить две эти проблемы одним махом — отрезать язык у самого основания — казался Лейну чудовищно жестоким. Ни говорить, ни задушить себя тогда она больше не сможет. Кто-то другой на его месте не стал бы колебаться ни секунды, Лейн же решиться на такое не мог, не находя в себе сил.

Был еще один способ заставить ее молчать — смерть.

— Не могу же я хладнокровно зарезать тебя! — воскликнул Лейн. — Если ты ищешь смерти, тебе придется самой об этом позаботиться. Я помогать не стану. Вставай и пошли. Я возьму твой багаж, и мы выходим.

Марсия снова посинела и, обмякнув, осела на пол.

— А ну, вставай! Сама, без моей помощи! — заорал Лейн и неожиданно поймал себя на том, что бессознательно разрывает ногтями узел кляпа.

«Какой же я дурак! — сообразил Лейн, отбросив кляп в сторону. — Конечно же! Решение лежало под самым носом. Опробовать на ней ее собственное оружие! Повернуть лимб на не смертельный, оглушающий уровень и ткнуть стволом в нее, когда придет в сознание».

При таком методе путешествия ему придется тащить на себе и пожитки, и саму пленницу все тридцать долгих миль, отделяющие от базы, но ничего — он справится. Соорудит нечто вроде салазок — и справится! Ничто и никто его не остановит. А на Земле...

Услыхав за спиной какой-то необычный шум, Лейн резко обернулся. Двое ильто в скафандрах стояли поодаль, а из туннеля как раз вываливался третий. И у каждого в руках оружие, та же самая палка с баллоном-набалдашником.

В полном отчаянии Лейн схватился за свое оружие, заткнутое за пояс. Левой рукой мгновенно подправил лимб на баллоне, надеясь, что увеличивает мощность до максимума, и направил ствол на неожиданных гостей...

Очнулся Лейн, лежа на спине в полном своем облачении, лишь без шлема на голове. Он был плотно примотан к чему-то жесткому и шевелиться не мог — разве что голову повернуть. Так он и поступил: в поле зрения оказалось множество ильто, занятых демонтажом оборудования. Тот, вернее, та, что успела опередить Лейна с выстрелом, стояла рядом.

Ильто заговорила по-английски совершенно правильно, лишь с легким певучим акцентом:

— Успокойтесь, пожалуйста, мистер Лейн. Вам предстоит весьма долгое путешествие. Когда мы окажемся на корабле, вам предоставят несколько большие, нежели сейчас, удобства.

Лейн открыл было рот, чтобы спросить, откуда ей известно его имя, но осекся. Нет сомнений: они прочли записи в бортовом журнале базы. А что ильто заговорила по-английски, так этого тоже следовало ожидать — недаром же почти столетие их сторожевые корабли болтаются в окрестностях Земли, перехватывая сперва радиопередачи, а теперь и телепрограммы. Лейн промолчал.

Тогда Марсия сообщила нечто ильто-капитану. Выглядела она скверно: воспаленные, заплаканные глаза, следы ушибов на лице, кровоподтеки на теле.

Переводчица обратилась к Лейну:

— *Майршийя* требует объяснений, почему вы убили ее ребенка. Она не понимает, зачем это вам понадобилось.

— Ответа не будет, — процедил Лейн. Собственная голова казалась ему легкой, точно воздушный шарик. И стены комнаты снова стали покачиваться.

— Я сама объясню ей почему, — отрывисто бросила переводчица. — Потому что такова природа всех земных скотов.

— Это неправда! — вскричал Лейн. — Я не скотина! Я сделал это, потому что был вынужден! Я не мог принять ее любовь, не мог переспать с ней и остаться после этого человеком. Даже подобием человека...

— *Майршийя*, — перебила переводчица, — будет молиться за вас, будет умолять Создателя, чтобы простил вам смерть ее

ребенка. И чтобы скорее наступил день, когда вы под нашим руководством отучитесь совершать подобные поступки. Сама она, хоть и убита горем, прощает вас. Она уверена, придет час, и вы научитесь относиться к ней как к *сестре*. Она думает, что ростки добра в вас еще сохранились.

Лейн скрежетал зубами и до крови искусал себе язык и губы, пока на него нахлобучивали шлем. Он не осмеливался произнести ни слова — знал, что сорвется в крик, впадет в постыдную истерику. Внутри его разгорался огонь — такое чувство, будто нечто, прорвав оболочку, разрастается в нем гигантским алчным червем. Червь пожирал Лейна, изгрызал заживо. И Лейн не ведал, не мог знать, чем все это может для него закончиться.

МАТЬ

1

— Смотри-ка, мама. Часы идут назад.

Эдди Феттс указал на стрелки циферблата в штурманской рубке.

— Их наверняка развернула авария, — заметила доктор Паула Феттс.

— Как же такое могло произойти?

— Не могу сказать тебе, сынок. Я ведь не знаю всего.

— О!

— Да не смотри же на меня с таким разочарованным видом. Я — патолог, а не специалист по электронике.

— Не сердись так, мать. Терпеть не могу этого. Только не сейчас.

Он вышел из штурманской рубки. Беспокоясь за сына, она последовала за ним. Похороны ее ученых коллег и членов команды сильно утомили его. От вида крови у него всегда кружилась голова, и ему становилось дурно. Он едва двигал руками, помогая ей собирать и складывать в мешки разбросанные повсюду кости и внутренности.

Он хотел сжечь все трупы в ядерной топке, но она запретила. В средней части корабля громко отстукивали счетчики Гейгера, предупреждая, что на корме присутствует невидимая смерть.

Метеорит, который столкнулся с кораблем в момент его выхода из гиперпространства в обычный космос, очевидно, разрушил машинное отделение. Именно так поняла она те бессвязные слова, которые ей в крайнем возбуждении выкрикнул ее коллега перед тем, как убежать в штурманскую рубку. Она

поспешила тогда на поиски Эдди. Она боялась, что дверь в его каюту окажется по-прежнему запертой, так как он записывал на пленку арию «Тяжело парит альбатрос» из «Старого моряка» Джианелли.

К счастью, аварийная система автоматически выбила замыкающие контуры. Войдя в каюту, она в испуге позвала его, страшась обнаружить, что его ранило. Он лежал на полу в полубессознательном состоянии, но не катастрофа с кораблем швырнула его туда. Причина лежала в углу, выкатившись из его вялых пальцев: термос емкостью в одну кварту, снабженный резиновой соской специально для условий невесомости. Каюта была пропитана выдыхаемыми открытым ртом Эдди парами ржаного виски, ржанки, которых не смогли перебить даже пилули Нодора.

Мать резко приказала ему подняться и лечь в постель. Ее голос — первое, что он услышал, — пробился сквозь плотные барьеры Старой Красной Звезды. Он стал с трудом подниматься, и Мать, хоть была и меньше его, каждую унцию своего веса бросила на то, чтобы поднять его и уложить в постель.

Она легла рядом с сыном и обвязалась ремнями вместе с ним. Она поняла, что спасательная шлюпка также вышла из строя и вся ответственность теперь ложится на капитана, которому предстоит благополучно посадить их яхту на поверхность этой неизведанной планеты Бодлер, известной лишь как точка на звездной карте. Все остальные ушли в штурманскую рубку, чтобы сесть позади капитана и, привязавшись в противоаварийных креслах, помочь ему хотя бы своей молчаливой поддержкой.

Но моральной поддержки оказалось мало. Произведя маневр, корабль пошел к планете под небольшим углом. Слишком быстро. Израненные двигатели были не в силах удержать его. Нос корабля принял на себя основной, сокрушающий удар. Как и те, кто сидел в носовой части.

Доктор Феттс, прижав к груди голову сына, громко молилась своему Богу. Эдди похрапывал и бормотал во сне. Затем раздался звук, похожий на лязг ворот страшного суда — ужасный, потрясающий душу бом-м-м, словно корабль был языком гигантского колокола, прозвонившего самое грозное послание, какое только слышало человеческое ухо. Потом ослепляющий взрыв света и — темнота, тишина.

Через несколько минут Эдди принялся плаксиво выкрикивать голосом обиженного ребенка:

— Мама, не оставляй меня умирать! Вернись! Вернись!

Мать, без сознания, лежала рядом, но он не знал этого. Он еще немного похныкал, а затем, снова впад в затуманенное

ржанкой состояние оцепенелости — если он вообще выходил из него, — заснул. И вновь — лишь темнота и тишина.

Шел второй день после аварии — если словом «день» можно передать сумеречное состояние атмосферы на Бодлере. Доктор Феттс повсюду сопровождала своего сына, куда бы тот ни пошел. Ведь он такой чувствительный, и его так легко вывести из душевного равновесия. Он был таким с самого рождения. Она знала об этом и всегда старалась встать между ним и тем, что могло расстроить его. Она считала, что довольно хорошо справляется — пока три месяца тому назад ее Эдди не сбежал с длинноногой пепельной блондинкой Полиной Фамё. С актрисой, чье трехмерное изображение в записи отправили на передовые рубежи осваиваемого звездного пространства, где нехватке актерского таланта придавали гораздо меньше значения, нежели роскошной, красивой груди. Поскольку Эдди был хорошо известным в Метрополии тенором, свадьба наделала много шума, отзвуки которого пронеслись по всей цивилизованной галактике.

Бегство очень расстроило доктора Феттс, но она тешила себя надеждой, что как нельзя лучше спрятала свое горе под улыбавшейся маской. Она не сожалела, что вынуждена уступить сына. В конце концов, он был уже взрослым мужчиной, а не ее маленьким мальчиком. Но в действительности он не расставался с ней с восьми лет, если не считать театральных сезонов в Метрополии и его гастрольных поездок.

В тот раз она уехала в свадебное путешествие со своим вторым мужем. А потом они с Эдди никогда не расставались надолго, потому что тогда Эдди серьезно заболел, и она была вынуждена поскорее вернуться и ухаживать за ним. Тем более Эдди тогда настойчиво твердил, что она — единственная, кто может вылечить его.

Кроме того, нельзя считать дни, когда он был занят в опере, полностью потерянными, так как он каждый день связывался с ней по видеолучу и они подолгу разговаривали. Стоимость таких свиданий не имела для них значения.

Не успели стихнуть отзвуки громкой свадьбы ее сына, как через неделю за ними грянули еще более раскатистые отзвуки. Они несли в себе слухи о раздельном проживании Эдди и его жены. Через две недели Полина подала на развод по причине несовместимости. Эдди вручили документы на квартире его матери. Он вернулся к ней в тот же день, когда они с Полиной согласились, что из их совместной жизни «ничего путного не выходит» или, как он выразился в разговоре с матерью, «на лад у них дело не идет».

Доктор Феттс, разумеется, сгорала от любопытства относительно причины их развода, но, как она объяснила своим друзьям, «уважала его молчание». Но она не поделилась с ними своей уверенностью в том, что придет время и он расскажет ей все.

Вскоре после этого у Эдди начался «нервный срыв». Он стал раздражительным, унылым и вечно ходил в подавленном настроении. А потом ему стало еще хуже, когда так называемый друг рассказал Эдди, что Полина при любом упоминании его имени громко и долго смеется. Друг добавил, что Полина обещала как-нибудь рассказать правдивую историю их недолгого союза.

В ту ночь его матери пришлось вызывать врача.

В последующие дни она размышляла, не оставить ли ей должность ученого-патолога в Де Круифе и целиком посвятить себя ее мальчику, чтобы помочь ему «снова встать на ноги». Прошла неделя, а она так и не нашла решения, что говорило о напряженной борьбе, происходившей в ее уме. Обычно склонная к мгновенным решениям какой-либо проблемы, она не могла так просто согласиться сдать свое любимое детище на тканевую регенерацию.

И как раз в то время, когда она была уже на грани того, что, с ее точки зрения, всегда казалось невысказанным и постыдным — то есть выбрать решение, подбросив монету, — по видеолучу с ней связался ее руководитель. Он сообщил ей, что ее вместе с группой биологов включили в состав научной экспедиции к десяти заранее намеченным планетарным системам.

Она с радостью выбросила все бумаги, по которым ее Эдди передавался в санаторий. И поскольку Эдди был довольно известен, она использовала свое влияние, чтобы правительство решило ему присоединиться к экспедиции. Якобы ему нужно ознакомиться с уровнем развития оперы на планетах, колонизированных землянами. В том, что круиз на космической яхте не предусматривает посещение колонизированных планет, оказались заинтересованы, похоже, некоторые управления. Но в истории правительства такое случается не впервые — когда его левая рука не ведает, что делает правая.

На самом же деле он подвергнется «переработке» с помощью своей родной матери, считавшей, что справится с его лечением куда лучше, чем специалисты по какой-нибудь широко употребляемой А-, F-, J-, R-, S-, K- или H-терапии. Правда, некоторые из ее коллег сообщали потрясающие результаты применения определенных методов, закодированных символами. С другой стороны, двое из ее ближайших друзей испробовали все эти методы, но не извлекли из них никакой пользы. Она — его мать и

сможет сделать для него больше, чем любой из тех «символистов». Ведь он — плоть от ее плоти, родная кровинка. Кроме того, он не так уж и болен. Просто иногда он ужасно хандрит и напыщенно, но очень неестественно угрожает покончить жизнь самоубийством; а то и просто сидит, уставившись в пространство. Но она сумеет найти к нему подход.

2

Итак, она последовала за ним от идущих вспять часов к его каюте. И увидела, как он, шагнув за порог и бросив взгляд внутрь, повернулся к матери с искаженным лицом:

— Сломался Недди, мама. Совсем сломался.

Она взглянула на пианино. В момент столкновения оно оторвалось от стенных стоек и врезалось в противоположную стену. Для Эдди это было не просто пианино — оно было Недди. Каждой вещи, с которой он соприкасался на не слишком короткое время, он давал ласкательное имя. Будто он перемещался, прыгая от одного названия к другому — как старый моряк, который теряется вдали от привычных, имеющих свои обозначения ориентиров на береговой линии, и успокаивается, лишь приближаясь к ним. Казалось, будто Эдди, не давай он вещам имена, беспомощно дрейфовал бы в океане хаоса, бесцветном и бесформенном.

Или же, по аналогии, наиболее отвечающей ему, он был как бы завсегдатаем ночных клубов, который чувствует себя погибающим, если не перепрыгивает от одного стола к другому, перемещаясь от одной хорошо известной группы лиц к другой и избегая близких безымянных манекенов за чужими столами.

Он не плакал по Недди. Хотя ей хотелось бы этого. Во время полета он был таким безразличным. Казалось, ничто, даже не имеющее себе равных великолепие обнаженных звезд или невыразимая чуждость незнакомых планет, не могло надолго поднять ему настроение. Если б он только зарыдал или громко расхохотался, или проявил хоть какие-то признаки того, что он остро реагирует на происходящее! Она бы даже приветствовала, если бы он в гневе ударил ее или как-то обозвал.

Но нет, даже когда они собирали изуродованные останки и ей даже показалось, будто его сейчас вырвет, он и тогда не уступил настоятельным требованиям своего организма излиться. Она понимала, что, если бы его стошнило, ему стало бы от этого гораздо лучше, он бы во многом избавился от психического расстройства, а заодно и физического.

Но его не стошнило. Он продолжал собирать куски мяса и кости в большие пластиковые пакеты, и его взгляд, сохраняя обиженное и угрюмое выражение, оставался неподвижен.

Сейчас она надеялась, что потеря пианино окажется для него настолько тяжелым ударом, что он будет сотрясаться от рыданий. Тогда она смогла бы прижать его к себе и разделить с ним его горе. Он снова был бы ее маленьким мальчиком, который боится темноты, боится собаки, сбитой машиной, который ищет в ее объятиях надежное укрытие, надежную любовь.

— Пустяки, малыш, — проговорила она. — Когда нас отсюда вызволят, мы достанем тебе новое пианино.

— Когда!..

Подняв брови, он сел на краю постели.

— Что нам теперь делать?

Она оживилась.

— Ультрад автоматически включился в момент столкновения с метеоритом. И если во время аварии он не вышел из строя, то он все еще посылает сигналы бедствия. Если же вышел, то тут уж мы с тобой ничего не поделаем. Ни ты, ни я понятия не имеем, как его чинить.

Хотя возможно, за те пять лет, как открыли эту планету, на ней могли высадиться другие экспедиции. Пусть не с Земли, но с каких-нибудь земных колоний. А то и с чужих планет, не человеческих. Кто знает? Стоит попытаться счастья. Посмотрим.

Одного взгляда было достаточно, чтобы их надежды рухнули. В разбитом и покореженном ультраде невозможно было узнать прибор, который со сверхсветовой скоростью посылает волны сквозь гиперпространство.

— Такие вот дела, значит! — нарочито бодро произнесла доктор Феттс. — Ну и что? С ним все было бы чересчур просто. Давай-ка пойдем на склад и поглядим, что там можно себе присмотреть.

Эдди, пожав плечами, последовал за ней. Там она настояла, чтобы каждый из них взял по панраду. Если бы им по какой-либо причине пришлось разлучиться, то они всегда смогли бы связаться друг с другом, а с помощью ПЛ — встроенного пеленгатора — даже определить местонахождение каждого. Зная о работе этих приборов не понаслышке, они имели представление об их возможностях: какими жизненно необходимыми они являются на поисковых маршрутах или когда приходится далеко уходить и ночевать под открытым небом.

Панрады представляли собой легкие цилиндры около двух футов в высоту и восьми дюймов в диаметре. В них находились тесно смонтированные механизмы, выполнявшие дюжины две

полезных функций различных назначений. Их батареи, рассчитанные на год работы без подзарядки, практически никогда не выходили из строя и работали почти при любых условиях.

Держась подальше от середины корабля, где зияла огромная дыра, они вынесли панорамы наружу. Длинноволновый диапазон просматривал Эдди, а его мать в это время перемещала шкалу-настройку на коротких волнах. Правда, никто из них и не рассчитывал услышать хоть что-то, но искать было все же лучше, чем не делать ничего.

Найдя частоты модулированных волн свободными от сколь угодно значащих шумов, Эдди переключился на незатухающие волны. Он вздрогнул, услышав морзянку.

— Эй, мам! Что-то на 100 килогерцах! Немодулированная волна!

— А как же иначе, сын, — отозвалась она, возликовав, но с легкой долей раздражения. — Что еще можно ожидать от радиотелеграфного сигнала?

Она отыскала диапазон на своем цилиндре. Эдди безучастно взглянул на нее:

— Я в радио полный профан, но это не азбука морзе.

— Что? Ты, наверное, что-то путаешь!

— Не... не думаю.

— Так морзе это или нет? Боже правый, сын, неужели ты не можешь хоть в чем-то быть уверенным!

Она включила усилитель. Поскольку они оба обучались во сне азбуке галакто-морзе, она тут же удостоверилась в правильности его предположения.

— Ты не ошибся. И что ты думаешь об этом?

Его чуткое ухо быстро разобралось в импульсах.

— Это не обычные точки и тире. Четыре разных отрезка времени.

Он послушал еще.

— Они подчиняются определенному ритму, прекрасно. Насколько я разбираюсь, их можно разбить на определенные группы. А! Вот эта очень четко выделяется, я ее слышу уже шестой раз. А вот еще одна. И еще.

Доктор Феттс покачала своей пепельной головой. Она не различала ничего, кроме серии *ззт, ззт, ззт*.

Эдди взглянул на стрелку пеленгатора.

— Сигнал идет от NE до E. Ну что, попробуем отыскать это место?

— Конечно, — ответила она. — Но сначала давай лучше поедим. Мы же не знаем, далеко это отсюда или нет и что именно

мы там найдем. А пока я разогреваю пищу, ты как раз успеешь подготовить походное снаряжение для нас обоих.

— Хорошо, — согласился он, выказав большой энтузиазм, чего за ним давно не наблюдалось.

Вернувшись, он съел целую тарелку еды, что приготовила его мать на уцелевшей корабельной плите.

— Ты всегда отлично готовила тушенку, — заметил он.

— Спасибо. Я рада, сынок, что у тебя снова появился аппетит. Даже удивительно. Я думала, что ты расхвораешься от этого.

Он коротко, но энергично махнул рукой:

— Нам бросает вызов неведомое. У меня смутное предчувствие, что для нас все обернется гораздо лучше, чем мы думали. Гораздо лучше.

Она подошла к нему поближе и принюхалась к его дыханию. Оно было чистым, не пахло даже только что съеденной тушенкой. Это значило, что он принял Нодор, что, в свою очередь, наверняка означало, что он потихоньку потягивает припрятанную где-нибудь ржанку. А иначе как тогда объяснить его беспечное безразличие к возможным опасностям? На него это совсем не похоже.

Она ничего не сказала, так как знала, что если он постарался спрятать бутылку в своей одежде или вещевом мешке, пока она готовила еду, то она так или иначе скоро найдет ее. И отберет. А он не будет даже протестовать. Он просто позволит ей взять бутылку из своей вялой руки, обиженно оттопыривая губы.

3

Они отправились в путь. За плечами у каждого было по рюкзаку, в руках — панрады. У него на плече висело ружье, а она пристегнула поверх своего рюкзака небольшую черную сумку с медицинскими и лабораторными принадлежностями.

Неяркое красное солнце дня поздней осени стояло в зените, едва пробиваясь сквозь вечный двойной слой облаков. Его постоянный спутник, сиреневый шарик еще меньших размеров, склонялся к горизонту на северо-западе. Они шли в полумраке, чем-то вроде светлых сумерек. Светлее на Бодлере не бывало. И все же, несмотря на нехватку света, воздух был теплым. Этот феномен, обычный для определенного типа планет за Лошадиной Головой, изучался, но объяснения пока не получил.

Местность была холмистой, с множеством глубоких оврагов. То там то сям виднелись возвышенности, достаточно высокие и обрывистые, чтобы их можно было назвать горами в зачаточном состоянии. Принимая во внимание изрезанность почвы,

тем удивительнее было встретить здесь изобилие растительности. Бледно-зеленые, красные и желтые кусты, лианы и маленькие деревца цеплялись за каждый клочок земли, будь он горизонтальный или вертикальный. У всех растений были широкие листья, которые поворачивались к свету вслед за солнцем.

Шумно пробираясь через лес, оба землянина время от времени вспугивали мелких разноцветных созданий, схожих с насекомыми или с млекопитающими, которые суетливо перебирались из одного укрытия в другое. Эдди решил нести ружье под мышкой. Но потом, когда им пришлось карабкаться вверх и вниз по оврагам и холмам и продираться сквозь густые заросли, ставшие вдруг почти непроходимыми, он снова повесил его на плечо за ремень.

Несмотря на прилагаемые ими усилия, усталости они почти не чувствовали. Здесь они весили фунтов на двадцать меньше, чем на Земле, и, хотя здешний воздух был разреженнее, кислороду в нем содержалось больше.

Доктор Феттс не отставала от Эдди. На тридцать лет старше своего двадцатитрехлетнего сына, она даже вблизи казалась его старшей сестрой. В этом была заслуга пилюль долголетия. Однако сын обходился с ней со всей рыцарской учтивостью, какую оказывают матерям, и помогал ей взбираться по крутым склонам, хотя при этих восхождениях ее впалая грудь не испытывала ощутимой нехватки воздуха.

Они остановились всего один раз, чтобы сориентироваться.

— Сигналы прекратились, — заметил он.

— Безусловно, — отозвалась она.

В эту минуту следящее устройство радара, встроенное в панад, принялось издавать резкие, отрывистые звуки. Оба непроизвольно задрали головы.

— В воздухе нет корабля.

— Но ведь не может же сигнал идти с одного из этих холмов, — заметила она. — Там нет ничего, кроме валуна на вершине каждого из них. Огромные каменные глыбы.

— И тем не менее я считаю, что сигнал идет именно оттуда. О! О! Ты заметила? Мне почудилось, будто позади вон той большущей глыбы откинулось что-то вроде высокого стержня.

Она взгляделась сквозь сумеречный свет:

— Мне кажется, ты выдумываешь, сын. Я ничего не вижу.

Затем при непрекращающихся отрывистых звуках возобновились ззт-сигналы. После резкого всплеска шума все стихло.

— Давай поднимемся и посмотрим, что там такое, — предложила она.

— Что-нибудь диковинное, — высказался он. Она не ответила.

Они перешли вброд ручей и начали восхождение. На полпути к вершине они остановились и стали в замешательстве приноживаться, когда порыв ветерка донес до них какой-то сильный неприятный запах.

— Пахнет, как от клетки с обезьянами, — произнес он.

— В жару, — добавила она. Если у него был чуткий слух, то она обладала великолепным обонянием.

Они продолжали подъем. Радарное устройство принялось истерически вызванивать крохотными гонгами. Эдди растерянно остановился. Пеленгатор показывал, что радиолокационные импульсы идут не с вершины холма, на который они взбирались, как прежде, но с другого холма по ту сторону долины. Панрад внезапно замолчал.

— Что нам теперь делать?

— Закончить начатое. Этот холм. А потом пойдем к другому.

Пожав плечами, он поспешил за ее высокой и стройной длинноногой фигурой в комбинезоне. Она с жаром устремилась к источнику запаха, и ничто не могло остановить ее. Эдди догнал ее еще до того, как она подошла к огромному, размерами с хорошее бунгало, валуну на вершине холма. Она остановилась, чтобы понаблюдать за стрелкой пеленгатора, которая вдруг бешено заметалась перед тем, как замереть на нулевой отметке. Запах обезьян в клетке невероятно усилился.

— Как ты считаешь, не может ли это быть чем-то вроде минерала, генерирующего радиоволны? — разочарованно спросила она.

— Нет. Те группы сигналов были явно смысловыми. И этот запах...

— Тогда что же...

Он не знал, радоваться ему или нет тому, что мать столь откровенно и неожиданно возложила бремя ответственности на него. Его одолевали одновременно гордость и странная робость. Но он чувствовал себя необыкновенно бодрым. В нем появилось, как он подумал, смутное ощущение, будто он стоит на пороге открытия чего-то, что он так долго искал. Каков он был, предмет его поисков, он бы затруднился сказать. Но он был взволнован и особого страха не испытывал.

Он снял с плеча двустволку, сочетавшую в себе пулемет и винтовку. Панрад продолжал молчать.

— Наверное, валун здесь для отвода глаз, а на самом деле маскирует какую-нибудь шпионскую установку, — предположил он. Предположение прозвучало глупо даже для него самого.

Позади него, ахнув, вдруг пронзительно закричала мать. Он тут же развернулся и поднял ружье, но стрелять было не во что. Дрожа всем телом, она указывала на верхушку холма через долину и что-то невнятно говорила.

Он разглядел там длинную тонкую антенну, высунутую, по видимому, из чудовищного валуна. В тот же миг в его мозгу вспыхнули сразу две мысли-соперницы: первая — то, что на обоих холмах, на кромках уступов, имелись почти одинаковые по структуре камни, не просто совпадение; и вторая — то, что антенну, по всей вероятности, выдвинули совсем недавно. Он уверен, что когда он смотрел на тот холм прошлый раз, то ее там не видел.

Эдди так и не довелось поделиться с матерью своими умо-заключениями, так как сзади его схватило что-то тонкое, гибкое и сильное, с чем невозможно было совладать. Его подняли в воздух и повлекли назад. Уронив ружье, он попытался голыми руками схватиться с этими ремешками или щупальцами, обвинившимися вокруг него, и оторвать их от себя. Но тщетно.

Он в последний раз мельком увидел свою мать, бегущую вниз по склону холма. Занавес опустился, и он очутился в кро-мешной тьме.

4

Если Эдди не обманывали собственные ощущения, то его, развернув, щупальца все еще держали в подвешенном положении. Он не мог, конечно, утверждать с полной уверенностью, но ему казалось, что лицом он теперь обращен в противоположном направлении. Щупальца, сжимавшие его ноги и руки, вдруг разжались. В их тисках осталась лишь поясница. Ее так сдавило, что он даже вскрикнул от боли.

Затем его повлекли вперед. Носками ботинок он все время наталкивался на какую-то упругую массу. Вскоре движение вперед прекратилось, и он, обратясь лицом неизвестно к какому ужасному чудовищу, был внезапно атакован — но орудием нападения был не острый клюв, не зубы и не нож или какой-либо другой режущий или рубящий инструмент, а густое облако уже знакомого обезьяньего аромата.

При других обстоятельствах его скорее всего стошнило бы. Но сейчас его желудку не дали времени среагировать. Щупальце подняло его выше и резко толкнуло во что-то мягкое и податливое — некое подобие плоти, что-то очень женственное. Почти как женская грудь — по своей шелковистости, особой гладкости и теплу, а еще по неуловимому нежному изгибу.

Он вытянул руки и ноги, готовясь к чему-то ужасному, так как на мгновение ему показалось, что он вот-вот провалится куда-то внутрь и его окутают с головой — обволокут со всех сторон — и проглотят. Мысль о гигантском амебообразном животном, притаившемся в пустотелой глыбе камня — или камнеподобном панцире, — заставила его извиваться, визжать и толкать этот ужасный сгусток протоплазмы.

Но ничего подобного не произошло. Его не швырнули в удущающий и слизистый студень, который сначала сожрал бы кожу, потом мясо, а под конец размолот бы его кости. Его просто снова и снова кидали в мягкую опухоль. Каждый раз он толкал ее, бил по ней ногой или кулаком. После многократных и явно бесполезных подобных действий его отодвинули назад, словно тот, кто это делал, был озадачен его поведением.

Он перестал кричать. Было слышно лишь его хриплое дыхание да зззт-сигналы и отрывистые звуки, которые издавал панрад. Как только его чуткое ухо уловило все эти звуки, в ту же минуту зззт-сигналы поменяли ритм и выстроились в узнаваемый узор шумовых всплесков — три блока, снова и снова повторяющихся.

— Кто же ты? Кто же ты?

С таким же успехом, конечно, это можно было принять за «Кто ты такой?» или «Да какого черта!», или «Нор смоз ка поп?».

Или же вообще ничего — если говорить о смысловой нагрузке слова.

Что касается последнего, то он так не думал. И когда его осторожно опустили на пол и щупальце уползло куда-то в темноту — один Бог знает куда, — он пришел к убеждению, что существо что-то ему сообщало — или пыталось сообщать.

Именно эта мысль и удержала его от крика и беготни по темной и дурно пахнувшей камере в тщетных поисках выхода. Справившись с чувством паники, он рывком открыл заслонку сбоку на панраде и сунул в отверстие указательный палец правой руки. Там он держал палец наготове над клавишей и, уловив момент, когда существо сделало паузу в своей передаче, тут же, как мог, отправил назад полученные им сигналы. Чтобы попасть в диапазон 100 килогерц, ему не обязательно было включать свет и накручивать диск. Прибор автоматически настраивался на нужную ему частоту.

Самым странным во всей процедуре было то, что все его тело неудержимо дрожало — кроме одной его части. Это был указательный палец, единственный элемент, который, как ему представлялось, имел определенное назначение в этой, казалось бы, бессмысленной ситуации. Это была та его часть, которая

помогала ему выжить на данный момент — единственная часть, которая знала, как это делать. Даже его мозг, и тот, похоже, существовал отдельно от пальца. Вроде как палец был сам по себе, а остальное просто случайно оказалось сцепленным с ним.

Он кончил, и передатчик снова заработал. Блоки на этот раз распознать не удалось. Они подчинялись определенному ритму, но что они означают, он не знал. Радиопеленгатор тем временем стал подавать сигналы. Нечто, скрывавшееся в темном логове, являлось обладателем радиолуча, который держал его под прицелом.

Он нажал на кнопку на верхней части панрада, и встроенный фонарик высветил прямо перед ним стену из красновато-серого эластичного вещества. На стене он увидел светло-серую шаровидную опухоль около четырех футов в диаметре. Вокруг нее, придавая ей облик медузы, извивалось двенадцать очень длинных и очень тонких щупальцев.

И хотя он боялся, что если он повернется к щупальцам спиной, то они схватят его, любопытство побудило его развернуться кругом и с помощью яркого фонарика внимательно осмотреться. Он находился в яйцеобразной камере около тридцати футов в длину, двенадцати — в ширину и от восьми до десяти в высоту в средней ее части. Стены камеры были из красновато-серого материала, в основном гладкого — если не считать голубых и красных трубок, находившихся на неодинаковом расстоянии друг от друга. Вены или артерии?

В стене выделялась одна ее часть размерами с дверь, которую сверху вниз пересекала вертикальная щель. Ее окаймляли, словно бахромой, щупальца. Он предположил, что это нечто вроде ирисовой диафрагмы* и что именно через эту диафрагму-дверь его затащили вовнутрь. На стенах звездообразными кусками расположились щупальца, и они же свисали с потолка. Из стены, противоположной диафрагме, торчал стержень, свободный конец которого увенчивался кольцевым хрящевым гребнем. Когда Эдди двигался, за ним двигался и слепой кончик стержня — будто радарная антенна, следящая за тем объектом, местонахождение которого она определяет. Такие вот дела. И если он не обманывался, этот стержень являлся также и приемопередатчиком несущей частоты.

Он обвел лучом вокруг себя. Высветив самый дальний от него угол, он открыл от изумления рот. Прижавшись друг к

* Состоит из тонких серповидно изогнутых пластинок, обеспечивающих плавное изменение отверстия, через которое лучи проходят в камеру фотокиносъемочного аппарата. (Здесь и далее примеч. пер.)

другу, на него смотрели с десятков живых существ! Размером почти в половину взрослой свиньи, они выглядели не больше и не меньше как улитками без ракушек. Глаз у них не было, а росший на лбу каждого из них стерженек являлся миниатюрной копией такого же стержня на стене. Они не казались опасными. Их разинутые крохотные рты были беззубыми, а скорость передвижения, по всей вероятности, была слишком мала, так как двигались они, как и все улитки, на мощном пьедестале из плоти — мускульной ножке.

Впрочем, если он уснет, они, чего доброго, могут наброситься на него и одолеть одним лишь числом, а эти рты, возможно, источают кислоту для переваривания пищи или, к примеру, могут прятать отравленное жало.

Его размышления были неожиданно и грубо прерваны. Его схватили и, подняв, передали другой группе щупальцев. Те перенесли его за антенну-стержень, поближе к улиткам. Повернув лицом к стене, его остановили совсем рядом с ними. Диафрагма, прежде невидимая, сейчас открылась. Луч света скользнул в открывшийся зев, но, кроме спиральных витков плоти, Эдди ничего там не разглядел.

Панрад издал новую серию сигналов «точка-то-тии-тире». Отверстие в диафрагме стало расширяться, пока не достигло величины, достаточной, чтобы проглотить тело человека, если сунуть его туда головой вперед. Или ногами вперед. Роли это не играло. Витки, распрямившись, превратились в туннель. Или глотку. Из множества ямок появилось множество острых, как бритва, крошечных зубов. Блеснув, они снова погрузились в ямки. Но прежде чем они окончательно исчезли, наружу, сразу за уходящими зубами, метнулось множество других, не менее опасных, мелких шипов.

Мясорубка.

Еще дальше, за смертоносными орудиями, приведенными в полную боевую готовность, виднелся огромный карман с водой. От воды поднимался парок, и вместе с ним запах, напомнивший ему тушенку, которую готовила мать. На бурлившей поверхности плавали разваренные овощи и какие-то темные кусочки — скорее всего мяса.

Затем диафрагма закрылась, и его развернули лицом к слизням. Мягко, но прямо в цель, одно из щупальцев шлепнуло его по ягодицам. А панрад прострекотал предупредительным зззт-сигналом.

Эдди был не дурак. Он теперь знал, что десять юных созданий не опасны, если только он не будет досаждать им. А если

он будет вести себя плохо, то его отправят в мясорубку, которую ему только что показали.

Его снова подняли и понесли вдоль стены, пока не ткнули носом в знакомое светло-серое пятно. Исчезнувший было запах обезьянней клетки снова усилился. Источником запаха, как определил Эдди, была совсем маленькая дырочка, появившаяся в стене.

Когда же он не отреагировал — он пока понятия не имел, каких действий от него ждут, — щупальца уронили его так неожиданно, что он упал на спину. Падение на податливую плоть не причинило ему никакого вреда, и он встал.

Итак, что же делать дальше? Надо пересмотреть припасы. Вот их перечень: панрад. Спальный мешок, который ему не понадобится, пока теперешняя чересчур уж жарковатая температура сохраняется здесь на прежнем уровне. Флакон капсул Старой Красной Звезды. Термос-непроливайка с надетой на него соской. Коробка с пайками А-2-Z. Походная плитка. Патроны для его двустолки, валявшейся теперь где-то рядом с «валуном» — панцирем животного. Рулончик туалетной бумаги. Зубная щетка. Паста. Мыло. Полотенце. Пилюли: Нодора, гормональные, витаминные, долговечности, рефлекторные и снотворные. Тонкая, как нить, проволока в сотню футов длиной, если ее размотать, которая в своей молекулярной структуре томила в заключении сто симфоний, восемьдесят опер, тысячу разнообразных музыкальных произведений и две тысячи великих книг, начиная от Софокла и Достоевского до современного бестселлера. Ее можно было бы проигрывать в панраде.

Он вставил проволоку в панрад и, нажав на кнопку, произнес:

— Пуччини «*Che gelida manina*»* в исполнении Эдди Феттса, пожалуйста.

И пока он одобрительно внимал собственному восхитительному голосу, он вскрыл банку, которую нашел на дне мешка. Мать положила в нее тушеное мясо с овощами, оставшееся от их последней трапезы на корабле. И хотя он не знал, что происходит, он почему-то был все же уверен в том, что находится пока в безопасности, и поэтому с удовольствием жевал мясо и овощи. У Эдди переходы от отвращения к аппетиту совершались иногда до удивления просто.

Он съел всю банку и завершил еду несколькими крекерами и плиткой шоколада. На этом паек закончился. Пока есть еда, он будет сыт. Затем, если ничего не подвернется, он тогда... А затем, успокоил он себя, облизывая пальцы, его мать, кото-

* «Холодная ручонка» (ит.), ария Рудольфа из оперы Пуччини «Богема».

рая на свободе, обязательно найдет какой-нибудь способ, чтобы вызволить его из этой напасти.

Она бы сумела.

5

Ненадолго умолкший панрад принялся сигналить. Эдди на правил фонарик на антенну и увидел, что она указывает на улиток, которых он по своей привычке уже фамиллярно окрестил. Он назвал их Слизняшками.

Слизняшки подползли к стене и остановились вплотную к ней. Они разинули рты, расположенные у них на макушке головы, как это делает множество голодных птенцов. Диафрагма открылась, и оба края отверстия сложились в желоб. По нему хлынул поток горячей дымящейся воды с большими кусками мяса и овощами. Тушенка! Тушенка, которая с точностью падала в каждый ожидающий рот.

Вот как Эдди стала известна вторая фраза из языка Матери Полифемы. Первое сообщение означало: «Кто ты такой?» Второе — «Подойди и возьми это!»

Он провел опыт. Он отстучал на своем приборе последнюю серию сигналов, что услышал. Слизняшки, все как один — кроме того, в чей рот в данный момент падала еда, — повернулись и поползли к нему, но через пару футов в замешательстве остановились.

Так как Эдди отстучал сообщение по передатчику, у Слизняшек, очевидно, имелся своего рода встроенный пеленгатор. В противном случае они не сумели бы отличить его импульсы от материнских.

Тут же на него с силой обрушилось щупальце и, ударив его по плечам, сбilo с ног. Панрад прострекотал свое третье вполне разборчивое зззт-сообщение: «Никогда больше не делай этого!»

И затем четвертое, после которого десять юных созданий, подчинившись, развернулись и заняли прежние позиции.

— Сюда, дети.

Да, они были потомством, детьми, которые жили, ели, спали, играли и обучались общению в утробе своей матери — Матери. Они были подвижными отпрысками этого обширного неподвижного организма, который изловил Эдди, словно лягушка муху. Это Мать. Та, которая когда-то была точно такой же Слизняшкой, пока не выросла размером с хорошую свинью и не была исторгнута из материнской утробы. Которая, свернувшись в плотный шар, скатилась с родного холма, распрямилась внизу, дюйм за дюймом медленно взобралась на следующий холм,

снова скатилась и так далее. Пока не нашла пустой панцирь взрослой особи, которая умерла. Или же, если она хотела занять в своем обществе высшее положение его полноправного члена, а не просто непрестижной осиреве*, она нашла голую вершину высокого холма — любую возвышенность, которая господствовала над огромной территорией, — и там осела.

И там она пустила в землю и скальные трещины множество тонких, как ниточка, усиков. Питаясь за счет ее тела, они с каждым днем все больше утолщались, все глубже прорастали и пускали новые отростки. Глубоко под землей корешки совершали свою работу — химия на уровне инстинкта. Они искали и находили воду, кальций, железо, медь, азот, углерод, заигрывали с земляными червями и всевозможными личинками, домогаясь сокрытых в них жиров и протеинов. Они разлагали вещество, в котором нуждались, на мельчайшие коллоидные частицы, всасывали их по нитяным трубочкам усиков и отдавали почти бесплотному телу, бессильно скорчившемуся где-нибудь на ровной площадке на вершине горного хребта, холма, пика.

Там, действуя по программе, заложенной в молекулах мозжечка, ее тело брало строительные кирпичики из элементов и укладывало их в чрезвычайно тонкий панцирь из самых доступных материалов, в щит, достаточно большой, чтобы она могла расти, пока щит не станет ей впору, а ее естественные враги — безжалостные голодные хищники, рыскавшие по сумеречному Бодлеру в поисках добычи, — будут тщетно тыкаться в него носом и скрести когтями.

Затем, когда ее постоянно растущей массе становилось тесно, она начинала наращивать твердый покров. И если во время этого процесса, длящегося несколько дней, до нее не доберутся чьи-нибудь острые зубы, она изготовит себе еще одну оболочку, помощнее. И так далее до дюжины оболочек, а то и больше.

Пока она не станет одним чудовищным и полностью преобразившимся телом взрослой девственницы. Ее наружная оболочка будет весьма схожа с обыкновенным валуном, который на самом деле и есть камень: гранит, диорит, мрамор, базальт, а возможно, и простой известняк. А иногда железо, стекло или целлюлоза.

Внутри, в центре, находился мозг. Возможно, не уступающий по величине человеческому. Его окружали тонны внутренних органов: нервная система, мощное сердце или несколько сердец, четыре желудка, генераторы микро- и длинных волн, почки, кишечник, трахеи, обонятельный и вкусовой органы, ароматиза-

* Жиличка (фр.).

тор, который вырабатывал запахи для привлечения животных и птиц, приблизившихся к коварному валуну достаточно близко, чтобы их можно было схватить, и огромная матка. А еще антенны: маленькая внутри — для обучения малышей и присмотра за ними, — и длинный мощный стержень снаружи, выступающий из верхушки панциря и при опасности вбирающийся вовнутрь.

Следующим этапом был переход от девственницы к Матери, из низшего состояния в высшее, что на ее языке импульсов обозначалось более длинной паузой перед словом. Пока ее не лишат девственности, она не сможет занять высокого положения в своем обществе. Не чувствуя стыда, она сама беззастенчиво заигрывала, предлагала себя и капитулировала.

После чего съедала своего партнера.

Часы в панраде подсказали Эдди, что пошел уже тридцатый день со времени его заточения. Он только к этому моменту понял то небольшое, что ему рассказали. Он был шокирован, и не потому, что рассказанное оскорбляло его нравственность, но потому, что его избрали партнером. И обедом.

Его палец выбил вопрос:

— Скажи мне, Мать, что ты имеешь в виду?

Раньше он никогда не интересовался, как может размножаться биологический вид, который лишен мужских особей. А теперь выясняется, что для Матерей все существа, кроме них самих, являются мужскими особями. Матери, неподвижные, были самками. Подвижные были самцами. Эдди был подвижным. Следовательно, он был самцом.

Он приблизился к этой конкретной Матери во время брачного периода, то есть когда она свой помет малышей выносила наполовину. Она заметила его, когда он еще только шел вдоль ручья на дне долины. Когда же он подошел к подножию холма, она уловила его запах. Запах был незнакомым. Наиболее близкий по своим параметрам запах, который она смогла отыскать в банках своей памяти, принадлежал тому зверю, что так похож на него. Она дала его описание, и Эдди догадался, что она говорит об обезьяне. Поэтому она выпустила из своего арсенала половое зловоние обезьяны. И когда Эдди самым очевидным образом попался в ловушку, она схватила его.

Предполагалось, что он набросится на ту светло-серую опухоль на стене — место зачатия. И когда она посчитает, что распорото и разорвано достаточно, чтобы в действие вступило великое таинство беременности, его бы сунули в желудочную диафрагму.

К счастью, у него не было ни острого клюва, ни зубов, ни когтей. Кроме того, панрад повторил ее собственные сигналы.

Эдди не понимал, почему для спаривания необходим подвижный. Ведь Мать достаточно умна, чтобы поднять острый камень и самой кромсать зачаточник.

Ему дали понять, что зачатие произойдет лишь тогда, когда оно будет сопровождаться определенным щекотанием нервов — неистовством и удовлетворением. Почему было необходимо такое эмоциональное состояние, Мать не знала.

Эдди попытался объяснить насчет таких вещей, как гены и хромосомы и почему они должны присутствовать в высокоорганизованных биологических видах.

Мать не поняла.

Эдди поинтересовался, соответствует ли число порезов и разрывов на зачаточнике числу молодняка. И отличаются ли большим разнообразием наследственные признаки, запечатленные под кожей зачаточного места. И нет ли общего между царапаньем куда ни попадая с последующей стимуляцией генов и случайным сочетанием генов в совокуплении человеческих пар мужчина-женщина. В результате чего получалось потомство, сочетавшее в себе черты своих родителей.

И не означает ли пожирание подвижного после совершения тем акта нечто большее, чем просто эмоциональный и пищевой рефлекс? Не понимается ли под этим, что пойманный подвижный разносит в своих когтях и клыках генные узелки, словно жесткие семена, вместе с разодранной в клочья кожей и что эти гены, выжив в кипятке тушеночного желудка, выбрасываются в виде фекалий наружу? Где их подхватывают животные и птицы — клювом ли, зубом или лапой, а затем, когда подвижные попадают в ловушки других Матерей, то, набрасываясь на их зачаточные места, переносят на них носителей наследственности, когда узелки при этом соскребаются и внедряются в кожу и кровь опухоли, даже когда снимается урожай других? Позднее подвижные съедаются, перевариваются и выбрасываются в малопонятном, но искусном и нескончаемом цикле? Обеспечивая таким образом непрерывное, пусть даже и случайное образование новых комбинаций генов, вероятность генетических отклонений в потомстве, возможности мутаций и так далее?

Мать послала импульсы, что она в полном замешательстве.

Эдди сдался. Ему никогда не узнать. Да и какая ему разница, в конце концов?

Не найдя ответа на этот вопрос, он встал — до этого он лежал, — чтобы попросить воды. Она стянула диафрагму, со-

брав ее в складки, и тепловатым фонтанчиком заплеснула в термос целую кварту. Он бросил туда пилюлю, поболтал ее в воде, пока она не растворилась, и выпил весьма приемлемую копию Старой Красной Звезды. Он предпочитал терпкую и забористую ржанку, хотя мог позволить себе самую легкую. Быстрый эффект — вот чего он желал. Вкус не имел значения, так как ему вообще не нравился вкус алкогольных напитков. Поэтому он пил то, что пьют бродяги из Района Притонов и Ночлежек, и даже вздрагивал, как это делали они, обзывая этот напиток Старым Протухшим Дегтем и кляня судьбу, поставившую их так низко, что им приходится давиться подобной дрянью.

Ржанка, охватив пламенем желудок, разлилась по конечностям и оттуда устремилась в голову. Эдди сдерживала лишь нарастающая нехватка таблеток. Когда их запас истощится — что тогда? В такие минуты, как эта, он больше всего тосковал по своей матери.

При мыслях о ней по щекам у него скатилось несколько крупных слезинок. Понюхав напиток, он выпил еще и, когда самая толстая из Слизняшек легонько подтолкнула его, чтобы тот почесал ей спинку, дал ей вместо этого глотнуть Старой Красной Звезды. Бражка для Слизняшки. Он лениво спросил себя, какое воздействие окажет склонность к ржанке на будущее их расы, когда эти девственницы станут Матерями.

В ту же минуту его буквально потрясла одна мысль, показавшаяся ему спасительной. Эти существа могли высасывать из земли нужные элементы и воспроизводить из них весьма сложные молекулярные структуры. При условии, конечно, если у них имелся образец желаемого вещества, над которым они мозговали в каком-нибудь своем таинственном органе.

В таком случае что может быть легче, чем дать ей одну из вождельных таблеток? Одна может превратиться в множество. А этого множества плюс избытка воды, накачиваемой по полым подземным усикам из ближайшего ручья, будет вполне достаточно, чтобы получился настоящий перегонный аппарат!

Он почмокал губами и уже собрался было отстучать ей свою просьбу, когда до него дошел смысл того, что она передавала.

Довольно язвительно она сообщала, что ее соседка по ту сторону долины хвастается, будто ее пленник — тоже подвижный и тоже умеет переговариваться.

6

Матери жили в обществе, которое было таким же иерархическим, как официально-протокольное в Вашингтоне или как

сложившийся порядок подчинения на скотном дворе. Здесь во главу угла был поставлен престиж, а сам престиж определялся мощностью передачи, высотой возвышенности, на которой восседала Мать, и площадью территории, охватываемой ее радаром, а также изобилием, новизной и остроумием ее сплетен. Эдди захватила сама королева. Она главенствовала над более чем тридцатью сородичами; всем им приходилось уступать ей право вести передачу первой, и никто не смел пикнуть прежде, чем она замолкала. После этого начинала передавать следующая по рангу и так далее по рангам ниже. Любую из них в любое время могла прервать Номер Один, и если у кого из нижнего эшелона было что передать интересного, то она могла вмешаться в разговор того, кто передавал, и получить разрешение у королевы рассказать свою историю.

Эдди знал это, но у него не было возможности напрямую подслушивать трескотню обитателей горных вершин. Ему мешал толстый панцирь из псевдогранита. Поэтому он, чтобы принимать передававшуюся информацию, вынужден был прибегать к помощи стержня в матке.

Иногда Мать открывала дверь и позволяла молодняку вылезать наружу. Там они упражнялись в радиолокационной навигации и передаче сообщений Слизняшкам Матери по ту сторону долины. Иногда та Мать снисходила до посылки импульсов молодняку, и Мать, в которой сидел Эдди, взаимно посылала импульсы ее потомству.

Карусель.

В первый раз, когда дети медленно прошествовали через выходную диафрагму, Эдди, подобно Улиссу*, попытался сойти за одну из Слизняшек и проскользнуть наружу, затерявшись среди них. Лишенная глаз, но отнюдь не Полифем**, Мать выхватила его щупальцами из толпы и, подняв, втащила обратно.

После этого случая он и назвал ее Полифемой.

Он знал, что обладание таким уникалом, как подвижный, который умеет передавать сигналы, чрезвычайно увеличило ее и без того огромное влияние. Ее авторитет вырос настолько, что Матери на дальних рубежах ее территории передали эту новость другим. И прежде чем он выучил ее язык, целый континент переключился на одну программу. Полифема стала поистине ведущим обозревателем всех светских сплетен. Десятки тысяч неподвижных обитателей холмов с нетерпением слушали

* Улисс (латинский вариант имени Одиссей) — герой троянского цикла мифов греческой мифологии.

** Полифем — в греческой мифологии один из циклопов, чей единственный глаз был выколот Одиссеем для того, чтобы сбежать от него.

рассказы о ее делах с ходячим парадоксом — говорящим самцом.

То было чудесное время. А затем, совсем недавно, Мать по ту сторону долины тоже поймала похожее существо. И в один миг она стала Номером Два в округе и, конечно же, постарается при первом же признаке слабости со стороны Полифемы согнать ту с пьедестала.

Эдди страшно разволновался, услышав эту новость. Он часто представлял себе как наяву свою мать и задавался вопросом, что она сейчас делает. Как ни странно, но многие его фантазии кончались невнятным бормотанием, когда с его губ срывались едва слышные упреки в ее адрес за то, что та бросила его и даже ни разу не попыталась спасти. Когда до сознания Эдди дошло, как он относится к матери, ему стало стыдно. И все же чувство покинутости накладывало отпечаток на все его мысли.

Теперь, когда он знал, что она жива и схвачена, возможно, при попытке вызволить его, он пробудился от летаргии, в которую впал в последнее время, когда он мог дремать часами напролет. Он спросил Полифему, не откроет ли она ему вход, чтобы он смог напрямую поговорить с тем, другим пленником. Она согласилась. Она очень хотела послушать, как говорят между собой оба подвижных, и поэтому пошла ему навстречу. Из их беседы можно будет почерпнуть массу сплетен. Единственное, что омрачало ее радость, было то, что другая Мать также получит возможность выступить.

Затем, вспомнив, что она все еще Номер Один и, следовательно, будет излагать подробности беседы первой, затрепетала от гордости и полного восторга. Да так, что Эдди почувствовал, как задрожал пол.

Диафрагма открылась. Эдди прошел сквозь нее и посмотрел через долину. Склоны холмов все еще зеленели, краснели и желтели, так как зимой на Бодлере растения не сбрасывали листьев. Но несколько белых лоскутьев на разноцветии холмов указывало на то, что зима уже началась. Эдди вздрогнул, почувствовав на обнаженной коже укус студеного воздуха. Он уже давно снял с себя одежду. Носить ее в жаркой утробе оказалось слишком неудобно. Более того, Эдди как человеческому существу приходилось как-то избавляться от продуктов жизнедеятельности. А Полифеме как Матери приходилось периодически смывать грязь сильным напором теплой воды из одного из своих желудков. Каждый раз, когда из трахеальных воздушных клапанов устремлялись потоки, вымывавшие наружу через дверную диафрагму нежелательные элементы, Эдди промокал насквозь. Когда он наконец разделся, его одежду смыло водой. Его рюкзак

избежал подобной участи только потому, что Эдди в это время сидел на нем.

После влажной уборки его и Слизняшек высушивал теплый воздух из тех же воздушных клапанов, куда он поступал из мощного легочного аккумулятора. Эдди чувствовал себя вполне уютно — ему всегда нравилось принимать душ, — но потеря одежды оказалась еще одной причиной, удерживавшей его от побега. Снаружи он быстро погибнет от холода, если в скором времени не найдет яхту. А он вовсе не был уверен, что помнит дорогу назад.

Поэтому сейчас, шагнув наружу, он немного отступил, чтобы теплый воздух, струившийся из Полифемы, обвевал его со спины и окутывал, словно плащом.

Затем он пристально всмотрелся в полумильную даль, которая отделяла его от матери, но не смог разглядеть ее. Мать скрывали сумерки и темнота распахнутого зева ее порабитителя.

Он отступал ей морзянкой:

— Переключись на рацию, на ту же частоту.

Паула Феттс так и сделала. Безумно волнуясь, она стала расспрашивать его, все ли у него в порядке.

Он ответил, что у него все отлично.

— А ты ужасно по мне скучал, сынок?

— О, очень.

Сказав это, он слегка подивился про себя, почему его голос звучит как-то загробно. Очевидно, от отчаяния, что ему уже никогда не увидеть ее.

— Я чуть с ума не сошла, Эдди. Когда тебя схватили, я со всех ног бросилась бежать оттуда. Я понятия не имела, что это было за ужасное чудовище, которое напало на нас. А потом, на полдороге с холма, я упала и сломала ногу...

— О, только не это, мама!

— Да. Но мне удалось добраться до корабля. А там уже я сама вправила себе кости и сделала уколы В. К. Правда, реакция моего организма оказалась не совсем такой, как следовало бы. Среди людей иногда такое случается, ты ведь знаешь, и тогда лечение затягивается вдвое.

Но когда я встала наконец на ноги, я взяла ружье и ящик с динамитом. Я собиралась взорвать то, что мне казалось тогда чем-то вроде каменной крепости или сторожевого поста неких существ. Я и понятия не имела об истинной природе этих тварей. Но сначала я все-таки решила разведать. Я собиралась вести наблюдение с валуна на другой стороне долины. Но я попала в ловушку этой зверюги.

Послушай, сынок. Прежде чем мне обрубят связь, хочу тебе сказать, чтобы ты не терял надежды. Не сегодня-завтра я сбегу отсюда и спасу тебя.

— Как?

— Если ты помнишь, в моей лабораторной сумке есть кое-какие канцерогены для работы в полевых условиях. Ну, да ты знаешь, что иногда зачаточник Матери, когда его разрывают при спаривании, поражается раком вместо зачатия потомства — то есть развивается нечто противоположное беременности. Я ввела в зачаточник канцероген, и уже выросла чудесная раковая опухоль. Через какую-то пару дней она умрет.

— Мама! Но ты же будешь живо похоронена в той разлагающейся массе!

— Нет. Эта тварь сказала мне, что когда один из ее сородичей умирает, то губы рефлекторно открываются. Что позволяет молодняку — если таковой имеется — спастись бегством. Послушай, я собираюсь...

Щупальце, обвившись вокруг него, втянуло его через диафрагму обратно. Диафрагма закрылась.

Когда он снова переключился на несущую частоту, то услышал:

— Почему ты не переговаривался? Что ты делал? Скажи мне! Скажи!

Эдди рассказал ей. Последовало молчание, которое можно было истолковать как удивление. Придя в себя, Мать произнесла:

— С этого времени ты будешь беседовать с другим самцом только через меня.

Она явно завидовала и приняла в штыки его способность менять диапазоны волн. Возможно, ей было даже нелегко принять саму эту идею.

— Пожалуйста, — упорствовал он, не зная, в какие опасные воды вступает, — пожалуйста, позволь мне поговорить с моей матерью напря...

Впервые он услышал, как она заикается.

— Ч-ч-что? Твоя Ма-ма-мать?

— Ну да, конечно.

Пол под его ногами заходил ходуном. Он вскрикнул и весь напрягся, чтобы не упасть. Потом он включил фонарик. Стены вибрировали, словно трясущийся студень, и красно-синие колоннообразные сосуды стали серыми. Диафрагма выхода распахнулась, словно вялый рот, и внутри стало холодно. Сступнями ног он явственно ощущал понижение температуры ее тела.

Не сразу, но он понял.

Полифема была в состоянии шока. Он так и не узнал, что могло бы произойти, останься она в таком состоянии. Она

могла бы умереть и таким образом вынудить его выйти на мороз до того, как сбежит его мать. В этом случае он погибнет, если не сумеет найти корабль. Съежившись в самом теплом углу яйцеобразной камеры, Эдди размышлял над своей судьбой. Его была дрожь, причиной которой был вовсе не наружный воздух.

7

Однако у Полифемы был свой метод лечения. Он состоял в том, чтобы извергнуть из себя содержимое тушеночного желудка, который, вне всякого сомнения, заполнился ядами, просочившимися туда из ее организма вследствие полученной душевной травмы. Очищение желудка являлось физическим проявлением психической реакции. Напор воды был настолько неистовым, что приемного сына едва не смыло наружу горячей волной, но Мать инстинктивно обвила щупальцами его и Слизняшек. За первым извержением рвотных масс последовало очищение трех ее других карманов с водой: второй с горячей водой, третий с чуть теплой и четвертый, только что заполненный, с холодной.

Эдди взвизгнул, когда ледяная вода окатила его с ног до головы.

Диафрагмы Полифемы снова закрылись. Пол и стены постепенно перестали трястись, температура поднялась, а вены и артерии снова обрели свою красную и синюю окраски. Она снова вернулась к жизни. По крайней мере, так казалось.

Но когда после двадцати четырех часов ожидания он осторожно затронул опасную тему, то обнаружил, что она не только не желает разговаривать об этом, но отказывается даже признать существование другого подвижного.

Эдди, оставив всякие попытки разговаривать ее, на какое-то время погрузился в размышления. Единственный вывод, к которому он пришел — а он не сомневался в его правильности, так как считал, что достаточно хорошо сумел разобраться в ее психологии, — был тот, что идея о подвижной женской особи была совершенно неприемлема.

Ее мир был поделен на две части: подвижные и ее род, неподвижные. Подвижные означали пищу и спаривание. Подвижные означали самцов. Матери были самками.

Каким образом размножаются подвижные, неподвижные обитатели холмов, вероятно, никогда не задумывались. Их наука и философия находились на уровне инстинктов. Как они представляли себе механизм продолжения рода подвижных — путем ли самозарождения или размножения через деление клеток, подобно амебе, или же просто считали само собой разумеющимся, что те «произрастали» как придется, — Эдди так и не

выяснил. Для них они сами относились к женскому лагерю, а весь остальной протоплазменный мир — к мужскому.

Только так, и не иначе. Любая другая идея была более чем отвратительна, неприлична и богохульна. Она была попросту немыслима.

Его слова нанесли Полифеме глубокую травму. И хотя внешне она оправилась, где-то в глубине этих тонн плоти невообразимо сложного организма остался кровоподтек. Словно потаенный цветок, он цвел темно-лиловым цветом, и тень от него заслоняла от света сознания определенный участок памяти, определенный след. Тень от лилового ушиба закрыла собой то время и событие, которые Мать по причинам, непостижимым для человека, нашла нужным отметить знаком «БЕРЕГИСЬ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».

Эдди чувствовал и знал, что произошло, хотя он и не облек свое знание в слова, но в каждой клеточке его тела жило понимание происшедшего, словно кости его пророчествовали, а мозг не слышал.

Через двадцать шесть часов по вмонтированным в панрад часам входные губы Полифемы открылись. Ее щупальца метнулись наружу. Они вернулись обратно, захватив с собой его яростно сопротивлявшуюся, но совершенно беспомощную мать.

Эдди, пробудившегося от дремоты, буквально сковало от ужаса. Он увидел, как его мать кидает ему свою лабораторную сумку, и услышал рвущийся с ее губ бессвязный крик. И увидел, как она погружается головой вперед в желудочную диафрагму.

Полифема выбрала единственно надежный способ, как избавиться от очевидного факта.

Эдди лежал лицом вниз, уткнувшись носом в теплую и слегка подрагивавшую плоть пола. Иногда его пальцы судорожно сжимались, словно он тянулся за чем-то, что кто-то держал от него в пределах досягаемости, а потом отодвинул.

Как долго он оставался в таком положении, он не знал, так как ни разу не взглянул на часы.

Наконец, в полной темноте, он сел и бессмысленно хихикнул: «Мать всегда готовила отличную тушенку».

Это как-то встряхнуло его. Он оперся на руки и, откинув назад голову, завыл, как в полнолуние воют волки.

Полифема, разумеется, не могла его слышать, но по радиопеленгу она определила его позу, а чуткий нюх распознал по запаху его тела, что он страшно напуган и терзается душевными муками.

Плавно скользнуло щупальце и нежно обняло его.

— Что случилось? — пропищал эззт-сигналы панрад.

Он сунул палец в отверстие на панраде.

— Я потерял свою мать!

— ?

— Она ушла и больше никогда не вернется.

— Не понимаю. Я — здесь.

Эдди перестал плакать и поднял голову, словно прислушиваясь к некоему внутреннему голосу. Пошмыгав носом, Эдди вытер слезы, медленно снял с себя щупальце, погладил его и, подойдя к рюкзаку в углу, достал из него флакончик с таблетками Старой Красной Звезды. Одну он бросил в термос, а другую отдал ей с просьбой сделать такую же — если это возможно. Затем он лег на бок, вытянувшись во весь рост, оперся на локоть, как сладострастный римлянин, и, посасывая через соску ржанку, стал слушать попури из Бетховена, Мусоргского, Верди, Штрауса, Портера, Фейнштейна и Воксворта.

И время — если здесь вообще существовало такое понятие — обтекало Эдди. Когда он уставал от музыки, пьес или книг, он слушал местные новости — передачу, которая велась по всем станциям. Когда он чувствовал голод, он поднимался и шел — а нередко просто полз — к тушеночной диафрагме. Банки с продовольствием лежали в рюкзаке. Одно время он решил питаться только ими — до тех пор, пока не будет уверен, что... что же там было такого, чего ему нельзя было есть? Яд? Кажется, Полифема и Слизняшки что-то сожрали. Но однажды во время музыкально-ржаной оргии он забыл об этом. И теперь он с жадностью накидывался на еду, не думая ни о чем, кроме удовлетворения собственных потребностей.

Иногда диафрагма-дверь открывалась, и внутрь впрыгивал Билли-зеленщик. Величиной с колли, он представлял собой что-то среднее между сверчком и кенгуру. Как у всех сумчатых, у него была сумка, в которой он приносил овощи, фрукты и орехи. Билли извлекал их из сумки блестящими и зелеными хитиновыми когтями и давал Матери в обмен на еду иного рода — тушенку. Счастливый симбионт*, он весело щебетал, в то время как его многофасеточные глаза, вращавшиеся независимо друг от друга, разглядывали Слизняшек и Эдди: одним глазом его, другим — Слизняшек.

Впервые увидев его, Эдди, повинуясь внезапному порыву, оставил волну в 100 килогерц и стал перебирать все частоты, пока не обнаружил, что Полифема и Билли испускают сигналы

* Один из участников симбиоза, т. е. сожительства организмов разных видов, обычно приносящего им взаимную пользу.

на волне 108. Очевидно, они обычно переговаривались именно на этой волне.

Когда подходило время доставки товара, Билли подавал радиосигналы. В свою очередь, Полифема, если нуждалась в его товаре, посылала ему ответный сигнал. В действиях Билли, однако, не было ничего от разума — передавать сигналы было лишь велением инстинкта. А Мать, если не считать «смысловой» частоты, ограничивалась одним этим диапазоном. Но действовал он прекрасно.

8

Прекрасным было все. Что еще мог бы желать человек? Вдоволь еды, спиртного — хоть залейся, мягкая постель, кондиционирование воздуха, душ, музыка, труды великих мыслителей (в записи), интересные беседы (большей частью о нем самом), уединенность и надежность.

Если бы он уже не дал ей имени, он называл бы ее Матушкой Благотворительницей.

Да и нет такого существа, которое могло бы ублаготворить буквально во всем. Она ответила ему на все его вопросы, на все...

Кроме одного.

Он никогда не задавал его вслух. Впрочем, он бы и не сумел этого сделать. По всей вероятности, он даже не сознавал, что у него есть подобный вопрос.

Но Полифема однажды высказала его, когда попросила Эдди об одной услуге.

Эдди воспринял это как оскорбление.

— Да я же не!.. Да я же не!..

Задохнувшись от волнения, он подумал, что в более нелепое положение, как это, он, пожалуй, не попадал. Она ведь не...

Он, казалось, пришел в еще большее замешательство и сказал себе:

— Ну да, так и есть.

Поднявшись, Эдди открыл лабораторную сумку. В поисках скальпеля он наткнулся на канцерогены. Он с силой швырнул их через полуоткрытые губы вниз по склону холма.

Потом он повернулся и бросился со скальпелем в руке к светло-серой опухоли на стене. И остановился, разглядывая ее. Скальпель у него из руки выпал. Подняв его, он неуверенно ткнул им в опухоль, но даже не поцарапал ее кожи. Он снова выронил инструмент.

— В чем дело? В чем дело? — затрещал висевший на запястье панрад.

Неожиданно из ближайшего воздушного клапана в его лицо остро пахнуло человеком — человеческим потом.

— ???

Он застыл на месте в полусогнутом положении, словно его парализовало. Пока щупальца в бешенстве не схватили его и не потащили к желудочной диафрагме, которая уже разверзлась как раз по величине человека.

Взвизгнув, Эдди задержался в тугих кольцах и, засунув палец в панрад, принялся отстукивать: «Я согласен! Я согласен!»

И когда его снова поставили перед зачаточником, он с внезапным и диким восторгом накинулся на него. Он свирепо кромсал плоть и вопил: «Вот тебе! Получай, п...» Остальные слова затерялись в бессмысленном крике.

Он не останавливался и продолжал бы кромсать и дальше, пока не отрезал бы зачаточник совсем, не вмешайся Полифема, снова потащив его к желудочной диафрагме.

В течение десяти секунд он висел, беспомощный, над открывшимся зевом и всхлипывал от страха и чувства триумфа одновременно.

Рефлексы Полифемы почти одолели ее рассудок. К счастью, холодная искра разума осветила уголок обширного, темного и жаркого предела ее бешенства.

Витки спирали, уводившей к дымящемуся карману, наполненному мясом, закрылись, и складки плоти водворились на прежнее место. Эдди внезапно обдали струей теплой воды из того, что он называл «санитарно-профилактическим» желудком. Диафрагма закрылась. Его поставили на ноги. Скальпель был положен обратно в сумку.

В течение долгого времени Мать, похоже, содрогалась от мысли, что она могла сделать с Эдди. И пока ее расстроенные нервы не пришли в порядок, она не решалась подавать сигналы. А когда оправилась, она не заговаривала о тех ужасных секундах, когда он висел на волосок от смерти.

Не вспоминал об этом и он.

Он был счастлив. Он чувствовал себя так, будто пружина, туго стянувшая все внутри его с того самого времени, когда он и его жена расстались, была теперь по какой-то причине отпущена. Тупая, неясная боль утраты и неудовлетворенности, легкое лихорадочное состояние и тиски внутри его, апатия, которая порой донимала его, теперь ушли. Он чувствовал себя прекрасно.

Между тем под панцирем затеплилось что-то сродни глубокой привязанности, словно крохотная свечка под продуваемой насквозь высоченной крышей собора. Материнский панцирь пре-

доставил приют не только Эдди. Сейчас под его укрытием вынашивалось новое чувство, не известное доселе ее сородичам. Это стало очевидным после одного события, порядком испугавшего Эдди.

Раны на зачаточнике затянулись, опухоль увеличилась до размеров большой сумки. Потом сумка прорвалась, и на пол посыпался десяток Слизняшек величиной с мышь. Удар об пол имел для них те же последствия, какие имеет шлепок доктором по попке новорожденного: от потрясения и боли они сделали первый вдох и их бесконтрольные слабые импульсы наполнили эфир хаотичными сигналами бедствия.

Когда Эдди не беседовал с Полифемой или не слушал местные передачи, или не пил, или не спал, или не ел, или не купался под душем, или не прослушивал записи, он играл со Слизняшками. В каком-то смысле он был их отцом. В самом деле, когда они подросли до размеров свиньи, их родительнице было трудно отличить его от всего молодняка. Он ведь теперь редко когда ходил и его чаще можно было видеть на четвереньках среди Слизняшек, так что ей не слишком хорошо удавалось определить его сканированием. Кроме того, в чересчур влажном воздухе или в питании было, наверное, что-то такое, из-за чего у него повыпадали волосы, все до единой волосинки. К тому же он очень растолстел. В общем, он стал неотличим от бледных, мягких, округлых и безволосых отпрысков. Семейное сходство.

Но кое в чем они все же различались. Когда для девственников настало время изгнания их из чрева, Эдди, поскуливая, заполз в угол. Он оставался там до тех пор, пока не убедился, что Мать не собирается вышвыривать его в холодный и суровый мир, который не станет кормить его.

Когда критический момент наконец миновал, он снова перебрался в центр пола. Паническое чувство в его груди утихло, но нервы все еще трепетали. Он наполнил термос и потом послушал немного свой собственный тенор в записи, исполнявший арию «Морские истории» из его любимой оперы Джианелли «Старый моряк». Внезапно внутри его что-то взорвалось, и он стал подпевать самому себе. Он почувствовал, что как никогда заключительные слова арии нашли отклик в его душе.

И с моего плеча
Взлетел тот альбатрос — и пал,
Как камень, в океан.

Потом он замолчал, но сердце его продолжало петь. Он выключил запись и подключился к передаче Полифемы.

Мать была в затруднительном положении. Она мучилась, не в силах дать Матерям со всего континента, подключившимся к ее передаче, точное описание того нового чувства, которое почти невозможно выразить словами и которое она испытывала по отношению к подвижному. Ее язык не был готов для выражения подобного чувства. Ей не помогали даже галлоны Старой Красной Звезды в ее жилах.

Эдди, посасывая пластиковую соску, сочувственно и сонно кивал, когда она подыскивала слова. Вскоре термос выкатился из его руки.

Он спал на боку, свернувшись в калачик, упираясь коленями в грудь, скрестив руки и наклонив вперед голову. Как тот хронометр в штурманской рубке, чьи стрелки после аварии побежали вспять, часы его организма отстукивали время назад, отстукивали назад...

Во влажной темноте, надежной и теплой, сытый, нежно любимый.

ДОЧЬ

Тсс! Тсс!

Передаёт Мать Головастик.

Молчите, все девственницы и Матери, пока я на связи. Слушайте, слушайте! Всем, кто подключился к этой передаче! Слушайте, и я расскажу вам, как я покинула свою Мать, как две мои сестры и я вырастили себе панцири, как я справилась с олквеем, почему я стала самой престижной Матерью с самым прочным панцирем и мощнейшими передатчиком и антенной и почему я сделалась носительницей нового языка.

Но прежде чем я поведаю вам свою историю, я открою всем тем, кто ещё не знает этого, что мой отец был способен разговаривать.

Не содрогайтесь. Это правдивый рассказ. Он не относится к небылицам.

Отец был способен разговаривать.

Мать скомандовала: «Вылезайте!»

И, чтобы показать, что она не шутит, Мать распахнула свою выходную диафрагму.

Мы тут же распростились со всеми иллюзиями, поняв, насколько серьезны ее намерения. Раньше она открывала диафрагму только для того, чтобы мы смогли поупражняться в налаживании связи с другими молодыми, которые, как мы, прижимались к земле на пороге чрева своих Матерей. Иногда мы обращались с выражениями почтения к самим Матерям, и даже, очень коротко, к Бабушке, которая жила где-то далеко на горном склоне. Не думаю, однако, что она получала наши

Daughter

Copyright © 1954 by Philip Jose Farmer

послания. Мы, молодые, были тогда еще слишком слабы, чтобы передавать на такие далекие расстояния. Во всяком случае, Бабушка никогда не подтверждала их получения.

Порой, когда мы доводили Мать тем, что галдели в эфире одновременно, не спрашивая у нее позволения передавать по очереди, или когда мы вскарабкивались по стенкам ее чрева и плюхались с потолка на пол, она говорила нам, чтобы мы уходили и строили собственные панцири. И при этом всегда добавляла, что говорит на полном серьезе.

А мы, в зависимости от нашего настроения, или утихомиривались, или расходились еще пуще. Тогда Мать хватала нас своими щупальцами и, не давая вырваться, хорошенько шлепала нас. Если и это не помогало, она пугала нас олквеем. Обычно это срабатывало. Но только до поры до времени. Она слишком часто пользовалась этим средством. Вскоре мы так привыкли к ее запугиваниям, что перестали верить в какого-то там олквея. Мать, как мы тогда думали, сочинила небылицу. Нам следовало бы знать, однако, что Мать ненавидела всякие небылицы.

Было еще одно, что действовало ей на нервы: наши разговоры с Отцом с помощью азбуки *орземей*. Отец, хоть и научил ее своему языку, отказывался обучать ее азбуке *орземей*. Когда он хотел нам что-нибудь сообщить и знал, что Мать не одобрила бы его сообщения, он переходил на наш секретный язык. Думаю, наши зашифрованные переговоры также сыграли свою роль: Мать злилась, злилась, да и вышвырнула нас вон. И это несмотря на мольбы Отца, чтобы нам позволили остаться еще на четыре сезона.

Здесь необходимо упомянуть, что мы, девственницы, оставались в утробе гораздо дольше, чем следовало бы. Причиной того, что мы так долго засиделись в ней, был Отец.

Он был способен разговаривать.

Однако он был нашим Отцом. Он был подвижным, который умел разговаривать импульсами, как мы.

Да, он это тоже умел. Он умел переговариваться с лучшими из нас. А может, он не *сам* умел. Не напрямую. Мы посылаем импульсы с помощью органов в нашем теле. Но Отец, если я правильно поняла, прибегал к помощи некоего существа, жившего раздельно с его телом. А может, это был один из его органов, не прикрепленных к нему.

Во всяком случае, у него не было ни внутренних органов, ни импульс-стержней, которые бы росли из него, чтобы подавать с их помощью сигналы. Для этого он использовал то существо —

радио, как он называл его. И оно действовало просто изумительно.

Когда он переговаривался с Матерью, то делал это на материнском импульс-языке или на своем — импульс-языке подвижных. С нами он использовал *орземей*. Он похож на импульс-язык подвижных, но только немного другой. Мать никак не могла уловить разницу между ними.

Когда я закончу свой рассказ, милочка, я научу тебя азбуке *орземей*. Как я уже тебе сообщала, ты обладаешь достаточным престижем, чтобы присоединиться к нашему женскому Великогорному обществу и приобщиться таким образом к нашему секретному способу передачи сообщений.

Мать сообщила, что Отец умеет посылать импульсы двумя способами. Помимо радио, через которое он сообщался с нами, он способен поддерживать связь совершенно иным путем. И этот путь ничего общего не имеет с «точкой-то-тии-тире». Его импульсам нужен воздух, который их поддерживает. Отец посылает их тем же органом, которым ест. Даже желудок вскипает при одной мысли об этом, правда?

Мать схватила Отца, когда тот проходил мимо нее. Она понятия не имела, какой половой запах лучше всего послать к нему по ветру, чтобы вызвать в нем похоть и завлечь его тем самым поближе к щупальцам. Прежде ей никогда не доводилось нюхать такого подвижного, как он. Но его запах все же напомнил ей подвижного другого типа, и она направила на Отца струю запаха того подвижного. Похоже, это сработало, так как он приблизился к ней, и она смогла схватить его внематочными щупальцами и затащить его под панцирь.

Позже, когда я уже родилась, Отец радировал мне — азбукой *орземей*, конечно, чтобы не догадалась Мать, — что он почувствовал тогда тот запах, который, наряду с другими обстоятельствами, привлек его внимание. Но тот запах был присущ волосатому подвижному, который обычно лазает по деревьям, и Отцу стало интересно, что делают подобные существа на голой вершине холма. Когда он научился разговаривать с Матерью, он здорово удивился, что она приняла его за того подвижного.

Впрочем, конечно, добавил он, женщине не впервой делать из мужчины обезьяну на посмешище.

Еще он сообщил мне, что посчитал тогда Мать просто за чудовищный по своей величине валун на вершине холма. И пока не отворился один из участков предполагаемого камня, он даже не подозревал о чем-то, не обычном для него, или о том, что валун является панцирем Матери и внутри его заключено

ее тело. Мать, по его словам, — что-то вроде гигантской, величиной с динозавра, улитки или медузы, снабженной органами, которые производят радарные волновые импульсы и радиоволны. А еще в ней имеется большая, все равно как гостиная в бунгало, яйцеобразная камера — матка, в которой она вынашивает и воспитывает свое потомство.

Я, конечно, не поняла и половины всех этих терминов. Да и сам Отец не сумел их как следует объяснить.

Он заставил меня пообещать не передавать Матери, что он принял ее просто за огромную глыбу минерала. Не знаю почему.

Отец был для Матери загадкой. И хотя он дрался, когда она втащила его, у него не оказалось ни когтей, ни зубов, достаточно острых, чтобы разодрать зачаточник. Мать еще несколько раз пробовала побудить его сделать свое дело, но никакой реакции от него не дождалась. Уяснив, что он — подвижный, испускающий импульсы, она оставила его в покое, чтобы как следует приглядеться к нему, и он стал бродить по матке. Через некоторое время он догадался, что Мать подает импульсы с импульс-стержня. Он научился разговаривать с ней при помощи своего съемного органа, который он называл панрадом. Со временем он обучил ее своему языку — импульс-языку подвижных. Когда мать выучила его и оповестила об этом других Матерей, ее престиж стал самым высоким во всей округе. Ни одной Матери даже в голову не приходила возможность говорить на новом языке. Их ошеломила сама мысль о нем.

Отец сказал, что на этой планете он — единственный говорящий подвижный. Его *звездолет* потерпел аварию, и теперь он навсегда останется с Матерью.

Как-то Отец узнал обеденные импульсы, которыми Мать созывала на еду своих отпрысков. Он передал по радио соответствующее послание. Для нервов Матери это было сильным ударом. Она вся задрожала при мысли о том, что он — разумный, но все же открыла свою тушеночную диафрагму и позволила ему есть. Потом Отец стал показывать Матери фрукты и разные предметы, с тем чтобы она посигналила ему с маточного стержня, какие «точки-то-тии-тире» соответствуют той или иной вещи. А потом он повторял на своем панраде названия этих вещей, чтобы проверить, правильно ли он понял.

Матери, конечно, помогало при этом ее хорошее обоняние. Ведь иногда бывает трудно отличить яблоко от персика, просто ощупывая их импульсами. В этом случае помогают запахи.

Мать схватывала все быстро. Отец сказал ей, что для женщины она очень умна. Сказанное сильно подействовало ей на нервы. После этого она не переговаривалась с ним в течение нескольких периодов приема пищи.

Что Матери особенно нравилось в Отце, так это то, что, когда подходило время зачатия, она могла подсказать Отцу, как действовать. Ей теперь не приходилось соблазнять запахами не-мыслящего, чтобы завлечь похотливого самца в панцирь и там держать его у зачаточника, пока тот, пытаясь вырваться из мертвой хватки щупальцев, царапает и бьет по нему. У него не было когтей, но зато имелся съемный коготь. Он называл его *скальпель*.

А когда я спросила его, почему у него так много съемных органов и, значит, иные способы жизнедеятельности, Отец ответил, что он — вообще человек способный.

Отец всегда выражался как-то непонятно.

Но и он, бывало, с трудом понимал Мать.

Он поражался ее способу размножения.

— Бог мой, — радировал он, — да кто же поверит в такое? Что процесс заживления раны приводит к зачатию? Как раз к тому, что противоположно раку.

Как-то, будучи подростками (Мать вот-вот должна была выпихнуть нас из-под своего панциря), мы случайно приняли сигналы Матери, когда она просила Отца, чтобы тот снова покромсал ей зачаточник. Отец отказался. Он хотел обождать еще четыре сезона. Он уже распрощался с двумя выводами от него и теперь хотел поддержать нас здесь подольше, чтобы дать нам полноценное образование и по-настоящему насладиться общением с нами, вместо того чтобы заново воспитывать еще один выводок девственниц.

Отказ сильно подействовал на нервы Матери и так расстроил ее тушеночный желудок, что несколько раз нам пришлось питаться скисшей пищей. Но она не стала его за это наказывать. Ведь он поднял ее престиж на такую высоту, которой никто еще не достигал. Все Матери переставали пользоваться материнским импульс-языком и стали учиться у моей Матери импульс-языку подвижных, с жадным нетерпением впитывая знание, которое она им давала.

Я спросила:

— Что такое престиж?

— Это когда ты передаешь, а другим приходится вести прием. И они не смеют пикнуть в ответ, пока ты не закончишь и не снизойдешь дать им свое разрешение.

— О, и мне бы хотелось иметь престиж!

— Крошка Головастик, — вмешался Отец. — Если хочешь добиться успеха, настраивайся на мою волну. Голова у тебя крепкая, и я научу тебя кое-чему, чего не знает даже твоя Мать. В конце концов, я — подвижный и в жизни повидал немало.

И он вкратце рассказывал мне, что ожидает меня, когда я покину его и Мать, и как, если шевелить мозгами, можно выжить и со временем завоевать более высокий престиж, чем даже у Бабушки.

Не знаю, почему он называл меня Головастиком, да еще с крепкой головой. Я ведь была еще девственница и панциря себе, конечно, не вырастила. Я была такой же мягкотелой, как и мои сестры. Но он сказал мне, что обожает меня, потому что я такая головастая и семи пядей во лбу. Я приняла его разъяснение как должное, не пытаюсь найти в нем какой-то смысл.

Так или иначе, но мы провели в Матери еще восемь лишних сезонов, потому что так хотел Отец. Можно было бы еще и подольше, но, когда снова пришла зима, Мать стала настаивать, чтобы Отец порезал ей зачаточник. Он ответил, что не готов к этому. Он только-только начал узнавать ближе своих детей — он называл нас Слизняшками, — а без нас ему даже не с кем будет словом перекинуться, кроме Матери. Ведь следующие детишки вырастут еще не скоро.

Кроме того, она стала повторяться, и он считает, что она не ценит его как следует. Ее тушенка слишком часто бывает прокисшей или настолько переваренной, что мясо больше похоже на какую-то размазню.

Терпение Матери лопнуло.

— Убирайся! — послала импульс Мать.

— Прекрасно! Но не думай, однако, что ты выгоняешь меня на мороз! — отбил ей в ответ Отец. — Твой панцирь здесь не единственный.

Нервы у Матери не выдержали, и ее огромное тело задрожало. Выдвинув свой большой наружный стержень, она направила его на всех своих сестер и теток. Мать по ту сторону долины призналась, что как-то раз, когда Отец грелся на *солнце*, лежа снаружи у открытой диафрагмы Матери, она просила его перейти жить к ней.

Мать передумала. Она поняла, что если он уйдет из ее жизни, то с ним исчезнет и ее престиж, а престиж той выскочки по ту сторону долины, наоборот, возрастет.

— Похоже, меня оставляют здесь, — радировал Отец.

А потом:

— Кто бы мог подумать, что твоя Мать будет *ревновать*?

Жизнь с Отцом была полна таких вот непонятных слов. Слишком часто он не хотел или не мог объяснить их.

Отец подолгу сидел, не двигаясь, и предавался размышлениям. В такие моменты он не отвечал ни нам, ни Матери.

В конце концов она совсем изнервничалась. Мы уже изрядно подросли и стали такими шумными и бойкими, что ее непрерывно трясло. А еще она, должно быть, подумала, что, пока мы сидим тут и общаемся с ним, ей нет никакой возможности заставить его вспороть ее зачаточник.

И мы ушли.

Но перед тем как навсегда покинуть ее панцирь, она предупредила: «Берегитесь олквея».

Мои сестры пропустили это мимо ушей, но на меня ее слова произвели впечатление. Отец нам рассказывал об этом звере и его ужасных повадках. Он так часто и подробно говорил о нем, что мы даже перестали называть зверя на свой привычный манер, а стали называть его, как Отец. Это произошло после того, как Отец упрекнул Мать, что та слишком часто пугает нас тем зверем, когда мы плохо себя ведем.

— Не кричи «Волк, волк!»

И он поведал мне, откуда произошла эта загадочная фраза, которая, как выяснилось, означала «не поднимай ложную тревогу». Рассказывал он, конечно, на азбуке *орземей*, потому что, стоило Матери только подумать, что он принялся плести какие-нибудь свои небылицы, она отшлепала бы его щупальцами. Одна лишь мысль о небылицах так взбудораживала ее внутренний мирок, что она потом долго не могла собраться с мыслями.

Сама я имела не очень четкое представление, что такое небылица, но мне нравились его истории. И я, как другие девственницы и сама Мать, стала называть зверя-убийцу «олквеем».

Во всяком случае, когда я просигналила «До передачи, Мать», я почувствовала, как меня обвинили странно жесткие подвижно-щупальца Отца и что-то мокрое и теплое стало капать с него на меня. Я услышала его сигналы: «*Удачи* тебе, Головастик. Пошли мне как-нибудь восточку по общему каналу связи. И никогда не забывай о том, что я тебе говорил — как справиться с олквеем».

Я просигналила ему в ответ, что не забуду. Я ушла, и меня переполняло не передаваемое никакими сигналами чувство. Я испытала тогда самый волнующий момент в моей жизни, что было

одновременно и хорошо и плохо, — если только можешь вообразить себе подобное, милочка.

Но последующие события, в которые я бросилась очертя голову, заставили меня скоро забыть то чувство. Я скатилась с холма, потом медленно взобралась на своей единственной ноге на соседний холм, потом скатилась с него по противоположной стороне — и так далее. Примерно через десять напряженнейших волновых периодов все мои сестры, кроме двух, оставили меня. Она нашли свои вершины, на которых можно было построить себе панцири. Но две моих верные сестры прислушались к моим высказываниям о том, что мы не должны довольствоваться вершинами, которые хоть сколько-нибудь ниже высочайших.

— Стоит вам вырастить панцирь, и вы останетесь там, где вы есть.

Поэтому они согласились идти со мной.

Но дорога, которой я вела их, оказалась длинной-предлинной, и они стали жаловаться, что устали и плохо себя чувствуют, и что они начинают бояться, как бы не натолкнуться на какого-нибудь хищного подвижного. Они даже хотели поселиться в пустых панцирях, оставшихся от Матерей, которые либо погибли в пасти олквея, либо умерли от рака зачаточника, в котором вместо беременности возникла опухоль.

— Пойдем дальше, — убеждала я. — Вам никогда не видать престижа, если вы поселитесь в пустышках. Вы что, хотите занять место на самом дне всякого импульс-общества только потому, что слишком ленивы, чтобы построить свои собственные оболочки?

— Но мы переработаем в себе эти пустышки, а потом, немного погодя, вырастим и свои панцири.

Я предвидела и раньше, что именно ей придется первой сталкиваться с олквеем. По правде говоря, это послужило одной из причин, почему я выбрала более отдаленную вершину. Олквей всегда принимается за ближайший панцирь.

— Да? Сколько Матерей утверждали так же? А сколько выполнили это на деле? Вперед, Слизняшки.

И мы продолжали свой путь в более гористую местность. Сканируя горные образования, я заметила наконец то, что искала. Это была гора с плоской вершиной, окруженная многочисленными холмами. Я поползла по ней. Очутившись на вершине, я прощупала своим локатором окружавшее меня пространство. Нигде, куда смог проникнуть мой локаторный луч, не было вершины, возносившейся выше, нежели та, на которой находилась я. И я уже тогда предположила, что, когда стану взрослой и

энергии во мне будет намного больше, я смогу охватить огромную территорию. А тем временем здесь рано или поздно поселятся другие девственницы, которые займут холмы пониже.

Как выразился бы Отец, я была на высочайшей вершине мира — на верху блаженства.

Моя небольшая гора оказалась богатой. Поисковые усики, которые я отрастила и углубила в почву, нашли множество разнообразных минералов. Из них можно было построить громадный панцирь. Чем больше панцирь, тем крупнее Мать. Чем крупнее Мать, тем мощнее ее сигналы.

Более того, я обнаружила много крупных летающих подвижных. Орлов, как Отец называл их. Они стали бы мне хорошими партнерами для зачатия. Ведь у них острые клювы и потрясающие когти.

Внизу, в долине, протекал ручей. Я пустила в почву пустотелый усик-корешок, и он забирался все глубже и глубже в землю вдоль горного склона, пока не достиг воды. И тогда я принялась перекачивать ее вверх, чтобы наполнить свои желудки.

Почва в долине оказалась прекрасной. Я занималась тем, чего никто из нашего рода еще никогда не делал и чему научил меня Отец. Далеко тянувшиеся усики подбирали и сажали семена, оброненные деревьями, цветами и птицами. Я раскинула вокруг яблони целую подземную сеть усиков. Но в мои замыслы не входило подбирать усиком-веткой упавший с дерева плод, передавать его следующему усiku-ветке и дальше вверх по склону, пока он не попадет в мою диафрагму. Усики я предназначала совсем для другой цели.

Тем временем мои сестры взобрались на вершины двух холмов, которые были намного ниже, чем моя гора. Когда я узнала, чем они занимаются, то испытала нервное потрясение. Обе уже построили панцири! Один был стеклянным, другой — из целлюлозы!

— Что же вы наделали, а? Да разве вы не боитесь олквея?

— Заглохни, вечная брюзга! Ничего страшного с нами не случилось. Просто мы уже готовы к зиме и к спариванию, вот и все. Так что мы станем Матерями, а ты все еще будешь отращать свой дурацкий большущий панцирь. И что тогда станет с твоим престижем? Никто с тобой даже сигналом не обменяется, потому что ты все еще будешь девственницей, да к тому же с недоделанным панцирем!

— Пустозвонная Голова! Дубовая Голова!

— Вот как! Вот как! Головастик-Семипядик!

Они были правы — по-своему. Я все еще была мягкой, беззащитной, постоянно растущей массой трепещущей плоти, легкой добычей для любого плотоядного подвижного, кто натолкнется на

меня. Я была душой, поставившей на карту собственную жизнь. Но, несмотря на все это, я без отдыха продолжала углублять в почву свои усики, определяла рудные залежи и всасывала в себя частицы железа в виде суспензии и строила внутренний панцирь — полагаю, побольше Бабушкиного. Потом я укладывала поверх него толстую оболочку из меди, чтобы не ржавело железо. Эту медную оболочку я покрывала костяным слоем, который я делала из кальция, извлеченного мной из известняка. И меня вовсе не заботило, как моих сестер, поскорее пустить в переработку стержень девственницы и вырастить вместо него взрослый. С этим можно было и обождать.

С угасанием осени я как раз закончила свои панцири. Началось перерождение тела и его рост. Я питалась с моих посевов. Мяса у меня тоже было вдоволь, потому что в свое время я построила в долине маленькие решетчатые панцири из целлюлозы и вырастила в них много подвижных из тех молоденьких, что мои специально удлиненные усики повываскивали прямо из гнезд.

Я тщательно продумала структуру своего будущего организма. Я вырастила желудок намного шире и глубже обычного. И не потому, что я была так уж голодна. Я сделала это с целью, о которой расскажу тебе попозже, милочка.

Свой тушеночный желудок я также расположила гораздо ближе к верхушке панциря, чем это делает большинство из нас. Я, в общем-то, намеренно сдвинула свой мозг с верхушки в сторону, а его место заняла желудком. Отец настоятельно советовал мне извлечь пользу из своей способности частично управлять расположением своих взрослых органов. Процесс перемещения органов потребовал времени, но я успела как раз к зиме.

Наступили холода.

И с ними пришел олквей. Как всегда, вынюхивающий своим длинным носом с выдвинутыми антеннами тончайший наст из чистых минералов, который мы, девственницы, оставляем на своем пути. Олквей обычно идет по следу, куда бы тот ни повел его. На этот раз он привел его к моей сестре, которая выстроила себе стеклянный панцирь. Я предвидела и раньше, что именно ей придется первой столкнуться с олквеем. По правде говоря, это послужило одной из причин, почему я выбрала более отдаленную вершину. Олквей всегда принимается за ближайший панцирь.

Когда сестра Стеклоголовка обнаружила поблизости ужасного подвижного, она принялась испускать отчаянные импульсы.

— Что мне делать? Делать? Делать?

— Держись, сестрица, и надейся.

Подобный совет был равносителен тому, как если бы съесть холодную тушенку, но в данной ситуации он был единственным и лучшим из всех, что я могла бы дать. Я не стала напоминать ей, что ей бы следовало по моему примеру построить себе тройной панцирь и не увлекаться пустой болтовней с другими, стремясь приятно проводить время.

Олквей шнырял вокруг, пытаясь подкопаться под ее основание, покоившееся на твердой скальной породе, но потерпел неудачу. Зато ему удалось оторвать от стекла большой кусок в качестве образца. Обычно он заглывал затем образец и удалялся прочь для оукливания. И прежде чем вернуться для новой атаки, он оставил бы в покое мою сестру на целый сезон. А она тем временем могла бы построить еще один слой панциря из какого-нибудь другого материала и расстроить замыслы чудовища еще на сезон.

Но, к несчастью для моей сестры, случилось так, что именно этот олквей последний раз лакомился Матерью, чья оболочка также была стеклянной. И в нем еще сохранились специфические органы, призванные справляться с подобными силикатными смесями. Одним из таких органов являлся огромный твердый шар из какого-то вещества на конце чрезвычайно длинного хвоста. Другим была кислота для размягчения стекла. Смочив ею определенный участок, олквей принялся колотить шаром по панцирю моей сестры. Незадолго до первого снегопада он взломал панцирь и добрался до ее плоти.

Ее отчаянные прерывистые импульсы и сигналы паники и страха до сих пор отзываются во мне нервной дрожью, когда я вспоминаю о них. Однако должна признать, что к моей реакции примешивалась доля презрения. Не думаю, что она хотя бы побеспокоилась внести в свое стекло окись бора. Если бы она поступила так, то могла бы...

Что такое? Как ты смеешь перебивать меня?.. Ну ладно, хорошо, я принимаю твои почтительные извинения. И впредь прошу не забываться, милочка. Что же касается того, что ты хотела узнать, то я дам позже описание тех веществ, которые Отец называл силикатами, окисью бора и тому подобное. После того, как закончу свой рассказ.

Итак, продолжаю: убийца, покончив со Стеклоголовкой, устремился с холма вниз по ее следу и до развилки следов. Там он встал перед выбором: идти по следу другой моей сестры или по моему. Он решил отправиться по ее следу. Модель его поведения осталась прежней. Как и в прошлый раз, он попытался подкопаться под нее, залез на нее, откусил ее импульс-стержни, а потом сжевал образец ее панциря.

Выпал снег. Олквей, словно тень, скользнул прочь и, выкопав яму, заполз в нее, чтобы переждать зиму.

Сестра Дубинноголовка отрастила себе другой стержень. Она ликовала: «Для него мой толстый панцирь оказался не по зубам! Ему никогда до меня не добраться!»

Ах, сестрица, если бы ты хоть что-то восприняла от Отца и не тратила бы столько времени на игры с другими Слизняшками! Тогда бы ты вспомнила, чему он тебя учил. Ты бы знала, что олквей, как и мы, отличается от других живых созданий. Большинству существ присущи функции, которые зависят от структуры их организмов. Но олквей, это мерзкое создание, имеет такую структуру организма, которая зависит от его функций.

Я не стала сообщать ей об этом и тем самым расстраивать ее. Теперь, когда олквей укрыл в своем теле образец ее панциря из целлюлозы, он находился в стадии окукливания вокруг него. Отец рассказывал мне, что некоторые членистоногие проходят в своем развитии несколько стадий — от яичка к личинке, от личинки к куколке, от куколки к взрослой особи. Когда в кокон окукливается, к примеру, гусеница, все ее тело разжижается, а ткани распадаются. Затем нечто преобразует эту кашу в новое существо совершенно иного строения и с новыми функциями — в бабочку.

Бабочка, однако, никогда вновь не окукливается. А вот олквей способен окукливаться не один раз. Эта своеобразная способность отличает олквея от компании его членистоногих собратьев. Итак, когда он принимается за Мать, то откусывает кусочек от ее панциря и отправляется с ним спать. Скорчившись в своей норе, он, а вернее, его тело, в течение целого сезона грезит в дреме о проглоченном образце. Его ткани перестраиваются. Нетронутой остается лишь его нервная система, сохраняя таким образом память о своей индивидуальности и о его цели, когда он выберется из ямы.

Так и произошло. Выйдя из ямы, олквей удобно уселся на куполообразной верхушке сестры Дубинноголовки и вставил в дыру, оставшуюся от откушенного им импульс-стержня, свой видоизмененный яйцеклад. Я могла более или менее следить за ходом его атаки, так как ветры частенько дули в мою сторону и до меня доносились запахи тех химикалий, которые он вливал.

С помощью неизвестного раствора олквей превратил целлюлозу в мягкую массу, пропитал ее каким-то едким веществом, а затем стал поливать ее зловонной жидкостью, которая кипела и пузырилась. После того как прекратилось яростное бурление,

он снова смочил едким веществом все увеличивавшуюся выемку. Под конец он выдул вязкий раствор через трубку. Олквей повторил эту процедуру много раз.

И хотя моя сестра, как мне кажется, отчаянно наращивала все больше и больше целлюлозы, она не поспевала. Олквей безжалостно расширял дыру. И когда она стала наконец достаточно большой, он скользнул внутрь.

Конец сестры...

Вся процедура заняла у олквея довольно много времени. Я работала не покладая усов, и то, что я успела сделать еще до возведения купола, дало мне выигрыш во времени. Это был проложенный мною ложный настовый след, над чем насмеялись мои сестры, да и не только над этим. Они никак не могли взять в толк, что я делаю, когда я возвращалась назад по своему же следу, что заняло у меня несколько дней, и маскировала грязью свой настоящий след. Но они бы поняли, если бы остались в живых. Потому что олквей свернул с истинного пути к моей вершине и пошел по ложному следу.

И он, конечно, привел олквея к самому краю крутого обрыва. Не успел он, разогнавшись, затормозить, как свалился вниз.

Ухитрившись как-то не пострадать при этом серьезно, он вскарабкался на гору и снова подошел к неверной тропе. Вернувшись по ней назад, он все-таки докопался до истинного следа. Фальшивая тропа была отличной уловкой, которой научил меня мой Отец. К великому сожалению, она не сработала, так как чудовище, поднимаясь в гору, направлялось прямо ко мне. Его антенны раскидывали по сторонам рыхлую землю и ветки, которыми я прикрыла настовую дорожку, оставшуюся после меня.

Но я все же не отчаивалась. Я еще раньше собрала множество крупных камней и сцементировала их в один большой валун. Сам же валун был помещен на вершину, где он едва удерживался на самом ее краешке. Среднюю часть валуна я обхватила железным кольцом с желобом для перекладки из того же минерала. Перекладка вела от валуна до середины склона. Таким образом, когда подвижный подошел к железному гребню и стал взбираться вдоль него вверх по склону, я убрала щупальцами камешки, которые удерживали валун на месте, не давая ему скатиться с вершины.

Мое грозное оружие покатилося вниз по назначенному ему пути с ужасающей скоростью. Я уверена, что оно раздавило бы олквея всмятку, не почувствуй тот вибрацию перекладки. Олквей отпрянул в сторону. Валун пронесся мимо, едва не задев его.

Несмотря на постигшее меня разочарование, у меня появилась еще одна задумка, как мне в будущем справляться с олквеями. Если мне разместить до середины склона не одну, а две перекладины — по одной с каждой стороны от центральной линии — и пустить три валуна одновременно, то, если даже чудовище отпрыгнет от середины влево или вправо, ему все равно достанется по носу!

Олквей, должно быть, испугался, так как после этого я не улавливала его импульсов в течение пяти теплых периодов. Потом он снова появился, но вопреки моим ожиданиям он понимался не по противоположному склону, пусть и гораздо более крутому, а по-прежнему вдоль перекладины. Что ж, прекрасно. Он, оказывается, еще и глупый.

Здесь я хочу прервать свой рассказ и пояснить, что валун — целиком моя идея, а не Отца. И все же должна добавить, что именно Отец, а не Мать научил меня мыслить оригинально. Я знаю, что все ваши нервы трепещут при одной мысли, что обыкновенный подвижный, который, казалось бы, годится лишь в качестве еды и для спаривания, может быть не только мыслящим, но и отличаться высокой организованностью мышления.

Я не настаиваю, что он обладал высшими достоинствами по сравнению с Матерью. Думаю, что они были несколько иного характера и я заимствовала у него что-то от этого характера.

Итак, продолжаю. Я ничего не могла поделать, пока вокруг меня рыскал олквей и пробовал на вкус мой панцирь. Мне оставалось только надеяться. А одной надежды, как я обнаружила, недостаточно. Подвижный откусил кусок от внешней костяной оболочки моего панциря. Я думала, что этим он и удовлетворится и что он, когда вернется после окукливания, найдет второй слой из меди. Это задержало бы его до следующего сезона. Затем он наткнется на железо и снова будет вынужден отступить. К тому времени ему это настолько надоеет, что он сдастся и уйдет на поиски более легкой добычи.

Я еще не знала тогда, что ни один олквей никогда не сдастся и всегда доводит дело до конца. Целыми днями он ходил вокруг, подкапываясь под мое основание, и обнаружил все-таки одно место, которое я не позаботилась как следует прикрыть защитными оболочками. Все три составные части панциря были здесь как на щупальце. Я знала о существовании этого слабого места, но я никогда не думала, что он докопается так глубоко.

И вот убийца ушел окукливаться. С наступлением лета он выполз из своей норы. Но прежде чем напасть на меня, он съел

все мои посевы, опрокинул мои панцирные клетки и сожрал всех находившихся в них подвижных, потом он, выкопав мои усики, сжевал и их и поломал мою водопроводную трубу.

Но когда он оборвал все яблоки с моего дерева и проглотил их, мои нервы затрепетали. Прошлым летом я доставила к дереву через сеть подземных усиков некоторое количество ядовитого минерала. Этим я, конечно, загубила усики, которые переправляли яд, но мне удалось скормить корням незначительное количество этого препарата — селена, как Отец называл его. Я отрастила еще больше усиков и подвела к дереву больше яду. В конце концов дерево прямо разбухло от этого зелья. Однако я подкармливала его так медленно, что оно выработало что-то вроде иммунитета. Я сказала «что-то вроде», потому что в действительности дерево очень даже болело.

Должна признать, что я заимствовала эту идею из одной из Отцовских небылиц, которую он отстучал *орзеем*, чтобы не раздражать Мать. Небылица рассказывала о подвижном — о женщине, как утверждал Отец, хотя меня понятие о женском подвижном слишком бьет по нервам, чтобы говорить об этом. Так вот, этого подвижного надолго усыпили с помощью отравленного яблока.

Олквей, видимо, никогда не слышал этой истории. Его вырвало, только и всего. Оправившись, он забрался наверх и взгрозился на верхушке моего купола. Он оторвал от меня большой импульс-стержень и, вставив в дыру свой яйцеклад, принялся вливать тонкой струйкой кислоту.

Я перепугалась. Нет ничего ужаснее, чем лишиться возможности вести передачи и совсем ничего не знать, что происходит в мире за пределами панциря. Но в то же время именно таких его действий я и ожидала. Поэтому я постаралась унять свои расшалившиеся нервы. В конце концов, я ведь знала, что олквей подберется к тому месту. Как раз по этой причине я и сместила свой мозг в сторону и приподняла довольно объемный желудок поближе к верхушке купола.

Мои сестры поднимали меня на смех из-за того, что я так много времени уделяла своим органам. Они довольствовались общепринятой процедурой роста до обычных Материнских размеров. Пока я все еще наполняла водой из ручья свою желудочную полость, мои сестры уже давно согрели свои полости с водой и всюю лакомились вкусной горячей тушенкой. А я тем временем питалась множеством фруктов и сырым мясом. От такой еды меня иногда тошнило. Однако извергнутая пища была хорошим удобрением для посевов, так что внакладе я не оставалась.

Как известно, когда желудок заполняется водой полностью и после этого наглухо закрывается, жар нашего тела согревает жидкость. А поскольку жар никуда не выходит — разве что когда мы вбрасываем или выбрасываем через диафрагму мясо и овощи, — то вода доходит даже до кипения.

Ну да вернемся к моему рассказу. Когда подвижный распрился кислотами и с костью, и с медью, и с железом и проделал большущую дыру размерами как раз с него, он нырнул в нее, чтобы пообедать.

Полагаю, он предвкушал встретить обычную беспомощную Мать или девственницу, оцепеневшую от ужаса и безропотно ожидающую, когда ее съедят.

Если он и предвкушал, то теперь его самого, наверное, застряло от страха. В верхней части моего желудка находилась диафрагма, которую я вырастила, имея в виду величину вполне определенного хищного подвижного.

Правда, была минута, когда я испугалась, что сделала размеры отверстия недостаточно большими. Я проглотила его наполовину, но никак не могла протолкнуть через губы его заднюю часть. Плотно застряв в моей глотке, он рвал когтями мою плоть, раздирая ее в клочья. Мне было так больно, что я раскачивалась взад и вперед, и думаю, что даже потрясла свой панцирь в его основании. И все же я, несмотря на крайнюю нервозность, собрала все силы для борьбы и энергично глотала. О, как тяжело я глотала! И когда меня уже чуть не вырвало им обратно сквозь ту дыру, через которую он пришел, что означало бы мой конец, я наконец сделала один гигантский судорожный глоток и пропихнула его внутрь.

Моя диафрагма закрылась. Теперь я бы ни за что не открыла ее снова, сколько бы он ни кусался и ни плескал своими обжигающими кислотами. Я была решительно настроена на то, чтобы удержать этот кусок мяса в своей тушенке. Такого большого куска не перепало еще ни одной Матери.

О, как он сопротивлялся! Но недолго. В его открытую пасть хлынула кипящая вода, заполняя собой дыхательные полости. У него не было никакой возможности взять образец того кипятка и выползти наружу, чтобы оуклиться вокруг него.

С ним было все кончено — и каким же вкусным он оказался!

Да, знаю: меня стоит поздравить, а сведения о том, как справиться с олквеем, следует передать каждой из нас, где бы она ни жила. Только не забудьте добавить, что победой над нашим извечным врагом я отчасти обязана подвижному. Такое признание может подействовать на вас слишком ошеломляюще, но что было, то было — он действительно помог одержать победу.

Откуда ко мне пришла идея разместить свою тушеночную полость прямо над дырой, которую олквей обычно пробивает на верхушке наших панцирей? Да все оттуда же — из небылиц Отца, рассказанных мне на азбуке *орземей*. Я тебе как-нибудь расскажу ее, когда немного освобожусь. После того, как ты, милочка, выучишь наш секретный язык.

Начну тебя учить прямо сейчас. Сначала...

Что такое? Вы трепещете от любопытства? Что ж, прекрасно, дам-ка я вам некоторое представление о данной небылице, а потом продолжу свои занятия с этой новенькой.

Итак, жили-были олквей и роетей ленькихмаей росятпоей...

СЫН

Роскошный лайнер сотрясло взрывом. Его жертвой оказался и Джонс.

Он стоял, облокотившись о поручни, и следил за отражением луны, плясавшим на волнах. Он думал о жене. Джонс оставил ее на Гавайях и надеялся, что больше никогда не увидит ее. А еще он думал о своей матери в Калифорнии и спрашивал себя, как сложится на этот раз их совместная жизнь. Но как бы она ни сложилась, он не радовался и не горевал в предвидении любого из вариантов. Он просто размышлял.

А затем неприятель, предприняв одну из первых акций необъявленной войны, из толщи воды торпедировал корабль. И Джонс, совершенно неожиданно для себя, взлетел высоко в воздух, будто подпрыгнул на огромном пружинистом трамплине для прыжков в воду.

Он ушел глубоко под воду. Со всех сторон его сдавил мрак. Джонса охватила паника, и он утратил то хрупкое ощущение равновесия, которое мог поддерживать, когда плавал в открытых, залитых солнцем водах. Ему хотелось закричать и затем взобраться по нити крика к чистому воздуху и яркой луне, словно цирковому акробату по веревке.

Но прежде чем из него вырвался крик о помощи и воды залили своим густым мраком его легкие, он пробил головой водную поверхность и жадно хлебнул света и воздуха. Оглядевшись вокруг, он увидел, что корабль исчез и он остался один. Ему ничего не оставалось, как только вцепиться в покачивавшийся на волнах обломок и держаться за него в надежде, что на следующий день появятся самолеты или другой корабль.

Son

Copyright © 1954 by Philip Jose Farmer

Часом спустя море неожиданно вздыбилось, и из волн появилась чья-то продолговатая темная спина. Джонс сразу подумал о ките, потому что у того тоже была такая же скругленная голова и покатое тело. Однако всплывший «кит» не бил хвостом вверх-вниз, чтобы продвигаться вперед, как это делают киты, и не заваливался на бок. Он вообще ничего не делал, а только лежал там. Джонс понимал, что это скорее всего новый тип подводной лодки, но не был в этом уверен — вынырнувшая громадина казалась такой живой. Было в ее внешности нечто неуловимое, что отличает живое от неживого.

Через минуту его сомнения разрешились. Из середины спины, нарушая ее идеально гладкую круглившуюся поверхность, вверх полез длинный стержень. Ось росла, пока не достигла двадцати футов в высоту. Затем, остановившись, она вдруг распустилась на конце множеством решетчатых конструкций самых разных форм и размеров. Втягивающаяся радарная антенна.

Значит, все-таки это неприятель. Он поднялся из глубин, где прятался после того, как нанес свой смертельный удар. Захотел полюбоваться крушением судна и, возможно, подобрать спасшихся, чтобы подвергнуть их допросу. Или удостовериться, что не выжил никто.

Но, даже подумав так, Джонс не стал плыть прочь от черной громадины. Да и что он мог сделать? Лучше попытать счастья в надежде на то, что с ним будут обращаться хорошо. Он вовсе не хотел погружаться в бездну — туда, где царят мрак и давление воды.

Подлодка повернулась к Джонсу своим тупым носом. Блестящая палуба оставалась безлюдной: ни один человек не выскочил на нее, распахнув неожиданно люки. Не было ни единого признака жизни, если не считать того, что внизу, по всей вероятности, находились люди, которые обращали в его сторону безликие и безглазые решетки радара.

Подлодка, надвинувшись, едва не подмяла его под себя, и только тогда Джонс увидел, каким образом его собираются брать в плен. В китообразной голове открылось большое круглое отверстие. В него устремилась вода, прихватив Джонса с собой. Он сопротивлялся изо всех сил. Ему претила сама мысль быть зачерпнутым в эту чудовищную пародию на скотосбрасыватель, быть проглоченным, как сардина, за которой гоняется консервная банка. Более того, одной лишь мысли о распахивающейся настежь двери, за которой не видно ничего, кроме мрака, было достаточно, чтобы у него появилось желание кричать.

В следующее мгновение отверстие за ним затворилось, и он оказался стиснутым водой, стенами и темнотой. Джонс яростно

сопротивлялся врагу, которого не мог схватить даже за руку. Все его существо кричало о глотке воздуха, об искре света и двери, которая вывела бы его из этой камеры паники и смерти. Где же та дверь, дверь, дверь? Где?..

Были минуты, когда сон почти отпускал его, когда он находился в сумеречном мире словно в подвешенном состоянии между темнотой сна и светом яви. В одну из таких минут он услышал голос, который показался ему незнакомым. По звучанию он походил на женский: мягкий, ласковый и сочувствующий. Иногда голос становился настойчив, давая понять, что ему лучше и не пытаться что-либо утаивать.

Утаивать? Утаивать что? Что?

Один раз он ощутил — скорее почувствовал, чем услышал, — серию сильнейших ударов, похожих на невесть откуда прогремывавший гром, и испытал чувство, будто его сжимают в гигантском кулаке. Потом прошло и это.

Голос на короткое время вернулся. Потом он постепенно затих, и Джонс заснул.

Сон долго не отпускал его. Джонсу пришлось пробиваться сквозь ворох наваленных друг на друга одеял полубессознательности, сбрасывая их одно за другим с неистовством, которое сдерживалось отчаянной надеждой, что следующее одеяло окажется последним. И когда он уже был готов сдать и снова погрузиться в удушье и в вязкие, сжимающие слои, перестать дышать и бороться, он проснулся.

Громко крича и пытаясь махать руками, он вдруг представил, но лишь на миг, будто открылась дверь чулана и вместе со светом вошла его мать.

Но это было не так. Он не был снова в запертом чулане. Ему не было шести лет, и то была не мать, которая спасла его. И уж конечно, то был не ее голос и не голос его отца — человека, который запер его в чулане.

Голос доносился из динамика, встроенного в стену. Вопреки ожиданиям Джонса, голос говорил не на языке врага, а по-английски. Станный полуметаллический, полуматеринский голос журчал и журчал, монотонно пересказывая ему, что происходило за последние двенадцать часов.

Он поразился, узнав, что так долго был без сознания. Переваривая услышанное, он обежал изучающим взглядом камеру, в которой находился. Она была семи футов в длину, четырех — в ширину и шести — в высоту. Она была совершенно пустой, если не считать койки, на которой он лежал, и неизбежных атрибутов сантехники вполне определенного назначения. Пря-

мо над ним висела пышущая жаром электрическая лампочка без абажура.

Он лежал, будто заключенный в кокон, в узком как могила помещении, откуда он не видел выхода наружу. Это открытие заставило его прыгнуть с койки. Вернее, попытаться прыгнуть, так как оказалось, что он был связан по рукам и ногам широкими пластиковыми ремнями.

Камера заполнилась голосом.

— Не волнуйся, Джонс. И не пытайся без пользы закатывать истерики и брыкаться, как в прошлый раз, пока ты не вынудил меня дать тебе успокоительное. А если ты страдаешь от жестоких приступов клаустрофобии*, то придется тебе как-нибудь перетерпеть их.

Джонс не сопротивлялся. Он был ошеломлен, уяснив, что на подводной лодке он — единственное человеческое существо. С ним разговаривал робот — а может, сама подлодка, управляемая по электронной связи с базового корабля.

Некоторое время он обдумывал создавшееся положение... но от приходивших в голову мыслей страх его не убавлялся. Быть плененным живым врагом — само по себе достаточно плохо, но враг со стальной кожей, пластиковыми костями, электронными венами, радарными глазами и мозгом из германия внушал ему неодолимый ужас. Как можно бороться с кем-то... чем-то... подобным?

Он отогнал страх мыслью, что, во всяком случае, хуже ему не будет. Разве может этот автомат отличаться от самого врага, творение от творца? Именно враг создал эту автоматическую рыбину, и уж наверняка, моделируя ее, он взял за основу собственные мыслительные процессы и собственную идеологию. Как повел бы себя живой враг, точно так же поведет и этот монстр.

Теперь, когда Джонс пришел в себя, он вспомнил, что говорил ему робот и что он роботу отвечал. Он проснулся, когда едва не утонул, и увидел длинную искусственную руку, вбивавшуюся в отверстие в стене. Отверстие сразу затянулось, оставив неприметную щель, но прежде Джонс успел мельком увидеть на конце руки иглы. Позже ему дали понять, что иглы на руке вкололи ему адреналин, чтобы усилить деятельность сердца, и еще какой-то неизвестный американцам химический препарат, чтобы побудить внутренние мускулы извергнуть воду, которой он наглотался.

Подлодка желала, чтобы он жил. Возникал вопрос: для чего?

* Боязнь замкнутого пространства. (Здесь и далее примеч. пер.)

Прошло совсем немного времени, и он узнал ответ. Машина или механический «мозг» — название здесь не имеет значения — ввела ему также лекарство, чтобы тот впал в легкое гипнотическое состояние. Она дала ему ключевое слово, которое, если произнести его после прекращения действия лекарства, пробудит в нем воспоминания о происшедшем. Теперь, когда голос произнес то ключевое слово — оно прозвучало на языке врага, поэтому он не понял его, — память в мгновение ока вернулась к нему.

Он узнал все, что подлодка посчитала нужным рассказать ему. Во-первых, она была одним из экспериментальных судов, построенных врагом незадолго до войны. Она была полностью автоматизирована и не потому, что у врага не хватало людей — ведь в неприятельском лагере имелось Бог знает сколько миллионов жизней, которые можно бросить в мясорубку на арене битвы. Но потому, что подводная лодка, которой не нужно перевозить большого количества продовольствия и оборудования по вырабатыванию воздуха для экипажа и на которой не нужно предусматривать жизненного пространства, может быть гораздо меньших размеров, более эффективно действовать и дольше обычного оставаться в море. Кроме того, механизмы, обеспечивающие ее работу, занимали намного меньше места, чем моряки.

Вся конструкция судна представляла собой сплав лоснящейся обтекаемости, скорости и неумолимости. Подлодка несла на себе сорок торпед, и, когда их запас иссякал, она возвращалась к своему базовому кораблю где-то в Тихом океане. Без особой необходимости она вообще могла не всплывать на поверхность в течение всего рейса. Однако ее создатели вложили в нее программу-приказ, что ей следует, если позволяют условия безопасности, брать пленников и выуживать из них ценную информацию.

— Потом, — продолжил голос с оттенком металла, — я бы вышвырнула тебя обратно в море, из которого и подобрала. Но, обнаружив во время допроса, что ты являешься специалистом по электронике, я решила оставить тебя и доставить на базу. Мне приказано доставлять всех ценных пленников. Тебе повезло, что ты оказался тем, кого можно использовать. А иначе...

В комнате медленно таяли холодные отголоски. Джонс содрогнулся. Мысленно он видел, как открывается люк и через него врывается море, как он сопротивляется, но невероятно сильные искусственные руки выталкивают его в черную, безмолвную бездну.

В голове промелькнул вопрос: как много Кит VI узнала о нем. Но не успел он подумать, как получил ответ. Память вдруг

словно прорвало, и теперь он знал все остальное, что касалось случившегося.

Начать с того, что подлодка обладала человеческой натурой в той степени, в какой ею может обладать машина. Она «думала» о себе как о существе по имени Кит VI — «*кит*» на языке врага означал обычного кита — и способом выражаться могла бы сбить с толку всякого неспециалиста. Послушав ее, он бы решил, что та обладает собственным сознанием. Джонс разбирался в этом вопросе получше. Еще не было создано ни одного механического мозга, который обладал бы самосознанием. Но здесь он был смонтирован таким образом, что производил впечатление разумного. А Джонс мало-помалу перенял обычное заблуждение и стал думать о лодке как о живом существе. Или как о женщине. Поскольку создатели «Кит» попались в собственную ловушку и, памятуя о том, что лодки относятся к женскому роду, при строительстве «Кит» невольно наделили ее женской психологией.

А иначе как можно объяснить, что «Кит», как ему казалось, чуть ли не с нежностью заботится о нем? Зная, что он — ценный пленник и что пославшим ее людям на базовом корабле требуется именно такой человек, как Джонс, с его талантом и сведениями, которые они могут использовать, «Кит» была готова сделать все возможное, чтобы его тело оставалось в целостности и сохранности. Вот почему она ввела ему внутривенное питание и прекратила допрос, когда случайно натолкнулась в его мозгу на чрезвычайно чувствительную и болезненную зону.

Что же это был за ранимый участок? Да не что иное, как та ночь, которая осталась в далеком прошлом, но которая по сей день болезненно отзывалась в нем. Та ночь, когда отец запер его в темном чулане за то, что он, Джонс, не признавался, что украл из кошелька матери монету в двадцать пять центов. Он отказался признаться, потому что знал, что не виноват. Потом темнота сделалась плотной, тяжелой и жаркой и стала душить его, словно его завернули в толстое одеяло. И тогда он, не в силах больше выносить страха, темноты и стен, которые, казалось, придвигаются к нему, чтобы его раздавить, пронзительно закричал. Он кричал до тех пор, пока его мать, оттолкнув отца в сторону, не открыла дверь и не дала ему свет, пространство и широкую, мягкую грудь, чтобы выплакаться на ней.

И с тех пор...

— Мне удалось вывести из тебя только то, что ты — специалист по электронике, что был на лайнере-люкс «Кельвин Кулидж», что оставляешь свою жену по решению суда о раздельном жительстве и что собираешься жить с матерью, которая

проживает на территории университета, — почему-то потеплевшим голосом произнесла «Кит». — Там ты собирался вести привычную и размеренную академическую жизнь преподавателя и остаток своих дней быть рядом с матерью, пока та не умрет. Но как только я столкнулась с этой мыслью, ты неожиданно вернулся к случаю с чуланом, и я ничего не смогла с тобой поделать. К сожалению, меня снабдили лишь самыми легкими наркотиками, и поэтому я не могу погрузить тебя в состояние глубокого гипноза. Если бы я могла, то сумела бы проникнуть за барьер того эпизода или отодвинуть его в сторону. Но каждый раз, когда я начинаю допрос, я задеваю данный образ из прошлого.

Была ли то игра его воображения, или он и вправду уловил в ее голосе нотку легкой грусти или участия? Все может быть. Если враг построил модулятор, способный имитировать сочувствие и доброту, то с таким же успехом он бы сумел вмонтировать схемы, могущие изображать и другие эмоции. А иначе возможно ли, чтобы машина, которая, в конечном счете, является высокоразумным «мозгом», могла управлять голосовым механизмом и производить тем самым нужное впечатление?

Наверное, он никогда не узнает. Однако нет сомнений, что в голосе есть по меньшей мере намеки на какие-то чувства.

Он был рад, что проявляет интерес к скрытым возможностям «Кит». А иначе он бы барахтался, как кретин, до изнеможения, пытаясь вырваться из этих уз, привязывавших его к койке. Камера была слишком тесной, слишком тесной. И хотя сейчас, когда горел свет, Джонс еще мог как-то смириться с теснотой помещения, он знал, что, если бы свет вдруг потух, он сошел бы с ума.

Наверное, «Кит» узнала и об этом, однако она не пыталась использовать свою осведомленность. Например, угрожая ему. Почему? Почему она не делала попыток вырвать у него информацию, припугнув его чем-нибудь? Именно такими методами, вероятно, и действовали люди, создавшие ее, а ведь она, в конце концов, всего лишь их отражение. Почему же она не пыталась запугать его?

Ответ не замедлил прийти.

— Тебе следует знать, что я попала в беду. А это, в свою очередь, означает, что и ты, Джонс, тоже попал в беду. Если я утону, то и ты вместе со мной.

Джонс напрягся. Вот он, решающий момент. Похоже на то. Он удивился, услышав в ее голосе почти просительные нотки. Потом он вспомнил, что ее создатели, кажется, предусмотрели

для ее голоса целый диапазон эмоций, чтобы та при случае этим воспользовалась.

— Когда ты лежал без сознания, меня атаковали самолеты, — сказала «Кит». — На них, очевидно, был установлен какой-то неизвестный мне прибор, потому что я находилась на глубине в сотню морских саженей*, а они все-таки засекли меня.

Джонс теперь уверился окончательно. В ее голосе *было* чувство — что-то среднее между угрюмой печалью и уязвленным самолюбием. Когда «Кит» послали в море, подумал Джонс, сцена потеряла великую актрису.

Несмотря на свое положение, он, не удержавшись, издал короткий смешок. «Кит», вероятно, услышала, потому что задала Джонсу вопрос:

— Что это за звук, Джонс?

— Смех.

— Смех?

Разговор прервался. Джонс мысленно представил, как «Кит» застыла в ожидании, роясь по каналам своих электронных банков памяти в поисках определения той штуки, которая называется смехом.

— Ты имеешь в виду вот это? — спросила «Кит».

Динамик взорвался хохотом, от которого стыла кровь.

Джонс натянуто улыбнулся. Ясно, что создатели «Кит» включили в ее репертуар определение смеха и способность воспроизводить таковой. Но тот смех, который они вложили в нее, был именно таким, какой только от них и можно было ждать. Он предназначался для запугивания их жертв. В таком смехе не было ни единого намека на радость или веселье. Джонс ей так и сказал. Снова молчание. Затем динамик коротко рассмеялся. На этот раз ее смех выражал презрение и пренебрежение.

— Я не это имел в виду, — ответил Джонс.

Голос «Кит» задрожал. Джонс поразился этому. Похоже, инженеры противника не предназначали ее для выражения собственных эмоций. Машины, насколько он знал, могли переживать крушение планов и неверие в собственные силы, но они не ощущали при этом такого же «чувства» разочарования, как люди. Однако вполне возможно, что в своем желании заставить машину имитировать человека как можно полнее они вмонтировали в нее специальный прибор. Конечно, подобный прибор расширял объем работы по составлению программы управления машиной до фантастических пределов, но такой вариант возможен.

* Соответствует 183 метрам.

А потом Джонс испытал еще одно легкое потрясение. Ранее «Кит» начала ему объяснять, почему ей нужна помощь, но неожиданно переключилась на обсуждение смеха и на тщетные попытки воспроизвести его.

Значит, «Кит» можно было сбить с толку.

Он взял на заметку свой вывод. Возможно, позже он ему еще пригодится — как оружие против нее. Если ему вообще доведется попасть в такую ситуацию, где он сможет это оружие использовать. А сейчас, когда его связывали ремни, для надежды, казалось, совсем не оставалось места.

— О чем ты говорила? — переспросил он.

— Я сказала, что я в беде, а следовательно, мы оба. Если хочешь выжить, ты должен помочь мне.

Она помолчала, словно подыскивала в своем металлоячистом мозгу правильные с точки зрения психологии комбинации слов. Он напрягся, так как знал, что другой такой возможности не будет, и стал внимательно слушать.

— Пока ты спал, — сказала она, — эти самолеты — по моим предположениям, они из авиации буржуазных янки, — каким-то образом засекли меня и сбросили глубинные бомбы. Они взорвались совсем близко от меня, но, поскольку меня построили прочной и компактной, они причинили мне минимальный ущерб, и то лишь снаружи. Но встряска была порядочной.

Я нырнула под углом и ушла от них. Но когда я опустилась к самому дну, то остановилась. Мой нос застрял в придонном иле глубоководной зоны, и я не могу выдернуть его.

Боже милостивый, подумал Джонс, на какой же мы глубине? В тысячи футов?

Эта мысль напомнила ему о его клаустрофобии. Теперь стены и в самом деле, казалось, давили на него. Они прогибались внутрь под чудовищным весом воды над ним.

Мрак и перспектива быть расплюснутым.

«Кит» замолчала, словно давала ему время поразмыслить над ужасом, окутывавшим ее снаружи. От него Джонса отделяла лишь ее тонкая кожа. И сейчас, словно она верно оценила его реакции, она продолжила:

— У меня прочные стенки и к тому же довольно эластичные, так что они выдержат даже на такой глубине. Но я дала течь!

Она очень небольшая, но из-за нее мой отсек между внутренней и внешней стенками заполняется водой. И еще, должна признаться, от ударной волны сместилась одна панель с моей внутренней стенки. Бомбы разорвались совсем рядом.

Она говорила так, будто была женщиной, которая жалуется врачу на боли в почке.

— Мои насосы работают вполне исправно, так что изнутри меня никак не затопит, — сказала она. — Но, к сожалению, влага повредила схемы управления моим рулевым устройством. Я способна править собой, но только в одном направлении, потому что мои рули погружения заблокированы.

Она сделала драматическую паузу и потом изрекла:

— Это направление — вниз.

С ее словами вернулся страх. Эта дверь никогда не откроется. Она выпустит лишь в черноту и чудовищное давление, там нет ни света, ни воздуха, и нет его...

Сжав кулаки, он собрал все силы, чтобы не позволить панике овладеть им. Она, конечно, знала, какой эффект произведут на него ее слова. Скорее всего на нем она и строила свои расчеты. Более чем вероятно, что в ремнях, стягивавших его руки, содержатся приборы для измерения пульса и давления крови. Она сразу могла определить, когда он обманывает ее, а когда трясется от страха.

— У меня есть инструменты, чтобы подремонтироваться, — продолжала она, — но эта течь, к сожалению, вывела из строя схемы управления руками-монтажниками. К великому сожалению.

Голос его был напряженным — как его сжатые кулаки.

— Ну и?

— Ну и я хочу выпустить тебя из твоей камеры и позволить тебе остановить течь и починить схемы. Весь необходимый материал для остановки течи и ящик с чертежами схем находятся у меня в машинном отделении. По чертежам ты сможешь разобраться в схемах.

— А если я сделаю это?

— Я доставлю тебя на базовый корабль живым и невредимым.

— А если не сделаю?

— Тогда я перекрою тебе воздух. Но сначала я выключу у тебя свет.

С таким же успехом она могла садануть его по голове и захлопнуть над ним крышку гроба. Он знал, что не способен противостоять ее угрозам. Он не хотел признавать себя трусом, ему отчаянно хотелось верить, что он — сильный. Но он знал, что где-то глубоко внутри его таилось нечто, способное подвести его.

Когда опустится мрак и воздух станет жарким и душным, он снова почувствует себя ребенком. Ребенком, запертым в чулане, который, как казалось ему, проваливается вниз к самому центру Земли, чтобы остаться там навсегда. А сверху на него

будет всем своим весом давить сама Земля, с ее океанами, горами и людьми, которые ходят по ней высоко-высоко над головой.

— Ну что? — в голосе чувствовалось нетерпение.

Он вздохнул:

— Я согласен.

В конце концов, пока он живет, он всегда может надеяться на побег. А возможно, даже на захват этого чудовища...

Он с иронией покачал головой. Зачем пытаться обманывать себя? Он — трус и ни на что не годен. Если бы это было не так, он не удирал бы всю свою жизнь от страха, не бежал бы домой к маме. Он не отказался бы от престижной работы преподавателя в крупном университете на Среднем Западе и не приехал бы преподавать на побережье, потому что там он мог быть поближе к матери.

Она не согласилась покинуть свой дом, вот почему он приехал к ней.

А затем, когда он встретил Джейн и позволил ей уговорить себя работать в той крупной лаборатории на Гавайях, что специализируется по электронике, он много раз думал: как было бы хорошо, если бы его мать приехала и навестила их. После многочисленных бурных скандалов Джейн не дала согласия на ее визиты, потому что, как она выразилась, его мать лишала ее остатков мужества. И тогда он бросил Джейн.

И вот сейчас он здесь снова в том же чулане, который погружается в убийственную бездну еще глубже. Он снова в том же чулане, потому что он опять убежал. Если бы он не побоялся остаться с Джейн, он бы не попал в такой переплет.

Самым ужасным во всем этом было то, что он признавал правоту Джейн. Он знал, что мать велела ей присматривать за ним из-за этого странного вывиха в его мозгу. Однако он ничего не мог поделать с собой, он только вяло сопротивлялся. Точно так же, когда эта ужасная тварь втянула его в свою открытую пасть: сейчас он слушался каждого ее слова. И все из-за страха, с которым он не мог совладать.

Резкий голос «Кит» вторгся в поток его мыслей.

— Только одно удерживает меня от того, чтобы я тебя развязала.

— Что именно?

— Тебе можно доверять?

— А что мне остается? Умирать мне вовсе не хочется, а жить я смогу только в том случае, если останусь с тобой. Даже в качестве пленника.

— О, мы очень хорошо обращаемся с теми специалистами, которые сотрудничают с нами.

Джонс отметил ударение, сделанное на слове «сотрудничают». Вздрыгнув, он спросил себя, что его ждет впереди. Возможно, с тем же успехом он мог бы и отказать ей. По крайней мере, он сможет пасть с честью.

Здесь, под столькими полновесными морскими сажениями, где никто и никогда не узнает о принесенной им жертве, честь не имеет никакого смысла. Он будет всего лишь одним из пропавших без вести, забытым всеми, кроме матери и Джейн. А она... она молодая, симпатичная, и ума ей не занимать. Она найдет себе кого-нибудь другого — не успеешь и глазом моргнуть. От этой мысли его захлестнула волна гнева.

— У тебя поднялось давление, — сообщила «Кит». — О чем ты сейчас думаешь?

Он хотел ей ответить, что это не ее дело, но подумал, что тогда она наверняка заподозрит, будто он замышляет что-нибудь против нее. И он сказал правду.

— Вам, буржуазным янки, следовало бы научиться сдерживать свои эмоции, — равнодушно произнесла она. — А еще лучше — совсем избавиться от них. Вы проиграете войну из-за своей глупости и всяких овечьих переживаний.

В других обстоятельствах Джонс просто умер бы от смеха при одной мысли о машине, разглагольствующей по вопросам патриотизма, а сейчас он лишь слегка подивился тому, что строители «Кит» не оставили без внимания даже идеологическую грань хорошо воспитанного механического мозга.

Кроме того — и от этой мысли он поморщился, — не исключено, что она права.

— Перед тем как я развяжу тебя, Джонс, — сказала она неприятно резким голосом, — должна тебя предупредить, что я приму все меры предосторожности против любого саботажа с твоей стороны. Буду с тобой предельно откровенна и признаюсь тебе вот в чем: пока ты будешь в машинном отделении, я не смогу так же хорошо присматривать за тобой, как сейчас, когда ты здесь. Но у меня есть множество всяких способов, как проследить за каждым твоим шагом. Стоит тебе дотронуться до каких-нибудь недозволенных деталей — или просто приблизиться к ним, — я буду сразу же оповещена.

Сознаюсь тебе и в том, что против тебя у меня есть только одно наступательное оружие. Если ты поведешь себя не так, как следует, я пущу анестезирующий газ. Я оставлю дверь в камеру открытой, так что газ постепенно заполнит все мои внутренности. А поскольку коридоры здесь очень узкие — ведь они предназначены исключительно для техников, которые

обслуживают меня по возвращении в порт, — то все эти помещения заполнятся газом очень быстро. Я тебя одолею.

— А потом? — спросил Джонс.

— Я не буду перекрывать газ, пока ты не умрешь. Вслед за тобой погибну и я. Но зато я буду удовлетворена сознанием того, что ни один прислужник капитализма не поборол меня. И я не боюсь смерти, как ты.

В последнем Джонс сильно сомневался. Она и в самом деле не боялась в том смысле, в каком боялся он. Но ее создатели, очевидно, заложили в нее стремление к выживанию, которое скорее всего такое же сильное, как у него. Иначе она не была бы боеспособной машиной, какой неприятель желал ее видеть, и они с тем же успехом могли бы сконструировать более привычный тип подлодки с экипажем на борту, который сражался бы за свои жизни.

«Кит» отличалась от него главным образом тем, что она, будучи машиной, не страдала невротами. Он был человеком, то есть неизмеримо выше ее по организации. А значит, неизмеримо больше возможностей, чтобы у него что-нибудь да разладилось. Чем выше существо поднялось, тем ниже ему падать.

Пластиковые оковы на нем внезапно отстегнулись. Джонс встал, растирая затекшие руки и ноги. Одновременно дверь камеры открылась, скользнув в стенной паз. Подойдя к двери, он взгляделся в темноту прохода и отпрянул.

— Иди вперед! — нетерпеливо приказала «Кит».

— Но там слишком темно, — ответил он. — Этот коридор чересчур низкий и узкий. Мне придется пробираться ползком.

— Посветить тебе я не могу, — огрызнулась она. — У меня есть фонари для техников, но они находятся в шкафчике в машинном отделении. Тебе придется пойти и взять их.

Он не мог. Было совершенно невозможно заставить свои ноги двигаться в густой мрак коридора.

«Кит» выругалась свойственным врагу матом. Во всяком случае, он полагал, что она материлась. Своим звучанием ее слова определенно походили на мат.

— Джонс, буржуазный трус! Убирайся из этой комнаты!

— Не могу, — заскулил он.

— Ха! Если у янки все штатские такие, как ты, то вы наверняка проиграете войну.

Он не мог объяснить ей, что не все похожи на него. Его слабость была особой, это оправдывало его. С ней просто ничего нельзя было поделать.

— Джонс, если ты не уберешься отсюда, я затоплю эту камеру газом.

— Если ты это сделаешь, то и сама погибнешь, — напомнил он ей. — Ты навечно останешься здесь, уткнувшись носом в грязь.

— Знаю. Но у меня есть более первоочередная установка, чем выживание. Если мне придется делать выбор между пленом и гибелью, я выберу последнее. Без колебаний, в отличие от вас, капиталистов.

Она помолчала, а потом с таким явным презрением произнесла «А теперь *марш!*», что он почти увидел, как она кривит губы.

Он не сомневался, что она говорила на полном серьезе. Более того, насмешка в ее голосе была настолько жгучей, что он почувствовал, как вырвалось пламя и опалило ему сзади ноги. Он присел и ринулся в тесноту и мрак.

Он, конечно, понимал, что сама она не способна хоть сколько-нибудь проявлять подлинное презрение. Просто-напросто создатели этой машины вложили в ее электронный мозг установки, которые побуждали ее обращаться с пленным врагом таким-то и таким-то образом. А поскольку его психологические состояния не были для нее тайной, она автоматически включала презрение или, по необходимости, любую другую эмоцию. Тем не менее ее голос жалил, и яд с этого жала глубоко проник в него.

Согнувшись и почти касаясь коленями пластикового пола, он шел, уподобившись обезьяне в незнакомом лесу. Его глаза прожигали темноту, как если бы сами могли светить. Но он ничего не видел. Несколько раз он нервно оглядывался и каждый раз успокаивался, видя квадратик света из дверного проема камеры. Пока он видит его, он не совсем пропал.

Дальше коридор слегка поворачивал. Когда он оглянулся, позади светилось лишь тусклое пятнышко, но и его было достаточно, чтобы увериться, что не все так черно и что он все же не заперт в чулане. Его сердце колотилось, и изнутри, из самой глубины его существа, поднималось что-то тяжелое и вязкое. Оно несло с собой маслянистую черную пену страха и беспричинной паники. Она заполняла собой сердце и подползала к горлу. Она пыталась задушить его.

Он остановился и, вытянув руки в стороны, дотронулся до противоположных стенок. Прочные и прохладные на ощупь, они совсем не прогибались, пытаясь раздавить его. Он понимал это. Однако короткой вспышкой в нем мелькнуло ощущение, будто стены *движутся*. Он почувствовал, как вокруг него сгущается воздух, словно тот был змеей, готовой обвиться вокруг его шеи.

— Меня зовут Крис Джонс, — громко произнес он. Коридоры огласились громкими отголосками. — Мне тридцать лет. Я —

не шестилетний ребенок. Я — специалист по электронике и способен зарабатывать себе на жизнь. У меня есть жена, которую... Боже мой, до меня это только сейчас дошло... которую я люблю больше всего в жизни. Я — американец и сейчас нахожусь в состоянии войны с противником. Сделать все, от меня зависящее, чтобы изувечить или уничтожить этого противника, является моим долгом, правом и привилегией — а также радостью, если бы я был героического склада. У меня есть знания и хорошие руки. Однако Бог свидетель: я сейчас делаю не то, что следовало бы. Я пробираюсь по туннелю, словно маленький ребенок, и трясусь от страха, готовый в слезах бежать к маме, назад к свету и безопасности. А я помогаю и способствую врагу — и все ради того, чтобы ко мне снова вернулись свет и безопасность и голос моей матери.

Его голос дрожал, но под конец окреп. Перемена в голосе служила симптомом того, что происходило у него внутри. Сейчас или никогда, прошептал он себе. Сейчас или никогда. Если он повернет назад, если его ноги и сердце откажут ему, то с ним все кончено. И уже не будет иметь значения, что со временем он сможет обрести безопасность как пленник врага. Или даже если его спасут и он вернется, свободный, к своему народу. Если он не уничтожит в себе эту червоточину, не бросит под ноги и не растопчет ее, он навсегда останется пленником врага. Он сознавал, что всегда был узником врага, и этим врагом был он сам. И теперь, глубоко под толщей воды, заключенный в стенах этого узкого и неосвещенного коридора, он должен бороться с врагом, чьего лица он не видел, но хорошо знал, и он должен повергнуть его. Или быть повергнутым.

Возникал вопрос: как?

Ответ был: идти вперед. Не останавливаться.

Он двигался медленно, ведя по стене правой рукой. «Кит» указала ему, как идти, и если он будет придерживаться ее указаний, то обязательно отыщет в машинном отделении нужный шкафчик. Что он и сделал. После бесконечных, как ему казалось, часов блуждания в потемках и борьбы с чувством удушья он нащупал предмет, чьи размеры отвечали описанию «Кит». Ключ висел на крюке на цепочке. Он вставил его в замочную скважину и отпер дверь. Еще минута, и он включил фонарь.

Джонс вертел им вокруг себя, поливая все светом как из шланга. Рядом с ним высился огромный куб атомного реактора. Его внешней оболочкой был недавно изобретенный сплав, задерживающий радиацию, который был намного легче ныне вышедшего из употребления свинцового покрытия. Тем не менее, зная, что есть некоторая утечка радиации и что техники обычно

надевают противорадиационные костюмы, Джонс чувствовал себя неудобно. Однако, если он не замешкается здесь слишком долго, вреда ему не будет.

Он довольно легко нашел смещенную панель. Ее смещение доказывало, что «Кит», как бы хорошо она ни была спроектирована, строилась в спешке.

Потом он пришел к другому заключению. Возможно, один из тех, кто помогал строить ее, был членом подполья, вредителем. Эта непрочная деталь в «Кит» была делом его рук.

Он направил фонарь на проем в стене. Сквозь невидимую дыру во внешней стенке, видневшейся в проеме внутренней, периодически, с интервалом в несколько секунд, заплескивалась тоненькой струйкой вода. Это служило еще одним доказательством, что в стане врага были люди, которые работали на так называемую буржуазную свинью. Для большей прочности листы обшивки на подложке были скреплены сваркой — вместо того чтобы просто склепать их. По идее, корпус «Кит» не должен протекать, разве что снаряд пробьет дыру в металле. Здесь, похоже, был не тот случай. Значит, вполне возможно, что этот блок был поврежден намеренно.

Впрочем, это не имеет значения, подумал Джонс. Умышленно или случайно, но дело сделано. А уж воспользоваться этим предстоит ему.

Он внимательно осмотрел отсек. Схемы в нем были под водой, но они бездействовали не потому, что оказались в воде. Заключение в пластиковую оболочку, они могли функционировать даже в заполненном водой помещении. Но у данного блока схем имелся автоматический выключатель на случай чрезвычайных обстоятельств. Сейчас именно такой случай и был. «Кит» не могла включить их, пока не ликвидирована течь.

Джонс вернулся к шкафчику и достал оттуда пистолет-распылитель. Он выстрелил полужидкой массой прямо на струйки, равномерно проступавшие сквозь стену. Масса застыла и высохла. Вода сразу же перестала поступать.

Джонс отодвинулся, не выпрямляясь полностью, и повернулся, чтобы снова подойти к шкафчику. Там он хотел поискать какой-нибудь ковшик и с его помощью вычерпать поскорее воду, поскольку насосы работали недостаточно быстро. Но, сделав шаг, он остановился — одна нога впереди другой, — словно его внезапно сковало морозом.

Какой же он дурак! Как же он не заметил этого раньше? Здорово он, должно быть, испугался, если сразу об этом не подумал!

«Кит» сказала ему, что носом она зарылась в ил и что она не может выдернуть его, пока снова не включатся схемы управления рулевым устройством.

Однако ничто не свидетельствовало о крене судна. Он мог спокойно ходить, и ему вовсе не приходилось наклоняться в ту или иную сторону, чтобы при предполагаемом наклоне сохранить равновесие.

В таком случае «Кит» по каким-то своим соображениям лгала.

Он забыл о страхе, который все еще сжимал его, сдерживаемый только силой воли. Решение этого вопроса требовало полной его сосредоточенности, и он погрузился в мысли.

Он поверил ей на слово и все сказанное ею принял за истину. Ему и в голову не приходило, что робот может лгать. Но теперь, когда он думал об этом, ему казалось вполне естественным, что машину сотворили по образу и подобию ее создателей. Они похвалялись, что ложь — это хорошая штука, если она им дает то, что им нужно. И они, конечно же, построили в «Кит» синтезатор лжи. Если понадобится, она сочинит нечто, совершенно противоположное действительности.

Тогда встает вопрос, наитруднейший вопрос: с какой стати она вдруг почувствовала необходимость вводить его в заблуждение?

Ответ: Очевидно, она чувствует себя беспомощной, беззащитной.

Вопрос: В чем она чувствует себя беспомощной?

Ответ: Ты, Джонс, ее слабое место.

Почему?

Потому что он — человек. Он может везде ходить, он может думать. И чего доброго, набраться смелости и выступить против нее. И даже, чего доброго, одолеть ее.

«Кит» далеко не такая храбрая и сильная, как делает вид. Ей приходится играть на его собственной слабости, на его страхе перед темнотой и ограниченностью пространства, перед чудовищным весом воды, предположительно угрожавшей раздавить его. Именно на его страх она и рассчитывала, заставляя его покорно исправлять повреждения, а затем вернуться, как какая-нибудь овца, в свой загон. А возможно, подумал он, на убой. Он теперь очень сомневался, что она доставит его на базовый корабль.

Не исключено, что она пробудет в открытом море с год, а то и больше, пока не найдет достаточно мишеней, по которым можно выпустить все ее сорок торпед. И все это время ей придется кормить его и обеспечивать воздухом. Но для этого она

была слишком мала, да и для груза предусматривалось совсем немного места.

Камера, в которой он лежал, скорее всего предназначена для временного содержания пленников, которых можно допросить. Очевидно, ее используют также и как каюту для того или иного шпиона или диверсанта, который темной ночью высаживается на американский берег. «Кит» лгала ему с самого начала.

Ирония заключалась в том, что, понуждая его исправить повреждения, она, только чтобы уговорить его заняться ремонтом, была вынуждена прибегнуть к этому злополучному изъяну в его характере. Однако, поступив так, она тем самым заставила его преодолеть свою слабость. Она сделала его сильным.

Впервые с того времени как он расстался с женой, он постоянно улынулся.

В это мгновение его фонарь осветил пистолет-распылитель там, где он положил его. Его глаза сузились. «Кит» была права в своих опасениях. В сущности, она была машиной со свойственными машинам ограниченными возможностями, а он — человеком. Перед ним возникло решение проблемы, как поразить врага.

Джонс услышал ее голос, эхом разносившийся по коридорам. Голос спрашивал, куда он подевался, и угрожал пустить газ, если он сейчас же не ответит.

— Я иду, «Кит», — крикнул он. В одной руке он держал отвертку, которую взял из шкафчика, другая сжимала пистолет-распылитель.

Двумя днями позже патрульный самолет морской авиации обнаружил подлодку, которая беспомощно лежала на поверхности. Бдительный наблюдатель заметил человека, стоявшего на гладкой палубе и размахивавшего белой рубашкой. Самолет не стал сбрасывать бомбы, но, произведя тщательный разведывательный облет, сел на воду и подобрал человека. Им оказался американец со славным американским именем Джонс.

На обратном пути в Гавайи он рассказал свою историю по радио. После приземления Джонсу пришлось делать официальный отчет, где он повторил все, но уже с большими подробностями. В ответ на вопрос, заданный ему морским офицером, он сказал: «Да, я воспользовался случаем. Я был уверен, что она — простите, робот — обманывал меня. Если бы мы действительно застряли носом в иле, я бы тут же заметил, что камера и коридор имеют уклон. Более того, вода поступала внутрь не постоянно, как должна была бы, если бы корпус лодки находился под

огромным давлением. Все верно, вода заплескивалась сквозь трещину, но только через определенные интервалы. Не нужно было особой догадливости, чтобы понять: мы находимся на поверхности и каждый раз, когда волна ударяет в борт, в трещину попадает вода.

Успех затеи «Кит» зависел от того, замечу я это или нет, и буду ли столь ошеломлен предполагаемым положением, в котором мы очутились, что безропотно исправлю все повреждения и затем на полусогнутых приползу обратно в камеру».

Именно так я бы и поступил, подумал он строго, если бы не та минута, когда мне пришлось окончательно решить: мужчина я или трус.

Я до сих пор боюсь темноты и замкнутого пространства, но этот страх я научился побеждать. «Кит» не думала, что мне это удастся. Но для полной уверенности она сказала мне, что мы находимся на дне моря. Она не хотела, чтобы мне стало известно: ее рулевое устройство заклинило в таком положении, что она всплыла на поверхность и стала легкой добычей для первого же встречного американского корабля. Она считала, что если я узнаю об этом, то, чего доброго, могу набраться смелости и взбунтоваться. К своему несчастью, она считала меня круглым дураком. Или слишком полагалась на мой страх, сводящий на нет мои умственные способности. И ведь она *почти* угадала.

— Слушайте, а что вы делали с пистолетом-распылителем? — поинтересовался капитан-лейтенант.

— Первым делом я задержал дыхание и побежал в камеру, где был пленником. Я нашел отдушину, из которой поступал газ, и выстрелил в нее цементом-герметиком. Таким образом, отдушину я заткнул. Потом я вернулся к шкафчику, разобрался там в чертежах и нашел по ним «мозг» «Кит».

Мне хватило одной минуты, чтобы отключить ее от «тела».

Он широко улыбнулся:

— От этого она не замолчала. «Кит» поносила меня самыми последними словами, не для ушей леди. Но, поскольку ругалась она на языке врага, я не понял ни слова. Смешно, правда, что она, подобно человеку, в минуту ярости и полного краха обратилась к родному языку?

— Да, и что потом?

— Я активизировал схемы, и они открыли палубный люк и впустили наружный воздух.

— И при этом вы не знали наверняка — что хлынет внутрь — воздух или вода?

Он кивнул:

— Все верно. — Он не добавил, что стоял там ни жив ни мертв и трясся, пока ждал.

— Молодец, — произнес капитан-лейтенант с восхищенной улыбкой, от которой Джонсу стало тепло. До него впервые дошло, что он все-таки совершил нечто героическое. — Можете идти. Мы позвоним вам, если захотим послушать еще. И, прежде чем вы уйдете, скажите: нет ли у вас какого желания?

— Да, — сказал он, оглядываясь вокруг. — Где тут у вас телефон? Я бы хотел позвонить жене.

МОНОЛОГ

Перед вами ужасная сказочка про странное рождение. Впервые ее можно было прочитать в 1973 году в антологии, озаглавленной «Добрый демон», которая посвящалась детям с необычными талантами и наклонностями. Название этой книги дало мне идею написания рассказа, который я бы озаглавил «Ужасный демон». Возможно, когда-нибудь я и напишу такой рассказ.

Она так мечтала, чтобы я заболел.

И вот я болен. Что-то внутри разрастается и пожирает меня. Я не могу рассказать ей об этом, но она и сама все видит. Смотрит на мой растущий горб, да, мне кажется, что это горб, хотя я не могу нагнуться и увидеть, так ли это. Но это что-то во мне. И я вижу, как она смотрит на горб.

Боли пока нет. Интересно, когда появляется боль при раке? А я даже не смогу закричать. Можно попытаться рассказать ей, но звуки и слова путаются, и их трудно разобрать. А кричать я боюсь. Кажется, что крик застрянет в горле. Но если начнется боль...

Разве я могу не болеть? Ей не нравится, когда я здоров. Я рос и вырос большим и сильным, пошел в школу, получил хорошее образование, очень хорошее, был замечательным футболистом и работал путевым обходчиком. Да, все было прекрасно. Но маме все это не нравилось.

«Деточка, ты растешь слишком быстро, ты и так уже слишком большой. Где тот малыш, который так жадно припадал к моей груди? Которого я баюкала на руках, чтобы он поскорее заснул? Мой маленький мальчик сидел у меня на коленях, а я

пела колыбельные песни, пока его головка не склонялась к моему плечу, и он засыпал, как ангелочек. Такой сладенький, прелестный, нежный и курчавый, такой милый и любимый. Где же он теперь?»

Что я могу сказать тебе, мама? Я смотрю в окно и каждый день вижу одно и то же, лишь зима, весна, лето и осень сменяют друг друга. Мама, листья вырастают, они появляются из почек, таких мягких и нежных. Но почки для того и существуют, чтобы превратиться в зеленые листья. Если почка не станет листом, она умрет. И вот, как и полагается, распускается лист. Приходит и уходит лето, наступает пора листопада, и умирающий, пожелтевший или покрасневший, лист наиболее прекрасен. А когда он опадает, то гниет и удобряет почву. Или служит пищей или жилищем для насекомых. Или еще для кого-нибудь.

Разве дерево ненавидит лист за то, что он не остается почкой навсегда? Конечно, нет, мама. Так почему же ты ненавидишь меня? Да-да, ненавидишь, хотя у тебя не хватит смелости признаться в этом. Ты ненавидишь меня с тех самых пор, когда я уже не смог все время оставаться с тобой. Но мне же надо было идти в школу, мама. Я не мог навсегда остаться младенцем, и в конце концов мне пришлось пойти в детский сад, хотя тебе и удалось оттянуть этот момент на год. Но взрослые и врать-то толком не умеют, и я тогда уже знал, чувствовал каким-то детским чутьем, что ты начинаешь ненавидеть меня. Но я не был до конца уверен в этом, пока не пошел в первый класс. Твоя ужасающая ненависть вскипала, и ни улыбка, ни поцелуи, ни голос не могли скрыть ее. Твой голос становился все более безжалостным и суровым, пока не сорвался. Даже голос не выдержал такой лавины ненависти.

Ты любила меня только тогда, когда я был совсем еще маленьким, я даже не хотел расти и взрослеть, потому что знал — только маленького меня ты любишь. Но не мог же я остаться младенцем навсегда, даже ради твоей любви. Весь мир был в моем распоряжении, и мне хотелось быть наравне с мальчишками и девочками, с которыми я ходил в школу. А для этого, мама, мне приходилось расти вместе с ними. И не существовало другого пути.

И я рос, мама, становился больше, а ты меньше. Я имею в виду, физически. Относительно говоря, конечно же. Хотя в общем, ты не стала ни на дюйм меньше с тех пор, как родила меня. И в определенном смысле не изменились ни ты, ни я. Ведь как и прежде, как и в день моего рождения, — ты моя мама, а я — твой сын. Хотя некоторые, да и я сам, иногда в этом сомневаются.

Но все меняется, мама. В том числе наши отношения. Ведь даже если что-то отказывается расти, оно сгибается, свертывается, скручивается, как бараний рог или клык кабана. Оно изворачивается и вонзается в плоть, а затем в ту же кость, из которой выросло. И этот рог, этот клык возвращается обратно, возвращается, мама, чтобы умереть, а быть может, чтобы убить.

Но я не умираю, мама. Хотя, с одной стороны, это так. Но с другой стороны — нет. Мама, но разве это что-то меняет? Где ты, мама? А, вот ты где. Только что вышла из церкви. Где, несомненно, молилась, глядя на Пресвятую Богородицу с младенцем. Молилась в глубине души, чтобы ты и я не менялись, как не меняются камни и деревья, и чтобы не вырастал маленький сынок у тебя на руках. Ты просила Господа, чтобы оба мы не изменялись, как деревья и камни.

И мне уже не на что надеяться, мама, твое желание уже исполнилось. Я неподвижен, как дерево или камень, и все, что я еще могу, — это моргать и время от времени пытаться разговаривать. И ты усадила меня у окна, подперев подушками, чтобы я видел улицу и одни и те же перемены, происходящие за окном, и тебя, идущую в магазин или к священнику.

Внешне я неподвижный и неменяющийся. Но что-то случилось во мне около года назад, но я не мог сказать тебе об этом. А если бы и смог, что бы я сказал, кроме как «позвони врачу»?

Все продолжает меняться, мама. Нечто, где-то в глубине, меняется постоянно. Словно тролли, которые добывают алмазы в недрах гор. В горах моего сознания. Нет, моей души. И тела тоже, мама. Да и какая разница между моей душой и телом? Я не знаю. Душа может быть телом, а тело — душой. Но я знаю, что, когда растет одно из них, растет и другое. Иногда.

И что-то во мне растет и растет, мама. Я лежу здесь, живая мумия, склеп собственного разума. Конец мой близок. Я слышал, как ты говорила об этом, разговаривая сама с собой. Мои ноги и руки становятся все тоньше. Щеки совсем впали, и от этого глаза кажутся все больше. Кости начинают просвечивать сквозь плоть. Я слышал, ты говорила так, мама. Говорила не доктору шепотом в соседней комнате. А улыбаясь, мне в лицо.

Мой живот растет и растет, вот ты и говоришь о моей смерти. Это раковая опухоль пожирает мое тело, как ты, моя любимая мамочка, поглотила мою душу. Только в последнее время появились боли. Я пытался рассказать тебе о них, о том, как иногда мне бывает больно.

Поздно ночью, когда не слышно твоего храпа и шума проезжающих машин, я слышу, мама, как оно растет. Тихо-тихо. Оно шевелится, шуршит, почавкивает. Это чавкает рак, пережевывая меня.

«Прекрасно», — говоришь ты.

Нет? Ты так не говоришь? Но это сквозит в каждом твоём действии. Ты наблюдаешь, как растёт опухоль, и не вызываешь врача, и будет уже слишком поздно, когда тебе придётся сделать это, когда ты уже не сможешь откладывать, обманывать свой слух и зрение, кричащие о том, что во мне происходит. Слишком поздно.

Но ты будешь рада, мама, правда ведь? Рада, потому что большой, грязный, бородатый, воняющий табаком и пивом, тот, кто не должен был меняться, но изменился, — умер. О да, сейчас-то я не грязный и от меня не несёт сигаретами или пивом. Уже не несёт. Я не могу курить, если ты не зажжёшь сигарету для меня, а ты не сделаешь этого. И я не могу выпить пива, если ты не поднесёшь его мне, а ты и это не сделаешь. Я терпел изнуряющие боли без слова жалобы. Хотя иногда, глядя мне в глаза, ты должна была понять. Но ты не слишком часто заглядывала мне в глаза, да? Ведь это налитые кровью глаза мужчины, а не ясные голубые глаза ребёнка.

Но теперь я больше не грязный и не бородатый, да? Ты купаешь меня каждый день. И ещё ни разу не забыла сделать это. И бреешь ты меня тоже каждый день, пробегаешь пальцами по лицу и улыбаешься. Ты ведь помнишь, когда моя кожа была ещё мягче, правда?

Хотя ты недолго улыбаешься. Закрываешь глаза и представляешь, что я ещё маленький, а когда возвращаешься в реальность, то ненавидишь меня.

Я слышу, как хлопнула дверь вниз, мама. А теперь я слышу скрип ступенек. Ты поднимаешься и спросишь, как я себя чувствую. Зная, что я не могу разговаривать, а могу только лепетать как новорожденный. Слова, такие ясные в мыслях, получаются перепутанными, искрошенными — целая салатница неразборчивого лепета. Отвратительного детского лепета, потому что ребёнок лепечет, учась говорить, и рано или поздно он заговорит. А я лепечу, потому что забыл, как говорить, и никогда уже не вспомню.

А сейчас я слышу, как скрипит пол под твоими ногами. Я слышу, как ты мурлыкаешь колыбельную, которую обычно напевала мне, когда я был маленьким. Мне кажется я слышу эту мелодию. Дверь закрыта, а ты поёшь так тихо. Наверное, я слышал эту песенку так часто, что чувствую её даже когда не слышу.

А теперь, ох, мама, оно пошевелилось во мне! Оно уже уничтожило почти все моё тело и перемещается в пустое место, мама!

А сейчас, сейчас, наверное, это конец. Господи, я говорил, что хочу умереть. Я говорил об этом столько лет. С тех пор как

пошел в школу. Я повторял это. Раз мама не любит меня, я умру. И хотел умереть. И вот я умираю, и мне страшно.

Я напуган до смерти! Неплохо звучит. Становится все темнее и темнее. И я ускользаю куда-то, как эта штука во мне скользит из одного места в другое. Груз смерти перемещается по трюму, когда корабль переворачивается... о чем это я? Я ускользаю все ниже и ниже. Неужели это она? Смерть? Вниз, вниз! Становлюсь меньше, меньше?

По крайней мере... я ошибался. Я говорил, что боли нет. Но вот она появляется. Она пожирает. Рвет когтями. Становится больше. Или ближе. Нет, это я приближаюсь к ней. Господи, это сводит с ума. Когда две вещи подбираются друг к другу, обе становятся ближе. Как больно. Хорошо, что я не вижу. Хорошо, что темно. Достаточно слышать смерть, а видеть ее...

Нет. Я слышу маму. Она спускается в холл. Сейчас она у двери. Я не могу говорить и не могу сказать то, о чем всегда думал. А стала бы она слушать, если бы я мог сказать? Нет. А поняла бы она меня, не выслушав? Мама, не позволяй мне умереть или хоть скажи мне, скажи...

Ах вот ты где, мама. Хотела закричать, но не смогла. Что-то заморозило твой голос, как и мой. Ты упала. Я иду, мама. Встаю с кровати. Слабый, но ходить могу. Мам, не лежи на полу. Изумленная. Неподвижная. Это у меня паралич, а не у тебя.

Нет, нет у меня паралича, не у этого меня. Мама! Я иду! Моя другая сущность! Я выхожу из собственного тела! Я выбрался! Я проломал выход, продираясь наружу, мама. Я чуть не умер там внутри. В темноте, тесноте и сырости, мама. Там я ускользал, и повсюду была боль — снаружи и внутри. Жуткая боль, мама! И страх, безумный страх, не мог выбраться, мой живот сейчас взорвется... Что? Что я говорю? Мама! Все кружится и ускользает, вместе со мной!

Мамуля, я не хотел пугать тебя. Я не виноват, что весь в крови. Мама! Искупи же своего милого мальчика в ванночке. Навсегда, ма, навсегда!

Твой малыш вернулся! Твой маленький ангелочек с тобой, мам. Смой с меня старую дурную кровь.

Кровь! Слезы тут не помогут, мама.

В моей кровати лежит мертвый человек, ма, а вместо живота у него кровавое месиво.



ПОЛИТРОПИЧЕСКИЕ ПАРАМИФЫ

НА КОРОЛЕВСКОМ ЖАЛОВАНЬЕ

ПРОЛОГ: ООГЕНЕЗ ПТИЧЬЕГО ГОРОДА

Президент США сидел за столом мэра Верхнего Центрального Лос-Анджелеса (уровень 1-й). О том, где сидеть мэру, особо заботиться не пришлось. Его кабинет оказался бы заполнен до отказа только в том случае, если бы в город вдруг съехался весь электорат.

В огромном зале собрались главы правительственных департаментов и начальники отделов, сенаторы, губернаторы штатов, магнаты индустрии и просвещения, председатели профсоюзов и президенты объединений ГОПов. Почти все они смотрели на телеэкраны, занимавшие часть изогнутой стены.

В огромное окно позади президента не смотрел никто, хотя через него открывался вид на полгорода. В голубом небе над зданием мэрии виднелось лишь несколько пушистых облаков. Летнее солнце только что миновало зенит, но с океана тянуло прохладным ветерком, и температура нигде в городе не поднималась выше 23 градусов. Из 200 000 приезжих по меньшей мере треть толпилась вокруг гидов. Почти все ручные телекамеры репортеров, размером с футбольный мяч, были в эти минуты направлены на одного человека.

Ведущий от правительства:

— Леди и джентльмены, вы только что познакомились с большей частью этого города и теперь знаете о нем почти столько же, сколько узнали бы, сидя дома у телевизора. Вы видели все, кроме интерьеров этих домов, кроме внутреннего устройства

этих ваших будущих жилищ. Вы поражены тем, что выстроили здесь Дядя Сэм и штат Калифорния, — этой Утопией, этим Изумрудным Городом из страны Оз, в котором каждый из вас чувствует себя Волшебником...

Придирчивая зрительница (массивная чернокожая женщина, магистр педагогики по специальности «электронное обучение в начальной школе»):

— Эти дома больше похожи на те яйца, которыми Дороти напугала короля Нома!

Ведущий (ухитрившись злобно взглянуть на нее, в то же время сохранив на лице улыбку):

— Мадам, вы выступаете, словно какой-нибудь вражеский агент! Вам бы надо вместо свидетельства о бедности выдать свидетельство о вредности!

Зрительница (надувшись):

— Я на вас в суд подам за публичное оскорбление и насмешки!»

Ведущий (окинув взглядом ее слоноподобную тушу):

— Подавайте, подавайте. Ничего удивительного, что у вас все мысли о яйцах, — вы сами на яйцо похожи!

Толпа рассмеялась. Президент недовольно засопел и что-то сказал в маленький круглый микрофон, пристегнутый к запястью. Какой-то человек среди толпы, услышав слова президента в наушниках, произнес что-то в свой микрофон, но ведущий отмахнулся с таким видом, словно хотел сказать: «Это моя передача! А кому не нравится, может пойти и утопиться в озере!»

Ведущий:

— Люди, вы видели искусственное озеро в центре города, окруженное общественными и другими зданиями. Вы видели Центр народного искусства, Народный рекреационный центр, больницу, университет, научно-исследовательский центр и ПАН-ДОРУ — Публичный автоматизированный народный даровой общедоступный распределитель. Вы были восхищены и поражены сказочной страной бесплатных благ, которые предлагают вам Дядя Сэм и штат Калифорния. Здесь вы в изобилии найдете и товары первой необходимости, и предметы роскоши, потому что, как вы знаете из передач федерального телевидения, «Роскошь — это необходимость». Если вам чего-то захотелось — что бы это ни было, — приходите в ПАНДОРУ, нажмите кнопку другую, и — р-раз! — вы так богаты, как вам и не снилось!

Зрительница:

— Когда люди открыли ящик Пандоры, все беды мира вылетели наружу, и тогда...

Ведущий:

— Не перебивайте меня, мадам! Время у нас строго ограничено...

Зрительница:

— Это почему? Куда нам спешить?

Ведущий:

— Сказал бы я вам, мадам, куда вам спешить.

Зрительница:

— Но...

Ведущий:

— Никаких «но», мадам! Лучше сядьте на диету.

Зрительница (изо всех сил стараясь сдерживаться):

— Не смейте переходить на личности, нахал! Ну да, я не какая-нибудь там пигалица, и с правой бью так, что не поздоровится, имейте это в виду. Так вот, ящик Пандоры...

Ведущий отпустил непристойную шутку, вызвав хохот толпы. Зрительница что-то кричала, но за шумом ее не было слышно.

Президент беспокожно заерзал на стуле. Кингбрук, 82-летний сенатор от штата Нью-Йорк, громко крикнул и сказал:

— Чего только они не позволяют себе теперь на телевидении. Просто безобразие...

Некоторые экраны на стенах кабинета показывали отдельные части города. На одном Верхний Центральный Лос-Анджелес был виден с вертолета, летевшего вдоль берега океана. С такого расстояния камера смогла охватить все гигантское сооружение, включая сотню саморегулирующихся цилиндров-подпорок, на которых стоял гигантский пластиковый куб, и телескопические шахты лифтов, свисающие из-под его днища. Внизу, в тени куба, виднелся центр старого города, а вокруг — зазубренные контуры остальной части Лос-Анджелеса и примыкающих к нему городов.

Президент ткнул сигаретой в сторону этого экрана и сказал:

— Взгляните на двадцать четвертый экран, джентльмены. Внизу — темное прошлое. Жалкий муравейник, раздираемый распрями. А над ним — светлое будущее. Шанс, предоставляемый каждому, чтобы в полной мере реализовать свой человеческий потенциал.

Ведущий:

— Прежде чем мы с вами войдем в этот дом, который внутри точно такой же, как и любое другое жилище...

Зрительница:

— Это черт знает что, а не жилище. Они и снаружи все одинаковые.

Ведущий:

— Мадам, не будите во мне зверя. Так вот, люди, вы заметили, что все здания, и общественные, и частные, устроены наподобие яиц. Эта футуристическая конструкция была избрана потому, что, согласно самым последним теориям, форму яйца имеет сама Вселенная. Никаких углов, одни только кривые, бесконечность, заключенная в конечное пространство, понимаете?

Зрительница:

— Не понимаю!

Ведущий:

— Попробуйте скинуть немного жира, мадам, и тогда сможете угнаться за всеми остальными. Яйцевидная форма создает ощущение беспредельного пространства и в то же время уюта и безопасности. Когда вы войдете внутрь...

Каждый дом представлял собой большое гладкое белое яйцо из пластика, которое покоилось на толстой подпорке в виде усеченного конуса в 18,28 метра над поверхностью города. (Для пожилых зрителей, так и не сумевших привыкнуть к новой системе мер, комментатор за кадром пояснил, что 18,28 метра — это 60 футов.) По обе стороны конуса шли лестничные клетки, каждая из которых заканчивалась у горизонтального люка в нижней части яйца. Люки открывались автоматически, позволяя войти в дом. У основания конуса тоже была дверь, а в нем — лифт для больных, калек и, как выразился ведущий, «просто лентяев, ведь каждому гарантировано право быть лентяем». Внутри полого основания располагались также несколько электрических тележек для развозов по городу.

Президент увидел, как нахмурился при виде этих тележек Кирсон, автомобильный магнат из Детройта. Десять лет назад автомобильная индустрия окончательно отказалась от двигателей внутреннего сгорания и перешла к выпуску автомобилей на электрической и ядерной тяге, а теперь Кирсон увидел, что и они обречены. Президент отметил про себя, что позже надо будет его успокоить и приободрить.

Ведущий:

— «Разнообразие в единообразии», люди! Вы много слышали про это по федеральному телевидению, и прекрасный пример — дома, которые вы видите. Эту даму беспокоит, что все они выглядят одинаково, — так вот, каждый владелец дома может раскрасить его снаружи по собственному вкусу. Все дозволено — от репродукций Рембрандта до психоделических галлюцинаций или непристойных картинок, если у вас на это хватит духу. У нас полная свобода, включая свободу слова...

Зрительница:

— Будет похоже на корзинку с пасхальными яйцами.

Ведущий:

— Вот это верно, мадам, а Дядя Сэм — настоящий большой пасхальный кулич!

Ведущий повел группу зрителей внутрь дома, и на экранах появились сначала центральный открытый атриум, потом кухня и десять комнат, чтобы всем было видно, какое богатство приобретут будущие обитатели дома задаром.

— Задаром! — проворчал сенатор Кингбрук. — Да с налогоплательщиков на это сдирают не три, а тридцать три шкуры! Это их пот и кровь!

— В будущем необходимости в этом не будет, я вам потом все объясню, — мягко сказал президент.

— Не надо нам ничего объяснять, — сказал Кингбрук. — Все мы прекрасно знаем про экономику изобилия, которая сменит экономику дефицита. И про ваши планы переходного периода — вы называете его ПРЭ, «прогрессивно-регрессивная экономика», но я бы назвал это иначе — шизофренический бред при белой горячке!

Президент с улыбкой заметил:

— У вас еще будет возможность высказаться, сенатор.

Мужчины и женщины, сидевшие в кабинете, некоторое время молчали, глядя, как ведущий расхваливает прелести и достоинства дома с его звуконепроницаемыми стенами, бассейном посреди открытого атриума, мастерской со всевозможным оборудованием, кладовой, спальнями-гостинными, телевизорами в каждой комнате, убирающейся надувной мебелью, кондиционером, библиотекой микрофильмов и прочим.

Зазывала от правительства:

— Это просто сказка! Куда лучше, чем какая-нибудь трущоба на поверхности земли, где не дает покоя шум и кишат крысы!

Ведущий (цитируя лозунг федерального телевидения):

— «Будьте счастливы и свободны, как птицы в небе!» Вот почему все называют это Птичьим городом, а его обитателей — вольными птицами! Все — на высшем уровне! И каждый свободно получает все задаром!

Зрительница:

— Кроме свободы жить где пожелаешь и в таком доме, в каком захочется!

Ведущий:

— Мадам, если вы не миллионерша, то вам не по карману иметь такой дом на земле, который хоть чем-то отличался бы от

всех остальных. И к тому же вам пришлось бы постоянно бояться поджога. Вам все не по вкусу, мадам, — вы будете ворчать, даже если для того, чтобы вас повесить, петлю сделают из самой новехонькой веревки!

Группа зрителей вышла из дома, и ведущий обратил их внимание на то, что, хотя они и в трех сотнях метров над землей, здесь повсюду деревья и трава — целые маленькие парки. А если кто-то захочет поудить рыбу или покататься на лодке, то к его услугам озеро — оно в том квартале, где все муниципальные учреждения.

Зазывала:

— Вот это жизнь!

Ведущий:

— Купол над городом точь-в-точь похож на небо, которое снаружи. Вместо солнца — его электронное изображение, и оно движется по небу точно так же, как настоящее. Только вам не придется беспокоиться, что станет слишком холодно, или слишком жарко, или пойдет дождь. У нас тут есть даже птицы.

Зрительница:

— А как насчет ласточек? Вот придет весна, и как они попадут сюда без пропуска?

Ведущий:

— Мадам, вы просто нахалка! Почему бы вам не...

Президент встал из-за стола. Лицо Кингбрука, иссеченное морщинами, рытвинами и складками, свидетельствовавшими о глубокой старости, сейчас побагровело от гнева и напоминало раскаленную лаву на склоне вулкана сразу после извержения. Раскаты его баса давили на барабанные перепонки сидевших в кабинете, словно они оказались в барокамере.

— Отважный новый концлагерь, джентльмены! Пятьдесят миллиардов долларов на то, чтобы построить жилище для пятидесяти тысяч человек! Великий банкротополис будущего! А на то, чтобы расселить по таким разукрашенным курятникам население только этого штата, понадобится, по моим расчетам, триллион!

— Нет, если мы введем в действие ПРЭ, — возразил президент. Он поднял руку, чтобы стало тихо, и продолжал: — Я бы хотел послушать Гилдмена, джентльмены. Потом мы сможем посоветаться.

Сенатор от штата Миссисипи Бокамп пробормотал:

— Триллион долларов! Хватило бы на пропитание, кров и образование для всего населения моего штата в течение двадцати лет!

Президент дал знак выключить все экраны, кроме канала федерального телевидения. Каждая частная телекомпания вела свой репортаж, но важнее всего было то, что скажет федеральный комментатор. Он задавал тон, ему подражали — пусть и неохотно — комментаторы остальных телекомпаний. На них было оказано немалое давление, вплоть до прямых угроз, и никто не решался выступить против президента напрямик. Но если средства массовой информации еще можно было удержать в каких-то рамках, то свободу слова отдельных граждан никто не ограничивал: ведь обществу нужен предохранительный клапан. Время от времени тот или иной гражданин получал возможность высказаться по телевидению или по радио. И лихие кавалерийские наскоки на президента следовали один за другим со всех сторон. Его осыпали бранью, называли ультра-реакционером, вырождаем-либералом, коммунистом, фашистом, гиеной, свиньей, пуританином, извращенцем, Гитлером и так далее, а его чучела торжественно сжигали столько раз, что один предприимчивый чучельщик заработал на них целое маленькое состояние — впрочем, из-за налогов оно стало еще меньше.

«Моя Голгофа, — подумал президент. — Дозволяются любые нападки. И все нападки опровергаются. Я человек, про меня можно говорить все. Даже обвинять в фанатизме. Я знаю: то, что я делаю, — правильно; во всяком случае, это единственное, что можно сделать. Когда появляются в небе Четыре Всадника на четырех конях, такому кавалерийскому наезду может противостоять только человек, не знающий сомнений».

По комнате прокатился голос — это был Великий Гилдмен, как он называл себя сам. Главный комментатор федерального телевидения, начальник отдела в аппарате правительства, кандидат наук по средствам массовой информации, служащий 90-го разряда, непревзойденный оратор, заряженный высоковольтной энергией, человек, которому, как говорили, ничего не стоило бы убедить Господа Бога оставить Адама и Еву в раю.

— ...Вопиет к небу! Народ и сама страждущая земля вопиют к небу! Воздух отравлен! Вода отравлена! Почва отравлена! Само человечество отравлено собственными гениальными способностями к выживанию! Широкие просторы Матери-Земли стали тесны! Разрастаясь, как раковая опухоль, человечество убивает то, что дало ему жизнь! Человек кладет сам себя под безумный пресс, который выжимает из него все соки, сокрушает его надежды на благополучное существование, на безопасность, мир, покой, исполнение мечтаний, на собственное достоинство...

Телезрителям, слушавшим его по сорока каналам, все, что он говорил, было хорошо известно; рисуя эту картину, он пользовался красками, замешанными на их собственных страданиях. Поэтому Гилдмен не стал долго на ней задерживаться. Он сказал несколько слов об экономике дефицита, в середине 1900-х годов уже безнадежно отжившей, но все еще казавшейся полной сил, словно человек, который умирает от неизлечимой болезни и держится только на все растущих дозах лекарств и знахарских снадобий. А потом он принялся расписывать яркими красками обширное полотно будущего.

Он говорил о росте населения, об автоматизации производства, о постоянно растущем классе обездоленных, с их мятежами и восстаниями, о постоянно тающем, отягощенном непосильным бременем классе налогоплательщиков, с их забастовками и беспорядками, о Побойше в Беверли-Хиллз, о нищете, преступности, недовольстве и тому подобном.

Президент с трудом сдержался, чтобы не поморщиться. В Золотом Мире (это ходячее выражение он придумал сам) будет хватать и полутеней, и теней. Утопий не бывает. Самой природе человеческого общества, во всех ее аспектах, свойственна нестабильность, а это значит, что то или иное количество страданий и беспорядка будет всегда. И всегда будут жертвы перемен.

Но с этим ничего не поделаешь. И хорошо, что перемены — неотъемлемая черта общества. Иначе — застой, косность, утрата надежд на лучшую жизнь.

Бокамп наклонился к уху президента и тихо сказал:

— Многие специалисты указывают, что экономика изобилия со временем приведет к гибели капитализма. Вы еще ни разу не высказывались по этому поводу, но дольше молчать нельзя.

— Когда я выступлю, — ответил президент, — я скажу, что экономика изобилия приведет к гибели и капитализма, и социализма. К тому же экономическая система — не святыня, разве что для тех, кто путает деньги с религией. Системы существуют для человека, а не наоборот.

Кингбрук, хрустнув суставами, поднялся с дивана и решительно подошел к президенту.

— Вы протасили этот свой проект вопреки противодействию большинства налогоплательщиков! Методы, которыми вы, сэр, воспользовались, не просто неконституционны! Мне достоверно известно, сэр, что вы прибегли к преступной тактике, к шантажу и запугиванию! Но вашему победному шествию пришел конец! Этот проект довел до нищеты наш когда-то богатый народ, и мы

больше не намерены строить для вас воздушные замки! Дайте мне только время, и я докажу, что ваш грандиозный — и греховный — Золотой Мир — такой же золотой, как фальшивая монета! Вы недооцениваете меня и моих коллег, сэр!

— О ваших планах отстранить меня я знаю, — сказал президент, чуть улыбнувшись. — А теперь, сенаторы Бокамп и Кингбрук, и вы, губернатор Корриган, не пройдете ли вы со мной в апартаменты мэра? Я хотел бы сказать вам несколько слов — надеюсь, что нескольких слов будет достаточно.

— Я свое решение принял, мистер президент, — произнес Кингбрук, тяжело дыша. — Я знаю, что для нашей страны хорошо, а что плохо. Если вы припасли какие-то скрытые угрозы или недостойные предложения, выскажите их публично, сэр! Вот в этой комнате, перед всеми!

Президент оглядел лица сидевших в кабинете — растерянные, каменные, враждебные, радостные. Взглянув на свои наручные часы, он сказал:

— Я прошу всего лишь пять минут.

Потом он продолжал:

— Я не собираюсь пренебречь никем из вас. Я намерен побеседовать со всеми — по несколько человек, подобранных с учетом общности интересов. От трех до пяти минут на каждую группу, и мы успеем покончить с этим делом к началу торжественного открытия. Прошу вас, джентльмены!

Он повернулся и шагнул в дверь.

Через несколько секунд три человека вошли вслед за ним, высоко подняв головы, с каменным выражением на лицах.

— Садитесь. Или стойте, если хотите, — сказал президент.

Наступило молчание. Кингбрук закурил сигару и уселся на стул. Корриган после недолгого колебания сел рядом с ним. Бокамп остался стоять. Президент встал перед ними.

— Вы видели людей, которые осматривали этот город. Это его будущие жители. Какая их общая черта бросается вам в глаза?

Кингбрук засопел и что-то проворчал себе под нос. Бокамп сердито покосился на него:

— Я не слышал, что вы сказали, но я знаю! Мистер президент, я буду говорить об этой наглой дискриминации во всеуслышание! Я велел одному из своих людей проверить по компьютеру утвержденный список, и он сообщил, что все будущие жители города — на сто процентов негры! И семь восьмых из них сидят на пособии!

— А восьмая восьмая — это врачи, техники, учителя и другие специалисты, — сказал президент. — Все добровольцы. Вот вам,

между прочим, и опровержение довода, будто никто не станет работать, если его не принуждать. Эти люди будут жить в городе, не получая за свой труд ничего. Нам пришлось отказать множеству желающих — их оказалось больше, чем нужно.

— Еще бы, — вставил Кингбрук. — Особенно после того, как правительство последние двадцать лет не жалело казенных денег, чтобы прожужжать всем уши про эту «любовь к людям и служение человечеству».

— Я что-то не слыхал, чтобы вы когда-нибудь публично высказывались против любви к людям и служения человечеству, — заметил президент. — Но есть другая причина, которая заставила столь многих людей предложить свои услуги. Деньги могут исчезнуть из жизни, но стремление к престижу не исчезнет никогда. Это такое же древнее побуждение, как само человечество, а может быть, и еще древнее.

— Не могу поверить, чтобы ни один белый не захотел там жить, — сказал Бокамп.

— Запись шла строго в порядке очереди, — ответил президент. — Все контролировали компьютеры, а пункта о национальности в анкетах не было.

— Вы же знаете — бывали случаи, когда компьютеры подкручивали, а операторов подкупали, — заметил Корриган.

— Я убежден, что, если провести расследование, никаких нарушений обнаружено не будет, — ответил президент.

— Но ГОПы... — начал было Корриган, однако, уловив сердитый взгляд Бокампа, поправился: — Я хочу сказать, граждане, обеспечиваемые правительством, то есть те, кто живет на пособие, как это называлось, когда я был мальчишкой, — так вот, белые ГОПы будут на всех углах кричать о дискриминации.

— Белые тоже имели право подать заявление, — сказал президент.

Бокамп презрительно усмехнулся:

— Возможно, был распущен какой-нибудь слух. Но не может быть, чтобы не оказалось желающих из числа белых.

Голос Кингбрука громохнул, как вулкан, который вот-вот извергнется:

— О чем мы спорим? Этот... Птичий город построен над кварталами, где живут одни цветные. Так почему бы его жителям не быть цветными? Давайте к делу. Вы, мистер президент, хотите построить еще и другие города вроде этого, пристраивать их к нему, пока не появится целый сплошной мегаполис на подпорках, который будет тянуться от Санта-Барбары до Лонг-Бича. Но ни здесь, ни в других штатах ничего подобного по-

строить нельзя, не разорив всю страну. Поэтому вы хотите, чтобы мы поддержали ваш законопроект о введении так называемой ПРЭ. То есть о том, чтобы разделить экономику страны на две части. Одна половина ее будет продолжать работать, как всегда, — она будет состоять из частных предприятий и налогоплательщиков, которые ими владеют или на них работают. Эта половина будет по-прежнему покупать, продавать и пользоваться деньгами, как делала всегда. А другая половина будет состоять из ГОПов, живущих вот в таких городах, и правительство будет удовлетворять все их нужды. Для этого правительство проведет автоматизацию всех шахт, ферм и предприятий, которыми оно владеет сейчас и которые планирует приобрести. В этой части экономики нигде не будут использоваться деньги, она будет работать по замкнутому циклу. Все служащие будут набираться из ГОПов, даже аппарат федеральных органов и администраций штатов, с той оговоркой, разумеется, что федеральная, законодательная и исполнительная ветви власти сохранят свои полномочия.

— Звучит-то это прекрасно, — сказал Корриган. — Конечная цель — так, по крайней мере, утверждаете вы, мистер президент, — состоит в том, чтобы освободить налогоплательщика от чрезмерного налогового бремени и дать возможность ГОПам занять такое положение в обществе, чтобы их больше не считали паразитами. Звучит заманчиво. Но есть много людей, которых все эти ваши красивые слова не смогли ввести в заблуждение.

— Я никого не пытаюсь ввести в заблуждение, — возразил президент. Корриган сердито продолжал:

— Да ведь конечный результат совершенно очевиден! Когда налогоплательщик увидит, что ГОП живет, как король, не ударив пальцем о палец, а он должен работать не покладая рук, ему захочется того же самого. А те, кто не сдастся, окажутся без денег, потому что ГОПы не будут ничего тратить. Мелкие предприниматели, которые живут тем, что продают свои товары ГОПам, разорятся. Разорятся и предприятия покрупнее. В конце концов и предприниматели, и их наемные работники махнут рукой на свои доходы и налоги и переедут жить в ваши города, где все достается бесплатно, словно из рога изобилия. Так что, если мы поддадимся на ваши уговоры и разделим экономику на две половины, мы сделаем первый шаг по зыбучему песку. А потом отступать будет уже поздно. Это будет конец.

— Я бы сказал, что это будет начало, — сказал президент. — Все или ничего — так это вам представляется? И вы голосуете за «ничего»? Так вот, джентльмены, больше половины нации

говорит «все», потому что это единственный путь, потому что им нечего терять, а приобрести они могут весь мир. Если вы отвергнете этот законопроект в конгрессе, я позабочусь о том, чтобы граждане могли сами вынести решение по этому поводу — «да» или «нет». Но на это потребуется слишком много времени, а время здесь — самое важное. Время — вот что мне нужно. Вот о чем идет у нас здесь торг.

— Мистер президент, — начал Бокамп, — ведь когда вы обратили наше внимание на расовый состав жителей города, вы это сказали не просто так?

Президент прошелся по комнате.

— Революция гражданских прав родилась примерно в то же время, как и мы с вами, мистер Бокамп. Но она еще далеко не достигла своих целей. В некоторых отношениях она даже отступила. Это было трагедией, что негры начали получать образование и политическую власть, необходимые им для дальнейшего прогресса, как раз тогда, когда пышным цветом расцвела автоматизация производства. Негры обнаружили, что работа есть только для специалистов и квалифицированных рабочих. Неквалифицированные никому не нужны. Это относится и к необразованным белым, и конкуренция за работу между неквалифицированным белым и чернокожим стала ожесточенной, как никогда. И даже кровавой, как мы убедились за последние несколько лет.

— Мы в курсе того, что происходит в стране, мистер президент, — сказал Бокамп.

— Да. Так вот, ведь это правда, что чернокожий, как правило, не особенно любит иметь дело с белыми или жить бок о бок с ними. Он всего лишь хочет иметь то же самое, что имеют белые. Но при нынешних темпах прогресса он получит это только через сотню лет, а то и больше. Если сохранится нынешняя экономика, он даже может вообще никогда этого не получить.

— Ну и что дальше, мистер президент? — пророкотал Кингбрук.

Президент остановился, пристально посмотрел на них и сказал:

— Но в условиях экономики изобилия, в таком городе он — негр — будет иметь все, что имеют белые. Высокий уровень жизни, подлинную демократию, правосудие без дискриминации. У него будут собственные судьи, полицейские, законодатели. Если он захочет, у него будет возможность вообще никогда не иметь дела с белыми.

Сигара Кингбрука уже не так воинственно торчала вперед. Бокамп набрал полную грудь воздуха, а Корриган вскочил со стула.

— Но это же будет гетто! — воскликнул Бокамп.

— Не в традиционном смысле слова, — возразил президент. — Теперь выслушайте правду, мистер Бокамп. Разве люди вашей национальности не предпочитают жить среди таких же, как они? Где еще они будут свободны от той тени, от той стены, которая неизбежно разделяет в этой стране белых и цветных?

— Получить возможность не иметь дела с белобрысыми? Простите, сэр, это сорвалось у меня нечаянно. Вы прекрасно знаете, что мы бы этого хотели! Но...

— Никому не будет запрещено жить в любом окружении, в каком он пожелает. На федеральном уровне никакой дискриминации не будет. Те, кто служит в правительстве, в армии, в Службе восстановления природы, будут иметь равные возможности. Но при наличии выбора...

Президент повернулся к Кингбруку и Корригану:

— В своих публичных выступлениях вы оба всегда высказывались за интеграцию. Иначе вы совершили бы политическое самоубийство. Но я знаю, что вы думаете про себя. Кроме того, вы всегда выступали за права штатов. Тут никакого секрета нет. Так вот, когда экономика изобилия встанет на ноги, штаты смогут сами себя обеспечивать. Им не нужно будет федеральное финансирование.

— Потому что станут не нужны деньги? — спросил Корриган. — Потому что денег больше не будет? Потому что деньги вымрут, как мамонты?

По лицу Кингбрука ходили желваки, словно стадо слонов кружило на месте, стараясь определить, откуда доносится незнакомый запах. Он сказал:

— Я не хотел бы кошунствовать, но теперь я, кажется, понимаю, что чувствовал Христос, когда его искушал Сатана.

Он умолк, поняв, что выдал свои тайные мысли.

— Конечно, вы не Христос, а я не Сатана, — поспешно поправился он. — Мы просто люди и ищем взаимоприемлемый выход из всех этих бед.

— Мы конские барышники, — сказал Бокамп. — А конь, из-за которого мы торгуемся, — это наше будущее. Наша мечта. Или наш кошмар.

Президент взглянул на часы и спросил:

— Ну и как, мистер Бокамп?

— Что я могу предложить взамен? Мечту о том, что придет конец презрению, враждебности, ненависти, предательству, угнетению? О том, что тень исчезнет, а стена рухнет? А вы предлагаете мне изобилие, чувство собственного достоинства и счастье — при условии, что мой народ будет жить за стенами из пластика.

— Я не знаю, как пойдет дело, когда будут построены стены этих городов, — сказал президент. — Но я не вижу ничего плохого в сегрегации по собственной воле, если к ней никто не принуждает. Самые разные люди делают это постоянно. Иначе у нас не было бы разных слоев общества, клубов и много чего еще. А если наши граждане, получив самое лучшее жилье и пропитание, всяческую роскошь, бесплатное образование на протяжении всей жизни, широкий выбор развлечений, — все, что только возможно, — если потом они все же превратят это в преисподнюю, то нам останется только поставить крест на всем роде человеческом.

— Человеку нужен стимул, он должен работать. В поте лица своего... — произнес Кингбрук.

«Кингбрук слишком стар, — подумал президент. — Он уже наполовину окаменел, и мысли у него каменные, и слова каменные».

Президент поглядел в огромное окно. Может быть, не стоило строить такой необычный город. В нем будет не так легко освоиться его новым жителям. Может быть, под куполом Птичьего города надо было построить дома, похожие на те, в каких они жили до сих пор. А уж потом устраивать что-то более оригинальное.

Предполагалось, что яйцевидная форма зданий создаст некое ощущение безопасности, возвращения в материнскую утробу и в то же время будет наводить на мысль о втором рождении. Но сейчас они были похожи на космические корабли, готовые взвиться в небо, как только кто-то нажмет кнопку.

Но этот город — и те, что появятся рядом с ним, — означал безвозвратный разрыв с прошлым, а разрыв всегда оказывается болезненным.

Кто-то позади него кашлянул, и он обернулся. Сенатор Кингбрук стоял, приложив руку к груди. Он собирался произнести речь.

Президент взглянул на часы и мотнул головой. Кингбрук улыбнулся так, словно эта улыбка причинила ему боль, и опустил руку.

— Мой ответ — да, мистер президент. Я с вами до конца. Процедура импичмента будет, конечно, прекращена. Но...

— Я не хотел бы быть невежливым, — сказал президент, — но лучше оставьте свои оправдания для ваших избирателей.

— Я говорю — да, — сказал Бокамп. — Только...

— Никаких «если», «и» или «но».

— Нет. Только...

— А вы, губернатор Корриган? — спросил президент.

— Мы все поддержим вас — по мотивам, которые лучше не оценивать... с точки зрения идеалов. Но разве кто-нибудь когда-нибудь это делает? Я говорю — да. Но...

— Прошу вас, без речей. — Президент слегка улыбнулся. — Речи буду произносить я. Ваши мотивы на самом деле не имеют значения, если ваши решения служат на благо американского народа. А так оно и есть. И на благо всего мира тоже, потому что другие народы последуют нашему примеру. Как я уже говорил, это будет означать конец капитализма, но это будет означать и конец социализма и коммунизма.

Он снова взглянул на часы:

— Благодарю вас, джентльмены.

Все трое вышли, хотя видно было, что им хотелось сказать что-то еще. Через несколько секунд появится следующая группа.

Хотя президент и знал заранее, что все равно одержит верх, он вдруг почувствовал огромную усталость. Впереди лежали годы борьбы, кризисов, страданий, успехов и неудач. Но человечество по крайней мере уже не будет плыть по течению, погружаясь в анархию. Человек начнет сознательно формировать — реформировать — свое общество, переворачивая вверх ногами древнюю, безнадежно устаревшую экономику, когда-то вполне приемлемую, но теперь уже негодную. Он начнет сносить старые города и возвращать природу в более или менее девственное состояние, залечивая страшные раны, нанесенные ей в прошлом неразумными эгоистичными людьми, очищая воздух, отравленные реки и озера, выращивая новые леса, позволяя диким животным плодиться и размножаться на возвращенной им земле. Человек, алчный ребенок-дикарь, опустошил планету, истребил ее обитателей, загадил свое собственное гнездо.

Президент вдруг понял, что охвативший его гнев порожден желанием заглушить какое-то другое чувство. У него было такое ощущение, словно он изменил некоему идеалу. Он не мог бы сказать, в чем заключалась эта измена, потому что знал: так надо. избранный им путь — единственный. Но и он, и Кингбрук, и Корриган, и Бокамп — все почувствовали то же самое. Он прочел это на их лицах, словно какая-то эктоплазма пробилась наружу из глубин их сознания.

Нужно быть реалистом. Если хочешь что-то получить, отдай что-то другое. Жизнь — вся Вселенная — это приход и расход, вход и выход, энергия, затрачиваемая на то, чтобы обуздать энергию.

Короче говоря, политика. Компромисс.

Дверь скользнула в нишу в стене, и один за другим вошли пять человек. Президент оглядел каждого из них, словно взвешивая его на весах, предвидя его доводы и заранее представляя себе наживку, на которую тот клюнет, даже если разглядит крючок.

— Джентльмены, — сказал он, — садитесь, если хотите. Он взглянул на часы и начал говорить.

НА КОРОЛЕВСКОМ ЖАЛОВАНЬЕ, или ВЕЛИКАЯ РАЗДАВАЛОВКА

*Если бы Жюль Верн в самом деле
мог заглянуть в будущее —
скажем, в 1966-й, — он бы наложил
в штаны. А уж в 2166-й — ого-го!*

Из неопубликованной рукописи
Деда Виннегана «Как я поймел
Дядю Сэма, а также другие
конфиденциальные семейные извержения»

КУКАРЕКУ НАОБОРОТ

Два великана — Без и Под — перемалывают его на муку для жертвенных хлебов.

Сквозь сонное вино всплывают вверх преломленные частицы. В бездонной пропасти кошмара гигантские ступни давят из виноградных гроздьев кровь причащения. А он, рыбачок-простачок, закидывает сеть в собственную душу — тесный садок левиафана.

Он стонет, наполовину просыпается, ворочается с бока на бок, весь в море темного пота, и снова стонет. Там, в глубине, Без и Под, налегая изо всех сил, вращают каменные жернова мельницы, бормоча про себя: «Кара-барас!» Глаза их горят оранжево-красным кошачьим огнем, зубы тускло белеют во тьме, словно цифры какой-то мрачной арифметики. Без и Под и сами рыбачки-простаки — не покладая рук замешивают кашу, безбожно путая метафоры.

Из петушиного яйца в навозной куче вздымается василиск и издает крик, первый из трех. Жаркой кровью рассвета набухает ствол восстающей плоти.

Он тянется вверх, вверх, перегибается под собственной тяжестью и поникает хрупкой соломинкой, плакучей ивой, пока еще не пролившей ни слезинки. Одноглазая красная головка выглядывает наружу через край кровати, лежа на ней отсутствующим подбородком, но тело все наливается, набухает, и головка соскальзывает вниз. Поглядывая по сторонам единственным глазком и приносясь, она скользит по полу к двери, которую по недосмотру оставили открытой нерадивые часы.

Громкое ржание посреди комнаты заставляет ее обернуться. Это ржет трехногая ослица — валаамов мольберт. На нем — «полотно», неглубокий овальный противень, заполненный специальным радиационно-обработанным пластиком. Высота полотна — два метра, глубина — сорок четыре сантиметра. В толще пластика — изображение, которое нужно закончить к завтрашнему дню.

Изображение это — и живопись, и в то же время скульптура. Фигуры в пластике рельефны, округлы, одни расположены глубже, другие ближе к поверхности. Они освещены и извне, и изнутри, из толщи самосветящегося пластика. Свет словно впитывается в фигуры, просачивается сквозь них, а потом вырывается наружу. Он бледно-розовый, цвета зари, цвета крови полам со слезами, цвета застилающей глаза ярости, цвета чернил на долговой странице бухгалтерской книги.

Картина — одна из его «Собачьей серии»: «Собака лает — ветер носит», «Собачья жизнь», «Кошка с собакой», «Созвездие Гончих Псов», «Пессимизм», «Живая собака и мертвый лев», «Собака, любящая палку», «Собаку съели», «Собачья смерть» и «Где зарыта собака».

Сократ, Бен Джонсон, Челлини, Сведенборг, Ли Бо и Гайавата веселятся в таверне «Русалка». За окном виден Дедал — отправляя своего сына Икара в его прославленный полет, он запикивает ему в задницу ракету — стартовый ускоритель. В углу сидит на земле Ог, Сын Огня. Грызая кость саблезубого тигра, он рисует на покрытой плесенью штукатурке бизонов и мамонтов. Официантка Афина, склонившись над столиком, подает своим прославленным клиентам нектар с крендельками. Позади нее — Аристотель, на голове у него козлиные рога. Он задрал ей юбку и жарит ее в задницу. Горячий пепел от сигареты, которая торчит из его ухмыляющихся губ, упал ей на юбку, и та уже начинает дымиться. В дверях мужского туалета пьяный

Бэтмен, дав волю давно сдерживаемой похоти, насилует Чудомальчика. Через другое окно видно озеро, по поверхности которого шествует человек с потускневшим зеленоватым нимбом над головой. Позади него из воды торчит перископ.

Змеечлен цепко обвивается вокруг кисти и принимается за работу. Кисть — это небольшой цилиндр, один конец которого присоединен к трубке, идущей от машинки в виде полушария. На другом конце цилиндра торчит сопло. Его отверстие можно увеличивать или уменьшать, поворачивая регулятор на цилиндре, — краска может изливаться сильной струей или распыляться мелкими капельками, а еще несколько регуляторов позволяют получать любые нужные цвета и оттенки.

Неистово извиваясь, хобот слой за слоем накладывает краски, и на картине возникает еще одна фигура. Потом, уловив в воздухе затхлый запах похоти, он бросает кисть, проскальзывает в дверь и вдоль изогнутой стены выползает в идущий по кругу коридор, оставляя за собой извилистый след, подобный следу какого-то безногого существа, — письма на песке, которые многие могут прочесть, но мало кто может понять. Разгоряченное пресмыкающееся наливается жаркой кровью, она пульсирует в нем в такт с жерновами, которые вращают Без и Под. Стены, чувствуя его присутствие и источаемое им вожделение, раскаляются докрасна.

Он издает стон. Напоянная соком его желез кобра высоко поднимает голову и начинает мерно раскачиваться под звуки флейты, изливающие его жажду проникнуть в глубь горячей плоти. Да не будет света! Скорее мимо комнаты Матери, последней у выхода. Ах! Он тихо вздыхает с облегчением, но сквозь плотно стиснутые вертикальные губы только свистит ветер — это голос уносящегося вдаль экспресса, который называется «Желание».

Дверь — устаревшей конструкции, в ней есть замочная скважина. Скорее! По пандусу, сквозь скважину и наружу. Улица пуста, гуляющих нет, только одна молодая женщина со светящимися серебристыми волосами. Вот она — добыча!

За ней по улице, обвиться вокруг ее лодыжки. Она смотрит вниз удивленно, потом испуганно. Это ему по душе: слишком много было у него таких, кто слишком хотел.

Вверх по ее ноге, нежной, как кошачье ушко, виток за витком, ползком через расщелину ее чресел. Потыкаться носом в мягкие вьющиеся штопором волосики, а потом — сам себе Тантал — кружным путем по плавной выпуклости живота, по дороге сказать «Привет!» пупку, нажать на него, как на кнопку звонка — эй, есть кто-нибудь там, наверху? Виток за витком вокруг

узкой талии, робко сорвать поспешный поцелуй у каждого соска. Потом снова вниз — совершить восхождение на Венерин холм, водрузить флаг на его вершине.

О восхитительное запретное место, о святая святых! Где-то там, внутри, — дитя, начинающая возникать эктоплазма, радостное предвосхищение действительности. Падай, яйцо, лети стремглав по отвесным колодцам тела, поспеши проглотить крохотного Моби Дика — самого шустрого из всех миллионов миллионов своих извивающихся братьев: пусть выживет самый проворный.

Громкий скрип заполняет коридор. Горячее дыхание холодит кожу. Он весь покрывается потом. Ледышки намерзают на набухшем фюзеляже, который сгибается под их тяжестью. Туман заволакивает все вокруг, свистит в стойках, элероны и рули высоты скованы льдом, высота быстро убывает. Поднимайся выше, выше! Где-то там, впереди, в тумане — Венусберг, гора Венеры; эй, Тангейзер, шлюх за порог, труби в рог, пускай ракеты, я пикирую!

Дверь в комнату Матери открывается. Весь овальный проем заполняет приземистая жаба. Шея у нее вздувается и опадает, словно кузнечные мехи, беззубый рот раззявлен. Раздвоенный язык высовывается наружу и обвивается вокруг его боа-эректора. Вопль вырывается из обоих его ртов, он судорожно дергается во все стороны. Горькое чувство отторжения пронизывает его насквозь. Перепончатые лапы сгибают бьющееся тело, завывают его скользким узлом.

Молодая женщина не спеша удаляется. Подожди! С ревом изливается могучая волна, разбивается об узел, откатывается назад, сшибаясь с набегающей новой волной. Напор чересчур велик, а выход только один. Вверх вздымается фонтан, с небесного свода обрушивается потоп, а ковчега нет. Он вспыхивает взорвавшейся звездой, рассыпаясь миллионами ярких извивающихся метеоров — напрасных искр, которым так и не суждено разгореться.

Да придет отверстие твое! Живот и бедра его скованы отдающим затхлостью панцирем, он лежит замерзший, мокрый и дрожащий.

РАССВЕТ ИССЯКШЕГО ДОЛГОТЕРПЕНИЯ ГОСПОДНЕГО

«...Говорит Альфред Мелофон Вокс-Попурри, ведущий передачи “Час Авроры — на зарядку и чашку кофе” по каналу 69-Б. Прослушайте строки, записанные на 50-м ежегодном фестивале-конкурсе в Центре народного искусства, Беверли-Хиллз, 14-й уровень. Омар Вакхилид Руник исполняет их экспромтом —

если не считать кое-каких заготовок, сделанных им накануне вечером в таверне “Укромная Вселенная”, но их можно не считать, потому что на следующий день Руник все равно так и не смог ничего припомнить. Тем не менее он завоевал Первый Лавровый Венок “А”; Второго, Третьего и последующих венков не существует, они обозначаются только буквами, от “А” до «Я», да благословит Бог нашу демократию».

Навстречу течению ночи серо-алый лосось плывет,
Стремясь в дневную заводь на нерест.

Рассвет — красный рев солнечного быка,
Из-за горизонта он мчится на нас.

Истекая кровью фотонов, корчится при смерти ночь,
В спине у нее торчит нож киллера-дня.

...И так далее, пятьдесят строк, перемежающиеся аплодисментами, восторженными восклицаниями, криками недовольства, свистками и воплями.

Чиб наполовину проснулся. Он глядит в уходящий вдаль темный туннель, по которому уносится только что виденный сон. Он приподнимает веки, и перед ним возникает другая реальность — сознание.

«Отпусти член мой», — бормочет он вслед за Моисеем и, представив себе его длинную бороду и рожки (по милости Микеланджело), тут же вспоминает своего прапрадеда.

Усилием воли он, словно ломом, размыкает веки и видит экран фидо, который занимает всю противоположную стену и загибается на половину потолка. Рассвет, верный паладин солнца, бросает на землю свою серую перчатку.

«Канал 69-Б, ваш любимый канал телевидения Лос-Анджелеса, несет вам рассвет». (Трехмерный обман. Фальшивый рассвет, создаваемый электронами, которые испускают устройства, созданные человеком.)

«Проснитесь с солнцем в душе и песней на устах! Вздрогните от волнующих строк Омара Руника! Встретьте рассвет, как встречают его птицы на деревьях, как встречает его сам Господь Бог!»

Вокс-Попурри говорит тихо, нарастая, а в это время все громче звучит «Танец Анитры» Грига. Старый норвежец и мечтать не мог о таком слушателе — и это его счастье. Юноша по имени Чибиабос Эльгреко Виннеган лежит мокрый и липкий по милости фонтана, излившегося из нефтеносных недр его подсознания.

— Поднимай-ка задницу и садись на коня, — говорит сам себе Чиб. — У твоего Пегаса сегодня скачки.

Все его мысли, слова, вся его жизнь — уже в кипучем настоящем.

Чиб слезает с кровати и убирает ее в стену. Торчащая наружу, помятая, как физиономия пьяницы, она бы нарушала эстетику его комнаты, искажала плавный ход кривой, отражающей сущность Вселенной, и мешала ему работать.

Его комната — огромный овал. В углу другой овал, поменьше, — туалет и душ. Он выходит оттуда, похожий на одного из богоподобных ахейцев Гомера, — массивные ляжки, могучие руки, золотисто-коричневая кожа, голубые глаза, каштановые волосы, не хватает только бороды.

Звонок телефона подражает набатному кваканью южноамериканской древесной лягушки, которое он как-то слышал по 122-му каналу.

— Сезам, откройся!

INTER CAECOS REGNAT LUSCUS

Во всю ширину экрана фидо возникает лицо Рекса Лускуса. Его кожа усеяна порами, словно изрытое воронками поле сражения первой мировой войны. Черный монокль закрывает левый глаз, выбитый в потасовке художественных критиков во время одной из лекций серии «Я люблю Рембрандта» по 109-му каналу. И хотя у него большие связи, которые позволили бы ему добиться разрешения на замену глаза, он отказался.

— *Inter caecos regnat luscus*, — говорит он всякий раз, когда его об этом спрашивают, и нередко, когда его не спрашивают. — Перевожу: «Среди слепых одноглазый — король». Вот почему я сменил имя на Рекс Лускус, что означает «Король Одноглазый».

Ходит слух, всячески поддерживаемый Лускусом, будто он даст вставить себе искусственный белковый глаз только тогда, когда увидит работы художника настолько великого, чтобы ради него стоило обзавестись стереоскопическим зрением. Поговаривают также, что он сделает это в недалеком будущем, ибо открыл Чибиабоса Эльгреко Виннегана.

Лускус жадно (он не может без наречий) разглядывает курчавый пушок на теле Чиб и близлежащие части. Чиб при виде его наливается — но не вожделением, а гневом.

Лускус вкрадчиво говорит:

— Милый, я только хотел убедиться, что ты уже встал и занимаешься сегодняшним невероятно важным делом. Ты обязан

быть готов к показу, просто обязан! Но сейчас, увидев тебя, я вспомнил, что еще ничего не ел. Позавтракаем вместе?

— А что будем есть? — спрашивает Чиб и, не дожидаясь ответа, говорит: — Нет. У меня сегодня слишком много дел. Сезам, закройся!

На экране меркнет лицо Рекса Лускуса, очень напоминающее козлиную морду, или, как он предпочитает говорить, лик Пана: Фавн от искусства. Он даже сделал себе заостренные уши. Просто блеск.

— Бэ-э-э! — блеет Чиб, глядя на исчезающее изображение. — Бэ-э! Шарлатан! Не стану я лизать тебе задницу, Лускус, и тебе не дам. Даже если останусь без гранта!

Телефон звонит снова. На экране появляется смуглое лицо Руссо Красного Ястреба. Нос у него орлиный, а глаза — как осколки черного стекла. На его широком лбу — красная повязка, прямые черные волосы падают на плечи. Он в куртке из буйволовой кожи, на шее бисерное ожерелье. На вид он похож на индейца из прерий, хотя и Сидящий Бык, и Бешеный Конь*, и любой другой носатый индейский вождь в два счета вышибли бы его из своего племени. Дело не в антисемитизме — просто они не стали бы терпеть воина, который весь покрывается сыпью, стоит ему только близко подойти к коню.

Родился он Джулиусом Эпплбаумом, а когда наступил День Переименования, превратился в Руссо Красного Ястреба. Сейчас он только что вернулся из леса, где приобщался к первобытности, и теперь наслаждается ненавистными благами этой порочной цивилизации.

— Как дела, Чиб? Ребята спрашивают, когда ты появишься.

— У вас? Я еще не завтракал, и мне нужно сделать множество дел, чтобы подготовиться к показу. Увидимся в полдень!

— Ты много потерял, что не был вчера вечером. Какие-то вонючие египтяне вздумали пощупать девиц, ну, мы им и устроили саям-алейкум.

Руссо исчезает, словно последний из могикан.

Чиб только успевает подумать о завтраке, как звонит внутренний телефон.

— Сезам, откройся!

Он видит на экране гостиную. В воздухе клубится дым, такой густой и плотный, что кондиционер не может с ним справиться. В дальнем конце овальной комнаты спят на лежаке его маленький сводный брат и сводная сестра. Наигравшись в «ма-

* Сидящий Бык (1834—1890) и Бешеный Конь (1849?—1877) — вожди индейского племени сиу. (Здесь и далее примеч. пер.)

му и ее приятеля», невинные крошки уснули с приоткрытыми ротиками, прекрасные, какими могут быть только спящие дети. У каждого между закрытых глаз — по немигающему оку, словно у циклопа.

— Правда, они очаровательны? — говорит Мать. — Малютки слишком устали, чтобы добраться к себе.

Посреди комнаты стоит круглый стол. Вокруг него — престарелые рыцари и дамы, готовые отправиться в странствие на поиски туза, короля, дамы и валета. Вместо доспехов они облачены в бесчисленные слои жира. Щеки у Матери свисают вниз, словно знамена в безветренный день. Ее необъятные груди расползлись по столу, они колышутся, сотрясаемые волнами ряби.

— Безобразные китообразные, — говорит он вслух, глядя на жирные лица, гигантские груди, массивные крупы. Они удивленно поднимают брови. Что там болтает этот полоумный гений?

— А правда, что твой сынок — умственно отсталый? — спрашивает один из приятелей Матери, и все со смехом прихлебывают пиво. Анджела Нинон, не желая пропустить эту сдачу и сообразив, что Мать все равно скоро включит автоматы мокрой уборки, писает под себя. Все раздражаются хохотом, а Вильгельм Завоеватель говорит:

— Начинаю.

— А я уже кончаю, — отзывается Мать, и все покатываются со смеху.

Чибу хочется заплакать. Но он не плачет, хотя ему с детства внушали, что можно плакать всякий раз, когда только захочется.

«...От этого становится легче на душе, и потом посмотрите на викингов — какие были мужчины, а плакали, словно дети, всякий раз, как только им хотелось».

202-й канал, популярная программа «Идеальная Мать»

Он не плачет, потому что у него такое чувство, словно он вспоминает Мать, которую очень любил, но которой нет в живых, которая умерла много лет назад. Его Мать давно уже погребена под оползнем мяса и жира. У него была замечательная Мать, когда ему было шестнадцать.

А потом она его отлучила.

«У КОГО ХОРОШО СОСУТ, ТЕ ВСЕГДА ХОРОШО РАСТУТ».

Из стихотворения Эдгара А. Гриста, 88-й канал

— Сынок, мне это не доставляет особого удовольствия. Я делаю это только потому, что люблю тебя.

А потом — жир, жир, жир! Где она теперь? Погрузилась в бездну сала. Все толще, все глубже.

— Сынок, ты бы мог хоть повозиться со мной время от времени.

— Ты же меня отлучила, Мать. И правильно сделала, я уже большой. Только теперь не рассчитывай, что мне захочется заняться этим снова.

— Ты меня больше не любишь!

— Что на завтрак? — спрашивает Чиб.

— Мне пришла хорошая карта, Чибби, — отвечает Мать. — Ты давно говоришь, что уже большой. Хоть раз можешь сам приготовить себе завтрак?

— Зачем ты мне позвонила?

— Я забыла, в котором часу открывается твоя выставка. Хочу успеть вздремнуть перед тем, как отправляться.

— В 14.30, но тебе идти необязательно.

Накрашенные зеленой помадой губы раскрываются, как гнойная рана. Она чешет пальцем подрумяненный сосок.

— Нет, я хочу там быть. Не могу же я не присутствовать на триумфе своего собственного сына. Как ты думаешь, дадут тебе грант?

— Если не дадут, не миновать нам Египта.

— Вонючие арабы! — заявляет Вильгельм Завоеватель.

— Это решает Бюро, а не арабы, — возражает Чиб. — Арабы переехали сюда по той же причине, по которой нам придется переезжать туда.

«Кто мог бы подумать, что Беверли-Хиллз станет гнездом антисемитизма?»

Из неопубликованной рукописи Деда

— Я не хочу ехать в Египет! — плаксивым голосом говорит Мать. — Ты должен получить этот грант, Чибби. Я не хочу уезжать из этой грозди. Я здесь родилась и выросла — ну, на десятом уровне, но это все равно, и когда я переехала сюда, все мои друзья переехали тоже. Я не поеду!

— Не плачь, Мать, — говорит Чиб с невольным сочувствием. — Не плачь. Ты же знаешь, правительство не может тебя заставить. Не имеет права.

— Захочешь, чтобы тебе и дальше перепали лакомые кусочки, — поедешь, — говорит Завоеватель. — Если Чиб не получит грант. А я бы на его месте не так уж и старался. Он же не виноват, что с Дядей Сэмом не поторгуешься. У тебя есть

твое королевское жалованье и еще то, что получает Чиб, когда продает свои картины. Только тебе этого мало. Ты тратишь деньги быстрее, чем получаешь.

Мать с воплем ярости кидается на него. Чиб выключает фидо. Черт с ним, с завтраком — можно будет поесть попозже. Картина, которую он представляет на Фестиваль, должна быть готова к полудню. Он нажимает на панель, стены пустой комнаты раскрываются сразу в нескольких местах, и из них появляются принадлежности для живописи, словно дар от каких-то электронных богов. Зевксис* повредился бы в рассудке, а Ван Гога бросило бы в дрожь, если бы они увидели полотно, палитру и кисть, какими пользуется Чиб.

Процесс создания картины начинается с того, что художник сгибает и скручивает каждую из многих тысяч проволоочек, расположенных на разной глубине, придавая им нужную форму. Проволочки так тонки, что их видно только в лупу, и манипулировать ими приходится с помощью крохотных щипчиков. Поэтому, приступая к работе над картиной, он надевает специальные очки и берет длинный и тонкий, как паутинка, инструмент. После сотен часов кропотливых, терпеливых усилий (любви) все проволоочки оказываются размещенными так, как надо.

Чиб снимает очки, чтобы окинуть картину взглядом. Потом берет краскораспылитель и принимается окрашивать проволоочки в нужные цвета и оттенки. Через несколько минут краска высыхает. Тогда Чиб подключает к картине электрические провода, нажимает кнопку, и по проволоочкам начинает течь слабый ток. Под слоем краски они раскаляются и, словно липутские предохранители, сгорают в облачках голубоватого дыма.

В результате получается трехмерное сооружение из полых внутри трубочек твердой краски, лежащих в несколько слоев под поверхностью картины. Трубочки разного диаметра, но все такие тонкие, что, если поворачивать картину под разными углами, свет сквозь стенки их проникает внутрь. Некоторые трубочки представляют собой просто отражатели, усиливающие свет, чтобы было лучше видно скрытое внутри изображение.

Когда картину выставляют, ее устанавливают на вращающийся пьедестал, который поворачивает ее на 12 градусов туда и обратно.

Квакает фидо. Чиб, выругавшись про себя, думает, что надо будет, пожалуй, его отключить. Хорошо хоть, что это не внутренний

* Зевксис (конец V — начало VI в. до н.э.) — знаменитый древнегреческий живописец.

телефон, не Мать с ее истерикой. Пока не она. Но она скоро позвонит, если опять проиграется в покер.

— Сезам, откройся!

НЫНЕ, О ГУСИ, ВОСПОЙТЕ ХВАЛУ ДЯДЕ СЭМУ

«Через двадцать лет после того, как я сбежал с двадцатью миллиардами долларов, а потом считался умершим от сердечного приступа, на мой след снова напал Фалько Акципите́р. Тот самый сыщик из Налоговой полиции, который, поступая на работу, взял себе имя “Ястребиный Сокол”*. Какая самовлюбленность! Однако он зорек и беспощаден, как хищная птица, и я содрогнулся бы, не будь я слишком стар, чтобы бояться людей. Кто снял с него путы и колпачок? Как он умудрился взять след, который давно простыл?»

Из «Конфиденциальных семейзвержений» Деда

Лицом Акципите́р похож на чрезмерно подозрительного сапсана, который, паря в небе, старается смотреть сразу во все стороны и даже заглядывает самому себе в задний проход — не притаилась ли там утка. Каждый взгляд его светло-голубых глаз напоминает нож, до поры спрятанный в рукаве и швыряемый в цель неожиданным взмахом руки. Он пристально разглядывает все окружающее с шерлокомсовским вниманием к мелким, но многозначительным подробностям. Его голова поворачивается то вправо, то влево, уши то и дело настораживаются, ноздри раздуваются и вздрагивают — не человек, а какой-то радар, сонар и аромадар в одно и то же время.

— Мистер Виннеган, простите, что звоню так рано. Я не поднял вас с постели?

— Вы же видите, что нет! — огрызается Чиб. — Можете не представляться, я вас знаю. Вы следите за мной вот уже три дня.

Акципите́р не краснеет. В совершенстве владея собой, он позволяет себе краснеть только в глубине души, так, что никто этого не видит.

— Если вы меня знаете, то вы, может быть, скажете мне, зачем я звоню?

— Неужели я похож на такого идиота?

— Мистер Виннеган, я хотел бы поговорить с вами о вашем прапрадеде.

— Его нет в живых уже двадцать пять лет! — кричит Чиб. — Забудьте про него. И оставьте меня в покое. Не пытайтесь по-

* *Falco* и *Accipiter* — латинские наименования родов, к которым относятся соответственно соколы и ястребы.

лучить ордер на обыск. Ни один судья не выдаст вам ордера. Дом человека — его нелепость... я хотел сказать — его крепость.

Он вспоминает про Мать: ну и денек будет, если только не смотаться отсюда как можно скорее. Но сначала нужно закончить картину.

— Исчезните, Акципитер, — говорит Чиб. — Я думаю, не пожаловаться ли мне на вас куда следует. Уверен, что в этой вашей дурацкой шляпе спрятана фидокамера.

Лицо Акципитера неподвижно и невозмутимо, как алебастровое изваяние бога-сокола Гора. Возможно, и случается, что у него пучит живот, но если и так, то газы он выпускает беззвучно.

— Очень хорошо, мистер Виннеган. Но так просто вы от меня не отделаетесь. В конце концов...

— Исчезните!

Внутренний телефон издает тоекратный свист. Три раза — значит, это Дед.

— Я подслушал, — звучит 120-летний голос, глухой и гулкий, как эхо, доносящееся из могилы фараона. — Хочу повидаться с тобой, пока ты не ушел. Если, конечно, ты можешь уделить старцу несколько минут.

— Сколько угодно, Дед, — отвечает Чиб, думая о том, как сильно он любит старика. — Тебе принести какой-нибудь еды?

— Да, и пищи для ума тоже.

Ну и денек. *Dies Irae**.

*Götterdämmerung*** Армагеддон. Все навалилось сразу. Или пан, или пропал. Или пройдет, или не пройдет. А тут все эти звонки, и наверняка будут еще. Чем кончится этот день?

«ТАБЛЕТКА СОЛНЦА ПАДАЕТ В ВОСПАЛЕННОЕ ГОРЛО НОЧИ».

Из Омара Руника

Чиб идет к выпуклой двери, которая откатывается в щель внутри стены. Центральную часть дома занимает овальная общая гостиная. В правой ближней ее четверти находится кухня, отгороженная складными ширмами шестиметровой высоты, которые Чиб расписал сценами из египетских гробниц — чересчур тонкий намек на современную пищу. Семь стройных колонн, окружающие гостиную, отделяют ее от коридора. Между колоннами — тоже высокие складные ширмы, которые Чиб расписал, когда увлекался мифологией американских индейцев.

* День гнева (*лат.*).

** Намек на «*Götzen-Dämmerung*» — «Сумерки идолов», название одной из книг Ф. Ницше.

Коридор тоже имеет форму овала; в него выходят все комнаты дома. Их семь: шесть спален-кабинетов-гостиных-туалетов-душей и кладовая.

Маленькие яйца внутри яиц побольше внутри огромных яиц внутри гигантского монолита, воздвигнутого на планете-груше посреди овальной Вселенной: новейшая космологическая теория утверждает, что бесконечность имеет форму куриного яйца. Господь Бог сидит на яйцах над бездной и каждый триллион лет или около того принимается кудахтать.

Чиб пересекает коридор, проходит между двумя колоннами, которым он придал форму нимфеток-кариатид, и входит в гостиную. Мать бросает косой взгляд на сына, который, по ее мнению, быстро приближается к безумию, если уже не перешел границу. Отчасти это ее вина: не надо было ей в минуту раздражения отлучать его от Этого. Теперь она стала толстая и безобразная, Боже, такая толстая и безобразная! Теперь не приходится и думать о том, чтобы начать снова.

«Это всего лишь естественно, — постоянно напоминает она себе с тяжелым слезливым вздохом, — что он променял любовь своей Матери на неизведанные, упругие и изящные прелести молодых женщин. Но отказаться и от них тоже? Ведь он не бисекс. Он покончил с этим еще в тринадцать лет. Тогда откуда такое воздержание? И форникатором он не пользуется, я бы его поняла, пусть даже и не одобрила бы. О Боже, что я сделала не так?»

И дальше:

«Я не виновата. Он теряет рассудок, как его отец — Рэли* Ренессанс, кажется, его звали, — и как его тетка, и его прапрадед. А все живопись и эти радикалы — Молодые Редиски, с которыми он путается. У него слишком художественная, слишком чувствительная натура. О Боже, если что-нибудь случится с моим мальчиком, мне придется переехать в Египет».

Чиб знает, о чем она думает, потому что она высказывала ему это множество раз и ничего нового выдумать не способна. Не говоря ни слова, он идет мимо круглого стола. Рыцари и дамы из законсервированного Камелота смотрят на него сквозь пивную пелену.

На кухне он открывает овальную дверцу в стене и достает оттуда поднос с едой в тарелках и чашках, закрытых крышками и запечатанных в пластиковую пленку.

— Разве ты не будешь есть с нами?

— Не скули, Мать, — говорит он и возвращается к себе в комнату, чтобы захватить несколько сигар для Деда. Дверь,

*Рэли Уолтер (ок. 1552—1618) — английский мореплаватель, авантюрист, пират, поэт, драматург и историк, фаворит королевы Елизаветы I.

которая, уловив и усилив зыбкие, но узнаваемые фантомы-образы, излучаемые электрическим полем его кожи, должна передать их механизму, приводящему ее в движение, почему-то упрямится. Чиб слишком взволнован, магнитные водовороты бурлят на поверхности его кожи и искажают конфигурацию спектра. Дверь наполовину откатывается в стену, выкатывается опять, потом, передумав, снова откатывается и выкатывается.

Чиб ударяет по двери ногой, и ее окончательно заедает. Он решает, что надо будет поменять сезам — поставить видео или голосовой. Плохо, что сейчас у него маловато купонов, на оборудование не хватит. Он пожимает плечами, проходит вдоль единственной изогнутой стены коридора и останавливается перед дверью Деда, отгороженной от сидящих в гостиной кухонными ширмами.

— Ибо пел он о свободе,
Красоте, любви и мире,
Пел о смерти, о загробной
Бесконечной, вечной жизни,
Воспевал Страну Понима
И Селения Блаженных.
Дорог сердцу Гайаваты
Кроткий, милый Чибиабос*.

Чиб нараспев произносит пароль, и дверь откатывается вбок.

Из комнаты вырывается поток света — желтовато-красноватого света, который Дед устроил у себя сам. Когда заглядываешь в эту выпуклую овальную дверь, кажется, будто глядишь в зрачок сумасшедшего. Дед стоит посреди комнаты. Его белая борода ниспадает до половины бедер, а белые волосы водопадом спускаются до самых колен. Но хотя борода и волосы скрывают его наготу, и к тому же посторонних здесь нет, он в шортах. Дед немного старомоден, это простительно для человека на тринадцатом десятке.

Как и у Рекса Лускуса, у него один глаз. Он улыбается, и видны его собственные зубы, выращенные из зародышей, трансплантированных тридцать лет назад. Большая зеленая сигара торчит из его толстых красных губ. Нос его широк и бесформен, словно жизнь прошла по нему тяжелой поступью. У него большой лоб и широкое лицо — может быть, это сказывается примесь крови индейцев оджибве, хотя родился он настоящим ирландцем по фамилии Финнеган, и даже пот его, как у заправского кельта, пахнет виски. Он стоит, высоко подняв голову,

* Г. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Перевод И. А. Бунина.

и его серо-голубые глаза похожи на крохотные озера, оставленные на дне глубоких долин растаявшим ледником.

В общем, у него лицо Одина, который возвращается от источника Мимира*, размышляя, не слишком ли дорого заплатил. Или лицо источенного ветром и песком Сфинкса в Гизе.

— Сорок веков безумия глядят на тебя: что-то в этом роде сказал в свое время Наполеон, — говорит Дед. — «Что же такое человек?» — спрашивает Новый Сфинкс. Загадку Старого Сфинкса Эдип разгадал, но это ничего не изменило, потому что тот уже успел произвести на свет другого подобного себе, шустрого мальчонку, загадку которого пока не разгадал еще никто. И очень может быть, что это к лучшему.

— Ты что-то непонятное говоришь, — откликается Чиб. — Но мне нравится.

Он ухмыляется Деду, потому что любит его.

— Ты каждый день прокрадываешься сюда, и не столько из-за любви ко мне, сколько для того, чтобы набраться знаний и мудрости. Я все повидал, все слышал и много чего передумал. Перед тем как укрыться в этой комнате четверть века назад, я немало попутешествовал. Но эти годы заключения стали для меня величайшей Одиссеей.

СТАРЫЙ МАРИНАД —

так я себя называю. Маринад мудрости, настоящий на крепком рассоле цинизма и слишком долгой жизни.

— Ты так улыбаешься, что можно подумать — у тебя только что побывала женщина, — шутит Чиб.

— Нет, мой мальчик. Вот уже тридцать лет как мой шомпол потерял упругость. И я благодарю Бога за это, потому что теперь избавлен от искушения плотским соитием, не говоря уж о мастурбации. Но кое-какие силы у меня остались, а значит, осталась возможность согрешить, и даже посерьезнее. Кроме того, что совокупление — грех, у меня были и другие резоны не просить Старого Черного Мага — Науку — снова меня накрамалить какими-нибудь уколами. Я стал слишком стар, чтобы девушек привлекало во мне что-нибудь помимо моих денег. А наслаждаться сморщенными прелестями женщин моего возраста или еще более давних поколений мне не позволяла моя поэтическая натура — я слишком любил прекрасное. Вот как обстоит дело, сынок. Язык моего колокола давно увял и теперь праздно болтается — динь-дон, динь-дон, как ни кинь, а все не в кон.

* Мимир — в скандинавской мифологии великан, хозяин источника мудрости; за то, чтобы напиться из этого источника, верховный бог Один отдал свой глаз.

Дед раздражается гулким смехом — львиным ревом, от которого во все стороны разлетаются голуби.

— Я всего лишь рупор древности, адвокат, ходатайствующий за клиентов, которых давно нет в живых. Явившийся не хоронить свое прошлое, а воздать ему хвалу, но, впрочем, побуждаемый чувством справедливости признать кое-какие свои ошибки. Я чудаковатый ворчливый старикан, заточенный, подобно Мерлину, в древесный ствол. Самолксис, фракийский бог-медведь, погруженный в спячку в своей берлоге. Последний из Семи Спящих Отроков.

Дед подходит к тонкой пластиковой трубе перископа, спускающейся с потолка, и откидывает рукоятки.

— Акципитер бродит вокруг нашего дома. На 14-м уровне Беверли-Хиллз он чувствует что-то недоброе. Неужели старый Чистоган Виннеган не умер? Дядя Сэм — как бронтозавр, который получил пинок под зад: нужно двадцать пять лет, чтобы известие об этом дошло до его мозга.

На глаза Чиба навертываются слезы.

— Бог мой, Дед, я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось.

— Что может случиться со стадвадцатилетним стариком, пока у него работают мозг и почки?

— При всем моем уважении к тебе, Дед, — говорит Чиб, — ты многовато болтаешь.

— Можешь назвать меня мельницей, на которой мелет Ид*. Мука, которая из нее выходит, выпекается в таинственной печи моего Эго — бывает, правда, что и недопечется.

Чиб усмехается сквозь слезы:

— Меня еще в школе учили, что всякая игра словами — это дешевка и признак вульгарности.

— Что годится для Гомера, Аристофана, Рабле и Шекспира, то годится и для меня. Кстати, о дешевке и вульгарности — я встретил твою Мать в коридоре вчера вечером, перед тем как они засели в покер. Я как раз выходил из кухни с бутылкой спиртного. Она чуть в обморок не упала. Но тут же очухалась и притворилась, будто меня не видит. Может, и вправду решила, что встретила привидение. Но сомневаюсь. Она бы разнесла это по всему городу.

— Возможно, она сказала об этом своему врачу, — говорит Чиб. — Ты ей попался на глаза и несколько недель назад, помнишь? И она могла об этом вспомнить, когда жаловалась на свои так называемые головокружения и галлюцинации.

* В теории психоанализа Фрейда «ид» и «эго» — формы подсознательного «я» человека.

— А старый костоправ, зная историю нашей семьи, навел на нас Налоговую полицию? Возможно.

Чиб принакает к окуляру перископа. Он поворачивает трубу и крутит рукоятки, поднимая и опуская объектив, торчащий наружу. Акципитер расхаживает вокруг грозди из семи яиц, к каждому из которых ведет от центрального пьедестала широкий, легкий, изогнутый, словно ветка дерева, пешеходный мостик. Потом он поднимается по ступенькам одного из мостиков к двери миссис Эпплбаум. Дверь открывается.

— Должно быть, улучил момент, когда она на минутку отошла от форникатора, — говорит Чиб. — Наверное, ей надоело сидеть одной — она не стала говорить с ним по фидо. Бог мой, она еще толще Матери!

— Еще бы, — отзывается Дед. — Теперь все целыми днями только пьют, едят и смотрят фидо, не отрывая задницы от стула. От этого у них размягчаются и мозги, и тела. Цезарю в наше время ничего не стоило бы окружить себя надежной защитой из друзей-толстяков. И ты наелся, Брут?

Однако замечание Деда вряд ли относится к миссис Эпплбаум. У нее дыра в голове, а те, кто пристрастился к форникатору, редко бывают толстыми. Весь день и почти всю ночь они сидят или лежат, вводя в совокупительный центр мозга иглу, по которой поступают слабые электрические импульсы. С каждым импульсом по всему их телу пробегают волны неопишемого блаженства, оставляющего далеко позади удовольствие от любой еды, питья и секса. Это противозаконно, но правительство обычно оставляет форника в покое, разве что решает прищучить его за что-то другое: у форников почти никогда не бывает детей. У 20 процентов жителей Лос-Анджелеса в голове проделаны дыры и в них вставлены тоненькие трубочки для введения иглы. У пяти процентов — болезненное пристрастие к этому: такой человек худеет, почти не ест, яды из переполненного мочевого пузыря отравляют ему кровь.

— Мои братишка и сестренка тоже могли видеть тебя, когда ты тайком шел к мессе, — говорит Чиб. — Не они ли...

— Они тоже принимают меня за привидение. И это в наше-то время! Впрочем, возможно, оно и к лучшему — если они способны во что-то верить, хоть в привидения.

— Лучше бы ты перестал тайком ходить в церковь.

— Церковь и ты — вот две вещи, которые меня еще поддерживают. Я был очень опечален, когда ты сказал мне, что не можешь верить. Из тебя получился бы хороший священник — не без недостатков, конечно, — ты мог бы служить мессы и исповедовать меня прямо здесь, в этой комнате.

Чиб молчит. В свое время он посещал службы, чтобы сделать Деду приятное. Яйцевидный храм напоминал ему морскую раковину: если приложить ее к уху, слышен только далекий рокот Бога, отступающий, как волны в отлив.

«СТОЛЬКО ВСЕЛЕННЫХ МОЛЯТ ПОСЛАТЬ ИМ БОГА, А ОН ОКОЛАЧИВАЕТСЯ В НАШЕЙ, ВЫДУМЫВАЯ СЕБЕ ДЕЛО».

Из рукописи Деда

Дед отбирает у Чиб перископ.

— Налоговая полиция! — говорит он смеясь. — Я думал, ее давно распустили! У кого теперь такой большой доход, чтобы стоило его декларировать? А как по-твоему, может быть, они все еще существуют только ради меня? Вполне возможно.

Он снова подзывает Чиб к перископу, направленному на центр Беверли-Хиллз. Чиб смотрит в просвет между гроздьями из семи яиц каждая, стоящими на своих ветвящихся пьедесталах. Он видит часть центральной площади, гигантские яйцевидные здания мэрии, федеральных учреждений, Центра народного искусства, часть массивной спирали, на которой расположены молитвенные дома, и дору (от «ПАНДОРЫ»), где сидящие на королевском жалованье получают продукты и товары, а те, кто имеет дополнительные доходы, — еще и всякие лакомые кусочки. Виден отсюда и уголок обширного искусственного озера; в лодках сидят рыбаки с удочками.

Купол из радиационно-модифицированного пластика, который возвышается над гроздьями зданий, — голубой, как небо. Электронное солнце поднимается к зениту. Белеют несколько облаков, очень похожие на настоящие. Виден даже косяк гусей, улетающих на юг, и доносится их перекличка. Тем, кто ни разу не покидал стен Лос-Анджелеса, все это очень нравится. Но Чиб прослужил два года во Всемирном корпусе восстановления и сохранения природы и знает, что это совсем не то. Он чуть было не решил дезертировать вместе с Руссо Красным Ястребом, вступить в ряды неоиндейцев, а потом стать егерем в лесничестве. Но тогда ему рано или поздно пришлось бы ввязаться в перестрелку или арестовать Красного Ястреба. К тому же ему не хотелось служить Дяде Сэму. А больше всего ему хотелось писать картины.

— А вот и Рекс Лускус, — говорит Чиб. — Он дает интервью у входа в Центр народного искусства. Ну и толпа.

«ПРОРЫВ В ПЕЛЛЮСИДАРНОСТЬ»

Лускус вполне заслуживает, чтобы его прозвали выскочкой. Располагая обширной эрудицией, доступом к компьютерной

библиотеке Большого Лос-Анджелеса и хитроумием Одиссея, он всегда одерживает верх над своими коллегами.

Это он положил начало направлению в критике, которому дал название «стриптиз».

Его главный соперник Прималюкс Рескинзон провел кропотливое исследование и торжественно объявил, что Лускус позаимствовал это слово из давно забытого жаргона середины двадцатого столетия.

На следующий день Лускус в интервью по фидо заявил, как и следовало ожидать, что Рескинзон — весьма поверхностный ученый. На самом деле это слово взято из готтентотского языка и по-готтентотски означает «пристально разглядывать» — то есть разглядывать объект до тех пор, пока не увидишь в этом объекте — в данном случае в художнике и его работах — самое главное.

Критики выстраивались в очередь, чтобы записаться в приверженцы нового направления. Рескинзон уже подумывал, не покончить ли с собой, но вместо этого обвинил Лускуса в том, что тот высосал это слово, но только не из пальца.

Лускус в очередном интервью по фидо отвечал, что до его личной жизни никому нет дела и что он мог бы подать на Рескинзона в суд. Однако не стоит тратить на него силы — достаточно просто прихлопнуть его, как комара.

— А что это за штука такая — комар? — удивились миллионы зрителей. — Не может, что ли, этот умник говорить так, чтобы всякому было понятно?

И Лускусу отключили звук на целую минуту, пока переводчик, которому режиссер незаметно сунул записку, справился в компьютерной энциклопедии и объяснил, что такое комар.

Шума вокруг нового направления в критике хватило на два года. А потом Лускус восстановил свой пошатнувшийся было престиж, создав философию Человека Всемогущего. Она приобрела такую популярность, что Бюро культурного развития и развлечений потребовало ввести на полтора года ежедневную часовую передачу для первоначального обучения всемогуществу.

«Что можно сказать про Человека Всемогущего, про этот апофеоз индивидуальности и психосоматического совершенства, про этого демократического сверхчеловека, которого проповедует этот Рекс Лускус? Бедный Дядя Сэм! Он старается насильно втиснуть своих многоликих граждан в единые и постоянные рамки, чтобы ими можно было управлять. И в то же самое время пытается уговорить каждого из них развить и довести до полного расцвета все присущие ему способности — если таковые обнаружатся. Бедный старый долговязый, козло-

бородый, добросердечный, тупоголовый шизофреник! Воистину левая рука не ведает, что творит правая. Больше того — и правая рука не ведает, что творит правая».

Из «Конфиденциальных семьяизвержений» Деда Виннегана

— Что можно сказать про Человека Всемогущего? — отвечал Лускус на вопрос комментатора во время четвертой передачи из серии «Лускусовы чтения». — Где здесь несоответствие духу нынешнего времени? Никакого несоответствия нет. Человек Всемогущий — императив современности. Он должен появиться на свет, если мы хотим воплотить в жизнь Золотой Мир. Разве может быть утопия без утопийцев, а Золотой Мир — с людьми из меди?

И в тот же памятный день Лускус прочел ту лекцию о «Прорыве в пеллюсидарность», которая сделала знаменитым Чибиабоса Виннегана. А кроме того, позволила Лускусу на много очков опередить своих соперников.

— Пеллюсидарность? Пеллюсидарность? — бормотал Рескинзон. — О Боже, что еще придумал этот пустозвон?

— Мне понадобится некоторое время, чтобы объяснить, почему я использовал это слово, говоря о гении Виннегана, — продолжал Лускус. — Но сначала позвольте мне сказать несколько слов, которые могут показаться некоторым отступлением от темы.

ОТ АРКТИКИ ДО ИЛЛИНОЙСА

— Конфуций однажды сказал, что стоит на Северном полюсе пукнуть медведю, как в Чикаго поднимается буря. Он имел в виду, что все события, а следовательно, и все люди, взаимосвязаны и образуют неразрывную паутину. То, что делает один человек, как бы незначительно на первый взгляд это ни было, сотрясает всю паутину и влияет на всех других людей.

Хо Чунг Ко, сидя перед своим фидо на 30-м уровне Лхасы (Тибет), говорит жене:

— Этот белокожий мудака все перепутал. Конфуций ничего такого не говорил, Ленин нас сохрани! Вот позвоню ему и скажу...

— Давай переключимся на другой канал, — отвечает жена. — Сейчас начинается «Площадь Пай Тинг», и...

Нгомбе, 10-й уровень, Найроби:

— Здешние критики — просто банда чернокожих мерзавцев. Вот Лускус — другое дело: он сразу распознал мою гениальность. Завтра же утром подаю заявление об эмиграции.

Его жена:

— Мог бы по крайней мере спросить меня, хочу ли я переезжать! А как же дети?.. Мать?.. Друзья?.. Собака?..

И долго еще звучат ее причитания в ярко освещенной африканской ночи.

— Экс-президент Радинофф, — продолжает Лускус, — как-то сказал, что наше время — это эпоха «человека, подключенного к сети». Это вызвало разные вульгарные замечания, но я считаю это подлинным прозрением. Радинофф хотел сказать, что современное общество — это электрическая сеть под током, и каждый из нас составляет ее часть. Это Век Всеобщего Взаимного Контакта. Ни один провод не должен болтаться свободно, иначе всех нас ждет короткое замыкание. В то же время не подделжит сомнению, что жизнь без индивидуальности ничего не стоит. Каждый человек должен представлять собой *homo* *legomenon**...

Рескинзон вскакивает со стула и кричит:

— Я знаю это выражение! На этот раз ты попался, Лускус!

Он так возбужден, что падает в обморок — это проявление широко распространенного генетического дефекта. Когда он приходит в себя, лекция уже закончена. Он кидается к магнитофону, чтобы просмотреть ту часть, которую пропустил. Однако Лускус ухитрился так и не сказать, что означает «Прорыв в пеллюсидарность». Он объяснит это в следующей лекции.

Дед снова берется за перископ.

— Я чувствую себя астрономом. Вокруг нашего дома, как вокруг Солнца, вращаются планеты. Вон Акципитер, ближе всех — значит, Меркурий, хотя он не бог мошенников, а их возмездие. Следующая — Бенедиктина, твоя унылая Венера. Сурова она, сурова. Любой спермий расшибет себе голову о такую каменную яйцеклетку. Ты уверен, что она беременна? А вон твоя Мать, разряжена в пух и прах, прах ее возьми. Мать-Земля, направляющаяся к перигею — в казенный магазин, тратить твои заработки.

Дед стоит расставив ноги, словно на зыбкой палубе; толстые сине-черные вены на его икрах похожи на плети дикого винограда, оплетающие ствол векового дуба.

— Ненадолго сменим роль — теперь перед вами не великий астроном герр доктор Штерн-шайс-дрек-шнуппе, а капитан суб-

* Слово или фраза, встречающиеся в документе или официальной бумаге только однажды (*греч.*).

марины фон Шутен-ди-Фишен-ин-дер-Баррел. Ах-х! Я фижу этот спившийся с пути пароход «Deine Мата», его просает фо фсе стороны по фолнам фон дем алкоголь. Компас смыло за борт, все румбы — от тумбы до тумбы. Море ей по колено. Колеса бешено крутятся в воздухе. Чернокожие кочегары, обливаясь потом, подливают масла в огонь ее несбывшихся надежд. Винт запутался в сетях невроза. А в черной глубине что-то белеет — это Большой Белый Кит, он быстро поднимается к поверхности и вот-вот протаранит ей корму, такую обширную, что промахнуться невозможно. Бедное обреченное судно, меня охватывает жалость и тошнит от отвращения. Первая — пли! Вторая — пли! Ба-бах! Она опрокидывается килем вверх, в корпусе у нее рваная дыра, но не та, о которой ты подумал. Она погружается в воду, носом вниз, как подобает заядлой минетчице, и высоко задрав огромную кормовую часть. Буль-буль! Пять саженей! А теперь мы из морских глубин снова возвращаемся во внеземное пространство. Вон твой лесной Марс — Красный Ястреб, он только что вышел из таверны. А Лускус — этот Юпитер, он же одноглазый Отец всех искусств, если ты простишь мне такую смесь нордической и латинской мифологий, — окружен облаком спутников.

«ОБНАЖЕННОСТЬ — ГОРЧАЙШАЯ ЧАСТЬ ДОБЛЕСТИ», —

говорит фидорепортерам Лускус.

— Этим я хочу сказать, что у Виннегана, как и у любого художника, велик он или нет, произведение искусства сначала вырабатывается в организме как свойственный только ему продукт внутренней секреции, а уж потом просачивается наружу в виде творческих выделений. Я знаю, что мои почтенные коллеги поднимут на смех это сравнение, и поэтому вызываю их на дебаты по фидо в любое время. Доблесть художника — это то мужество, с каким он обнажает себя, выставляя эти свои внутренние соки на обозрение публики. А горечь происходит от того, что современники могут отвергнуть художника или неправильно его понять. И от той страшной борьбы, которую ведет он внутри себя самого со стихийными силами нечленораздельности и хаоса, которые часто вступают в противоречие друг с другом и которые он должен объединить и воплотить в некое уникальное целое.

Фидорепортер:

— Вас надо понимать так, что все сущее — это одна большая куча дерьма, а искусство вызывает в нем какое-то чудесное превращение и извлекает из него что-то сияющее золотом?

— Не совсем так. Но близко. Я остановлюсь на этом подробнее и все объясню в другой раз. А сейчас я хочу говорить о Виннегане. Так вот, художники помельче изображают только внешнюю сторону вещей, они простые фотографы. А великие художники показывают внутреннюю сущность предметов и живых созданий. Виннеган же стал первым, кто в одном произведении искусства раскрывает перед нами сразу несколько внутренних сущностей. Изобретенный им метод многослойного горельефа позволяет слой за слоем выявлять и показывать то, что скрыто в глубине.

Прималюкс Рескинзон (громко):

— Великий шелушитель луковиц!

Лускус (спокойно выждав, когда утихнет смех):

— В каком-то смысле это неплохо сказано. От великого искусства, как и от лука, на глаза набегают слезы. Однако свет в картинах Виннегана — это не просто отражение; картина впитывает его в себя, переваривает и излучает обратно. Каждый изломанный луч делает видимым не просто тот или иной аспект лежащих в глубине фигур, но целые фигуры. Целые миры, я бы сказал. Я называю это «Прорывом в пеллюсидарность». Пеллюсидар — это полое пространство внутри нашей планеты, описанное в забытом ныне фантастическом романе писателя двадцатого века Эдгара Райса Берроуза — создателя бессмертного Тарзана.

Рескинзон издает стон и чувствует, что снова вот-вот упадет в обморок.

— Пеллюсидарность! Пеллюсидар! Ах, этот проклятый Лускус, каламбурист-эксгуматор!

— Герой Берроуза проник сквозь земную кору, чтобы открыть внутри ее иной мир. В некоторых отношениях тот мир оказался противоположностью миру внешнему: континенты в нем там, где на поверхности — моря, и наоборот. Точно так же Виннеган открывает во всяком человеке его внутренний мир, оборотную сторону его внешнего облика. И, подобно герою Берроуза, он возвращается, чтобы рассказать нам захватывающую историю о тех опасностях, которые преодолел, исследуя этот мир человеческой души.

— И если герой романа, — продолжает он, — обнаружил, что Пеллюсидар населен людьми каменного века и динозаврами, то мир Виннегана точно так же, будучи в каком-то определенном смысле абсолютно современным, в чем-то архаичен. Он бесконечно чист и непорочен, но свет, заливающий его, омрачен каким-то непостижимым недобрым черным пятном, — в Пеллюсидаре ему соответствует вечно висящая на одном месте крохотная луна, которая отбрасывает леденящие душу неподвижные тени.

— Да, я имел в виду Пеллюсидар Берроуза, — говорит он. — Но латинское слово «пеллюсид» означает «в высшей степени прозрачный и пропускающий свет, не рассеивая и не преломляя его». В картинах Виннегана все обстоит как раз наоборот. Однако за их изломанным и искривленным светом внимательный зритель может разглядеть некое первичное свечение, ровное и светлое. Это оно объединяет между собой все изломы и многочисленные уровни, это его я имел в виду, когда говорил о «человеке, подключенном к сети», и о медведе на полюсе. Вглядевшись внимательно, зритель может обнаружить его и ощутить, так сказать, фотонное дыхание мира Виннегана.

Рескинзон близок к обмороку. Лускус, с его улыбкой и черным моноклем, выглядит словно пират, который только что захватил испанский галеон, груженный золотом.

Дед, все еще стоя у перископа, говорит:

— А вон Марьям-бинт-Юсуф, та женщина из египетской глуши, о которой ты мне говорил. Твой Сатурн — далека, царственна, холодна, и над головой у нее висит в воздухе такая вертящаяся разноцветная шляпка, последний крик моды. Кольцо Сатурна? Или нимб?

— Она красавица. Из нее вышла бы замечательная мать для моих детей, — говорит Чиб.

— Прекрасная арабка? У твоего Сатурна две луны — мать и тетка. Дуэньи. Ты говоришь, из нее вышла бы замечательная мать? А жена? Ума у нее хватит?

— Она так же умна, как и Бенедиктина.

— Значит, дура. Умеешь же ты их выбирать. Откуда ты знаешь, что влюблен в нее? За последние шесть месяцев ты был влюблен в два десятка женщин.

— Я люблю ее, вот и все.

— Пока не появится следующая. Ты вообще способен любить что-нибудь, кроме своих картин? Бенедиктина собирается сделать аборт, верно?

— Если только я не сумею ее отговорить, — отвечает Чиб. — Сказать по правде, она мне больше даже не нравится. Но она носит моего ребенка.

— Дай-ка мне взглянуть на твои чресла. Нет, ты все-таки мужчина. А я на минуту усомнился — уж очень тебе хочется иметь ребенка.

— Ребенок — это чудо, способное потрясти секстиллионы неверных.

— Да, это тебе не крыса. Но разве ты не знаешь, что Дядя Сэм из кожи вон лезет, пропагандируя сокращение рождаемости? Где ты был все это время?

— Мне пора идти, Дед.

Чиб целует старика и возвращается к себе в комнату заканчивать картину. Дверь все еще не желает его узнавать, и он звонит в государственную ремонтную мастерскую, но ему отвечают, что все мастера — на Фестивале народного искусства. Он в ярости выбегает из дома. Повсюду флаги и воздушные шары, которые треплет устроенный по такому случаю искусственный ветер, а у озера играет оркестр.

Дед смотрит в перископ, как он удаляется.

— Бедный! Жаль мне его. Хочет ребенка и страдает, потому что бедная Бенедиктина собирается выкинуть его дитя. Страдает отчасти из-за того, что, сам того не зная, отождествляет себя с этим обреченным ребенком. У его матери было бесчисленное множество аборт — ну, во всяком случае, немало. Не будь на то воля Божья, он мог бы оказаться одним из них — еще одним небытием. Он хочет, чтобы этот ребенок имел хоть какой-то шанс. Но он ничего не может поделать. Ничего.

И еще одно терзает его, как и почти каждого из нас, — продолжает Дед. — Он знает, что загубил свою жизнь, или что-то ее загубило. Это знает про себя каждый мыслящий человек, подсознательно это ощущают даже самодовольные и слабоумные. А маленький ребенок — прелестное существо, чистый лист бумаги, еще не сформировавшийся ангелочек, — вселяет новые надежды. Может быть, его жизнь не будет загублена. Может быть, он вырастет и станет здоровым, уверенным в себе, разумным, веселым, добрым, любящим мужчиной. Или женщиной. «Он будет не таким, как я или как мой сосед», — клянется гордый родитель наперекор одолевающим его дурным предчувствиям.

Чиб думает об этом и клянется, что его ребенок будет не таким, — продолжает Дед. — Но он, как и все остальные, обманывает сам себя. У ребенка один отец и одна мать, но триллионы теток и дядей. Не только тех, кто еще жив, но и умерших. Даже если бы Чиб скрылся в глуши и растил ребенка сам, он привил бы ему собственные подсознательные предрассудки. Ребенок вырос бы с такими мыслями и убеждениями, в которых его отец даже не отдает себе отчета. Больше того, воспитанный в одиночестве, он стал бы весьма необычным человеком. А если Чиб вырастит ребенка в этом обществе, тот неизбежно усвоит по меньшей мере часть предрассудков своих сверстников, учителей и так далее до тошноты.

Поэтому, — говорит Дед, — не мечтай сделать из своего замечательного, наделенного невероятными способностями ребенка нового Адама. Если он и вырастет хотя бы наполовину нормальным, то только потому, что ты отдашь ему свою любовь и по-

печение, он случайно окажется в хорошем окружении и получит от рождения нужный набор генов.

«ЧТО ОДНОМУ КОШМАР, ДРУГОМУ СЛАДОСТРАСТНЫЙ СОН», —

говорит Дед.

— Я тут на днях беседовал с Данте Алигьери, и он рассказывал мне, каким адом тупости, жестокости, извращенности, неверия и прямого риска для жизни был шестнадцатый век. Про девятнадцатый он даже не мог членораздельно высказаться — никак ему не удавалось подобрать подходящие ругательства. А когда речь зашла о нашем времени, у него так подскочило давление, что мне пришлось дать ему таблетку транквилизатора и отправить его обратно в машине времени в сопровождении медсестры. Она была очень похожа на Беатриче и поэтому могла оказаться тем самым лекарством, какое ему больше всего нужно.

Дед усмехается, вспоминая, как Чиб в детстве с полной серьезностью выслушивал его рассказы о машине времени и о посещениях таких знаменитостей, как Навуходоносор, царь травоядных; Самсон, любитель загадок и гроза филистимлян; Моисей, который похитил бога у своего тестя и всю жизнь боролся против обрезания; Будда, первый в мире битник; Сизиф, взявший кратковременный отпуск, на время которого под его камень перестала течь вода; Андрокл и его друг — Трусливый Лев из Страны Оз; барон фон Рихтгофен, Красный Рыцарь Германии; а также Беовульф, Аль-Капоне, Гайавата, Иван Грозный и сотни других.

Настало время, когда Дед забеспокоился и решил, что Чиб начинает путать фантазии с реальностью. Ему очень не хотелось говорить мальчику, что все свои удивительные рассказы он выдумывал, главным образом, ради того, чтобы обучить его истории. Это то же самое, что сказать ребенку, будто никакого Санта-Клауса нет.

И тут, неохотно сообщив эту новость внуку, он заметил, что тот с трудом сдерживает улыбку, и понял, что пришла его очередь оказаться в дураках. Чиб либо с самого начала ничему не верил, либо воспринял это совершенно спокойно. Они посмеялись вволю, и Дед продолжал рассказывать истории про своих гостей.

— Никаких машин времени не бывает, — говорит он. — Хочешь ты этого или нет, Чибби, придется тебе жить в этом нашем мире.

Машины есть только на производственных уровнях, они работают в тишине, которую нарушает лишь болтовня немногих

надсмотрщиков, — говорит он. — Огромные трубы, уходящие в глубины моря, всасывают воду и донный ил. Все это автоматически перекачивается на десять производственных уровней Лос-Анджелеса. Там неорганические вещества превращаются в энергию, а потом — в пищу, питье, лекарства и всевозможные изделия. За стенами города почти не ведется ни земледелие, ни животноводство, однако люди живут в сверхизобилии. Да, все это искусственное, но в точности копирует органическое вещество, так что какая разница?

Больше никто не умирает от голода и не испытывает ни в чем нужды, — говорит он, — если не считать бродящих по лесам самоизгнанников. Пищу и товары свозят в ПАНДОРы и раздают получателям королевского жалованья. Королевское жалованье — это изобретенный на Мэдисон-авеню* эвфемизм, вызывающий ассоциации с царственной роскошью и божественным правом. Каждый получает его только за то, что родился на свет.

Другие эпохи сочли бы наше время горячечным бредом, — говорит Дед. — Но у него есть перед ними и некоторые преимущества. Чтобы преодолеть тягу к перемене мест и чувство оторванности от своих корней, мегаполис разделен на небольшие общины. Человек может прожить всю жизнь на одном месте, ему нет необходимости отправляться куда-то, чтобы получить все, что ему нужно. Это породило провинциализм, местный патриотизм и враждебность к чужакам. Отсюда — кровавые драки между бандами подростков из разных городов, буйные и злобные сплетни, ярая приверженность местным обычаям.

Но в то же время, — говорит Дед, — житель такого маленького городка имеет фидо, которое позволяет ему видеть все, что происходит в мире. Среди макулатуры и пропаганды, которые правительство считает полезными для народа, попадаетесь и немало превосходных программ. Каждый может не выходя из дома доучиться до уровня кандидата наук.

Наступило новое Возрождение, — говорит Дед, — расцвет искусств, сравнимый с Афинами времен Перикла, городами-государствами Италии времен Микеланджело или Англией времен Шекспира. Парадокс. Неграмотных больше, чем в любую другую эпоху истории человечества, но и грамотных больше. На классической латыни говорит столько людей, сколько не говорило при Цезаре. Обильно расцвел и плодоносит мир прекрасного.

* Улица в центре Нью-Йорка, символ американского рекламного бизнеса.

Чтобы ослабить провинциализм и заодно сделать еще менее вероятными войны между народами, — говорит Дед, — мы проводим политику всемирной гомогенизации. Добровольный обмен между народами. Заложники мира и братства. Тех граждан, кто не может прожить на одно королевское жалованье или кто считает, что им будет лучше где-то еще, щедрыми посулами побуждают эмигрировать.

Золотой Мир — в некоторых отношениях, — говорит Дед. — И кошмар — в других. Но что тут нового? Так было всегда, во всякое время. Нам пришлось что-то делать с перенаселением и автоматизацией. Как еще можно было решить проблему? Все та же история с буридановым ослом (хотя на самом деле это был не осел, а собака), что и в любую другую эпоху. С ослом, который умирает от голода из-за того, что никак не может решить, какую из одинаковых охапок корма съесть. А история — это *popis asinorum**, и люди — ослы на мосту времени. Нет, оба сравнения несправедливы и не подходят. Это вынужденный выбор, как с тем конюхом, который позволял выбирать только коня из ближайшего стойла. Дух времени скачет во весь опор, и пусть дьявол хватается отставшего.

Те, кто в середине двадцатого века сочинял Манифест Третьей Революции, — говорит Дед, — кое-что предсказали правильно. Но они не учли того, что сделает с обыкновенным человеком вынужденное безделье. Они думали, что все люди в равной степени способны развить у себя художественные наклонности, что все могут заниматься искусством, или ремеслами, или разнообразными хобби, или учебой ради учебы. Они не хотели видеть «недемократической» реальности — что в области искусств всего лишь десять процентов населения, да и то в лучшем случае, наделены способностями, которые позволяют им создать что-то сносное или хотя бы мало-мальски интересное. А ремесла, хобби и длящееся всю жизнь обучение через некоторое время теряют свою прелесть, и люди возвращаются к пьянству, фидо и прелюбодеянию.

Лишенные самоуважения отцы превращаются в бездельников, в кочевников, скитающихся по бескрайним степям секса, — говорит Дед. — Главной фигурой в семье становится Мать — с прописной буквы. Она тоже может погуливать на стороне, но заботится о детях и всегда под рукой. Поэтому, имея отца с маленькой буквы, который постоянно отсутствует, слаб или равнодушен, дети часто вырастают гомосексуалами или амбисексуалами. Страна Чудес, как оказалось, окрашена в голубые тона.

* «Ослиный мост» (лат.) — название, данное в средневековье одной из наиболее трудных теорем Евклида, понять доказательство которой, как считалось, под силу только самым способным.

Некоторые особенности нашего времени можно было предсказать, — говорит Дед. — Сексуальную вседозволенность, например, хотя никто не мог предвидеть, до какой степени она дойдет. Но никто не смог предугадать появление секты панаморитов, хотя Америка всегда порождала на свет не меньше полоумных культов, чем лягушка — головастики. Вчерашний маньяк — завтрашний мессия, поэтому Шелти и его ученики выжили, несмотря на многолетние преследования, и сегодня их заповеди глубоко укоренились в нашей культуре.

Дед снова наводит на Чибя перекрестие своего перископа.

— Вот он идет, мой прекрасный внук, неся грекам свои дары, — говорит Дед. — Пока еще этому Гераклу не удалось пропустить авгиевы конюшни собственной души. Но, может быть, что-то и выйдет из этого бродяги-Аполлона, из этого злополучного Эдипа. Ему повезло больше, чем большинству его современников. У него был постоянный отец, пусть даже тайный, — сумасбродный старик, скрывающийся от так называемого правосудия. Вот в этой звездной комнате он получил и любовь, и попечение, и прекрасное образование. И еще в одном ему повезло: у него есть призвание.

Но Мать слишком много тратит, — говорит Дед, — и привержена к азартным играм — этот порок лишает ее немалой части гарантированного дохода. Я же считаю умершим и поэтому королевского жалованья не получаю. Чибу приходится расплачиваться за все это, продавая свои картины. Лускус помог ему прославиться, но Лускус в любой момент может обратиться против него. А денег, которые он получает за картины, все равно не хватает. В конце концов, наша экономика держится не на деньгах, они всего лишь вспомогательное средство. Чибу нужен этот грант, но он его не получит, если не отдастся Лускусу.

Не то чтобы Чиб совсем отвергал гомосексуальные отношения, — продолжает Дед. — Как и большинство его современников, он амбисексуален. Я думаю, время от времени он все еще развлекается с Омаром Руником. А почему бы нет? Они любят друг друга. Но Лускуса Чиб отвергает из принципа. Он не хочет стать потаскухой ради своей карьеры. Кроме того, Чиб разделяет убеждение, глубоко укоренившееся в нашем обществе. Он считает, что добровольная гомосексуальность естественна (что бы это ни означало), но вынужденная гомосексуальность ненормальна. Правильно такое убеждение или нет, но оно существует. Поэтому вполне возможно, что Чибу придется отправиться в Египет. И что тогда станет со мной?

Не думай ни обо мне, ни о Матери, Чиб, — говорит Дед. — Что бы ни случилось. Не отдавайся Лускусу. Вспомни послед-

ние слова Синглтона — директора Бюро переселения и реабилитации, который застрелился, потому что не смог приспособиться к новым временам: «Что, если человек обретет весь мир, но лишится права на собственную задницу?»

В этот момент Дед видит, что его внук, который понуро брел по улице, неожиданно распрямляет плечи. Он видит, что Чиб пускается в пляс, выделявая импровизированные па и пируэты. По всему видно, что Чиб издает радостные возгласы. Прохожие улыбаются ему.

Дед что-то ворчит, а потом разражается смехом.

— Бог мой! Эта козлиная энергия молодости, эти непредсказуемые переходы от черной печали к ярко-оранжевой радости! Пляши, Чиб, пляши напропалую! Будь счастлив, пусть даже на краткий миг! Ты еще молод, в тебе еще бурлят неукротимые надежды! Пляши, Чиб, пляши!

Продолжая смеяться, он смахивает слезу.

«СЕКСУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АТАКИ ЛЕГКОЙ БРИГАДЫ*» —

такая захватывающая книга, что доктору Есперсену Джойсу Батименсу, психолингвисту Федерального бюро групповой реконфигурации, не хочется от нее отрываться. Но долг зовет. Он берет диктофон и начинает диктовать.

— Редиска не всегда бывает красной. Молодые Редиски называли так свою группу еще и потому, что «редиска» по-латыни — *radix*, и отсюда же происходит слово «радикал». Кроме того, тут есть еще намек на глубину корней. И, несомненно, обыгрывается значение этого слова в жаргоне божественных кругов, где оно означает противного, упрямого и сварливого человека.

Тем не менее Молодые Редиски не принадлежат к тому, что я называю левыми силами: они выражают существующее недовольство жизнью вообще, не выступая ни за какую радикальную перестройку. Они, словно обезьяны на дереве, швыряются грязью в мир, каков он есть, но не выдвигают конструктивных предложений. Они хотят разрушать, не задумываясь о том, что делать после того, как все будет разрушено.

Короче говоря, они служат рупором брюзжащего и ворчащего среднего гражданина, отличаясь от него только большей членораздельностью. В Лос-Анджелесе тысячи подобных людей, а во

* Имеется в виду эпизод первой обороны Севастополя, когда во время боя под Балаклавой 13 октября 1854 г. английская кавалерийская бригада Кардигана, состоявшая из отборных людей на кровных конях, под перекрестным артиллерийским и ружейным огнем выбила русские войска с позиций, но вынуждена была отступить и потеряла почти половину людей. Эта атака считается одной из самых блестящих страниц в истории британской армии.

всем мире — вероятно, миллионы. У них было вполне нормальное детство. Больше того, они родились и выросли в одной и той же грозди, что стало одной из причин, почему они стали предметом настоящего исследования. Что было причиной появления этих десяти творческих личностей, родившихся в семи соседних домах квартала 69-14 примерно в одно и то же время и практически воспитывавшихся вместе, поскольку всех их отправляли на игровую площадку в верхней части пьедестала, где кто-нибудь из матерей по очереди присматривал за ними, в то время как остальные занимались своими делами, благодаря чему... что я хотел сказать?

Ну да, благодаря чему они вели нормальную жизнь, ходили в одну и ту же школу, приятельствовали, занимались обычными сексуальными играми, вступали в банды подростков и участвовали в нескольких довольно кровопролитных сражениях с бандами из Вествуда и других мест. Все они отличались интенсивной интеллектуальной любознательностью и впоследствии все активно занялись творчеством.

Было высказано предположение, и, возможно, правильное, что отцом всех десятирех был тот таинственный незнакомец — Рэли Ренессанс. Это не исключено, но не может быть доказано. В то время Рэли Ренессанс жил у миссис Виннеган, но, по-видимому, проявлял необычно большую активность в пределах всей грозди и даже всей территории Беверли-Хиллз. Откуда появился этот человек, кто он был и куда отправился отсюда, до сих пор неизвестно, несмотря на тщательные поиски, принятые различными службами. У него не было ни удостоверения личности, ни какого-либо другого документа, однако на протяжении длительного времени его ни разу не задерживали. По-видимому, у него были какие-то компрометирующие материалы на начальника полиции Беверли-Хиллз, а также, возможно, на некоторых работавших там федеральных агентов.

Он прожил с миссис Виннеган два года, а потом исчез из виду. Ходят слухи, что он покинул Лос-Анджелес, чтобы вступить в племя белых неиндейцев, иногда называемых «индейцами-семеннолами».

Однако вернемся к Молодым Редискам. Они бунтуют против образа отца в лице Дяди Сэма, которого любят и ненавидят в одно и то же время. «Дядя», разумеется, подсознательно ассоциируется у них с кельтским словом «деде», означающим нечто неведомое, таинственное, роковое, и это свидетельствует о том, что их отцы были для них чужими. Все они росли в домах, где отец безвестно отсутствовал или занимал подчиненное место — явление, к сожалению, широко распространенное в нашей культуре. Я и сам никогда не видел своего отца... Нет, Туни, сотри, это

не имеет отношения к делу. «Деде» означает также какую-то новость или сообщение, указывая на то, что несчастные молодые люди нетерпеливо ожидали сообщения о возвращении своих отцов и, возможно, втайне надеялись на примирение с Дядей Сэмом, другими словами, со своими отцами.

Теперь про Дядю Сэма. Сэм — это сокращенное «Сэмюэл», от древнееврейского «Шмуэл», что означает «Имя Бога». Все Редиски — атеисты, хотя некоторые из них, особенно Омар Рунник и Чибиабос Виннеган, в детстве получили религиозное воспитание (в духе римско-католической церкви и панаморитизма соответственно).

Мятеж молодого Виннегана против Бога и католической церкви был, несомненно, обострен тем фактом, что он страдал КАТаром желудка. Возможно также, что он не любил учить КАТехизис, когда ему хотелось играть. А кроме того, был один глубоко значимый травмирующий случай, когда ему была назначена КАТетеризация. (Это детское нежелание выделять что бы то ни было наружу будет подробно проанализировано ниже.)

Итак, Дядя Сэм, образ отца. «Образ» — ассоциация настолько очевидная, что ее нет нужды пояснять. Фигура отца — здесь может быть связь с «фигой» в смысле «фигу тебе»: посмотрите «Ад» Данте, там какой-то итальянец говорит: «Фигу тебе, Бог!» — и кусает себе палец — древний жест, выражающий неуважение и отрицание. Кусание пальца, кусание ногтей — детская привычка?

«Сэм» — это также многозначный каламбур, основанный на фонетически, орфографически и полусемантически связанных словах. Существенно, что молодой Виннеган терпеть не может, когда его называют «дорогой»; по его словам, Мать так часто называла его «дорогой», что теперь его от этого тошнит. Однако это слово имеет для него и более глубокое значение. Например, есть «самбар» — азиатский олень, рога которого с тремя отростками стоят очень дорого. (Заметьте, здесь тоже присутствует «сам», то есть «Сэм».) Очевидно, эти три отростка символизируют для него Манифест Третьей Революции — историческую веху, положившую начало нынешней эпохе, которую Чиб, по его словам, так ненавидит. Кроме того, три отростка — это архетип Святой Троицы, против которой часто богохульствуют Молодые Редиски.

Я мог бы отметить, что этим данная группа отличается от других, которые мне доводилось изучать. Те позволяли себе лишь редкие и безобидные богохульства, что соответствует слабому и даже едва выраженному религиозному духу, характерному для нашего времени. Сильные выражения по адресу божества раздаются лишь тогда, когда сильна вера.

Кроме того, «Сэм» ассоциируется со словом «съем», что указывает на подсознательное желание Редисок наслаждаться благами жизни и на их стремление к конформизму.

Не исключено, хотя этот вывод и может оказаться ошибочным, что «Сэм» соответствует «самеху» — пятнадцатой букве древнееврейского алфавита («Сэм? Эх...»). В староанглийском правописании, которому Редисок учили в детстве, пятнадцатая буква латинского алфавита — «О». В сравнительной таблице алфавитов в моем 128-м издании «Нового словаря Уэбстера» латинское «О» стоит в той же строке, что и арабское «дад». А также древнееврейское «мем». Таким образом, здесь двойная связь — с исчезнувшим отцом или дедом и чрезмерно доминирующей Матерью (мамой).

Не могу ничего сказать о греческой букве «омикрон», которая стоит в той же строке; однако дайте время, в этом тоже надо разобраться.

Омикрон. Это же маленькое «о»! Строчная буква «омикрон» имеет форму яйца. Форму яйцеклетки, которую оплодотворил его отец? Форму матки? Форму главного элемента современной архитектуры?

«Сэм Браун» — так в армейском жаргоне когда-то называли офицерский ремень. Дядя Сэм в образе жестокого командира? Нет, Туни, лучше это вычеркни. Возможно, нынешняя ученая молодежь и встречала где-нибудь это устаревшее выражение, но не наверняка. Не хочу предлагать смысловые связи, которые могут показаться нелепыми и поставить меня в смешное положение.

Посмотрим еще. Сямисэн. Японский музыкальный инструмент с тремя струнами. Снова Манифест Третьей Революции и Святая Троица. Троица? Отец, Сын и Святой Дух. А Мать — глубоко презираемая фигура? Но, возможно, и нет. Сотри это, Туни.

Сямисэн. Сэмов сын? Что естественным образом приводит к Самсону, который обрушил на себя и на филистимлян их храм. Эти юноши поговаривают о том же самом. Ха-ха, да и я был таким же в их годы. Вычеркни последнюю фразу, Туни.

Самовар — русское слово, которое в буквальном переводе означает что-то, что варит само. Нет сомнения, что радикалы варятся в среде революционеров. Однако в самой глубине своей мятущейся души они понимают, что Дядя Сэм — их любящий Отец и в то же время Мать, что он думает только об их благе. Но они заставляют себя ненавидеть его и заваривать всяческую кашу.

Семга, или «СЭМга». Копченая семга — желтовато-розового или красноватого цвета, почти как редиска — во всяком слу-

чае, в их подсознании. Семга — то же самое, что Молодые Редиски: они не хотят, чтобы их коптили, они задыхаются в дымной атмосфере современного общества.

Неплохо завернуто, а, Туни? Распечатай это, исправь, где сказано, пригладь, как ты это умеешь, и перешли начальству. Мне надо идти. Боюсь опоздать на обед с Матерью; она бывает очень недовольна, когда я не являюсь вовремя.

Да! Постскрипtum. Рекомендую установить более тщательное наблюдение за Виннеганом. Его приятели выпускают пар своей души в разговорах и за выпивкой, а он внезапно изменил свой поведенческий стереотип. Подолгу молчит, бросил курить, пить и заниматься сексом.

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ

даже в наше время. Власти не имеют ничего против того, чтобы гражданин, заплативший за все лицензии, сдавший все экзамены, представивший все бумаги и подкупивший местных политиков, а также начальника полиции, владел частной таверной. Поскольку никаких специальных помещений под таверны не предусмотрено, а большие здания в аренду не сдаются, они располагаются прямо в жилищах их владельцев.

Любимое заведение Чибя — «Укромная Вселенная», отчасти потому, что оно подпольное. Дионис Гамбринус, не сумев прорваться через все заставы, частоколы, проволочные ограждения и волчьи ямы официальной процедуры, отказался от попыток получить лицензию.

Название его заведения открыто написано прямо поверх математических формул, которые когда-то украшали фасад дома (он был профессором математики в 14-м Университете Беверли-Хиллз по имени Аль-Хорезми Декарт Лобачевский, но, уволившись, снова поменял имя). Атриум и несколько спален переоборудованы и приспособлены для пьянства и веселья. Египтяне сюда не ходят — возможно, им не нравятся цветистые изречения, которыми посетители расписали стены комнат:

«Абу, я тебя!..»

«Магомет — сын непорочной суки».

«Нил загнил».

«Помни о Черном море!»

«Пророк — верблюдоложец».

У некоторых авторов этих надписей отцы, деды и прадеды сами были мишенью подобных оскорблений. Однако их потомки полностью ассимилировались и считают себя коренными жителями Беверли-Хиллз. Так уж устроен человек.

Гамбринус, приземистый человек почти кубической формы, стоит за стойкой. Она квадратная — в знак протеста против всего яйцевидного. Над ним крупная надпись:

«ЧТО ОДНОМУ МЕД — ТО ДРУГОМУ POISSON».

Гамбринус постоянно растолковывает смысл этого каламбура, не всегда доставляя этим удовольствие слушателям. Он объясняет, что «poisson» по-французски — яд, а кроме того, был такой математик Пуассон, и распределение Пуассона представляет собой хорошую аппроксимацию биномиального распределения при увеличении числа независимых событий, когда вероятность одиночного события мала.

Когда посетитель слишком пьян и больше отпускать ему выпивку нельзя, его вышвыривают кувырком из таверны под крики Гамбринуса: «Poisson! Poisson!»

Друзья Чиб, Молодые Редиски, сидящие за шестиугольным столом, радостно приветствуют его, и их слова звучат невольным эхом наблюдений федерального психолингвиста по поводу его поведения в последнее время.

— Эй ты, монах! Никак присматриваешь себе монашенку? Выбирай любую!

С ним здороваются мадам Трисмегиста, сидящая за маленьким столиком с крышкой в форме Соломоновой печати. Она жена Гамбринуса вот уже два года — рекордный срок, потому что она зарежет его, если он вздумает ее бросить. Кроме того, он верит, что она способна, прибегнув к помощи своих карт, каким-то образом повлиять на его судьбу. В этот век просвещения предсказатели и астрологи процветают. Наука движется вперед, а невежество и предрассудки галопом скачут по обе стороны, кусая ее за ляжки длинными черными зубами.

Сам Гамбринус, кандидат наук и носитель факела познания (во всяком случае, до последнего времени), в Бога не верит. Но он убежден, что звезды вот-вот расположатся так, что это будет предвещать ему большие неприятности. По какой-то странной логике он считает, что звездами управляют карты его жены; он не знает, что гадание на картах и астрология — совершенно разные вещи. Но чего можно ожидать от человека, который утверждает, что Вселенная асимметрична?

Чиб машет рукой мадам Трисмегисте и подходит к другому столику. За ним сидит

ТИПИЧНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ДЕВУШКА

по имени Бенедиктина Серинус Мельба. Она высока, стройна, у нее узкие, как у лемура, бедра и тонкие ноги, но большие

груди. Ее волосы, такие же черные, как и глаза, расчесаны на прямой пробор, приклеены ароматическим аэрозолем к черепу и заплетены в две длинные косы, перекинутые вперед и перехваченные на шее золотой брошкой в виде музыкальной ноты. Ниже брошки косы снова расходятся, обвивают обе груди и сходятся под ними, где их удерживает на месте другая брошка. Разойдясь, они уходят за спину, где соединены еще одной брошкой, и снова сходятся на животе. Здесь их опять соединяет брошка, и дальше волосы двумя черными водопадами льются по переду ее расклешенной юбки.

Лицо ее густо усеяно зелеными, аквамариновыми и топазовыми мушками в виде трилистников. На ней желтый бюстгалтер с изображенными на нем розовыми сосками, отороченный снизу бахромой из кружевных лент. Ярко-зеленый полукорсет с черными розочками стягивает ей талию. Он наполовину скрыт проволочным каркасом, обтянутым мерцающей розовой стеганой тканью. Каркас выступает назад, образуя не то фюзеляж, не то длинный птичий хвост, к которому прикреплены длинные желтые и малиновые искусственные перья.

Прозрачная развевающаяся юбка доходит до щиколоток. Сквозь нее видны кружевной пояс для подвязок в желтую и темно-зеленую полоску, белые ляжки и черные сетчатые чулки с зеленым узором в виде нот. Туфли у нее ярко-голубые на высоких каблуках цвета дымчатого топаза.

Бенедиктина одета для выступления — она должна петь на Фестивале народного искусства; не хватает только шляпки. Тем не менее она пришла сюда, чтобы пожаловаться, помимо всего прочего, на то, что Чиб заставил ее отменить выступление и тем самым лишил ее шансов сделать блестящую карьеру.

Она сидит с пятью девушками, всем им от шестнадцати до двадцати одного, все пьют «Г» (то есть «горлодер»).

— Мы не могли бы поговорить наедине, Бенни? — спрашивает Чиб.

— Это зачем? — Голос у нее — красивое контральто, но в нем звучит угроза.

— Ты вызвала меня сюда, чтобы устроить сцену на людях, — говорит Чиб.

— Господи, а что мне еще остается? — взвизгивает она. — Вы только посмотрите на него! Он хочет поговорить со мной наедине!

Только теперь он догадывается, что она боится остаться с ним наедине. Больше того, что она не может оставаться одна. Теперь он понимает, почему тогда она настояла на том, чтобы дверь спальни оставалась открытой, а ее подруга Бела была поблизости. И все слышала.

— Ты сказал, что будешь только пальцем! — кричит она и показывает на свой слегка округлившийся живот. — У меня теперь будет ребенок! И все ты, гнусный подонок, проклятый соблазнитель!

— Это неправда, — возражает Чиб. — Ты говорила мне, что можно, что ты меня любишь.

— Любишь, любишь! Почему я знаю, что я говорила, ты просто меня возбудил до невозможности! А чтобы тыкать куда тебе вздумается, я все равно не говорила! Никогда бы я этого не сказала, никогда! А что ты потом сделал? Что ты сделал? Господи, да я целую неделю еле ходила, мерзавец!

Чиб обливается потом. В комнате стоит тишина, только из фидо льются звуки «Пасторали» Бетховена. Его приятели ухмыляются. Гамбринус, повернувшись ко всем спиной, пьет виски. Мадам Трисмегиста тасует карты, пуская газы — ядовитую смесь пива с луком. Подруги Бенедиктины разглядывают свои светящиеся ногти, длинные, как у китайского мандарина, или же злобно смотрят на Чиб. Ее обида — это их обида, и наоборот.

— Я не могу принимать таблетки. От них у меня прыщи, и глаза слезятся, и месячные сбиваются! И ты это прекрасно знаешь! И всяких колпачков терпеть не могу! И потом ты мне все врал! Ты говорил, что принял таблетку!

Чиб видит, что она противоречит сама себе, но логика тут бесполезна. Она в ярости, потому что беременна; она не желает причинять себе неудобств, связанных с абортom, и жаждет мести.

«Но как же могла она забеременеть в ту ночь?» — думает Чиб. Это не удалось бы ни одной женщине. Ее, наверное, трахнули или до, или после. Но она клянется, что это случилось в ту ночь — тогда, когда он...

РЫЦАРЬ ПЛАМЕНЕЮЩЕГО СКИПЕТРА, ИЛИ ПЕНИСТЫЕ ВОЛНЫ

— Нет! Нет! — всхлипывает Бенедиктина.

— А почему нет? Я люблю тебя, — говорит Чиб. — Я хочу на тебе жениться.

Бенедиктина испускает вопль, и ее подруга Бела кричит из коридора:

— В чем дело? Что случилось?

Бенедиктина не отвечает. Охваченная яростью, вся дрожа, как в лихорадке, она выбирается из постели, оттолкнув Чиб, и бежит к маленькому яйцу-ванной в углу. Он идет за ней.

— Надеюсь, ты не собираешься сделать то, что я думаю... — говорит он.

Бенедиктина издает стон.

— Мерзавец ты, хитрый сукин сын!

В ванной она откидывает часть стены, которая превращается в полку. На полке, прилипнув к ней магнитными доньшками, стоит множество флакончиков. Она хватает длинный узкий флакон со сперматоцидом, приседает и вводит его в себя. Потом нажимает кнопку на доньшке, и из него с шипением, которое слышно даже из недр ее тела, начинает извергаться пена.

Чиб на мгновение застывает, а потом разражается яростным ревом.

— Уйди от меня, редиска! — кричит Бенедиктина.

Через дверь спальни доносится робкий голос Белы:

— С тобой все в порядке, Бенни?

— Я ей покажу «все в порядке»! — громовым голосом кричит Чиб.

Он кидается в ванную и хватается с полки банку с темпоксидным клеем. Им Бенедиктина приклеивает к голове парики — клей схватывается намертво, и размягчить его можно только специальным дефиксативом.

Бенедиктина и Бела вскрикивают в один голос. Чиб поднимает Бенедиктину на ноги и бросает ее на пол. Она сопротивляется, но ему удается обильно опрыскать клеем флакон со сперматоцидом, кожу и волосы вокруг.

— Что ты делаешь? — вопит она.

Он вдавливает кнопку на дне флакона до отказа и заливают ее клеем. Бенедиктина пытается вырваться, но он, прижав ее руки к туловищу, не дает ей перевернуться и вынуть из себя флакон. Он медленно считает до тридцати, потом еще раз до тридцати, чтобы клей наверняка схватился как следует. Потом он ее отпускает.

Пена хлещет из нее, стекая по ногам и растекаясь по полу. Жидкость в непробиваемом флаконе находится под колоссальным давлением, и пена, выливаясь из него, намного увеличивается в объеме.

Чиб берет с полки банку с дефиксативом и крепко сжимает в руке, твердо намеренный ее не отдавать. Бенедиктина вскакивает и замахивается на него. Хохоча, словно гиена, надышавшаяся закиси азота, Чиб уклоняется от удара и отталкивает ее. Поскользнувшись в пене, которая уже доходит до щиколоток, Бенедиктина падает и сидя выезжает из ванной задом, гремя флаконом по полу.

Она поднимается на ноги и только теперь начинает понимать, что сделал с ней Чиб. Она взвизгивает и принимается плясать по комнате, пытаясь вытащить флакон. Каждый безуспешный рывок причиняет ей боль, и вопли ее становятся все

пронзительнее. Потом она бросается прочь из комнаты — по крайней мере, пытается броситься, но скользит в пене. На пути ее оказывается Бела; вцепившись друг в друга, они словно на лыжах выезжают из комнаты, наполовину развернувшись в дверях. Пена клубится вокруг — как будто Венера со своей приятельницей поднимаются из пены морской у берегов Кипра.

Бенедиктина отталкивает Белу, потерпев некоторый ущерб от ее длинных острых ногтей. От толчка Бела скользит задом в дверь, к Чибу. Она пытается удержать равновесие, словно человек, впервые вставший на коньки. Это ей не удается, и она с воплем проносится мимо Чиба, лежа на спине и задрав ноги.

Чиб, осторожно скользя босыми ногами по полу, подходит к кровати и хватает свою одежду, но решает, что одеться лучше будет после того, как он уберется из комнаты. Он оказывается в идущем по кругу коридоре как раз вовремя, чтобы увидеть, как Бенедиктина ползет мимо одной из колонн, отделяющих коридор от атриума. Ее родители, два бегемота средних лет, все еще сидят на кушетке с банками пива в руках, выпучив глаза, разинув рот и дрожа.

Чиб, не прощаясь с ними, идет по коридору. Но тут его взгляд падает на фидо, и он видит, что ее родители переключились с «ВНЕШ.» на «ВНУТР.» и потом — на комнату Бенедиктины. Отец и Мать подсматривали за Чибом и дочерью, и по состоянию кое-каких еще не окончательно отмерших частей тела отца заметно, что его это зрелище изрядно возбудило — по внешнему фидо такого не увидишь.

— Подсматривали, мерзавцы! — ревет Чиб.

Бенедиктина уже добралась до них, поднялась на ноги и, плача и заикаясь, пытается что-то объяснить, тыча пальцем то во флакон, то в Чиба. Услышав крик Чиба, родители грузно встают с кушетки, словно два левиафана поднимаются из морских глубин. Бенедиктина кидается к нему, вытянув вперед руки со скрюченными пальцами, вооруженными острыми ногтями. Лицо ее страшно, как лик Медузы. Позади разъяренной ведьмы, отца и Матери в пенных волнах остается глубокий след.

Чиб натывается на колонну, отлетает назад и с громким плеском устремляется прочь. Хотя при этом его и разворачивает боком, ему удается сохранить равновесие. А Мать и отец одновременно валятся на пол, так что весь дом сотрясается, несмотря на прочность своей конструкции. Потом они поднимаются на ноги, вращая глазами и ревя, словно пара выходящих на берег гиппопотамов. Они бросаются на него, но их относит в разные стороны. Мать пронзительно кричит; несмотря на жир, она похожа на Бенедиктину. Отец огибает колонну с одной

стороны, Мать с другой. Бенедиктина выскакивает из-за другой колонны, ухватившись за нее рукой, чтобы не поскользнуться, и оказывается между Чибом и наружной дверью.

Чиб врзается в стену коридора в таком месте, где нет пены. Бенедиктина бежит к нему. Он ныряет вниз и, больно ударившись об пол, между двух колонн выкатывается в атриум.

Мать и отец сталкиваются на встречных курсах. «Титаник» врзается в айсберг, и оба быстро идут ко дну. Лежа ничком, они скользят по направлению к Бенедиктине. Та подпрыгивает в воздух, осыпав их клочьями пены, и они проносятся под ней.

К этому времени уже совершенно очевидно, насколько правдиво утверждение на этикетке, что одного флакона хватает на 40 000 доз сперматоцида, то есть на 40 000 совокуплений. Пена по всему дому стоит по щиколотку, а кое-где и по колено, и продолжает изливаться.

Бела лежит на спине на полу атриума, уткнувшись головой в мягкие складки кушетки.

Чиб медленно встает на ноги и несколько секунд стоит, озираясь и подогнув колени, готовый увернуться от нападения, но надеясь, что этого делать не придется, потому что он неминуемо поскользнется.

— Стой, проклятый сукин сын! — ревет отец. — Я тебя убью! Как ты смел сделать такое с моей дочерью!

Чиб смотрит, как он переворачивается на живот, словно кит в бурном море, и пытается встать на ноги, но снова падает, хрюкнув, как от удара гарпуна. Матери подняться тоже не удается.

Видя, что путь свободен — Бенедиктина куда-то исчезла, — Чиб скользит через атриум к свободному от пены клочку пола у самого выхода. Перекинув через руку одежду и все еще держа банку с дефиксативом, он шагает к двери.

В этот момент Бенедиктина окликает его. Он оборачивается и видит, что она скользит из кухни по направлению к нему. В руке у нее высокий стакан. Он не может понять, что она собирается сделать. Уж во всяком случае, не проявить радушие, предложив ему выпить.

Она выскакивает на сухое пространство у двери и с воплем падает. Тем не менее она ухитряется выплеснуть содержимое стакана точно в цель.

Чиб вскрикивает, почувствовав прикосновение кипятка — боль такая, словно ему сделали обрезание без наркоза.

Бенедиктина, лежа на полу, разражается хохотом. Чиб с воплями скачет по комнате, бросив банку и одежду и схватившись за ошпаренное место, но потом берет себя в руки. Прекратив

свои причудливые прыжки, он хватается Бенедиктину за правую руку и вытаскивает ее из дома. В этот вечер на улицах людно, и все прохожие устремляются вслед за парочкой. Чиб не останавливается до самого озера, где входит в воду, чтобы остудить обожженные места. Бенедиктину он по-прежнему тащит за собой.

Толпе есть о чем посудачить даже после того, как Бенедиктина и Чиб выбираются из озера и разбегаются по домам. Зеваки еще долго со смехом обмениваются впечатлениями, глядя, как люди из санитарного департамента собирают пену с поверхности озера и с мостовой.

— Мне было так больно, что я целый месяц не могла ходить! — пронзительно кричит Бенедиктина.

— Так тебе и надо, — говорит Чиб. — И нечего жаловаться. Ты сказала, что хочешь от меня ребенка, и говорила вполне серьезно.

— Я, наверное, просто спятила! — кричит Бенедиктина. — Да нет, никогда я ничего подобного не говорила! Ты мне солгал! Ты меня заставил!

— Я никого не стал бы заставлять, — говорит Чиб. — И ты это знаешь. Перестань скандалить. Ты свободный человек и свободно дала согласие. У всякого человека есть свобода воли.

Поэт Омар Руник встает со стула. Это высокий, худой юноша с бронзово-красной кожей, орлиным носом и очень толстыми красными губами. Его длинные курчавые волосы уложены в прическу, изображающую «Пекод» — легендарное судно, на котором капитан Ахав со своей безумной командой и единственным оставшимся в живых Измаилом гнались за Белым Китом. Там есть и бушприт, и корпус, и три мачты, и реи, и даже лодка, висящая на шлюпбалках.

Омар Руник хлопает в ладоши и кричит:

— Bravo! Ты настоящий философ! Есть свобода воли — свобода стремиться к Вечным Истинам, если только они существуют, или же к Гибели и Проклятью! Я пью за свободу воли! Выпьем, джентльмены! Встаньте, Молодые Редиски, пьем за нашего вождя!

И так начинается

БЕЗУМНОЕ «Г»-ПИТИЕ.

— Давай я тебе погадаю, Чиб! — зовет мадам Трисмегиста. — Посмотрим, что скажут звезды через мои карты.

Он присаживается за ее столик, приятели толпятся вокруг.

— Хорошо, мадам. Как я выпутаюсь из этой истории?

Перетасовав карты, она открывает верхнюю.

— О Иисусе! Туз пик!

— Тебе предстоит дальняя дорога.

— В Египет! — выкрикивает Руссо Красный Ястреб. — Да нет же, ты ведь не хочешь туда ехать, Чиб! Отправляйся со мной туда, где пасутся буйволы, и...

Открывается еще одна карта.

— Скоро ты встретишь прекрасную темнокожую даму.

— Какую-нибудь чертову арабку! Нет, Чиб, скажи, что это неправда!

— Скоро ты добьешься великих почестей.

— Чиб получит грант!

— Если я получу грант, мне не надо будет ехать в Египет, — говорит Чиб. — Мадам Трисмегиста, при всем моем уважении к вам вашим предсказаниям грош цена.

— Не смейся, юноша. Я тебе не компьютер. Я настроена на душевные вибрации.

Шлеп — открывается еще одна карта.

— Ты будешь в большой опасности — и физической, и моральной.

— Ну, это со мной происходит по меньшей мере раз в день, — говорит Чиб.

Шлеп.

— Какой-то очень близкий тебе человек умрет дважды.

Чиб бледнеет, но, овладев собой, говорит:

— Трус умирает тысячу раз.

— Тебя ждет путешествие во времени и возвращение в прошлое.

— Ого! — вставляет Красный Ястреб. — Мадам, вы превосходите самое себя! Осторожнее, не перетрудитесь, а то заработаете душевную грыжу — придется вам носить бандаж из эктоплазмы!

— Смейтесь, смейтесь, дурачки, — отвечает мадам. — Существует не один только этот мир. Карты не обманывают, по крайней мере когда их сдаю я.

— Гамбринус! — кричит Чиб. — Еще кувшин пива для мадам!

Молодые Редиски возвращаются к своему столику — диску без ножек, который держится на весу благодаря гравитонному полю. Бенедиктина, бросая на них злобные взгляды, шушукается с остальными девушками. За столиком неподалеку сидит Пинкертон Легран, правительственный агент. Он сидит к ним лицом, чтобы фидокамера, спрятанная под его односторонне прозрачным пиджаком, была направлена прямо на них. Они про это знают. Он знает, что они знают, и докладывал об этом

своему начальству. Увидев, что входит Фалько Акциптер, он хмурится. Легран не любит, когда в его дела впутываются агенты из других служб. Акциптер даже не смотрит на Леграна. Он заказывает чай и делает вид, что бросает в чайник таблетку, которая, соединившись с дубильной кислотой, превращается в «Г».

Руссо Красный Ястреб, подмигнув Чибу, говорит:

— Ты в самом деле думаешь, что это возможно? Парализовать весь Лос-Анджелес одной-единственной бомбой?

— Тремя бомбами! — громко отвечает Чиб, чтобы фидокамере Леграна было слышно. — Одну — под пульт управления опреснителя, другую — под резервный пульт, а третью — под большую трубу, по которой вода поднимается в резервуар на 20-м уровне.

Пинкертон Легран бледнеет. Он залпом допивает виски, оставшееся в рюмке, и заказывает еще, хотя и так уже выпил лишнего. Нажав кнопку на своей фидокамере, он подает сигнал тревоги первой степени. В штаб-квартире загораются красные лампочки, гулко звучат удары в гонг, и шеф просыпается так внезапно, что падает со стула.

Акциптер тоже слышал Чиба, но сидит неподвижно, в мрачной задумчивости, словно диоритовая фигура фараонова сокола. Весь во власти одной-единственной мысли, он не даст себя отвлечь разговорами о затоплении всего Лос-Анджелеса, даже если они перейдут в действия. Выслеживая Деда, он появился здесь потому, что надеется, используя Чиба, проникнуть в дом. Одна «крыса» — так он мысленно называет своих преступников — обязательно побежит к норке другой «крысы».

— Как ты думаешь, когда мы сможем приступить к делу? — спрашивает Хьюга Уэллс-Эрб Хайнстербери, писательница — научная фантастка.

— Примерно через три недели, — отвечает Чиб.

В штаб-квартире шеф ругательно ругает Леграна, который зря его побеспокоил. Тысячи молодых мужчин и женщин выпускают пар, разглагольствуя о разрушении, убийствах и мятежах. Он не понимает, почему эти сопляки занимаются такими разговорами, — ведь они получают задаром все, что им только угодно. Будь его воля, он засадил бы их за решетку и врезал бы им слегка или чуть посильнее.

— А после того как мы это сделаем, придется удирать на волю, — говорит Красный Ястреб, сверкая глазами. — Поверьте, ребята, быть вольным человеком в лесу — ничего нет лучше. Чувствуешь себя настоящей личностью, а не просто безликой скотиной в стаде.

Красный Ястреб верит в заговор с целью уничтожения Лос-Анджелеса. Он счастлив, потому что, хоть он этого никому и не говорил, на лоне Матери-Природы ему не хватало интеллектуального общения. Другие дикари могут за сотню ярдов услышать шаги оленя или разглядеть в кустах гремучую змею, но они глухи к поступи философской мысли, к ржанию Ницше, к погремужкам Рассела, к курлыканью Гегеля.

— Безграмотные скоты! — говорит он вслух.

— Что ты сказал? — переспрашивают остальные.

— Ничего. Послушайте, ребята, вы же должны знать, как это замечательно. Вы ведь служили в Корпусе.

— У меня был белый билет, — говорит Омар Руник. — Сенная лихорадка.

— А я писал второй диплом, — говорит Гиббон Тактикус.

— Я проходил службу в оркестре Корпуса, — говорит Сибе-лиус Амадей Иегуди. — Мы выезжали на природу только тогда, когда выступали в лагерях, а это случалось не так уж часто.

— Чиб, ты служил в Корпусе. Тебе же нравилось, верно?

Чиб кивает, но добавляет:

— У неондейца все время уходит только на то, чтобы выжить. Когда я смогу писать картины? И кто их увидит, если у меня на них будет оставаться время? И потом такая жизнь — не для женщины или ребенка.

Красный Ястреб с обиженным видом заказывает виски с «Г».

Пинкертон не хочет прерывать наблюдение, но у него давно уже переполнен мочевой пузырь, он не выдерживает и направляется к комнате, которая служит туалетом для посетителей. Красный Ястреб, расстроенный тем, что его никто не понимает, вытягивает ногу и ставит ему подножку. Легран спотыкается, ухитряется остаться на ногах и, покачнувшись, делает следующий шаг. Тогда ему ставит подножку Бенедиктина. Легран падает ничком. Ему уже не нужно идти в туалет — разве что для того, чтобы отмыться.

Все, кроме Леграна и Акципитера, разражаются смехом. Легран вскакивает, стиснув кулаки. Бенедиктина, не обращая на него внимания, подходит к Чибу, подруги за ней. Чиб весь напрыгается. Она говорит:

— Ты мерзкий извращенец! Ты же говорил, что будешь только пальцем!

— Повторяешься, — отвечает Чиб. — Важнее другое — что будет с ребенком?

— А что тебе до него? — говорит Бенедиктина. — Откуда ты знаешь, может быть, он даже и не от тебя!

— Это было бы большое облегчение, — отвечает Чиб. — Но все равно надо считаться и с ним. Вдруг он хочет жить — даже с такой матерью, как ты.

— Зачем ему эта несчастная жизнь? — в слезах говорит она. — Я окажу ему любезность — пойду в больницу и избавлюсь от него. Из-за тебя я упущу свой главный шанс на Фестивале народного искусства! Там будут агенты отовсюду, а я не смогу при них спеть!

— Врешь, — говорит Чиб. — Ты же вырядилась для выступления.

Лицо у Бенедиктины покраснелось, глаза широко открыты; ноздри расширены.

— Ты мне все удовольствие испортил! Эй, вы все, хотите услышать кое-что интересное? — кричит она. — Вот этот великий художник, воплощение мужественности, божественный Чиб — да у него даже не встает, пока не возьмешь его в рот!

Приятели Чиб переглядываются. Что это она так разоралась? Подумаешь, как будто что-то новенькое сообщила!

«Некоторые особенности религии панаморитов, вызывавшие такое отвращение и осуждение в XXI веке, в наше время стали фактами повседневной жизни. Любовь, любовь, любовь — и физическая, и духовная! Теперь нам мало всего лишь целовать и обнимать своих детей. Однако оральная стимуляция половых органов ребенка родителями и родственниками привела к возникновению некоторых любопытных условных рефлексов. Об этом аспекте жизни середины XXII века я мог бы написать целую книгу и, возможно, еще напишу».

Из «Конфиденциальных семьяизвержений» Деда

Легран выходит из туалета. Бенедиктина отвечает Чибу пощечину. Чиб дает сдачи. Гамбринус откидывает прилавок и кидается к ним с криком:

— Poisson! Poisson!

Он сталкивается с Леграном, тот отшатывается и налетает на Белу, которая вскрикивает, разворачивается и бьет Леграна по физиономии. Он отвечает тем же. Бенедиктина выплескивает в лицо Чибу стакан «Г». Тот с воплем вскакивает и замахивается на нее кулаком. Бенедиктина ныряет вниз, и удар поперек ее плеча попадает в грудь одной из подруг.

Красный Ястреб вскакивает на столик и кричит:

— Я настоящий медвежий кот, наполовину аллигатор, а наполовину...

Столик, удерживаемый на весу гравитонным полем, не может выдержать такой тяжести. Он накреняется и сбрасывает его на девушек. Все валятся на пол. Девушки кусают и царапают Красного Ястреба, а Бенедиктина защемляет его яйца. Он издает вопль, изворачивается и ногами отшвыривает Бенедиктину, которая падает на столик. Тот уже принял было свое нормальное положение в воздухе, но теперь снова накреняется и сбрасывает ее по другую сторону. Она сбивает с ног Леграна, который пробирается сквозь толпу к выходу. Он ударяется лицом о чье-то колено и теряет несколько верхних зубов. Выплевывая кровь и осколки, он вскакивает на ноги и отпускает оплеуху какому-то постороннему зрителю.

Гамбринус нажимает на спуск пистолета, и из ствола вылетает крохотный яркий огонек. Это делается для того, чтобы ненадолго ослепить дерущихся и дать им время опомниться, пока к ним не вернется зрение. Огонек висит в воздухе и светится, словно

БЕДЛАМСКАЯ ЗВЕЗДА.

Начальник полиции разговаривает по фидо с человеком, стоящим в уличной будке. Человек отключил видео и говорит измененным голосом.

— В «Укромной Вселенной» драка, все лупят друг друга почему зря.

Начальник полиции что-то недовольно ворчит. Фестиваль только еще начался, а Они уже взялись за свое.

— Спасибо. Ребята сейчас прибудут. Как ваша фамилия? Я хотел сначала бы представить вас к медали «За гражданскую доблесть».

— Еще чего! Чтобы мне потом морду набили? Я не стукач, я только выполняю свой долг. И потом я не люблю Гамбринуса и его публику. Выскочки они все.

Начальник отдает приказ отряду по борьбе с беспорядками, откидывается на спинку стула и прихлебывает пиво, следя за ходом операции по фидо. И что за странные люди? Вечно они чем-то недовольны.

Раздается вой сирен. Хотя полиция передвигается на бесшумных электрических трициклах, она все еще хранит многовековую традицию — предупреждать преступников о своем прибытии. Пять трициклов тормозят у распахнутых дверей «Укромной Вселенной». Полицейские спешиваются и начинают совещаться. На них двухэтажные цилиндрические шлемы, черные в красную крапинку. Почему-то все они в автомобильных очках, хотя их трициклы развивают скорость не больше 25 километров в

час. Куртки у них черные и пушистые, как шкура у плюшевого медведя, плечи украшены огромными золотыми эполетами. Шорты — цвета электрик и тоже пушистые, высокие сапоги — черные и начищены до блеска. Они вооружены электрошоковыми дубинками и пистолетами, которые стреляют зарядами удушливого газа.

Гамбринус загораживает вход. Сержант О'Хара говорит:

— Ну-ка, впустите нас. Нет, ордера у меня нет. Но я его получу.

— Только попробуйте войти — я подам на вас в суд, — говорит Гамбринус улыбаясь. Хотя лабиринты бюрократии действительно так сложны и запутанны, что он бросил всякие попытки получить разрешение на легальное открытие таверны, тем не менее в этом случае власти будут на его стороне. Вторжение в частное владение — тяжкое обвинение, которое полиции будет не так легко отвести.

О'Хара заглядывает в дверь и видит два тела, распростертых на полу, нескольких человек, которые держатся за головы и утирают кровь, и Акципитера, который сидит, словно стервятник, мечтающий о падали. Один из лежащих встает на четвереньки и выползает между ног Гамбринуса на улицу.

— Сержант, арестуйте этого человека! — говорит Гамбринус. — При нем нелегальная фидокамера. Я обвиняю его в незаконном вторжении в частное владение.

На лице О'Хары вспыхивает радость. По крайней мере хоть один задержанный будет. Леграна сажают в полицейский фургон, который прибывает сразу вслед за машиной «скорой помощи». Приятели подтаскивают к двери Красного Ястреба. Когда его уносят на носилках в машину, он приоткрывает глаза и что-то бормочет. О'Хара наклоняется к нему:

— Что?

— Я ходил на медведя с одним ножом, а досталось мне тогда меньше, чем от этих сучек. Обвиняю их в нападении, избиении, нанесении телесных повреждений и покушении на убийство.

Попытка О'Хары заполучить его подпись на заявлении оказывается безуспешной, потому что Красный Ястреб лишается чувств. О'Хара чертыхается. Когда Красный Ястреб очнется, он не станет подписывать никаких заявлений. Если он не совсем спятил, он не захочет, чтобы девушки и их парни затаили на него зуб.

Легран кричит сквозь решетчатое окошечко фургона:

— Я правительственный агент! Вы не имеете права меня арестовывать!

Полицейские получают срочный вызов на площадь перед Центром народного искусства — там драка между местными подростками и чужаками из Вествуда грозит перейти в побоище. Из таверны выходит Бенедиктина. Несмотря на полученные несколько ударов по плечам и животу, хороший пинок в зад и увесистую пощечину, у нее не заметно никаких признаков выкидыша.

Чиб наполовину с грустью, наполовину с радостью смотрит ей вслед. Ему горько от того, что этому ребенку будет отказано в праве на жизнь. Теперь он понимает, что выступал против абортоточек отчасти потому, что отождествляет себя с эмбрионом; он знает то, что, по мнению Деда, ему неизвестно. Он понимает, что его появление на свет было случайностью — счастливой или несчастной. Если бы обстоятельства сложились иначе, он бы не родился. Мысль о небытии — ни живописи, ни друзей, ни смеха, ни надежды, ни любви — приводит его в ужас. Мать, постоянно пьяная и не думавшая о контрацепции, сделала множество абортоточек, и он мог оказаться одним из них.

Глядя, как Бенедиктина удаляется с величественным видом (несмотря на изорванную одежду), он не может понять, что вообще в ней нашел. Жить с ней, даже при наличии ребенка, было бы не таким уж большим удовольствием.

В устланное надеждой гнездо рта
Снова влетает любовь и садится,
Распускает перья, воркуя, слепит их светом,
А потом улетает прочь и при этом гадит,
Как всегда поступают птицы,
Чтобы сила отдачи помогла им взлететь.

Омар Руник

Чиб возвращается домой, но по-прежнему так и не может попасть в свою комнату. Он идет в кладовую. Картина на семь восьмых готова, но еще не закончена, потому что она ему не нравится. Он забирает ее и несет к Рунику, дом которого расположен в той же грозди. Сам Руник — в Центре, но он всегда, уходя, оставляет дверь открытой. У него есть все для живописи, и Чиб принимается заканчивать картину, работая куда старательнее и увереннее, чем тогда, когда начинал ее писать. Потом он выходит из дома Руника, неся огромное овальное полотно над головой.

Он шагает мимо пьедесталов, под их изогнутыми ветвями с яйцевидными жилищами на концах. Он обходит несколько маленьких, заросших травой парков, проходит под домами и через

десять минут уже приближается к сердцу Беверли-Хиллз. И здесь быстрый Чиб видит, что

В ПОЛУДЕННОМ СОЛНЦЕ ТРИ ДАМЫ

сидят в каноэ, медленно скользящем по озеру. Марьям-бинт-Юсуф, ее мать и тетка, рассеянно держа удочки, глядят на разноцветные флаги, оркестры и шумную толпу перед Центром народного искусства. Полицейские уже разогнали дравшихся подростков и теперь стоят повсюду, чтобы больше никто не вздумал ничего устроить.

Все три женщины одеты в темные, глухие платья фундаменталистской секты магометан-ваххабитов. Лица у них не закрыты: сейчас даже ваххабиты этого не требуют. На их братьях-египтянах, гуляющих по берегу, одежда современная — бесстыдная и греховная. Тем не менее дамы на них глазеют.

Их мужчины стоят на краю толпы. Заросшие бородами и наряженные наподобие шейхов в фидошоу «Иностранный легион», они бормочут гортанные проклятья и злобно шипят при виде того, как возмутительно здешние женщины выставляют напоказ свое тело. Тем не менее они на них глазеют.

Эта небольшая компания прибыла сюда из зоологических заповедников Абиссинии, где их задержали за браконьерство. Тамошние власти предложили им выбрать любое из трех наказаний. Или заключение в реабилитационном центре, где их будут держать до тех пор, пока они не исправятся, даже если на это уйдет вся их оставшаяся жизнь. Или эмиграцию в мегаполис Хайфа, в Израиле. Или эмиграцию в Беверли-Хиллз.

Что, жить среди проклятых израильских евреев? Они долго плевались и выбрали Беверли-Хиллз. Увы, Аллах посмеялся над ними! Теперь их окружают Финкелстайны, Эпплбаумы, Зигели, Вайнтраубы и прочие неверные потомки Исаака. Хуже того, в Беверли-Хиллз нет мечети. Они либо отправляются каждый день за сорок километров на 16-й уровень, где мечеть есть, либо совершают намаз в частных домах.

Чиб поспешно подходит к облицованной пластиком кромке озера, кладет на землю свою картину и низко кланяется, сорвав с головы несколько помятую шляпу. Марьям улыбается ему, но спутницы тут же делают ей замечание, и улыбка исчезает с ее лица.

— Ya kelb! Ya ibn kelb! — кричат на него обе.

Чиб усмехается, машет им шляпой и говорит:

— И я тоже очень рад, прекрасные дамы! Вы напоминаете мне трех граций!

Потом он выкрикивает:

— Я люблю тебя, Марьям! Я люблю тебя! Ты для меня — как роза Шарона! Прекрасная, волоокая, девственная! Оплот невинности и силы, ты полна жажды материнства и беспредельной преданности единственному по-настоящему любимому! Я люблю тебя, ты для меня луч света на черном небосводе с мертвыми звездами! Я взываю к тебе через бездну!

Марьям понимает всемирный английский, но ветер относит его голос в сторону. Она жеманно улыбается, и Чиб на мгновение испытывает чувство невольного отвращения, вспышку гнева, словно она в чем-то предала его. Но он преодолевает свои чувства и кричит:

— Я приглашаю тебя на выставку! Вы с матерью и тетей будете моими гостями. Ты увидишь мои картины, мою душу, и поймешь, что за человек собирается увезти тебя на своем Пегасе, голубка моя!

Нет ничего смешнее словесных излияний молодого влюбленного поэта. Сплошные нелепые преувеличения. Мне смешно. Но в то же время я тронут. Как бы я ни был стар, я помню свои первые влюбленности, жаркое пламя, потоки слов, одетых в молнии и окрыленных болью. Милые красоты, почти все вы умерли, а остальные увяли. Я посылаю вам воздушный поцелуй.

Дед

Мать Марьям встает в лодке во весь рост. На мгновение она поворачивается к Чибу боком, и он может видеть, какой хищный профиль будет у Марьям в ее годы. Сейчас у Марьям лишь слегка орлиный нос — «изгиб любовной сабли», как назвал его Чиб. Немного крупный, но прекрасный. Однако ее мать похожа на грязного старого орла. А тетка на орла не похожа, зато в ее лице есть что-то верблюжье.

Чиб отгоняет от себя эти нелестные, даже предательские сравнения. Но он не может отогнать трех бородатых и неумытых мужчин в развевающихся одеждах, которые окружили его. Чиб улыбаясь говорит:

— Что-то я не помню, чтобы я вас подзывал.

Они смотрят на него непонимающим взглядом: беглый лос-анджелесский английский для них полная абракадабра. Абу — общее прозвище любого египтянина в Беверли-Хиллз — хриплым голосом выкрикивает проклятье, такое древнее, что оно было известно жителям Мекки еще до Магомета. Он сжимает кулак. Другой араб делает шаг к картине и заносит ногу, словно хочет ударить по ней.

В этот момент мать Марьям обнаруживает, что стоять в полный рост в лодке не менее опасно, чем на спине верблюда. Даже опаснее, потому что ни одна из трех женщин не умеет плавать.

Не умеет плавать и пожилой араб, напавший на Чиба, который отступает в сторону и пинком ноги в зад сталкивает его в озеро. Один из арабов помоложе бросается на Чиба, другой принимается топтать картину. Услышав крики трех женщин и увидев, что те свалились в воду, оба застывают на месте, а потом кидаются к кромке озера. Чиб, упершись им в спины руками, сталкивает в воду и их. Полицейский слышит вопли всех шестерых, барахтающихся в озере, и подбегает к Чибу. Чиба охватывает тревога, потому что Марьям с трудом держится на воде. Ее ужас непритворен.

Чиб не понимает одного: почему все они так себя ведут. Ведь они должны доставать ногами дно — воды здесь всего по шею. Несмотря на это, похоже, что Марьям собирается утонуть. Другие тоже, но они его не интересуют. Он должен броситься в воду и спасти Марьям. Но если он это сделает, придется где-то добывать сухую одежду к открытию выставки.

Эта мысль вызывает у него громкий смех, который становится еще громче, когда он видит, что полицейский вошел в воду и направляется к женщинам. Он берет свою картину и, продолжая смеяться, уходит. К Центру он подходит уже совсем успокоившись.

«Как же это получилось, что дед оказался настолько прав? Как он ухитрился так хорошо меня понять? Неужели я так ветрен, так слаб? Нет, я слишком много раз испытывал слишком сильную любовь. Что же мне делать, если больше всего я люблю Прекрасное, а красотки, в которых я влюбляюсь, недостаточно прекрасны? Мои глаза слишком требовательны, они подавляют порывы моего сердца».

ИЗБИЕНИЕ НАИВНЫХ

Вестибюль (один из двенадцати), куда входит Чиб, проектировал Дед Виннеган. Сначала входящий попадает в длинную изогнутую трубу, на стенах которой под разными углами установлены зеркала. В конце этого коридора он видит треугольную дверь. Она выглядит слишком маленькой: кажется, будто в нее может войти самое большее девятилетний ребенок. Человек направляется к этой двери, и у него возникает иллюзия, будто он поднимается вверх по стене. К тому времени как он дойдет до конца трубы, у него создается твердое убеждение, что он стоит на потолке.

Но по мере приближения к двери она становится все больше и в конце концов оказывается огромной. Комментаторы высказывали догадку, что такой вход задуман архитектором как символическое изображение ворот, ведущих в мир искусства. Чтобы попасть в страну эстетических чудес, человек должен встать на голову.

Огромное помещение, куда человек попадает, войдя в дверь, сначала кажется ему вывернутым наизнанку или перевернутым вверх ногами. У него еще сильнее начинает кружиться голова. Дальняя стена представляется ему ближней, пока он наконец не сориентируется. Некоторые так и не могут с этим освоиться и выбегают наружу, боясь обморока или непреодолимого приступа тошноты.

Справа от входа стоит вешалка с надписью: «ПОВЕСЬТЕ ГОЛОВУ ЗДЕСЬ». Двойной каламбур, изобретенный Дедом, чьи шутки всегда чересчур замысловаты для большинства людей. Но если Дед выходит за рамки хорошего вкуса на словах, то его праправнук хватается за край в своих картинах. Здесь представлены тридцать последних его произведений, в том числе заключительные три из его «Собачьей серии»: «Созвездие Гончих Псов», «Пессимизм» и «Пес смердящий». Рескинзон и его ученики утверждают, что они тошнотворны. Лускус и его приверженцы хвалят их, но осторожно. Лускус велел им подождать с восторгами, пока он не переговорит с молодым Виннеганом. Фидорепоптеры наперебой снимают и интервьюируют и тех и других в надежде вызвать скандал.

Главный зал здания представляет собой колоссальное полушарие с ярко освещенным потолком, на котором каждые девять минут сменяются все цвета спектра. Пол выложен квадратами, как огромная шахматная доска, и в центре каждого поля — лицо какого-нибудь выдающегося представителя той или иной области искусства: Микеланджело, Моцарта, Бальзака, Зевкиса, Бетховена, Ли Бо, Твена, Достоевского, Фармисто, Мбузи, Купеля, Кришнагурти и так далее. Десять полей оставлены пустыми, чтобы будущие поколения могли добавить сюда своих кандидатов на бессмертие.

Нижняя часть стены расписана фресками, изображающими важные события из жизни этих деятелей искусства. У изогнутой стены — девять эстрад, каждая отдана какой-то одной музе. Над каждой стоит на кронштейне гигантская статуя ее богини-покровительницы. Они обнажены и отличаются роскошными формами: огромные груди, широкие бедра, крепкие ноги, словно скульптор представлял их себе в виде богинь Матери-Земли, а не утонченных интеллектуалок.

Лица их, в сущности, копируют спокойные, безмятежные головы классических греческих статуй, но рты и глаза имеют какое-то странное выражение. Губы улыбаются, но кажется, что они готовы в любой момент сложиться в злобную гримасу. В глазах таится угроза. «НЕ СМЕЙ МЕНЯ ПРЕДАТЬ, — говорят они, — А НЕ ТО...»

Каждая эстрада перекрыта прозрачным пластиковым полушарием с особыми акустическими свойствами, благодаря которым звуки, идущие с эстрады, слышны только тем, кто стоит под ним.

Чиб проталкивается через шумную толпу к эстраде, посвященной Полигимнии — музе, в компетенцию которой входит и живопись. Он минует эстраду, где Бенедиктина изливает свинцовую тяжесть, лежащую у нее на сердце, превращая ее в алхимическое золото нот. Она замечает Чиб и ухитряется бросить на него злобный взгляд, продолжая улыбаться слушателям. Чиб делает вид, что ее не видит, но отмечает, что она переменила одежду, изорванную в таверне. Еще он видит множество полицейских, расставленных по всему зданию. Толпа как будто настроена мирно. Больше того, она выглядит счастливой, хотя и немного шумной. Но полиция знает, как обманчиво такое впечатление. Достаточно одной искры...

Чиб проходит мимо эстрады, посвященной Каллиопе, — на ней импровизирует Омар Руник. Он подходит к эстраде Полигимнии, кивает Рексу Лускусу, который приветственно машет ему рукой, и устанавливает на эстраде свою картину. Она называется «Избиение невинных» (подзаголовок: «Собака на сене»).

На картине изображен хлев.

Это пещера с причудливыми сталактитами. Свет, с трудом пробивающийся в пещеру, — любимый Чибом красный. Он пронизывает все предметы и, удвоив силу, выбивается наружу острыми, изломанными лучами. Глядя на картину с разных точек зрения, чтобы рассмотреть ее всю, зритель видит множество уровней света, перед ним мелькают мимолетные образы, скрытые внутри фигур первого плана.

В глубине пещеры стоят в стойлах коровы, овцы и лошади. Некоторые из них с ужасом смотрят на Марию и ее дитя. Другие хотят что-то сказать — очевидно, пытаются предостеречь Марию. Чиб воспользовался легендой, согласно которой в ночь рождения Христа животные в хлеву могли разговаривать между собой.

В углу сидит Иосиф, изможденный пожилой человек, такой сутулый, словно у него вообще нет хребта. На голове у него рога, но каждый рог окружен нимбом, так что все правильно.

Мария стоит спиной к охапке соломы, на которой должно лежать дитя. Из люка в полу пещеры протягивается мужская рука, которая кладет на солому огромное яйцо. Человек, которому принадлежит рука, находится в пещере, расположенной под первой пещерой. Он в современной одежде, выглядит нетрезвым и, подобно Иосифу, сутул, словно какое-то беспозвоночное. Позади него отвратительно толстая женщина, очень похожая на мать Чиба, держит ребенка, которого мужчина только что передал ей, перед тем как подложить вместо него на солому яйцо.

У ребенка изысканно прекрасное лицо, он весь залит белым сиянием своего нимба. Женщина сняла нимб у него с головы и острым краем разделяет ребенка на части, словно мясную тушу.

Чиб прекрасно знает анатомию, потому что, готовя кандидатскую диссертацию по искусству в Университете Беверли-Хиллз, множество раз вскрывал трупы. Тело ребенка не выглядит неестественно удлинненным, как многие из фигур Чиба. Оно более чем фотографично — кажется, что это настоящий живой ребенок. Через большую кровавую рану наружу вываливаются его внутренности.

У зрителя сжимается сердце, словно это не картина, а настоящее дитя, изрезанное и выпотрошенное, которое они обнаружили у себя на пороге, выходя из дома.

Скорлупа яйца полупрозрачна. В его мутном желтке плавает отвратительный крохотный дьявол с рогами, копытами и хвостом. Его расплывчатые черты напоминают одновременно Генри Форда и Дядю Сэма. А если рассматривать его с разных точек зрения, перед глазами появляются лица и других людей, внесших свой вклад в создание современного общества.

За окном теснятся дикие звери, пришедшие на поклонение, но оставшиеся, чтобы беззвучно реветь от ужаса. Впереди всех — те животные, которые истреблены человеком или остались только в зоопарках и заповедниках: дронг, голубой кит, странствующий голубь, квагга, горилла, орангутан, полярный медведь, кугуар, лев, тигр, медведь гризли, калифорнийский кондор, кенгуру, вомбат, носорог, белоголовый орел. Позади них стоят другие звери, а на пригорке виднеются темные силуэты притаившихся там тасманийского аборигена и гаитянского индейца.

— Каково ваше квалифицированное мнение об этом довольно оригинальном произведении, доктор Лускус? — спрашивает фидореporter.

Лускус с улыбкой отвечает:

— Квалифицированное мнение будет у меня через несколько минут. Может быть, вам лучше будет сначала поговорить с доктором Рескинзоном. Он, кажется, вынес свое суждение сразу. Знаете, есть пословица про дурней и ангелов?

Фидокамера запечатлевает багровое от возмущения лицо Рескинзона и его яростные вопли.

— И это дерьмо сейчас разносится по всему миру, — громко замечает Чиб.

— Это оскорбление! Плевок в лицо! Пластиковая навозная куча! Пощечина искусству и пинок в зад человечеству! Оскорбление! Оскорбление!

— А почему это такое уж оскорбление, доктор Рескинзон? — спрашивает фидореporter. — Потому что высмеивает христианскую веру, и панаморитскую тоже? Но мне так не кажется. Мне кажется, Виннеган пытается показать, что люди извратили христианство, а может быть, и все религии, все идеалы, в угоду собственной алчности и тяге к самоуничтожению, что человек по своей сути — убийца и извратитель. По крайней мере у меня это вызывает такие мысли, хотя, конечно, я не специалист, и...

— Предоставьте анализ критикам, молодой человек! — отрезает Рескинзон. — У вас есть две кандидатские степени — по психиатрии и по искусству? У вас есть правительственная лицензия критика? Виннеган лишен какого бы то ни было таланта, не говоря уж о гении, о котором разглагольствуют разные болваны, мороча голову сами себе. Это позорище Беверли-Хиллз демонстрирует нам здесь свой хлам — попросту какую-то мешанину, привлекающую внимание исключительно новой техникой живописи, которую мог бы изобрести любой электронщик. Меня приводит в ярость, что с помощью обыкновенного трюка, самого тривиального новшества можно одурачить не только определенную часть публики, но и высокообразованных, уполномоченных федеральным правительством критиков, например присутствующего здесь доктора Лускуса. Впрочем, всегда есть ученые ослы, которые издают такое громогласное, напыщенное и невразумительное ржание, что...

— А правда ли, — спрашивает фидореporter, — что многих художников, которых мы сегодня называем великими, Ван Гога например, критики того времени отвергали или не замечали? И...

Фидореporter, прекрасно умеющий подзадоривать людей, чтобы доставить удовольствие зрителям, делает паузу. Рескинзон весь раздувается, его голова становится похожа на аневризму, которая вот-вот лопнет.

— Я вам не какой-нибудь невежда! — вопит он. — Не моя вина, что в прошлом тоже были такие же Лускусы! Я знаю, о чем говорю! Виннеган — всего лишь микрометеорит на небосводе Искусства, который в подметки не годится великим светилам живописи. Его репутация раздута известной кликой, чтобы наслаждаться отраженными лучами его славы, — это гиены, которые кусают руку того, кто их кормит, словно бешеные собаки...

— Вам не кажется, что у вас несколько путанные метафоры? — спрашивает фидореporter.

Лускус нежно берет Чиб за руку и отводит его в сторону, подальше от камеры.

— Чиб, дорогой мой, — воркующим голосом начинает он, — пора объясниться. Ты знаешь, как я тебя люблю, и не только как художника. Ты не можешь больше противостоять волнам глубокой взаимной симпатии, которые омывают нас обоих. Боже, если бы ты знал, как я мечтал о тебе, о моем восхитительном богоподобном Чибее...

— Если вы думаете, что я скажу «да» только потому, что в вашей воле создать или уничтожить мою репутацию, дать или не дать мне грант, то вы ошибаетесь, — говорит Чиб, вырывая руку.

Единственный глаз Лускуса сверлит его свирепым взглядом.

— Неужели я тебе противен? Ведь не из моральных же соображений...

— Дело в принципе, — отвечает Чиб. — Даже если бы я был в вас влюблен, чего на самом деле нет, я бы вам не отдался. Я хочу, чтобы меня ценили по моим делам, и только по ним. А если подумать, то мне наплевать, ценят меня или нет. Я не желаю выслушивать ни похвалы, ни ругань, ни от вас, ни от кого угодно. Смотрите, шакалы, на мои картины и обсуждайте их друг с другом. Только не надейтесь, что я соглашусь с вашими убогими мнениями.

ХОРОШИЙ КРИТИК — ЭТО МЕРТВЫЙ КРИТИК

Омар Руник сошел со своей эстрады и уже стоит перед картинами Чиб. Положив руку на обнаженную левую половину груди, где вытатуирован портрет Германа Мелвилла (почетное место на другой половине занимает Гомер), он принимается что-то громко выкрикивать. Его черные глаза похожи на дверцы топки, выбитые взрывом. Как случилось и раньше, при виде картин Чиб его охватывает вдохновение.

Зовите меня Ахав, а не Измаил, —
Это я загарпунил Левиафана.

Я, рожденный от человека вольный осленок.
Внимайте мне! Я все уже видел!
Душа моя — словно вино в заткнутом наглухо мехе.
Я как море с дверями, но двери никак не открыть.
Берегитесь! Мех вот-вот лопнет, и двери рассыплются в щепки.

«Ты Нимврод», — говорю я другу своему Чибу.
И вот настал час, когда Бог возвещает:
«Если так он способен начать,
То не будет предела мощи его.
Протрубив в свои громогласные трубы
Под стеной, ограждающей Небеса,
Он потребует в жены Луну, а в заложницы Деву
И еще свою долю в доходах
Вавилонской Великой Блудницы».

— Остановите этого сукина сына! — кричит распорядитель Фестиваля. — Он устроит здесь мятеж, как в прошлом году!

Полицейские подтягиваются ближе. Чиб наблюдает за Лускусом, который беседует с фидорепортером. Ему не слышно, что говорит Лускус, но он уверен, что это не комплименты в его адрес.

Мелвилл писал обо мне до того, как я появился на свет.
Я тот, кто хочет познать и осмыслить весь мир,
Но познать его так, как понравится мне самому.
Я Ахав, тот, кто силой своей сокрушит
Все преграды, что ставят Время, Пространство и Смерть,
И швырнет свой сияющий огненный факел
Мирозданию в самое чрево,
Потревожив в собственном логове
То, что таится там, — сокровенную Вещь В Себе,
Далекую, равнодушную и неведомую.

Распорядитель делает знаки полицейским, чтобы те увели Руника. Рескинзон все еще что-то выкрикивает, хотя камеры направлены на Руника и Лускуса. Одну из Молодых Редисок — Хьюгу Уэллс-Эрб Хайнстербери, писательницу — научную фантастку, всю трясет — так действуют на нее голос Руника и жажда мести. Она подбирается к фидорепортеру из «Тайма». Это не журнал «Тайм», который давно уже исчез вместе со всеми остальными журналами, а информационное агентство, поддерживаемое правительством. «Руки прочь» — такова политика Дяди Сэма: он обеспечивает информационные агентства всем необходимым и в то же время позволяет их руководителям проводить свою собственную линию. Так соединяются государственная

поддержка и свобода слова. И все прекрасно — по крайней мере теоретически.

«Тайм» возродил некоторые свои изначальные традиции. Например, что истину и объективность нужно всегда приносить в жертву остроумию, а научную фантастику — ставить на место. «Тайм» высмеял все до единого произведения Хайнстербери, и теперь она намерена лично посчитаться за обиды, причиненные несправедливыми критическими нападениями.

«Quid punc? Cui bono?»*

Время? Пространство? Материя? Случайность?

Что будет, когда мы умрем — Преисподняя? Или Нирвана?

А если ничто — так о нем и нечего думать.

Пусть грохочут философии пушки —

Все равно их снаряды не рвутся.

Пусть взлетают на воздух теологии арсеналы —

Под них подложил заряд саботажник-Разум.

Зовите меня ефремлянином**, ибо не смог

На переправе Господней я произнести

Шипящий звук, открывающий путь.

Да, не могу я сказать «шибболет»,

Зато я могу сказать: «А пошли вы все!»

Хьюга Уэллс-Эрб Хайнстербери лягает репортера из «Тайма» между ног. Тот вскидывает руки, выпускает фидокамеру, величиной и формой напоминающую футбольный мяч, и она падает на голову какого-то юноши. Это один из Молодых Редисок — Людвиг Эвтерп Мальцарт. Он зол на критиков, которые только что обругали его новую тональную поэму, и упавшая на голову камера — та последняя капля горячего, которой не хватало, чтобы его ярость разгорелась неудержимым пламенем. Он изо всех сил бьет главного музыкального критика в толстое брюхо.

Раздается крик боли, но это кричит не репортер их «Тайма», а Хьюга. Ее босая нога натолкнулась на жесткую пластиковую броню, которой защищает свои половые части репортер из «Таймса», не раз подвергавшийся подобным нападениям. Хьюга скачет на одной ноге, держа в руках ушибленную ступню, и налетает на какую-то девушку. Все валятся, как кегли, и кто-то падает на репортера из «Тайма», нагнувшегося, чтобы поднять камеру.

*Что теперь? Кому это выгодно? (лат.)

** Согласно библейской легенде, во время междоусобной войны, которую вели со своими соседями жители палестинского города Ефрем, их противники, чтобы распознать ефремлян, заставляли каждого переправлявшегося через Иордан сказать «шибболет» (по-древнееврейски — «колос»); в диалекте ефремлян это слово произносится «сибболет».

— А-а-а! — визжит Хьюга, срывает с репортера из «Тайма» шлем, вскакивает на него верхом и колотит по голове передней частью камеры. В камере нет таких деталей, которые могли бы сломаться от удара, и она продолжает работать, показывая миллиардам зрителей весьма занятные, хотя и вызывающие некоторое головокружение картинки. Часть поля зрения залита кровью, но ее не так уж много, и зрители не остаются в обиде. А потом они видят еще один новаторский кадр — камера снова крутясь взлетает в воздух.

Это полицейский ткнул Хьюгу в спину электрошоковой дубинкой, заставив ее застыть на месте, и камера вылетает у нее из рук, описывая широкую дугу. Очередной любовник Хьюги сцепляется с полицейским, они катаются по полу. Мальчишка из Вествуда хватается за дубинку и развлекается, тыча ею в зад всем окружающим, пока кто-то из местных не сбивает его с ног.

— Беспорядки — опиум для народа, — ворчит начальник полиции. Он поднимает по тревоге все подразделения и связывается с начальником полиции Вествуда, у которого, впрочем, тоже хлопот полон рот.

Руник, колотя себя в грудь, декламирует нараспев:

Я существую, сэр! Не говорите мне,
Как вы сказали Крейну, будто это
Вас не обязывает ни к чему.
Я человек. И я неповторим.
Ваш Хлеб причастия я выкинул в окно,
В Вино мочился, пробку вынул я
Из дна Ковчега, Древо на дрова
Срубил; и попадись мне Дух Святой,
Ему я палец тут же суну в зад.
Но знаю я, что все это не значит
Совсем, ну ровным счетом ничего.
Что ничего — всего лишь ничего.
Что есть — то есть, а чего нет — так нет,
А роза это роза это роза*.
Сейчас мы здесь, а скоро нас не будет,
И это все, что нам дано узнать!

Рескинзон видит приближающегося к нему Чиба и с воплем бросается в бегство. Чиб хватается свое полотно «Пессимизм» и колотит им Рескинзона по голове. Лускус в ужасе пытается его

* Часто пародируемая фраза американской писательницы 20—30-х гг. Гертруды Стайн, автора произведений в стиле «потока сознания».

остановить — не ради спасения Рескинзона, а потому, что может пострадать картина. Чиб оборачивается и бьет Лускуса краем картины в живот.

Земля качается, как тонущий корабль,
Киль треснул под напором экскрементов,
Что льются и с небес, и из глубин, —
Тех, что излил по щедрости своей
Господь, когда услышал крик Ахава:
«Дерьмо! Дерьмо!»

Мне грустно думать: вот вам Человек,
А вот его конец. Но не спешите!
На гребне вала — три старинных мачты.
Голландец то Летучий! И Ахав
Уже стоит на палубе его.
Смеяться можешь, Рок! Глумитесь, Норны!
Ахав я, это значит — Человек!
И пусть я не могу проделать брешь
В стене, что окружает То, Что Видим,
Не допуская нас к Тому, Что Есть, —
Я все же буду в эту стену биться.
И мы с моей командой не сдадимся,
Пусть под ногами палуба трещит,
Пусть мы утонем, чтобы тут же слиться
С потоком экскрементов.

Мгновение, которое навечно
Запечатлется в глазах Творца:
Ахав стоит на фоне Ориона,
Воздев кулак, а в нем — кровавый фаллос,
Стоит, как гордый Зевс с своим трофеем,
С мужским оружием Кроноса-отца.
И тут же он, со всей его командой,
И с кораблем катится кувырком
За край Земли.

И, слышал я, они еще доньше
Летят, летят, летят все вниз, и

В

н

и

з,

и

в

н

и

з.

Чиб на секунду превращается в содрогающуюся массу боли от прикосновения электродубинки полицейского. Как только к нему возвращается сознание, он слышит, как из приемника, спрятанного у него в шляпе, звучит голос Деда:

— Чиб, скорее сюда! Акципитер ворвался в дом и ломится ко мне в дверь!

Чиб вскакивает и с боем прорывается сквозь толпу к выходу. Запыхавшись, он подбегает к своему дому и видит, что дверь в комнату Деда открыта. В коридоре стоят налоговые полицейские и техники-электронщики. Чиб врывается в комнату Деда. Посреди комнаты стоит Акципитер, бледный и дрожащий. Трясущийся камень. Увидев Чиб, он пятится назад:

— Я не виноват. Я обязан был взломать дверь. Только так я мог убедиться... Я не виноват, я к нему не прикасался.

У Чиб перехватывает горло. Он не может произнести ни слова. Опустившись на колени, он берет Деда за руку. На синих губах Деда застыла слабая улыбка. Он наконец-то отделался от Акципитера раз и навсегда. В руке у него последняя страница его рукописи:

«ЧЕРЕЗ БАЛАКЛАВЫ НЕНАВИСТИ ОНИ ПРОРЫВАЮТСЯ К БОГУ

На протяжении большей части своей жизни я видел лишь немногих истинно верующих и подавляющее большинство поистине равнодушных. Но дух времени меняется. В сердцах множества юношей и девушек вновь возродилась — не любовь к Богу, а сильнейшая антипатия к Нему. Это глубоко трогает и утешает меня. Юнцы вроде моего внука и Руника выкрикивают богохульства и тем воздают Ему поклонение. Будь они неверующими, они бы о Нем не думали. Теперь я немного верю в будущее».

В ПОИСКАХ ИКСА ПО ТУ СТОРОНУ СТИКСА

Чиб и Мать, оба в черном, спускаются в метро на уровень 13-Б. Стены просторной станции светятся изнутри. Проезд на метро бесплатный. Чиб сообщает билетному фидоавтомату, куда он направляется, и за стеной включается белковый компьютер размером с человеческий мозг. Из щели выползает билет с закодированной надписью. Чиб берет билет и идет на перрон, обширный и выгнутый дугой. Он сует билет в щель и получает другой билет. Механический голос читает вслух то, что написано на билете, на всемирном и лос-анджелесском английском — на случай, если они не умеют читать.

Одна за другой стремительно подъезжают и тормозят гондолы. Они без колес и удерживаются на весу переменным гравитонным полем. Секции перрона скользят назад, освобождая место для гондолы. Пассажиры входят в предназначенные для них кабины. Кабины приходят в движение, потом их двери автоматически открываются, и пассажиры переходят в гондолу. Усевшись, они некоторое время ждут, пока над ними не сомкнется защитная сеть. Убранные в шасси стены поднимаются и соединяются вверху, образуя сводчатый потолок.

Автоматически управляемые, под бдительным надзором многократно продублированных на всякий случай белковых компьютеров, гондолы ждут, когда освободится путь. Получив команду на отправление, они медленно выползают в туннель и там останавливаются снова. Тройная перепроверка занимает несколько микросекунд, потом команда подтверждается, и гондолы быстро исчезают в туннеле.

Ш-ш-ш-у-у-у! Ш-ш-ш-у-у-у! Мимо проносятся другие гондолы. Туннель светится желтым светом, словно заполненный ионизированным газом. Гондола быстро набирает скорость. Сначала ее еще обгоняют, но она несется все быстрее, и вскоре ее уже не догнать. Впереди мерцает округленная корма передней гондолы — добыча, которую им не настигнуть, пока та не замедлит ход, останавливаясь у предназначенного ей перрона.

Гондол в туннеле немного. Несмотря на стомиллионное население, движение на линии север—юг невелико. Большинство жителей Лос-Анджелеса не покидает своих гроздьев, обеспеченных всем необходимым. На линии восток—запад движение более оживленное: кое-кто предпочитает общественные океанские пляжи муниципальным плавательным бассейнам.

Гондола со свистом мчится на юг. Через несколько минут туннель начинает спускаться под уклон, и вот он уже идет под 45° к горизонту. За прозрачными стенками гондолы один за другим сменяются уровни, мелькают люди и здания. Чиб с интересом разглядывает уровень 8 — Лонг-Бич. Каждый дом здесь похож на два хрустальных блюда — одно накрыто другим — и расположен на вершине колонны, украшенной резными фигурами, куда ведет пандус в виде арки.

На уровне 3-А туннель снова становится горизонтальным. Теперь гондола несется мимо строений, при виде которых Мать зажимает глаза. Чиб сжимает ее руку и думает о сводном брате и двоюродной сестре, которые сейчас находятся по ту сторону желтоватой пластиковой стены. На этом уровне живут 15 процентов населения — умственно отсталые, неизлечимые психически больные, уроды, чудища, выжившие из ума старики.

Они толпятся там, прижимаясь бессмысленными или искаженными лицами к стене туннеля и глядя, как мчатся мимо красивые гондолы.

«Гуманная» медицина помогает выживать новорожденным, которым по воле Природы следовало умереть. Спасать от смерти людей с дефектными генами начали еще в XX веке. Поэтому такие гены получали все большее распространение. Самое трагичное — то, что теперь науке под силу обнаруживать и исправлять дефекты генов уже в яйцеклетке и спермии. Теоретически всякий человек мог бы иметь абсолютно здоровое тело и физически совершенный мозг. Но дело в том, что врачей и больниц не хватает на всех, кто появляется на свет. И это несмотря на то, что рождаемость неуклонно падает.

Медицина позволяет людям жить так долго, что они впадают в дряхлость. Все больше и больше становится выживших из ума, пускающих слюни развалин. К ним добавляются психически больные. Существуют такие методы лечения и препараты, которые могут каждого из них вернуть в «нормальное» состояние, но для этого недостаточно врачей и больниц. Возможно, когда-нибудь их и будет хватать, но тем, кому не повезло сегодня, от этого не легче. «Что же делать сейчас? — думает Чиб. — Древние греки оставляли рожденных уродами в поле на верную смерть. Эскимосы сажали своих стариков на льдину, уплывающую в море. Может быть, наших ненормальных детей и стариков стоило бы умерщвлять газом? Иногда я думаю, что это было бы милосердно. Но я не могу просить кого-то нажать кнопку, если сам не в состоянии это сделать».

«Я пристрелил бы всякого, кто протянет руку к кнопке».

Из «Конфиденциальных семьяизвержений» Деда

Гондола приближается к одному из редких перекрестков. Справа открывается широкий поперечный туннель. По нему с огромной скоростью надвигается экспресс, он становится все больше и больше, вот-вот произойдет столкновение. Пассажиры знают, что этого не случится, но невольно вцепляются в защитную сеть, стискивают зубы и напрягаются. Мать слабо вскрикивает. Экспресс с воем пронесется над ними и исчезает, обдав их ветром, словно душа на пути в подземное судилище.

Туннель снова спускается под уклон, на уровень I. Они видят округленное днище мегаполиса и массивные автоматически управляемые колонны, на которых он стоит. Под ними пронесется крохотный городишко — Лос-Анджелес начала XXI века,

сохраняемый в качестве музея, один из многих таких городков под кубом мегаполиса.

Через пятнадцать минут после отправления Виннеганы уже на конечной станции. Лифт доставляет их на поверхность земли, где они садятся в большой черный лимузин. Его предоставила частная похоронная контора: Дядя Сэм и власти Лос-Анджелеса оплачивают кремацию, но не похороны. Церковь больше не требует обязательного погребения, предоставляя верующим выбирать между развеянным по ветру пеплом и лежащим в земле трупом.

Солнце стоит на полпути к зениту. Мать начинает задыхаться, ее руки и шея багровеют и распухают. Всего три раза она бывала вне городских стен, и каждый раз у нее начинается приступ аллергии, несмотря на кондиционер в машине. Чиб гладит ее по руке. Они едут по кое-как залатанной дороге. Старинный, восьмидесяти лет от роду, автомобиль на топливных элементах с электрическим приводом кажется тряским, однако лишь по сравнению с плавно летящей гондолой. Он быстро преодолевает десять километров до кладбища, притормозив только один раз, чтобы пропустить переходящего дорогу оленя.

Их встречает отец Феллини. Он в отчаянии: ему предстоит сообщить им, что, по мнению Церкви, Дед повинен в кощунстве. Подсунуть вместо своего тела чужое, чтобы по нему отслужили мессу и погребли его в освященной земле, — это святотатство. К тому же Дед умер нераскайвшимся преступником. Перед смертью он, насколько известно Церкви, даже не исповедался.

Чиб ожидал этого отказа. Собор святой Марии в грозди БХ-14 не позволил отслужить заупокойную мессу в своих стенах. Но Дед много раз говорил Чибу, что хотел бы быть похороненным рядом со своими предками, и Чиб полон решимости выполнить его желание.

— Я похороню его сам! — говорит Чиб. — Прямо на краю кладбища!

— Это не разрешается! — восклицают в один голос священник, служащие похоронной конторы и федеральный агент.

— Черта с два не разрешается! Где лопата?

И тут он видит худое смуглое лицо и соколиный нос Акципитера. Агент наблюдает за тем, как откапывают из-под земли гроб Деда (первый). По меньшей мере полсотни фидорепортеров, стоящих вокруг, снимают происходящее своими мини-камерами, в нескольких десятках метров над ними парят ретрансляторы. Дед удостоен полнометражного репортажа, какой

подобает Последнему Из Миллиардеров и Величайшему Преступнику Века.

— Мистер Акципитер, прошу вас, несколько слов, — говорит фидореporter. — Я не преувеличу, если скажу, что это историческое событие смотрят сейчас не меньше десяти миллиардов человек. Ведь даже школьники слышали про Чистогана Виннегана. Что вы сейчас чувствуете? Вы вели это расследование двадцать шесть лет. Его успешное завершение должно принести вам огромное удовлетворение.

Акципитер не улыбается, он похож на воплощенный дух камня.

— Ну, в действительности я не все время занимался только этим делом. В общей сложности около трех лет. Но я тратил на него не меньше трех дней каждый месяц, и поэтому вполне можно сказать, что я шел по следу Виннегана двадцать шесть лет.

Репортер:

— Говорят, что завершение этого дела означает в то же время и конец Налоговой полиции. Если нас правильно информировали, ее сохраняли до сих пор только ради Виннегана. Конечно, за это время у вас были и другие дела, но теперь отслеживание фальшивомонетчиков и игроков, не декларирующих свои доходы, передано другим ведомствам. Это правда? И если да, то что вы намерены делать дальше?

В голосе Акципитера слышится хрустальный звон неподдельного чувства:

— Да, Налоговую полицию распускают. Но только после того, как будет закрыто дело внучки Виннегана и ее сына. Они предоставили ему убежище и поэтому являются соучастниками, виновными в укрывательстве. В сущности, следовало бы отдать под суд чуть ли не всех жителей 14-го уровня Беверли-Хиллз. Я знаю, хотя пока еще и не могу доказать, что о местожительстве Виннегана было прекрасно известно всем, включая начальника муниципальной полиции. Даже духовник Виннегана об этом знал, потому что Виннеган часто посещал мессу и исповедовался. Его духовник утверждает, что уговаривал Виннегана отдаться в руки закона и отказывал ему в отпущении грехов, пока он этого не сделает. Но Виннеган, этот закоренелый преступник, не поддавался на его уговоры. Он заявлял, что не совершил никакого преступления, что на самом деле преступником является Дядя Сэм — хотите верьте, хотите нет. Вы можете представить себе всю наглость, всю порочность этого человека?

Репортер:

— Но вы же не собираетесь отправить за решетку всех жителей Беверли-Хиллз-14?

Акципитер:

— Мне посоветовали от этого воздержаться.

Репортер:

— Собираетесь ли вы уйти в отставку после того, как дело будет завершено?

Акципитер:

— Нет. Я рассчитываю получить перевод в бригаду по расследованию убийств Большого Лос-Анджелеса. Убийств ради наживы больше не бывает, но остаются еще, слава Богу, преступления в состоянии аффекта!

Репортер:

— Но если молодой Виннеган выиграет процесс против вас — он обвиняет вас в нарушении права на частную жизнь, в незаконном вторжении со взломом и в том, что вы стали непосредственной причиной смерти его прапрадеда, — тогда вы, конечно же, не сможете работать ни в бригаде по расследованию убийств, ни вообще в полиции.

В голосе Акципитера еще явственнее слышится хрустальный звон неподдельного чувства:

— Не приходится удивляться, что нам, представителям закона, так трудно работать! Иногда кажется, что на стороне нарушителя закона стоит не только большинство граждан, но и мое собственное начальство...

Репортер:

— Не хотели бы вы разъяснить вашу последнюю фразу? Я уверен, что ваше начальство смотрит этот канал. Нет? Насколько я понимаю, суд над Виннеганом и суд над вами почему-то назначены на одно и то же время. Каким образом вы собираетесь присутствовать на обоих заседаниях сразу? Хе-хе! Кто-то из репортеров уже дал вам прозвище — Одновременный Человек!

Акципитер, с потемневшим лицом:

— Это проделка какого-то идиота-клерка! Он неправильно ввел данные в судебный компьютер. И он же, или кто-то еще, отключил корректирующую схему, так что компьютер сгорел! Этот клерк подозревается в халатности с заранее обдуманном намерением — во всяком случае я его подозреваю, и пусть этот идиот подает на меня в суд, если пожелает. Во всяком случае таких случаев было слишком много, так что...

Репортер:

— Не хотели бы вы вкратце изложить суть этого дела для наших зрителей? Только самое главное, пожалуйста.

Акципитер:

— Ну, как вы знаете, пятьдесят лет назад все крупные частные предприятия стали государственными учреждениями. Все, кроме строительной фирмы «Компания Пятидесяти Трех Штатов Финнегана», президентом которой был Финн Финнеган. Это был отец того человека, которого похоронят — я думаю, где-то его все же похоронят — сегодня. Тогда же все профсоюзы, кроме самого крупного — профсоюза строителей, были распущены или стали государственными. На самом деле эта компания и ее профсоюз представляли собой единое целое, потому что все, кто там работал, получали девяносто пять процентов ее доходов, которые распределялись между ними более или менее поровну. А старый Финнеган был в одно и то же время президентом компании и исполнительным секретарем профсоюза. Этой фирме-профсоюзу удалось всеми правдами и неправдами — я полагаю, главным образом неправдами — избежать неминуемого поглощения государством. Было проведено расследование методов, которыми воспользовался для этой цели Финнеган, — он подкупал и шантажировал сенаторов и даже членов Верховного суда США. Однако доказать ничего не удалось.

Репортер:

— Для наших зрителей, которые, возможно, не слишком хорошо знакомы с историей, поясню, что пятьдесят лет назад деньги использовались только для приобретения товаров и благ, не включенных в гарантированный минимум. Кроме того, они, как и сегодня, служили показателем престижа и социального признания. Одно время правительство подумывало вообще отменить деньги, но исследования показали, что они имеют большую психологическую ценность. Был сохранен и подходящий налог, потому что размер выплат по нему определял престиж человека, а кроме того, это позволяло правительству изымать из обращения большое количество денег.

Акципитер:

— Так или иначе, когда старый Финнеган умер, федеральное правительство возобновило давление с целью включить рабочих-строителей и персонал фирмы в число государственных служащих. Однако Финнеган-младший оказался столь же хитер и коварен, как и Финнеган-старший. Я, конечно, не хочу сказать, будто в успехе его замыслов сыграло какую-то роль то обстоятельство, что его дядя в тот момент был президентом США.

Репортер:

— Финнегану-младшему было семьдесят лет, когда умер его отец.

Акципитер:

— Борьба длилась много лет. В ходе ее Финнеган решил сменить фамилию на Виннеган. Это каламбур, игра на слове «win» — победить. По-видимому, у него была детская, скорее даже идиотская страсть к каламбурам, которой я, откровенно говоря, не понимаю.

Репортер:

— Для наших зрителей за пределами Америки, которые могут не знать о нашем национальном обычае — Дне Переименования — поясню. Начало ему положили панамориты. Достигнув совершеннолетия, гражданин может в любой момент взять себе новое имя, которое, по его мнению, соответствует его характеру или жизненным идеалам. Могу сказать, что Дядя Сэм, которого несправедливо обвиняют в попытках принуждения граждан к конформизму, поощряет такой индивидуализм. И это несмотря на возросший объем работы по перерегистрации граждан, которая легла на плечи правительства. Я могу сказать также еще кое-что интересное. Правительство объявило, что Дед Виннеган был невменяем. Надеюсь, слушатели простят меня, если я потрачу несколько минут и объясню, на чем это заключение основывалось. Для тех из вас, кто, несмотря на стремление правительства обеспечить вам непрерывное образование на протяжении всей жизни, незнаком с классическим произведением начала XX века «Поминки по Финнегану», скажу, что его автор, Джеймс Джойс, позаимствовал это название из старой водевильной песенки.

(Затемнение; ведущий вкратце объясняет, что такое водевиль.)

— В этой песенке говорилось про Тима Финнегана, подручного каменщика, который в пьяном виде свалился с лестницы, и все решили, что он расшибся насмерть. Во время ирландских поминок, устроенных по Финнегану, на его тело случайно попадает несколько капель виски. Почувствовав прикосновение этого жизненного эликсира, Финнеган садится в гробу, а потом вылезает из него, чтобы пить и плясать вместе с теми, кто пришел его оплакать. Дед Виннеган всегда утверждал, что в основе этой песенки лежит реальный факт, что хорошего человека в гробу не удержишь и что тот Тим Финнеган был его предком. Этим вопиющим утверждением и воспользовалось правительство для возбуждения иска против Виннегана. Однако Виннеган предъявил документы, подтверждавшие его слова. Позже — слишком поздно — было доказано, что эти документы подложные.

Акципитер:

— В процессе Виннегана правительство поддержали рядовые граждане. Они жаловались, что это предприятие-профсоюз недемократично и занимается дискриминацией. Его служащие и рабочие получали сравнительно высокую плату, в то время как многие граждане вынуждены были довольствоваться лишь гарантированным минимумом. Поэтому Виннегана предали суду и обвинили — вполне справедливо, разумеется, — во множестве преступлений, включая подрыв демократии. Видя, что обвинительный приговор неизбежен, Виннеган увенчал свою преступную карьеру тем, что каким-то образом сумел похитить из федерального хранилища двадцать миллиардов долларов. Эта сумма, между прочим, равнялась половине всей денежной массы, находившейся тогда в обращении на территории Большого Лос-Анджелеса. Виннеган скрылся с этими деньгами, не только похитив их, но и не уплатив с них подоходный налог. Такому не может быть прощения! Не знаю, почему столь многие восхищаются поступком этого негодяя. Я даже видел одно фидошоу, где он выступает как герой — конечно, замаскированный под прозрачным псевдонимом.

Репортер:

— Да, люди, Виннеган совершил Преступление Века. И хотя он в конце концов разыскан и будет сегодня похоронен — пока неизвестно где, — дело еще не закрыто окончательно. Федеральное правительство считает его закрытым. Но где деньги — двадцать миллиардов долларов?

Акципитер:

— На самом деле эти деньги сейчас не имеют никакой ценности, разве что для коллекционеров. Вскоре после этой кражи правительство изъяло все денежные знаки и выпустило новые, которые невозможно спутать со старыми. Оно в любом случае намеревалось проделать нечто в этом роде, считая, что денег в обращении слишком много, и выпустило их потом вдвое меньше, чем было изъято. А где те деньги, я очень хотел бы знать. И не отступлюсь, пока не узнаю. Я разыщу их, даже если придется тратить на это собственное свободное время.

Репортер:

— У вас его будет вполне достаточно, если молодой Виннеган выиграет свой процесс. Так вот, люди, как известно большинству из вас, Виннеган был обнаружен мертвым на одном из нижних уровней Сан-Франциско примерно через год после своего исчезновения. Его внучка опознала тело, и это подтвердили отпечатки пальцев, ушей, сетчатки, зубов, группа крови, группа волос и десяток других идентификационных признаков.

Чибу, который внимательно слушает, приходит в голову мысль: а ведь Деду, наверное, пришлось потратить из похищенных денег несколько миллионов, чтобы это устроить. Он точно не знает, но подозревает, что где-то в научной лаборатории был выращен биологический дубликат Деда.

Это случилось через два года после рождения Чиба. Когда Чибу было пять, его дед появился снова. Он въехал в их дом без ведома Матери. Только Чиб стал его доверенным лицом. Конечно, не может быть, чтобы Мать совсем не замечала Деда, однако сейчас она утверждает, что никогда его не видела. Чиб решил было, что она боится обвинения в соучастии и укрывательстве. Но полной уверенности у него не было. Может быть, она просто изгнала его «явления» из своего сознания. Ей это было нетрудно, ведь она никогда не знала, вторник сегодня или четверг и какой сейчас год.

Служащие похоронной конторы хотят знать, что им делать с телом. Не обращая на них внимания, Чиб подходит к могиле. Там уже виднеется верхняя часть яйцевидного гроба. Длинный слоновый хобот могилокопателя ультразвуком измельчает землю и втягивает ее в себя. Акципитер, впервые в жизни не сдерживая своих чувств, улыбается фидооператорам и потирает руки.

— Попляши, попляши, сукин сын, — говорит Чиб, и только злость не позволяет ему расплакаться.

Всех просят отойти от могилы, и хватательные лапы машины тянутся к гробу. Они опускаются, смыкаются под гробом, поднимают черное яйцо из радиационно-модифицированного пластика с украшениями накладного серебра и опускают его на траву. Видя, что люди из Налоговой полиции принимаются вскрывать гроб, Чиб начинает что-то говорить, но осекается и умолкает. Он пристально наблюдает за происходящим, колени его полусогнуты, как будто он приготовился к прыжку. Фидооператоры теснятся ближе, их камеры, словно глазные яблоки, направлены на группу людей, стоящих вокруг гроба.

Крышка со скрипом открывается. Раздается оглушительный взрыв. В воздух взлетают клубы густого черного дыма. Акципитер и его люди, покрытые копотью, испуганно выпучив глаза, кашляя и шатаясь, выскакивают из дымного облака. Фидооператоры разбегаются во все стороны или поднимают с земли свои камеры. Те, кто стоял поодаль, видят, что взрыв произошел на дне могилы. Только Чиб знает, что открытие крышки гроба привело в действие спрятанный в могиле взрыватель.

Он первым поднимает глаза к небу и видит темный предмет, стремительно вылетевший вверх из могилы, потому что только он один этого ждал. Ракета поднимается на полторы сотни

метров, фидооператоры целятся в нее своими камерами. Потом ракета взрывается, и из нее вылетает какая-то лента, подвешенная между двумя круглыми предметами. Они раздуваются и превращаются в воздушные шары, а лента — в громадный транспарант.

На нем большими черными буквами написано:

«ПОДЛЯНКА ПО ВИННЕГАНУ»

Двадцать миллиардов долларов, зарытые в дне могилы, разгораются буйным пламенем. Ветер уносит несколько банкнот, поднятых в воздух взрывом, и полицейские, фидооператоры, служащие похоронной конторы и муниципалитета кидаются их ловить.

Мать стоит с ошеломленным видом.

Акципитера, кажется, вот-вот хватит удар.

Чиб всхлипывает, потом заливается смехом и валится на землю.

Дед опять поймел Дядю Сэма, а заодно продемонстрировал всему миру свой самый лучший каламбур.

— Ох, ну и старик! — задыхаясь приговаривает Чиб в промежутках между приступами хохота. — Ну и старик! Как же я тебя люблю!

Катаясь по земле и хохоча до колик, он вдруг чувствует, что в руке у него какая-то бумажка. Он перестает смеяться, поднимается на колени и окликает человека, который сунул бумажку ему в руку.

— Твой дед заплатил мне, чтобы я тебе это отдал, когда его будут хоронить, — говорит тот.

Чиб читает:

«Надеюсь, что никого не задело, даже налоговых полицейских.

Последний совет от Мудрого Старика-Отшельника. Вырвись на свободу. Уезжай из Лос-Анджелеса. Уезжай из страны. Пусть твоя мать живет сама на свое королевское жалованье. Ей хватит, если она будет экономить и немного сдерживать свои желания. А если она этого не сможет, то ты не виноват.

Тебе очень повезло: ты от рождения талантлив, а может быть, даже гениален, и достаточно силен, чтобы тебе захотелось оторваться от пуповины. Так сделай это! Поезжай в Египет. Окунись в древнюю культуру. Встань перед Сфинксом. Задай ему (правда, на самом деле это она) Великую Загадку.

Потом поезжай в какой-нибудь заповедник к югу от Нила. Поживи некоторое время в обстановке, более или менее похожей на Природу, какой она была до того, как ее обесчестил и

изуродовал человек. Подыши воздухом тех древних мест, где обезьяна-убийца когда-то превратилась в Гомо сапиенса (?).

До сих пор ты писал картины своим членом, который, боюсь, истекал не столько любовью к жизни, сколько желчью. Учись писать картины своим сердцем. Только так ты достигнешь величия и верности истине.

Пиши картины.

А потом поезжай, куда тебе захочется. Я буду с тобой, пока ты будешь меня помнить. Как писал Руник, "я буду северным сиянием твоей души".

Всегда помни, что еще встретишь людей, которые будут любить тебя так же, как любил тебя я, или даже еще сильнее. А что еще важнее, ты должен любить их так же сильно, как они будут любить тебя.

Ты на это способен?»

ПОЛИТРОПИЧЕСКИЕ ПАРАМИФЫ

Если буквально переводить с древнегреческого название этого сборника, то получится что-то вроде: «Полуповернутые сверхмифы». Хотя существительное имеет вариацию — «мифопарас», составленное из: «мифос», значение которого я объяснять не буду, и «пара» от латинского *parere*. Я писал их в качестве смехотерапии для себя и, возможно, для читателей. В моем подсознании вечно что-то зудит и чешется, так что я таким образом позволил себе слабость почесаться как следует. Атлеты, чтобы поддерживать свое тело в форме, сидят на особой диете; мои «парамифы» вроде того, только для мозга. Или, если придерживаться значения *parere* как «рождать», можно сказать, что я разродился этими монстрами с огромной радостью и не менее огромным недоумением. Или вот вам еще аналогия: гусыня снесла квадратное яйцо и хохочет-заливается от боли.

Первым я выродил рассказ «Не отмывайте караты». Он явился ко мне во плоти и крови во время прочтения «Большого Сюра и апельсинов Иеронима Босха» Генри Миллера. Если я правильно помню, там были «алмазы, которые иногда рождаются во время мощных потрясений». Дамон Найт, купивший их для «Орбит-3», не был уверен, что понимает, что это значит, как не понимал и не понимаю этого и я. Но этот, как и все остальные парамифы, очень близок к французскому Театру Абсурда, ныне столь популярному в Румынии и Ирландии. Хотя, пожалуй, мои «мифы» несколько более вразумительно изложены.

Темой рассказа «Вот только кто спортачит дерево?» я обязан Тэду Старджону. На вечеринке у Харлана Эллисона он рассказал мне, что давно подумывает написать рассказ-перевертыш на испытанную временем (и всеми кому не лень) Гернсбековскую тему о сумасшедшем ученом и его прекрасной юной дочери. «А как насчет, предположил Тед, прекрасной юной ученой и ее

сумасшедшей дочери?» Но потом добавил, что все же никогда не напишет такого рассказа. А мне эта тема пришлось в самый раз, и я попросил разрешения ее использовать. И он любезно дал на это согласие.

Очередной парамиф зачесался во мне после прочтения статьи об экологии и просмотра по телевизору «Трех марионеток» с участием моей внучки. Отсюда и происхождение имен трех ассистентов: Лоренцо, Керлса и Моуга.

«Шумерская клятва», вне всякого сомнения, всплыла как послед Моби Дика в момент созерцания (отнюдь не спокойно-го) мною счета, присланного врачами Беверли-Хиллз. И, честно говоря, я довольно долго подозревал, что написал чистую правду.

Действие в большинстве «Парамифов» происходит в научных лабораториях и операционных. Я часто спрашивал свое подсознание, почему это так, но, похоже, его оператор спокойно спит на приборной панели.

ШУМЕРСКАЯ КЛЯТВА

Загнанный в проход между полками с морожеными продуктами, Гудбоди*, скрючившись за тележкой для покупок, наблюдал, как с двух сторон к нему приближаются убийцы. Затем с грацией, достойной доктора Блада** (в исполнении Эрла Флинна), он перемахнул витрину с мороженым и различными сиропами, одновременно пихнув ногой тележку навстречу ближайшему убийце.

Но, несмотря на эффектность и даже некоторую элегантность прыжка, он задел край пирамиды коробок с мороженым и тяжело плюхнулся в отделе хозяйственных товаров. Вызванная его падением лавина гаечных ключей, плоскогубцев, отверток, коробок с гвоздями и цветных проводов перепугала покупательниц до такой степени, что одна из них тут же рухнула в обморок на стенд с кормом для животных.

Гудбоди нырнул под ограждение и помчался к выходу, маячившему у отдела спиртных напитков. Сзади раздавались вопли. Он бросил взгляд через плечо: эти идиоты совсем озверели — они размахивали скальпелями уже в открытую! Но вряд ли они собирались убивать его прямо здесь, в магазине, — скорее хотели

The Sumerian Oath

Copyright © 1973 by Philip Jose Farmer

* Все фамилии в рассказе значимы; так, например, имя главного героя (Goodbody) переводится с английского буквально как «доброе тело». (Здесь и далее примеч. пер.)

** Главный герой фильма «Королевские пираты», снятого по мотивам романа Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада».

загнать на автостоянку, где наверняка в засаде дожидалось подкрепление.

По дороге он налетел на стенд карманных изданий, закрутив его так, что «Долина Кукол», «Предложение», «Пары», «Пурпурная секс-штучка с планеты Бордель» и тому подобные книжицы разлетелись во все стороны, как гиперактивные пальцы печатающего с сумасшедшей скоростью и страстью порнографа. Ближайший преследователь, потрясающий остро отточенным скальпелем, являл собой готовую иллюстрацию к бестселлеру «Так вы решили стать нейрохирургом?».

«Как естественно и ужасно все переменялось», — пронеслось у Гудбоди в голове в тот момент, когда он пролетал сквозь входную дверь. Ведь он сам автор этой шумевшей книги. Правда, гонорар он так и не получил, так как знал, что стоит ему прийти за чеком в издательство, как там его поймут агенты Ассоциации медиков.

На автостоянке, освещенной как днем, дорогу ему перекрыла рванувшаяся прямо навстречу машина. Он сделал тройное сальто (что напомнило ему о триумфах в те дни, когда он восходил на сцену анатомического театра под бурные аплодисменты как желторотых студентов-первокурсников, так и маститых прославленных врачей) и, приземлившись между «шевроле» и «кадиллаком», понял, что окончательно приплыл: завизжали тормоза, захлопали двери, захохотали шаги.

— Доктор Гудбоди! Halt! Мы не хотим причинять вам вреда! Мы действуем ради вашего же блага! Вы же нездоровы! Вы больны!

Загнанный в угол высокой каменной ограды автостоянки, он обернулся лицом к своим врагам. Никто не посмеет обвинить его в малодушии. В этот момент он вспомнил кумира своей юности Доктора Килдера*, когда тот стоял лицом к лицу с непомерно большим счетом.

Шестеро, сверкая скальпелями, стали медленно приближаться к нему, и он выхватил в ответ свой именной, быстрый и меткий, как Волшебная Пуля доктора Эрлиха. Он дорого продаст свою жизнь; им не видать легкой победы, если они отважатся скрепить «клинки» с человеком, чей гений в хирургии превзошел лишь Док Сэвидж**, ныне уже находящийся на покое.

Герр доктор Гроссфляйш***, огромный, напоминающий Лэрда Крегора в роли студента-медика в «Жильце»****, подался впе-

* Доктор Килдер — герой популярного в тридцатые годы голливудского сериала о благородном молодом враче.

** Док Сэвидж — персонаж весьма популярного сериала Лестера Дента, а также ряда рассказов Фармера.

*** Grossfleisch (нем.) — букв. «большое мясо».

**** «Жилец» — первый фильм А. Хичкока.

ред и швырнул шприц для подкожных впрыскиваний первого калибра. Скорость и аккуратность, с которой он был пущен в цель, удовлетворила бы даже сварливую требовательность старого доктора Гиллесли* в исполнении Лайонела Бэрримора. Гудбоди мгновенно отреагировал, отбив его блистательным флешем, и тот улетел через стену (лучше не получилось бы даже у легендарного студента, выпившего чудодейственный эликсир).

Два других известных врача, с лицами римских ретиариев, пошли на него, потрясая смирительными рубашками и иглами для наложения швов. Гудбоди бросился на них с такой яростью, что у остальных вырвался общий непроизвольный вскрик. В конце концов, они сами себя ненавидели за то, что им приходилось делать по принуждению Ассоциации медиков.

Гроссфляйш непечатно выругался: он был готов к тому, что Гудбоди обойдется им дорого, но не кровью же! Он снова бросил шприц самого большого калибра, и тот просвистел над левым плечом Гудбоди, который в этот момент проводил финт, заставивший бы даже доктора Зорба побледнеть от зависти. Но игла все же царапнула его взметнувшуюся в броске правую руку, и кругом мгновенно стало темно, как в кабинете доктора Калигари**.

— Ну что, доктор Циклоп***, будем оперировать?

Яркая лампа осветила шесть голов, склонившихся над ним. Но бритого черепа и толстенных линз очков Циклопа среди них не было. Наверное, эти слова Гудбоди просто приснились. Возвращаясь из темных глубин подсознания, где единственным светом был луч прозекторской лампы на мерцающем серебряном экране, он всплыл на поверхность, где его ждали, реализовавшись в жизнь, самые жуткие кошмары, упорно прятавшиеся с детства.

Доктор Гроссфляйш, автор «Техники учета тампонов» и «Экстраординарных случаев заворота спиральной инвагинации тонкой кишки: из моего личного опыта», склонился над ним. В глазах его было не больше выражения, чем в зеркальце ларинголога, — они были холодны и пусты. И это человек, который ему так много помогал, его спонсировал и столькому его научил! Автор знаменитого, ставшего общим правилом, высказывания: «Если сомневаешься — режь!»

* Доктор Гиллесли — персонаж сериала о докторе Килдере.

** «Кабинет доктора Калигари» — фильм режиссера Роберта Вине (1920 г.), ставший классикой мирового кинематографа; один из первых, в котором был создан образ злодея-гипнотизера. Доктор Калигари — директор сумасшедшего дома.

*** Доктор Циклоп — главный злодей в одноименном фантастическом фильме 1940 г.

Сейчас, похожий на гоблина, доктор Гроссфляйш сжимал ледоруб.

— Schweinhund*! Сначала мы сделайт фам дер лоботомия. Ден дер диссекция без мит анестезия ф шивую!

Ледоруб приблизился к его правому глазу... Хлопнула дверь. Инструмент выпал из рук хирурга и, отскочив от его мощного, цепеллиноподобного бедра, воткнулся в стол и закачался рядом с привязанной рукой Гудбоди.

— Halt!

Все шесть голов повернулись к дверям.

— Ах, токтор Ляйбфремд**! — воскликнул доктор Гроссфляйш, — фы дер хилер с мировой имяннем и фыдающийся афтор «Дер нерасрешенной загадки шертфенности: фолки унд офцы!» Што есть за причин для столь траматичный врываний?

— Доктору Гудбоди надо полностью сохранить здоровье! Он единственный, кто обладает гением, необходимым для операции на мозге нашего великого лидера — доктора Индерхауса***!

По коже Гудбоди побежали мурашки, ему показалось, что сейчас он потеряет сознание.

— Зо, токтор Интерхаус имейт глубокий опухоль дер каниуса и речефых центрофф теятельности ф его гениальный мозг. Унд только Гудбоди есть имейт гений, штоб резать? Майн Готт, как мошем мы ему доверяйт?!

— Будем стоять у него за спиной, — ответил доктор Ляйбфремд, — готовые при первом же ложном движении парализовать его нервную систему.

Гудбоди презрительно усмехнулся, словно исправляя ошибку первокурсника:

— Зачем мне братья за это, если потом вы все равно сделаете мне лоботомию? Причем без наркоза!

— О нет! — вскричал доктор Ляйбфремд. — Невзирая на все ваши преступления, мы, если вы успешно прооперируете доктора Индерхауса, оставим вам жизнь! Конечно, вам придется провести ее остаток в заключении в санатории Гроссфляйша, где (надо ли вам напоминать?) все пациенты живут как короли! Да куда там королям — как врачи Беверли-Хиллз!

— И вы позволите мне остаться в живых?

— Та, фы умрете сфоей смертью! Ни один фращ к фам не есть прикасайся! — горячо заверил его Гроссфляйш. — К тому же фам бутет сделана скитка, как профессионалу. Тесять процентофф от фаш счет!

* Негодяй (нем.).

** Leibfremd (нем.) — букв. «чужое тело».

*** Inderhaus (нем.) — букв. «дом индийца».

— Спасибо, — смиренно произнес Гудбоди. Но на самом деле он уже искал пути побега. Мир должен узнать ужасную правду. В день великой операции анатомический театр был заполнен врачами, съехавшимися со всех концов света. На карте стояла жизнь их обожаемого лидера — доктора Индерхауса, и спасти его мог только уличенный и приговоренный преступник; этот Иуда, Бенедикт Арнольд, Мадд, Квислинг среди медиков!

Ввезли пациента с обритой головой. Он приветственно помахал рукой, и зал взорвался ответными аплодисментами. При виде столь бурного, граничащего с благоговением, проявления любви и уважения по его щекам покатились слезы. Но тут он увидел, что к нему приближается хирург, и в ту же секунду выражение благостности доктора Хайда на его лице сменилось на зловую гримасу Джекила.

Гудбоди надел маску и натянул перчатки. Гроссфляйш занес над ним скальпель, а другой врач, похожий на доктора Кизи после тяжелой ночи, проведенной со старшей медсестрой, нацелился на него лазером.

— Подайте назад — мне нужно место! — спокойно отстранил их Гудбоди. Он был холоден как лед и спокоен как поверхность аквариума с золотыми рыбками. Лишь его длинные чувствительные пальцы (он мог бы стать прекрасным пианистом, если бы выбрал в жизни не ту дорогу) чуть трепетали: словно змеи, почувствовавшие запах крови. Наступила гробовая тишина. Несмотря на то что аудитория ненавидела его как человека, презирала и испытывала к нему такое глубокое отвращение, что жаждала утопить его в плевках (без стерилизации!), они не могли сдержать преклонения перед ним как перед хирургом.

И пробил час. Скальпель взлетел и рассек кожу. Скальп был откинут. Зажужжали сверла, зажали пилы. Верхушка черепа была поднята. Острейшие лезвия погрузились в серую подрагивающую массу.

— Ах! — невольно вырвалось у доктора Гроссфляйша, когда он увидел обнаженные лобные доли. — Майн Готт! Какой красавчик!

Затем раздалось единодушное «Ах!»: Гудбоди продемонстрировал аудитории большую медузообразную опухоль. Невзирая на презрение к отщепенцу, доктора в течение десяти минут аплодировали ему стоя.

А он, внимая аплодисментам, с грустью думал о том, что его величайший триумф, апекс его карьеры, был в то же время его страшнейшим крушением, его надиром. А затем пациента вывезли на каталке, а хирурга скрутили, связали и спеленали.

И доктора Гроссфляйш и Юберпрайс* (известный проктолог, автор классического исследования «Отравил ли доктор Ватсон трех своих жен?»), обаятельно ощерившись в дьявольски холодной с откровенно садистским предвкушением удовольствия улыбке доктора Мабузе**, приблизились к операционному столу.

Аудитория подалась вперед: все как один предвкушали редкое зрелище — ведь и хирургам, и оперируемому будет гораздо удобнее без анестезии: врач сможет определять реакции пациента намного быстрее и точнее, нежели когда чувства последнего одурманены.

— Доктор Икс, я полагаю? — спросил Гудбоди, когда пришел в себя.

— Что? — удивилась сиделка миссис Фелл.

— Так, ночной кошмар. Мне снилось, что мне отпилили руки и ноги. О!..

— Вы скоро к этому привыкнете, — успокоила его сиделка. — Когда вам что-нибудь понадобится, нажимайте носом вот эту кнопку. И не стесняйтесь: доктор Гроссфляйш сказал, что вашими руками и ногами теперь буду я. То есть я имею в виду...

— Так, значит, я не просто теперь обрубок, а еще и обрубок сумасшедший, — перебил он, — Я уверен, что у меня в диагнозе стоит какая-нибудь ужасная неизлечимая мания. Ведь так?

— Так, — ответила миссис Фелл. — Но только кто знает, что на самом деле является сумасшествием! Бредятина одного становится религией другого. То есть кому — шизофрения, а кому — маниакально-депрессивный психоз. Короче, вы поняли, о чем я!

Рассказывать ей о себе не имело никакого смысла. И все же он это сделал.

— Только, пожалуйста, не отмахивайтесь сразу от того, что я вам сейчас расскажу, как от обычного бреда сумасшедшего! Подумайте об этом хорошенько на досуге: присмотритесь к окружающему вас миру. Вы увидите: все, что я расскажу, имеет смысл. Пусть и странный, шиворот-навыворот, но имеет.

У нее было одно преимущество: она была сиделкой. А все сиделки прямо с момента поступления на работу тихо ненавидят докторов и потому всегда готовы поверить в самое худшее, что о них будет сказано.

— Каждый врач дает клятву Гиппократу. Но, прежде чем принести ее публично, он дает в самом узком кругу клятву

* Übergreis (нем.) — букв. «чрезмерная цена».

** Доктор Мабузе — герой ряда фильмов 30—50-х годов, стремившийся захватить власть над миром.

высшего порядка, более древнюю, чем клятва Гиппократова, который умер приблизительно в 377 году до Рождества Христова.

Вполне возможно, что самый первый знахарь-шаман каменного века потребовал этой клятвы от второго шамана. Кто знает? Но есть письменные свидетельства (которые вам никогда не увидеть), что первый врач цивилизованного мира, первый врач древнейшего из городов-государств — Шумерского царства, которое предшествовало даже Древнему Египту, — уже требовал этой клятвы от следующего.

Так вот, «Шумерская клятва» — прочистите мне, пожалуйста, ноздри, дорожку, если это вас не затруднит, — гласит, что врач никогда и ни при каких обстоятельствах не скажет ни слова о том, что касается истинных занятий врачей и истинной причины всех болезней...

Миссис Фелл попыталась несколько раз его перебить и наконец не выдержала:

— Доктор Гудбоди! Вы что, всерьез пытаетесь мне доказать, будто болезни — дело рук самих врачей? Что доктора сами их придумывают и распространяют? И что если бы не было докторов, мы все были бы стопроцентно здоровыми? Что они ловят и используют дилетантов, заражая их, а затем вылечивая, только ради своей карьеры, и делают на этом деньги, гася при этом все подозрения своими... своими... Но это же ужасная чушь!

По его носу потекла капля пота, но он не обратил на нее внимания.

— Да, миссис Фелл, и все же это правда! Но иногда (впрочем, бывает это довольно редко) бремя массового убийцы становится слишком тяжким для врача, и тот ломается. Тогда он пытается рассказать правду. С этой минуты он становится изгоем; его отлавливают, как зверя; его собственные коллеги объявляют его сумасшедшим; он умирает во время операции или же заразившись неизлечимой болезнью; или просто исчезает с концами.

— И почему ж тогда вас не убили?

— Скажу! Я спас нашего прославленного лидера — Великого Всеми Превозносимого Сверхгениального Шумера. Они обещали мне жизнь (а мы никогда не лжем друг другу — только пациентам). Но они должны были быть уверены, что я не смогу сбежать. А язык мне не отрезали только потому, что они садисты: болтай сколько хочешь, все равно — кто поверит пациенту из дурки? Да, миссис Фелл, и не надо смотреть на меня с таким ужасом. Бред психа из желтого дома! Я ведь сдвинутый? Ну правда?! Вы только в это и поверили?

Она погладила его по голове:

— Ладно, ладно. Я верю вам. Посмотрим, что можно сделать. Вот только...

— Что?

— Мой муж тоже врач, и когда я на секунду себе представила, что он состоит в секретной организации...

— Не рассказывайте ему! — закричал Гудбоди — Ни слова ни одному врачу! Вы что, хотите занять рак или слечь с коронарным тромбофлебитом? А то и поймать какую-нибудь новую, с иголки, мозговую инфекцию? Они ведь, чтоб не умереть от скуки, постоянно что-то изобретают!

Но все было без толку. Миссис Фелл соглашалась с ним только для того, чтобы его успокоить.

В ту же ночь его отвезли в подземелье очень древнего дома, где пылали факелы и старые каменные стены сочились сыростью; где рокотали маленькие барабаны и пронзительно ревели козьи рога; где одетые в алые мантии врачи с разрисованными лицами и с черными перьями на головах грохотали погремушками из тыквы; где усилитель транслировал Шумерскую клятву выпускникам 1970 года. И каждого нового иницируемого подводили к нему. Для того чтобы каждый осознал, что с ним будет, если он предаст свою профессию.

НЕ ОТМЫВАЙТЕ КАРАТЫ

Нож рассек кожу, пила вгрызлась в кость, и полетела серая пыль. Затем к темени приложили вантуз (хирург был экономным человеком) и — плоп! — со звуком пробки, вылетающей из бутылки, выпиленный из черепа сектор отскочил. Доктор ван Месеглюк в марлевой повязке направил внутрь черепной коробки лучик света и вдруг заорал не своим голосом:

— Клянусь Гиппократом! А также Асклепием и братьями Майо!

Вместо ожидаемой опухоли мозга в сером веществе засел большой алмаз.

Ассистент хирурга Байншнайдер* и все медсестры столпились вокруг, по очереди заглядывая в дыру.

— Потрясающе! — восхитился ван Месеглюк. — Алмаз уже обработан!

— Выглядит как бриллиант, ограненный «розочкой». Весом, на глазок, приблизительно 127,1 карата, — добавил Байншнайдер (у него был свояк, занимавшийся ювелирным делом). Он пошуровал внутри черепа светозондом — замерцали искры, за-

Don't Wash the Carats

Copyright © 1968 by Philip Jose Farmer

* Bein (нем.) — нога; Schneider (нем.) — портной.

прыгали тени. — Но он наполовину погружен. Может статься, что снизу он и не бриллиант вовсе. Но даже если и так...

— Пациент женат? — поинтересовалась сестра Люстиг*.

Ван Месегглюк свирепо выкатил на нее глаза:

— Вы вообще способны думать о чем-нибудь, кроме замужества?

— А что мне делать, если все только об этом и напоминает? — томно пролепетала она и с такой игривостью вильнула бедром, что чуть его не вывихнула.

— И что, должны ли мы изъять... это? — осторожно спросил Байншнайдер.

— Это определенно злокачественное новообразование, следовательно, мы обязаны его оперировать!

Ван Месегглюк вывернулся с таким мастерством, блеском и изяществом, что вызвал у медсестер возгласы воодушевления и бурные аплодисменты. Даже Байншнайдер выкрикнул «браво!» (причем без малейшей зависти). Хирург запустил щипцы внутрь и... тут же их выдернул: в черепе загромыхало, и из отверстия вылетела молния. Затем послышались отдаляющиеся раскаты грома и треск разрядов.

— Кажется, дождь собирается, — заметил Байншнайдер. — Или гроза. У меня свояк — метеоролог.

— Нет, это только зарницы, — успокоил его ван Месегглюк.

— Это с громом-то? — засомневался ассистент. Он с воодушевлением посмотрел на алмаз, живо представив себе, на что готова была бы его жена ради такого подарка. Рот сразу наполнился слюной, а уши похолодели. Вот только кому принадлежит эта драгоценность? Пациенту? Но ведь нет закона о правах на «внутреннюю недвижимость»! Так что, сдавать его теперь в бюро находок? Или государству, как найденный клад, чтобы получить положенное вознаграждение? Или, может, сразу — налоговому инспектору?

— С научной точки зрения, такого просто не бывает. Уникум какой-то! — наконец сказал он. — А что там говорится в калифорнийском законодательстве о подобных находках и правах нашедшего?

— А вы что, хотите застолбить участок?! — зарычал ван Месегглюк. — Господи! Это же вам человек, а не какой-то кусок ландшафта!

Из отверстия с треском вырвалось еще несколько иссиня-белых разрядов, и за ними последовал рокот — словно огромный шар прокатился по кегельбану.

* Lustig (нем.) — веселая, игривая.

— Говорил я вам, что это не зарницы, — укоризненно сказал ван Месегглюк.

Байншнаyder вежливо промолчал.

— Теперь понятно, почему перегорел электроэнцефалограф, когда мы диагностировали этого жмурика, — продолжал главный хирург. — Там наверняка было несколько тысяч вольт. А может, и — сотен тысяч. Странно, как я не заметил у него повышения температуры! Но кому могло прийти в голову, что мозг может накалиться до такой степени!

— А вы лаборантку уволили! — ехидно вставил ассистент. — Как видите, машина сгорела не по ее вине!

— И на следующий же день она выбросилась из окна, — вздохнула сестра Люстиг. — Я рыдала на ее похоронах, как испорченный водопроводный кран. Даже с горя чуть было не вышла замуж за могильщика. — И она снова крутанула бедрами.

— У нее были переломаны практически все кости, и в то же время — ни одного внешнего повреждения! — с наслаждением погрузился в воспоминания ван Месегглюк. — Уникальный случай. Просто феномен какой-то!

— Она была человеком, а не «каким-то феноменом»! — ввернул Байншнаyder.

— Да, человеком, но абсолютно феноменальным, — отпарировал главный хирург. — Уж поверьте мне, это — по моей части. Ей было тридцать три года, но родилась она сразу в десятилетнем возрасте.

— А-а, жертва опытов с выращиванием плода в искусственной матке! — вспомнил Байншнаyder. — Туда еще попала пыль (что само по себе плохо), а потом оказалось, что пыль эта была еще и радиоактивной. Ох уж мне эти искусственные способы!

— Да уж, — согласился хирург. — Бедняжке хватило пыли, чтобы сделаться окончательно ненормальной. Как вы знаете, я производил ее вскрытие. Мне было больно от одной мысли, что придется рассечь эту прекрасную кожу! Она была, как каррарский мрамор. И скальпель сломался, когда я попытался сделать первый надрез. Тогда я сгоряча чуть было не вызвал из Италии специалиста с алмазным зубилом, но администрация взвыла от цены на его услуги, и Голубой Крест наотрез отказался платить.

— Так, может, алмаз — ее рук дело? — предположила сестра Люстиг. — Откуда-то же должно было взяться это высокое напряжение!

— А я все удивлялся, откуда здесь вечно несет радиацией! — пробормотал ван Месегглюк. — Держите свои замечания при себе, мисс Люстиг. Пусть за вас думают ваши начальники.

Он вперился в дыру в черепе. Где-то там, на горизонте, между сводом черепной коробки и полем головного мозга, мерцали огоньки.

— Может быть, нам придется вызвать геолога. Байншнайдер, вы что-нибудь понимаете в электронике?

— У меня свояк недавно открыл магазин радио- и телеаппаратуры.

— Отлично. Вытяните из него для начала ступенчатый трансформатор. Я не хочу, чтобы сгорела еще одна машина.

— А как пока быть с электроэнцефалографом? Я же не достану трансформатор в пять минут. Свояк живет аккуратно на другом конце города, к тому же он загнет двойную цену, если ему придется открывать магазин так поздно.

— Да заплатим... Заплатим! — перебил его главный хирург. — А пока заземлите его. Вот так! Мы должны извлечь это новообразование как можно скорее, прежде чем оно доконает пациента. А научным обоснованием этого факта займемся позже.

Он натянул еще одну пару перчаток. А поверх них — еще одну.

— Как вы думаете, а он еще один сможет вырастить? — прошептала сестра Люстиг. — Очень даже приятный мужчина. Я имею в виду — симпатичный.

— А черт его знает! Я только врач, — вздохнул ван Месеглюк, — а не Господь Бог!

— Бога нет! — прошипел Байншнайдер (никогда не забывавший о том, что он ортодоксальный атеист), пропихивая в дыру заземляющий контакт. Сперва заискрило, но потом ван Месеглюк запустил щипцы и достал алмаз. Сестра Люстиг тут же бросилась отмывать его под краном.

— Давайте звоните свояку! — сказал ван Месеглюк. — Я имею в виду — ювелиру.

— Да он же в Амстердаме! Я, конечно, могу ему позвонить, но он захочет войти в долю. Вы ж понимаете...

— Но он же не ученый. У него даже нет степени! — возопил главный хирург. — Давайте звоните скорее! Кстати, а он разбирается в тонкостях легальности подобных операций?

— И очень даже неплохо. Но не думаю, чтобы он приехал. Ювелирное дело для него — только прикрытие. Хлеб свой насущный он добывает контрабандой даже «ЛСД в шоколаде».

— А это этично?

— Но ведь шоколад-то датский, причем самого высокого качества! — строго сказал Байншнайдер.

— Простите. Думаю, дыру мы перекроем пластиковым окошком. Нам нужно иметь возможность наблюдения за любым последующим новообразованием и за особенностями его роста.

— Так вы считаете, что причина — психоз?

— В этом мире возможно все. Даже секс — и тот может надоесть: спросите хоть мисс Люстиг.

Пациент открыл глаза и сказал:

— Я видел сон. Этот грязный старикашка с длиннющей белой бородой...

— Психический архетип, — прокомментировал ван Месеглюк, — символ здравого смысла нашего подсознания. Это знак...

— ...его звали Платон. Незаконнорожденный сын Сократа. Он вывалился на меня из пещеры, в глубине которой мерцал яркий люминесцентный свет, держа заскорузлыми пальцами с обломанными и грязными ногтями огромный бриллиант, и вдруг как заорет: «Идеал Материального! Конденсат Вселенной! Углерод, черт возьми! Эврика! Я богат! Теперь я все Афины куплю с потрохами! Я буду вкладывать деньги в доходные дома! Куплю все Средиземное море! Телеграф построю!»

И еще он орал: «Не сношайте мне мозги! Это все мое!»

— А вы не могли бы постараться увидеть сон еще и о царе Мидасе? — вкрадчиво осведомился ван Месеглюк.

Сестра Люстиг взвизгнула: в ее руках был всего лишь комок мокрой серой плоти.

— Вода снова превратила его в опухоль...

— Байншнайдер, отмените звонок в Амстердам.

— А может, у него будет рецидив? — робко предположил ассистент.

— Нахал! Наша помолвка расторгнута! — разъяренной фурией взвилась мисс Люстиг. — На-все-гда!

— Сомневаюсь, что вы любили именно меня, — ответил пациент, — кто бы вы там ни были. Но в любом случае я рад, что вы передумали: хотя моя последняя жена и бросила меня, но официально мы все же не разведены. Мне и так хватает неприятностей, чтобы к ним прибавлять еще и обвинения в двоеженстве.

Она удрала в неизвестном направлении вместе с моим хирургом, сразу после того как он прооперировал мне геморрой. И я так никогда и не узнаю почему...

ВОТ ТОЛЬКО КТО СПОРТАЧИТ ДЕРЕВО?

— Вы должны признать, что лаборатория «Наавось» решила проблему смога — сказал, ковыряя носком пол так, словно пы-

таясь вырыть в нем яму, доктор Керлс, низенький и очень толстый химик средних лет, обладавший загривком матерого хряка и визгливым голосом.

— Смог, шмог, — ответил доктор ван Скант и энергично высморкался, словно нос его был забит оксидом азота. — А как вы думаете, ваши несколько триллионов мотыльков сами по себе не являются экологической проблемой? Да Боже ж мой! Их теперь убирают бульдозерами! Я лично по дороге сюда дважды останавливался, потому что эта гадость набивалась в выхлопную трубу! Дважды! Да Боже ж мой!

Керлс с ухмылкой кивнул и потер руки:

— Несмотря на провал, успех эксперимента очевиден — этого вы не можете не признать.

Федеральный инспектор по науке не ответил и стал разглядывать огромную лабораторию, в которой они находились. Вокруг бурлили, булькали и свистели многочисленные колбы и реторты. Разноцветные жидкости струились во всех направлениях по прозрачным пластиковым и стеклянным трубкам. Контрольная панель, мигая лампочками, пищала и свистела. Самописцы стрекотали. Генератор метал горячие искры, словно разогревающийся перед матчем робот-бейсболист.

Двое в белых халатах что-то размешивали в колбе, из которой поднимались холодные, дьявольски вонючие клубы дыма самого зловещего вида.

— А где, черт возьми, стол? — прорычал ван Скант, огромный мужчина с солидным брюшком и пышными светлыми усами, из-под которых торчала неизменная толстая зеленая сигара. Все, что он говорил, звучало поверх или сквозь нее.

— Какой еще стол? — пропищал, съезжившись от страха, доктор Керлс.

— Стол, на котором под простыней лежит монстр, ожидая финального электрошока, пробуждающего к жизни, простофиля!

— А, так вы пошутили... — нервно заулыбался Керлс. — Впечатляет, правда?

— Должно впечатлять, — пророкотал ван Скант. — Вы же и включили все это только для того, чтобы произвести на меня впечатление.

Керлс беспомощно оглянулся по сторонам.

Доктор Лоренцо, заморыш, чья огромная лысина компенсировалась на затылке пышной эйнштейновской гривой, улыбнулся ван Сканту и помахал ему рукой.

Доктор Моуг, низкорослый угрюмец, тоже выдавил из себя кислую улыбку, больше похожую на гримасу.

— Все шутите, — выдавил Керлс и оттанцевал назад, выщелкивая пальцами мелодию увертюры из «Пиратов из Пен-заса».

— В этом бардаке есть что-нибудь еще, кроме психов? — осведомился ван Сконт.

— В лаборатории «Наавось» все только самого высшего качества, — отпартовал Керлс.

Ван Сконт замер на полуслове, уставившись на доктора Лоренцо, в этот момент заливавшего содержимое большой мензурки в резиновый сапог. Затем доктор Моуг, зажав голенище, основательно его потряс.

— Они испытывают новый тип вулканизации, — поспешно объявил Керлс.

Моуг установил сапог на полу, и они с Лоренцо отступили на несколько шагов.

Сапог закачался, словно моряк после трехдневной пьянки, и грозно заурчал. Затем он, словно кенгуру, скакнул в проход между столами, врезался в стену, отскочил от нее и, не долетев до пола, взорвался.

Брызги коричневой жидкости разлетелись по всей лаборатории. Лоренцо и Моуг попытались поймать их ртами.

— Кофе! — загромыхал ван Сконт. — Вы варили кофе! В рабочее время!

— Так вот это что! — удивился Керлс, облизываясь. — Неудурно. Обычно у них получается хуже. На самом деле они пытались сделать быстрорастворимый цемент. Кха-кха.

— Я закрываю вашу контору! — пророкотал ван Сконт, вытирая носовым платком с лица кофе. — Срезаю все федеральные фонды! Вы же работаете на госзаказ по борьбе с экологическим загрязнением!

— Правильно, дорогой мой ван Сконт, — подхватил скорбнолицый Моуг. — Но у нас сейчас обеденный перерыв, и мы не должны отчитываться, чем занимаемся в это время. — И через плечо бросил Керлсу: — Быстро убери здесь!

— Почему я?! — возмутился тот. — Это вы с Лоренцо тут насвинячили!

Моуг показал ему знак мира из двух пальцев, затем ткнул им Керлса в глаза, треснул его кулаком по макушке, стукнул в живот и, когда тот согнулся, добавил «замком» по затылку.

— Не перечь ассистенту генерального директора!

Керлс, пошатываясь, выпрямился. Доктор ван Сконт выпучил глаза от удивления.

— У нас здесь нет проблем с дисциплиной, — объяснил Моуг. — Мы придерживаемся жесткого курса.

Ван Сконт обернулся к Моугу, но снова замер, увидев что Керлс, утихомиривает боль испытанным средством из фляжки, хранившейся в заднем кармане.

— Вдохновение можно черпать отовсюду, — объяснил Моуг, заметив выражение лица ван Сканта. — Доктор Керлс частенько черпает его из своего, как он называет, «источника мудрости», ха-ха-ха!

— Я желаю немедленно видеть доктора Легценбрайнс, — рыкнул ван Сконт.

— Она только что пришла. Правда, она супер? Я влюблен в нее по уши, — вздохнул Моуг, — как и два моих слабоумных коллеги. Но она слишком предана науке, чтобы выходить замуж.

— А это еще кто? — спросил ван Сконт, указывая на переваливающуюся как утка по лаборатории мощную прыщавую девицу в белом халате.

— Это ее сумасшедшая доченька.

— Вы хотите сказать, что у нее буйный нрав?

— Балда, — ответил Моуг и тут же спохватился: — Я не вас имел в виду, доктор. Это она, полная идиотка, с совершенно съехавшей крышей. Но зато какие идеи она подает — блеск! Кстати, мотыльки — это тоже ее открытие.

— Оно и видно, — буркнул ван Сконт.

Засовывая платок в карман, он вдруг почувствовал, как там что-то трепыхается, и вытащил большого белого мотылька с ковшеподобным ртом, которого тут же с отвращением отбросил. Тот беспечно запорхал по лаборатории. Но, пролетая над колбой, в которой бурлила темно-красная жидкость, он замер, словно его хватил удар, и рухнул в нее камнем, мгновенно растворившись без остатка.

Красная жидкость стала бледно-желтой.

Доктор Лоренцо завизжал (очевидно, от восторга) и жестами позвал коллег и толстую девушку к колбе. Доктор Керлс в этот момент пригонял десятифутовую стеклянную трубку к какому-то полусмонтированному устройству. На визг Лоренцо он резко обернулся, и конец трубки, соскользнув, врезал Моугу по затылку. Звон удара разнесся по всей лаборатории.

Керлс выронил трубку и, пока Моуг пытался подняться, нырнул под стол и присоединился к Лоренцо.

Моуг, потирая затылок, встал и, шатаясь, побрел к коллегам.

Ван Сконт шагнул вперед, выставив брюхо с такой важностью, словно там лежала почта для Президента, и осведомился:

— И что же тут такого интересного?

Глаза Моуга, до сих пор тусклые и бесцветные, теперь сверкали: он с подозрением разглядывал Керлса, который, хихикая и потирая руки, упорно не отводил взгляда от колбы.

— Вы хотите знать, как я это могу объяснить? Да, мотылек, совершенно очевидно, содержал в себе недостающий элемент, или элементы, или комбинацию из них. Мы долгое время наблюдали...

— В рабочее время?!

— Во время обеденных перерывов, — вставил Лоренцо.

— Думаю, лучше теперь будет использовать самих мотыльков, чем возиться с их исследованием, чтобы установить состав, необходимый для осуществления реакции, — захихикал Керлс.

— С этим проблем не будет, — сказал Лоренцо. — Можно прямо сейчас послать на улицу сторожа с ведром и полотенцем.

— Что в колбе? — побагровев прорычал ван Скант.

— Универсальный растворитель, — гордо улыбнулся Моуг. Ван Скант с трудом справился с дыханием и ткнул пальцем в колбу:

— Универсальный?! А как же колба?!

— Реакция требует некоторого времени, — объяснил Керлс и, щелкнув пальцами, взглянул на часы, надетые поверх резиновой перчатки. — Сейчас 12.32. На деле...

Колба исчезла, и желтая жидкость расплескалась по слюдяному покрытию стола.

Часть стола, включая одну из ножек, тоже исчезла.

В полу появилась дыра, и сквозь нее донесся вопль с нижнего этажа. А затем, откуда-то совсем снизу — шипение поврежденных труб парового отопления. Шипение перешло в бульканье. Потом раздался плеск.

— Пошло вниз, как по маслу, — просиял доктор Моуг.

Цвет лица ван Сканта из красного стал серым.

— Мой Бог! — завопил он, когда снова обрел дыхание. — Он же так дойдет до центра Земли!

Доктор Моуг закрыл лицо руками и запричитал:

— Вы, ничтожества! Вам нужно было приготовить меньшую порцию! Я же говорил!

Керлс стоял от него справа, а Лоренцо слева. Их кулаки одновременно взметнулись, и через секунду оба сидели на полу, потирая челюсти.

— Как глубоко эта дрянь действительно может проникнуть?! — рывкнул ван Скант.

— Что? — встрепенулся Моуг. Он почесал в затылке и, растерянно мигая, сообщил: — Ах да! Растворитель испаряется в течение часа-полутора, так что с этим проблемы не будет.

Низкий рокочущий звук потряс все здание, и из дыры в полу фонтаном ударила черная жидкость.

Много позже, после бесчисленных судебных процессов, было наконец официально установлено, что нефтяная скважина является собственностью федерального правительства. Несколько дней после завершения тяжбы прошли спокойно. Но в будущем еще было довольно времени, чтобы наверстать упущенное.

Ван Скант в своем рапорте утверждал, что, с того момента когда он услышал грохот, он почти ничего не помнит. Он предполагает, что именно доктор Керлс схватил длиннющую пластиковую трубку, чтобы заткнуть дыру в полу. Он полагает (хотя и не может в этом поклясться), что доктор Керлс, неловко развернувшись, съездил его этой трубкой по лбу. Для официальных органов это свидетельство стоило немногого, поэтому суд над служащими лаборатории «Наавось» и ее директором — ослепительно красивой юной ученой доктором Легценбрайнс, — так и не состоялся.

К тому времени когда «наавосьники» переехали в новое здание, нефтяная скважина была перекрыта, а Южная Калифорния полностью очищена от их мотыльков. Доктор Моуг в одном из интервью признался:

— ...откуда нам с коллегами было знать, что один из атмосферных токсинов, который поглощали специально для этого выведенные мотыльки, окажется стимулянтom их сексуального потенциала и их плодовитость выйдет за всякие рамки? О, пожалуйста, не публикуйте последней фразы.

Затем доктор Моуг сообщил, что в лаборатории «Наавось» уже выращивается поколение летучих мышей-мутантов, которые будут способны очистить воздух практически до полного вакуума. Также ведется работа над мутацией козлов, способных поедать все производственные отходы на поверхности Земли, и акул, которые будут поглощать их в морских пространствах.

В тот день доктор Легценбрайнс уединилась со своей дочерью в кабинете.

— Мне нужен мужчина, — захныкала Дездемона.

— А кому не нужен? — ответила мать.

Дездемона выдула изо рта большой пузырь жвачки и скосила глаза, чтобы рассмотреть его радужные переливы. Мать насторожилась: не собирается ли Дездемона разродиться новой гениальной идеей?

Огромный пузырь втянулся в широкий рот.

— Тебе нужен мужчина? — удивилась Дездемона. — Тебе? Самой красивой в мире женщине?!

— Вот это-то всех и отпугивает, — вздохнула доктор Легценбрайнс. — А те, кого не отпугивает, как правило — козлы с низким IQ, которые меня не интересуют. Так что я не в лучшем положении, чем ты. Забавно?

— Керлс, Лоренцо и Моуг готовы жениться на тебе в любую секунду, а у них как-никак докторская степень! — пуская слюни, заявила дочь.

— Все они не выше пяти футов, а во мне — шесть и два дюйма. К тому же я не уверена, что они не алкоголики.

— Но они же гении!

— Одно другому не мешает.

— Хватит красивых слов. Мне нужен мужчина! Мне уже двадцать пять!

— У меня есть для тебя мужчина, — вспыхнула мать, — психоаналитик, — и добавила: — В частном санатории высшего класса.

Но на самом деле она не собиралась расставаться с дочерью — гением, выдающим экстраординарные идеи для лаборатории «Наавось». Сама она (несмотря на свой талант) была лишь одаренным аналитиком, а три ее ассистента — талантливыми практиками. Без сумасшедшинки наука не сдвинется с места, и доктор Легценбрайнс очень хорошо это понимала.

Она надела очень узкое, очень соблазнительное платье и вызвала всех троих на совещание.

— Я не могу выйти замуж, прежде чем моя дочь не вступит в брак и не перестанет меня терзать своими сексуальными потребностями и жалобами о невозможности их реализации. Я предложила ей завести любовника. Но она, как вы знаете, немного того и настаивает на сохранении девственности для своего будущего мужа. Итак, каждый из вас, обалдуи, уже не раз просил моей руки...

Доктор Керлс вскочил, затанцевал, прищелкивая пальцами и почти пропел:

— И сейчас попрошу!

Доктор Моуг ткнул его ногой под колено и, прежде чем тот достиг пола, успел еще дважды заехать ему в нос. Керлс, пытаясь встать, врезался головой в поднос с такой силой, что тот погнулся, и, когда доктор наконец встал, на его голове было что-то вроде шлема.

— А ты не перебивай, — погрозил ему пальцем Моуг.

И доктор Легценбрайнс рассказала им, что намерена принять.

Когда она закончила свое предложение, ответом ей стало долгое молчание, которое было нарушено только воплем Дезде-

моны, трудившейся в лаборатории: «Эврика!» При любых других обстоятельствах они бы тут же бросились к дверям, чтобы узнать, какую новую идею она нащупала своей ментальной левой ногой, но...

Но доктор Легценбрайнс картинно откинулась назад, выгнув спину, и, простерев вперед руки, провозгласила:

— Те двое из соискателей, те... ох... которые не женятся на ней, будут допущены по лотерее разыграть мою руку.

Доктор Моуг запустил пальцы в пышную шевелюру Лоренцо и выдернул целую прядь. Лоренцо взвыл, схватившись за голову.

— Чтоб я больше никогда не видел, что ты на нее так смотришь, — фыркнул Моуг. — Это неприлично.

— Благодарю тебя, Моуг, — сказала прекрасная доктор. — Не выношу проявлений откровенной похоти. Особенно от учебного. Это просто непрофессионально.

— Прелесть моя, — так и засиял доктор Моуг.

— Что мне в этом не нравится, — отступая подальше от него, сказал Керлс, — так это то, что проигравший должен будет жениться на Дездемоне.

— Наука требует жертв, — с содроганием ответил Моуг.

— Науке-то это зачем? — удивился Керлс. — Или ты уже ни о чем, кроме науки, думать не способен?

— Я оставляю на ваше усмотрение, джентльмены, решение вопроса о том, кто возляжет на алтарь... то есть пойдет к алтарю с Дездемоной, — подвела итог совещанию доктор Легценбрайнс, снова приняв столь дивную позу, что все трое тихо застонали.

— Пойдемте посмотрим, что там придумала Дездемона.

— Я подумала, — сказала гениальная девушка, — что, когда изо дня в день ешь одно и то же, оно приедается; жуешь, словно опилки. И надо изобрести какой-нибудь новенький деликатес. И тут меня осенило: «Опилки!» Термиты же едят дерево, и только вес набирают. В их желудках содержится протоза — ну, вы знаете, такие крошечные паразиты. Они используют для расщепления целлюлозы в древесине особые ферменты, которые превращают ее в легко усваивающуюся пищу. А мы каждый год выбрасываем тонны опилок и древесной щепы. Так почему это не сохранить для того, чтобы накормить голодных? Если только...

— Если только нам удастся вывести вид протозы, способной жить в человеческих желудках, верно? — воскликнул доктор Лоренцо.

Доктор Моуг двинул его кулаком по лбу, чтобы остудить пыл:

— А как ты заставишь людей есть опилки, идиот?

— А вы сделайте их аппетитными и подайте как деликатес, — ляпнула Дездемона.

— Именно это я и хотел предложить в ответ на мой риторический вопрос, — поспешно добавил Моуг.

— Я бы предпочел, чтобы ты и бил меня только риторикой, — заявил Лоренцо. — А то по-настоящему знаешь — больно.

— Если я перестану тебя бить, ты скажешь, что я тебе больше не уделяю внимания, — ответил Моуг. — Хватит ныть. Пора приниматься за работу.

Так как Дездемона была сумасшедшей, ее не допускали к работе с опасными реактивами и дорогостоящей аппаратурой. Но ей разрешили возиться с оборудованием попроще и безвредными составами, чтобы она решила проблему аппетитности опилок. Но и при этом доктор Керлс следил за каждым ее шагом. Как позже говорил Моуг, это было самоотверженным поступком с его стороны, что не мешало ему называть Керлса собачонкой Дездемоны.

Доктор Керлс держал в руках длинную стеклянную трубку, собираясь присоединить ее к прибору сумасшедшей ученой, как вдруг его окликнул Моу, и он резко обернулся. Трубка врезалась в колбу с гидроцианикацидом, которую Дездемона приготовила для сегодняшнего эксперимента. Результатом был мини-взрыв, от которого доктор Керлс завертелся волчком и остановился, лишь врезав другим концом трубки Лоренцо между глаз, и решение посыпать опилки солью, что в будущем вызовет слезы восторга у гурманов. Гамбургеры из опилок стали любимым блюдом Дездемоны.

Она даже как-то забыла, что ей нужна протоза для расщепления целлюлозы, а вид, способный жить в желудке человека, еще не выведен. Дездемона стала сбавлять вес. Но это имело и отрицательную сторону — она осталась такой же уродиной, если только не стала еще хуже: жир скрадывал ее отнюдь не эстетичное строение скелета.

— В отца пошла, — объясняла доктор Легценбрайнс.

Однажды доктор Керлс чихнул прямо в колбу с протозой, и на следующий же день эти микроскопические существа переработали опилки в белок. Дездемона выпила чашку раствора, содержащего колонию микропаразитов, и снова начала набирать вес, сидя на диете, годной разве что для термитов.

Неделю спустя доктор Лоренцо, обозлившись на доктора Моуга, запустил в него мензуркой с протозой, но тот присел, и она, просвистев над его головой, улетела в двери мужского туалета, откуда как раз выходил Керлс. Доктор Моуг заявил, что беспо-

коиться совершенно не о чем, даже если протоза теперь приживется в городских сточных водах. Проникнуть в питьевую воду ей не удастся. А что, если удастся?

На следующий день снова появился ван Скант и потребовал краткого отчета о работе по борьбе с экологическим загрязнением.

— Эврика! — завопила Дездемона, прерывая отчет. — А что, если в бензин и другое топливо, которое используют в машинах и на заводах, подселить какой-нибудь вирус? Пока не образуется выхлоп, он пассивен. Но затем он активизируется и, вступая в реакцию с газами, приводит их в инертное состояние или же нападает на загрязняющие агенты и разлагает их. Он будет убивать все яды в зародыше. Вирусы станут размножаться под воздействием кислорода, разноситься по воздуху и уничтожать смог повсеместно. А для рек и морей можно вывести водяные вирусы.

Трое докторов обменялись радостными рукопожатиями, а мать одарила дочь сияющей улыбкой.

— Очень мило, — сказал ван Скант. — Но мне хотелось бы услышать о том, что уже сделано, а не будет еще только делаться в вашем виллами по воде писанном будущем.

— Да, конечно, подойдите сюда, — сказал Моуг и подвел федерального инспектора к замысловатому прибору, занимавшему большой стол. — Я и мои коллеги провели немало часов, монтируя этот... как бишь его?.. Он создан для дистилляции субстанции, предназначенной охранять легкие. Она будет выполнять функции фильтра, задерживающего все загрязняющие агенты и пропускающего в легкие чистейший воздух. Нравится?

— Не знаю, — пробурчал ван Скант. — Мне все кажется, что в вашем подходе к решению проблемы есть какая-то ошибка. Но я никак не могу ее уловить.

Моуг предложил ему надеть защитный костюм, и они направились в биологическое отделение. Там он продемонстрировал инспектору мутированных летучих мышей, акул и крылатых козлов.

— Обратите внимание: у козлов нет ног. А значит, для того чтобы перемещаться с места на место, у них нет другого выхода, как летать. А так как они животные немаленьких размеров, им придется интенсивно дышать, чтобы удержаться в воздухе. Таким образом, они будут вдыхать огромное количество смога, а их желудки и легкие специализированы на его переработке. Пролетая, они будут оставлять за собой шлейф чистого воздуха. А что не переработают наши крылатые козлы, то подберут летучие мыши. Или еще кого-нибудь выведем.

— А может, летающие слоны переработают еще больше смога? — усмехнулся ван Сконт.

— Не доводите до абсурда, — отрезал Моуг.

— Нет, не могу уловить, — помотав головой, констатировал инспектор.

Доктор Моуг умолчал, что продемонстрированный им «как-бишь-его» предназначался для того, чтобы сыграть роль рулетки в свадебной лотерее. В трех колбах находилось три химических раствора, пока обесцвеченных. Но по прошествии некоторых реакций они должны были вернуться к исходным цветам: красному, фиолетовому и зеленому. Красный означал Моуга, фиолетовый — Лоренцо, а зеленый — Керлса. Коллектор набум смешивал их с различными реактивами, так что ни один из троих не знал, чья жидкость обретет цвет первой. Все зависело только от случая.

А тот, чей цвет проявится первым, получит руку Дездемоны.

— И да поможет ему Господь поскорей от нее освободиться! — тайно молился Моуг.

Однажды утром крылатые козлы, прогрызая стальные решетки и стеклянные стены, удрали на волю.

Еще несколько дней спустя три доктора и Дездемона обедали в лаборатории. Доктор Легценбрайнс в защитном костюме прошла мимо них, приветственно помахав рукой, в секцию вирусов для проведения очередного эксперимента. Мужчины перестали жевать и сопровождали ее проходку стонами и вздохами.

Секунду спустя в комнату ворвался побагровевший ван Сконт.

— Вы закрыты! — загромыхал он. — Ваши чертовы козлеты на автостоянке сжевали половину моей машины! Это последняя капля! Я от имени государства разрываю с вами все контракты!

Доктора Керлс, Лоренцо и Моуг одновременно вскочили и все втроем стукнулись лбами. Раздался громкий удар, вопли боли, и они одновременно завертелись на месте, сжимая головы руками.

«Как-бишь-его», словно в ответ, громко заверещал, и на нем вспыхнула ярко-оранжевая лампочка.

— Боже мой! — закричал Керлс. — Это свершилось!

— Что? — в один голос воскликнули ван Сконт и Дездемона. Последнее время девушка слегка одеревенела, но сейчас даже она вскочила.

Доктор Керлс, почти теряя сознание, уцепился за Моуга, чтобы не упасть.

Грязно-коричневая жидкость, струившаяся по трубкам «как-бишь-его», стала приобретать явный зеленый оттенок.

Моугу стало настолько жалко коллегу, что он даже не стал его бить, несмотря на то что тот был в его руках.

Доктор Легценбрайнс выскочила из вирусной секции, забыв затворить дверь.

— Что случилось? В чем дело?

— Это величайшее... — начал Моуг, но его прервал мощный взрыв. Лаборатория заполнилась бурым туманом и по полу побегали зеленые струйки.

Когда доктора и Дездемона пришли в себя, дым уже почти рассеялся, и они увидели, что лаборатория превратилась в руины, а в стенах, смежных с биологической и вирусной секциями, зияют дыры.

— Этот зеленый — не в счет! — промямлил Керлс, — Я держал чурики, когда мы клялись признать решение «как-бишь-его».

— Ты либо женишься на Дездемоне, либо... — начал Моуг.

— Либо — что? — прокашлял Керлс.

— Либо — это! — сказал Моуг и обрушил на голову Керлсу колбу с желтым раствором и, схватив горелку Бунзена, подпалил ретирующегося врага с тыла.

Дездемона выплюнула попавший ей в рот зеленый раствор.

— Как странно я себя чувствую-у! — пролепетала она и вышла из лаборатории деревянной походкой.

— С ней все в порядке? — забеспокоился ван Сконт. — Вирус разнесется по всей округе... А только один Господь Бог ведает, что могло сотвориться в вашем «как-бишь-его»!

— Да не будет никакого вреда, — заявил Моуг. — Ставлю свою репутацию ученого!

— Поздно! — пробормотал ван Сконт и, пошатываясь, вышел.

Дездемона с песнями бродила по городу, пока не нашла свободный участок с хорошей почвой. Там она и застыла, вытянув руки по швам, и ее корни, все еще наполювину из плоти, извиваясь, прорвали туфли и вросли в землю.

На четвертый день на ней распустились почки.

На шестой день голубь сначала нагадил на нее, а потом решил свить гнездо на ее ветке. •

Тем временем с сотнями тысяч калифорнийцев стали происходить метаморфозы.

Те, кто прежде загрязняли природу, стали тем, что не способно ничего загрязнить, а наоборот — само превращает углерод в необходимый кислород. «Наавосьники» наткнулись на идеальное решение экологической проблемы.

Лишь одного человека не коснулась метаморфоза — той, на которой в момент взрыва был защитный костюм. И она сняла его только тогда, когда убедилась, что угроза миновала.

Она осталась единственным человеческим существом в мире.

В дверь позвонили. Она вылезла из постели и пошла к парадному входу.

На крыльце стояли три человекоподобных дерева.

— Керлс, Лоренцо и Моуг! — закричала доктор Легценбрайнс.

Каким-то образом они сумели вытащить корни и выследить ее. Любовь способна на все!

Они одновременно попытались войти. Даже если бы они все еще были людьми, и то столкнулись бы в узких дверях; теперь же, когда вместо рук у них были пышные кроны, они не смогли бы пройти даже поодиночке.

Наконец доктор Легценбрайнс отвела их на задний дворик, где они с облегчением вросли. Женщина вернулась в постель, не закрыв окна, что было ее ошибкой. Она проснулась оттого, что две ветви ласкали места, которые она сама определяла как интимные.

Дерево, которое держало ее, остальные два дерева лупили ветвями.

Она потянулась и сорвала с Моуга (она решила, что это он) пару фруктов, и дерево затрепетало. Затем оно расслабило хватку и отпустило женщину.

Остальные продолжали хлестать его ветвями.

Но на следующий день все трое стали недвижны, как и положено деревьям, а их кожа уже полностью покрылась корой.

Наступила весна. Где-то внутри доктора Легценбрайнс что-то шевельнулось.

И тогда она горько пожалела, что отведала плодов Моуга.

ГОЛОС СОНАРА В МОЕМ АППЕНДИКСЕ

Для таких работ, как «Голос сонара в моем аппендиксе», я изобрел специальный полусерьезный термин: «метафорические потусторонние мифы». Иначе говоря, это — запутанная история, очень сильно похожая на вымысел. Такую «громкую» характеристику можно дать произведениям, похожим на сценарии фильмов студии «Братья Маркс» или «Три партнера». Этот рассказ относится к жанру абсурдной, но не лишенной смысла литературы, которую я не прочь почитать, а иногда и пишу.

В «Сонаре» отразились мои первые убеждения и страсти. Я придерживаюсь мнения, что истину можно найти только в себе, хотя, как это ни парадоксально, истина может быть найдена и где-то вовне. Повсюду нас окружают ключи к разгадке тайн, и если найти эти ключи, они откроют Истину.

Разгадать тайны можно и при помощи сумасшедших. Потому что только они бывают по-настоящему честны.

Внутри Барнса мерцал белый свет. Белый, как лампочка светового, не прикрытая красным пластиком.

Снова мерцания. Барнса окружало слишком много всего белого. Стены и потолок лаборатории белели, словно рыбье брюхо. Мраморно-белый пол по цвету напоминал манишку на груди пингвина. Два доктора в белом.

Лишь техник мисс Мбама, несмотря на свой белый халат, была черной. Чтобы не потерять ее из виду, Барнс, не останавливаясь, вращался на крутящемся стуле. Как только он видел

Мбаму, белые вспышки в его мозгу тускнели и становились реже.

Мисс Мбама, молодая высокая негритянка, с копной не испорченных перманентом волос, ассистировала врачам. Судя по чертам лица, в ней смешалась кровь предков из западно-африканских саванн и альпийских лугов Баварии. Мбама была привлекательна и привыкла к восхищенным мужским взглядам. Но взгляд Барнса ее смутил. Всем своим видом она показывала, что так и хочет спросить Барнса, почему тот крутится, не спуская с нее глаз, как флюгер, поворачивающийся за ветром. Но Барнс решил не отвечать ей. Он устал объяснять необъяснимое.

К голове Барнса (одетого лишь в пижамные штаны), над сердцем и в области аппендикса были прилеплены электроды. От электродов к инструментам в дальней части комнаты тянулись провода. В лучевых катодных трубках мерцали непонятные закорючки, точки, волны синусоиды, квадраты и какие-то сложные фигуры.

Один из инструментов пищал: пип, пип. Писк напоминал звуки, которые издавала подводная лодка в телевизионном шоу «Путешествие ко дну моря», плывшая на глубине 50 миль в поисках гигантской живой ревушей редиски.

Словно тень из «Фантастического вояжа» и как спасительная соломинка, похожая субмарина курсировала сейчас в организме Барнса — крошечное судно с сонаром-гидролокатором на борту.

Из прибора, принимавшего сигналы сонара, исходил голос женщины. Язык, на котором она говорила, поставил в тупик величайших лингвистов мира.

Доктор Нейнштейн склонился над Барнсом. Белый халат загородил Барнсу Мбаму, и белый свет вновь ослепительно засверкал в его голове. Между вспышками, однако, он видел достаточно ясно.

— Я не хочу его вырезать, — сказал доктор Нейнштейн. — Мне отвратительна сама идея. Вы видите, как я расстроен? Мне всегда нравится оперировать. Но мы теряем бесплатную возможность, уникальный шанс изучить его. Однако здоровье пациента превыше всего, вроде бы именно так нам говорили в медицинском институте.

Репортер, также одетый во что-то белое (он мечтал стать Марком Твенем XXI века), подошел к Барнсу и просунул микрофон между доктором и пациентом.

— Несколько комментариев, господин Барнс. Каково чувствовать себя последним в мире человеком, у которого есть аппендикс, и лишиться его?

— У меня есть множество других достоинств для того, чтобы стать знаменитым, — прорычал Барнс. — Ты, любитель сенсаций, отвали.

— Спасибо, господин Барнс. Для тех, кто только включил свои приемники, сообщая: мы ведем репортаж из лаборатории доктора Нейнштейна, что в психиатрической клинике Джона Хопкина, подаренной отшельником-филантропом Говардом Хаусом после того, как Нейнштейн сделал ему операцию. Характер операции все еще неизвестен. Но общественное мнение утверждает, что Говард теперь питается исключительно газетами, что его ванная находится в подвале банка и что правительство обеспокоено изобилием фальшивых сто долларовых банкнот, поступающих, по-видимому, из Лас-Вегаса. Но довольно этой пустой болтовни, ребята.

Сегодня мы говорим о господине Барнсе, который, несомненно, самый известный пациент ХХІ века. Для тех, кто по каким-либо невероятным причинам не в курсе дела, сообщу, что господин Барнс является единственным на земле человеком, гены которого все еще несут возможность роста аппендикса. Как вам известно, благодаря генетическому контролю возможность появления бесполезного и часто опасно поражаемого аппендикса тотально исключена уже на протяжении пятидесяти лет. Но по чисто механическому недосмотру...

— ...и из-за пьяного ассистента лаборатории, — добавил Барнс.

— ...он родился с генами...

— Держись подальше, журналистский пес! — прорычал доктор Нейнштейн.

— Шарлатан! Мясник! Вы покушаетесь на свободу прессы!

Доктор Нейнштейн кивнул своему маститому коллеге, доктору Гростету, и тот потянул за рычаг, выступавший из пола за ширмой в дальнем углу. Вопль журналиста, провалившегося в открывшийся люк, нарастал подобно ртути в термометре под мышкой больного малярией.

— Хм. «А» альтиссимо, — сказал доктор Гростет. — Журналистишка лез не в свое дело, но теперь я думаю, он это понял.

Раздался едва различимый всплеск, а затем звук, подобный реву зверски голодных крокодилов.

Доктор Гростет тряхнул головой:

— Опера лишилась прекрасного баритона. Но по сути дела...

— Ничто не должно вмешиваться в развитие медицинской науки, — сказал доктор Нейнштейн. На мгновение мрачные черты его лица разгладились, и он улыбнулся. Но напряжение было слишком велико, и морщины вновь собрались. Он склонился

над Барнсом и приложил стетоскоп к обнаженной коже правой нижней доли живота.

— Должно быть, у вас уже есть теория, объясняющая, почему именно женский голос исходит из сонара, — сказал Барнс.

Нейнштейн ткнул большим пальцем в экран, по которому бегали один за другим значки, похожие на иероглифы.

— Посмотрите на видеоинтерпретацию голоса. Я бы сказал, что внутри этого прибора бегают маленькая древняя египтянка. Или по нему. Мы не можем быть уверены, пока не вырежем аппендикс. Он отказывается выполнять наши команды и не атрофируется. Несомненно, некоторые схемы в данном случае не срабатывают.

— Он отказывается? — изумился Барнс.

— Прошу вас, не одушевляйте силы природы.

Барнс удивленно поднял брови. Перед ним стоял врач, изучавший не только медицинскую литературу. Может, фраза, брошенная врачом, происходила из курса гуманитарных наук, который тот, как хороший врач, вынужден был пройти?

— Я, конечно, не лингвист. Так что не обращайтесь внимания на мою теорию.

Этот доктор к тому же признал, что он не всеведущ.

— А как насчет белых вспышек, которые мелькают у меня в голове? Это уже по вашей части. Я бы сказал, что они отражают мои так называемые идиосинкразические резонансы.

— Ну-ну, господин Барнс. Тут уж вы не специалист. Пожалуйста, никаких теорий.

— Но все эти феномены во мне! И порождаю их я! Кому же как не мне строить теории?

Нейнштейн замурлыкал неузнаваемый и нестройный мотив, от которого Гростет, любитель оперы, содрогнулся. Не отпуская стетоскоп, он хлопнул себя по ноге, тяжело шаркнул по полу, посмотрел на пациента и прислушался к звукам, издаваемым сонаром крохотной крадущейся подводной лодкой.

Барнс заговорил:

— Вам придется отказаться от первоначальной теории, что я — душевнобольной. Все вы слышите голос и видите его интерпретацию. Хотя никто до сих пор не видел вспышек в моей голове. Если, конечно, вы не думаете, что голос — это массовая иллюзия? Или, точнее сказать, галлюцинация.

— Слушайте! — воскликнул доктор Гростет. — Я готов поклясться, что она пропела отрывок из «Аиды»! «Никогда не угасающая, бесконечная любовь!» Но нет. Она говорит не по-итальянски. И я ни слова не понимаю.

Мбама прошла слева от Барнса, и он проводил ее взглядом так далеко, как только мог. Белые пульсирующие вспышки поблекли так же неохотно, как постепенно затихает треск остывающего попкорна, прыгающего по сковородке.

— Мисс Мбама удивительно похожа на королеву Нефертити, не считая, конечно, цвета ее кожи, — сказал Барнс.

— Аида была эфиопкой, а не египтянкой, — сказал доктор Гростет, — запомните это, если не хотите попасть впросак в обществе музыкантов. Кстати, и египтяне, и эфиопы являются кавказцами. По крайней мере в них много кавказской крови.

— Для начала извольте предъявить свою генеалогическую программу. Нельзя точно определить расу, не зная программы, — недобро хмыкнул Барнс.

— Я просто хотел помочь, — ответил Гростет и отошел, нахмурившись, словно доктор Циклоп, у которого болит живот.

В лабораторию зашли двое мужчин. Оба в белом. Один краснокожий, другой азиат. Доктора Большой Медведь и Жвачка. Краснокожий лингвист поздоровался: «Хау!» и прикрепил к животу Барнса крохотный передатчик. Желтокожий лингвист попросил у Нейнштейна тысячу извинений и вежливо отодвинул его в сторону.

Темное, широкое, с большим носом лицо Большого Медведя склонилось над Барнсом, и на мгновение тому почудилось, что Большой Медведь стоит на краю огромной равнины, поросшей высокой желто-коричневой травой. Где-то вдалеке полуголые люди с перьями в волосах скачут на разукрашенных пони, а рядом пасется стадо величественных крутогорбых темных бизонов. Барнсу послышался мужской голос, поющий на непонятном языке; переливистые звуки песни были исполнены грусти.

Постепенно видение растаяло. Вновь зазвучал голос женщины.

Большой Медведь отошел, чтобы поговорить с возмущенным вторжением лингвистов доктором Нейнштейном. Жвачка стоял рядом с Барнсом, который теперь осматривал ландшафт, видимый им словно из иллюминатора взлетающего самолета. Пагоды, рисовые поля, коршуны, летающие над зелеными холмами, пьяный поэт, бредущий по берегу голубого ручья.

Почему в сознании Барнса возникали картинки при виде красного и желтого цветов, но он не видел ничего, когда перед ним были белый и черный? Черный цвет — это отсутствие цветов, а белый — их смесь. Значит, в действительности чернокожие люди бесцветны, а белокожие (наиболее светлые из них) — окрашенные. Но многие люди, считающиеся белыми, на самом деле розовые или коричневые. Хотя некоторые из них абсолютно

белые. А черные — в действительности зачастую не черные, а коричневые.

Все это никак не вязалось с пульсирующими вспышками его резонанса, его внутреннего камертона, который вибрировал сейчас по необъяснимым причинам. Теперь Барнс знал, что между белыми вспышками он должен видеть черные, когда смотрит на мисс Мбаму. Но он не видел ничего такого. Черный цвет во многих системах кодирования используется как сигнал. Как, например, в электрическом контуре, пульсация всплеск может означать «да», или единицу, а отсутствие пульсации может означать «нет», или ноль. Или наоборот, смотря какой код использовать.

Барнс поделился своими размышлениями со Жвачкой. Лингвист попросил его поднять ноги и крепче держаться за вращающийся стул и несколько раз повернул его. Провода опутали Барнса. Затем Жвачка резко крутанул стул в обратную сторону, и провода свободно повисли. Пульсации разных цветов и вспышки меняющихся ландшафтов напугали Барнса. Ему показалось, что из лаборатории он унесся в чуждый, калейдоскопический мир.

Пока стул не перестал крутиться, голос пискляво и беспрерывно бормотал.

Барнс описал свои ощущения Жвачке.

— Возможно, в вашей теории резонансов что-то и есть, — сказал тот. — Слишком мистично, но кое-как можно объяснить определенные феномены. Или можно хотя бы попытаться применить подобную теорию для таких объяснений. Если бы человек знал, как определить, что же на самом деле заставляет его вибрировать, на волны какой длины он настроен, то даже несмотря на все неприятности и неудобства, которые причиняет ему подобный резонанс, ничто не мешало бы ему быть счастливым.

С другой стороны, вы не ощущали этого резонанса, пока не заболели. Что же в этом хорошего для вас или кого-либо другого?

— Мой организм сейчас работает, как телевизионная антенна. Стоит мне повернуться в каком-то направлении, и я ловлю определенную частоту. Иногда я могу принимать только неясные изображения и звук с сильными помехами. Если же меня повернуть в другую сторону, помехи исчезнут, частота станет устойчивой. Хотя вам она может казаться слабой и нечеткой.

Барнс повернулся на стуле, чтобы видеть Мбаму.

— Не поужинаете сегодня со мной, Мбама? — спросил он.

Для Барнса ее имя звучало, как сказал бы поэт, словно шелест листьев древних вязов, как жужжание сонных пчел. В тот

же момент голос женщины, исходивший из сонара, наполнился сладкими интонациями, подобными нежному шуршанию шелка, скользящего по шелку. А иероглифы в лучевых катодных трубках стали изгибаться и пускать друг в друга маленькие стрелы.

— Благодарю за приглашение, — улыбнулась в ответ Мбама. — Вы хороший парень, но боюсь, мой друг не одобрит подобную идею. Кроме того, не забудьте, что вам придется провести недельку в постели.

— Ну, если вам и вашему другу потребуется компания...

— Нет уж, два кавалера сразу — это не для меня.

— Поднимите, пожалуйста, ноги еще раз, — попросил Барнса доктор Нейнштейн. — Закройте глаза. Если какой-то лингвист может вас крутить, то я — тем более. Но я проведу углубленный эксперимент.

Барнс подтянул ноги, закрыл глаза. И открыл их мгновением позже, когда почувствовал, как крутится стул. Но рядом с ним никого не было, и до стула никто даже не дотрагивался.

Выполняя указания Нейнштейна, Мбама шла на расстоянии нескольких футов по кругу, в центре которого сидел Барнс.

Нейнштейн издал сдавленный звук.

— Телекинез, — прошептал Жвачка.

— Попробуйте пойти в обратном направлении, — попросил Барнс Мбаму и закрыл глаза. Стул повернулся.

— Мне даже уже необязательно видеть ее, — сказал Барнс, открывая глаза. Мбама встала. Стул по инерции повернулся, затем возвратился в первоначальное положение и остановился так, что нос Барнса нацелился точно на Мбаму.

— Мне надо пойти поест, — нервно проговорила Мбама и вышла из комнаты. Барнс поднялся, содрал с себя электроды и последовал за ней, подобрав на ходу пижамную рубашку.

— Куда это вы собрались? — закричал вслед ему Нейнштейн. — Ваша операция назначена сразу после ленча. Нашего ленча, а не вашего. Не вздумайте съесть что-нибудь. Или вы хотите еще одну клизму, чтобы освободить верхнюю часть кишечника? Аппендикс может взорваться в любой момент. И не думайте, что если вы не чувствуете боли... Куда вы, черт возьми, идете?

Барнс не ответил. Женский голос и какое-то посвистывание исходили не из сонара, а из самого Барнса. Звуки перекрывали друг друга. Но белые пульсации прекратились.

Мисс Мбама вернулась часом позже. Она выглядела напуганной. Барнс, шатаясь, вошел за ней следом и рухнул на стул. Доктор Нейнштейн приказал ему немедленно пройти в комнату оказания первой помощи.

— Нет, пожалуйста, осмотрите меня прямо здесь, — просто-нак Барнс. — У меня множество ушибов, но самые неприятные болезненные ощущения — в аппендиксе, до которого он даже не дотрагивался.

— Кто это «он»? — спросил Нейнштейн, протирая спиртом ссадину на виске Барнса.

— Приятель мисс Мбамы, здоровый такой мужик. Ай! Что толку было объяснять ему, что я следовал за ней не по своей воле? Что ноги сами меня несли. Что я — человек-радар, посылающий импульсы и получающий в ответ странные видения. А когда я начал рассуждать о психофизических резонансах, он врезал мне в челюсть, и, по-моему, у меня теперь шатаются несколько зубов.

Нейнштейн пощупал живот Барнса, и Барнс содрогнулся от боли.

— Да, кстати, могу сообщить кое-что интересное вам, лингвисты, — сказал он. — Я вижу, о чем говорит голос, если только это на самом деле голос. Друг мисс Мбамы не только чуть не выбил мне зубы. После его удара у меня появилась какая-то нервная связь, которой не было раньше.

— Иногда полезно пнуть неисправный телевизор, — хмыкнул Гростет.

Жвачка и Большой Медведь прилепили электроды к телу Барнса и настроили шкалы нескольких инструментов. Горные пики, долины, рвы, стрелы, сигнальные ракеты забегали по экранам, а затем перестроились и приняли контуры египетских иероглифов.

Барнс принялся описывать визуальные образы, соответствующие словам.

— Ощущение такое, будто археолог с аквалангом плывет по залам дворца или, возможно, по склепу затонувшей Атлантиды. Луч света от фонаря, которым археолог освещает фрески, выхватывает из темноты иероглифы. Один за другим они выплывают из водной толщи и пропадают вновь. Это фигуры, абстрактные, стилизованные птицы и пчелы, человекоживотные, а некоторые символы, нанесенные вперемешку с картинками, похожи на настоящий алфавит.

Большой Медведь и Жвачка согласились, что так называемый голос фактически представляет собой последовательность высокочастотных сигналов сонара. Крохотный сонар циркулирует в организме Барнса и посылает сигналы, отражающие впадины и выпуклости стен червеобразного аппендикса.

Проходили часы. Лингвисты корпели над звуками и визуальными символами. Все поели сандвичей с кофе, кроме Барнса, которому не досталось ничего, и доктора Гростета, попивавшего

хлебный спирт. Трижды Нейнштейн говорил по телефону: два раза — о том, что операцию следует перенести, и еще раз — чтобы объяснить звонившему сердитому редактору, что понятия не имеет, куда запропастился его репортер.

Внезапно Большой Медведь прокричал:

— Эврика! — Затем: — *Champollion! Ventris!*

Он высоко поднял лист бумаги, испещренный фонетическими символами, кодами иероглифов и восклицательными знаками.

— Вот иероглиф, означающий слово «это», следующий иероглиф означает дефис, а вот этот — «тайна», да, скорее всего так. Ну-ка, давайте посмотрим. ЭТО — ТАЙНА... ВСЕЛЕННОЙ? КОСМОСА? ОТЦА НЕБЕСНОГО? ЭТО — СЛОВО, ОБЪЯСНЯЮЩЕЕ ВСЕ. ЧИТАЙ ЖЕ, ЧИТАТЕЛЬ, МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК, ЭТО — СЛОВО...

— Не бойся, старик. Назови это слово! — прошептал Жвачка.

— Это все, что там есть, — пробормотал Барнс и застонал. — Остались только брешь, трещина... разложение. Слово пропало. Его поглотила инфекция.

Барнс согнулся, схватившись за живот.

— Нужно немедленно оперировать! — сказал Нейнштейн.

— Схема Мак-Берни или разрез правой прямой мышцы? — спросил доктор Гростет.

— И то и другое! Это последняя операция по удалению аппендиксита! Устроим двойное представление! Все ли гости заняли свои места в партере? Готовы ли телевизионные команды? Что ж, доктор Гростет, давайте резанем!

Барнс проснулся через два часа. Он лежал в постели в лаборатории. Рядом стояли Мбама и две нянечки.

Голос и пищание исчезли. Пропали и пульсация, и видения. Рядом прошла Мбама, самая обычная привлекательная чернокожая девушка.

Нейнштейн распрямился, оторвавшись от микроскопа.

— Сонар — всего лишь машина. Нет там никакой египетской королевы, ни снаружи, ни внутри.

— Надрез ткани обнажает множество микроскопичных извилин и небольших выпуклостей на внутренних стенках аппендикса. Но нет ничего похожего на иероглифы. Хотя, конечно, разложение проникло так глубоко вовнутрь... — сказал Гростет.

Барнс застонал и пробормотал:

— Я носил в себе секрет Вселенной. Или по крайней мере ключ к нему. Вся мою жизнь это знание было во мне. Если бы мы спохватились хоть на день раньше, то знали бы ВСЕ.

— Мы не должны были удалять этот аппендикс! — прокричал доктор Гростет. — Сам Господь Бог пытался нам что-то сказать!

— Ну-ну, доктор. Что-то вы чересчур эмоциональны. — Доктор Нейнштейн взял стакан с мочой со стола мисс Мбамы и выпил его содержимое. — Фу! В этом кофе слишком много сахара, Мбама. Дорогой доктор, ничто не должно расстраивать людей, выбравших столь древнюю и почтенную профессию врача — за исключением неоплаченных счетов за работу. Давайте лучше применим бритву Оккама.

Гростет пощупал свою щеку:

— Что?

— Мы столкнулись с обычным совпадением. Неровности аппендикса Барнса отражали импульсы сонара таким образом, что казалось, будто иероглифы и женский голос соответствуют друг другу. Весьма невероятное, но все же возможное совпадение.

— А вы не думаете, — сказал Барнс, — что в прошлом аппендиксы начинали воспаляться, чтобы показать, что сообщения уже созрели? И если бы врачи знали это и проверяли, они бы увидели...

— О, мой дорогой мистер, не говорите этого. Увидели бы Слово? Действие анестезии еще не прошло. Кроме того, жизнь — это не научно-фантастический рассказ, в конце которого все всесторонне и исчерпывающе объясняется. Даже у нас, медиков, есть свои маленькие нераскрытые тайны.

— Значит, я самый обычный больной, и все?

— Лезвие Оккама, дорогой мой мистер. Отбрасывайте все лишнее, пока у вас останется одно простейшее объяснение, режьте, пока не увидите обнаженную кость. Это прекрасно. Старику Оккаму следовало бы быть врачом, если он изобрел такой прекрасный философский метод.

Барнс посмотрел на мисс Мбаму, которая, пошатываясь, вышла из лаборатории.

— У человека целых две почки. Почему же только один аппендикс?

ВУЛКАН

«Вулкан» — один из моих рассказов, написанных от лица вымышленного автора. Понятие «вымышленный автор» я разъяснил в предисловии к новелле «Призрак канализационной трубы». Первоначально история эта была подписана именем Поля Шопена. А кто он такой — объясняется в приводимом ниже вступительном слове редактора.

Бедя повествование от имени Шопена, я создал образ частного детектива, калеки Кертиса Перри (обратите внимание на начальные буквы имени в английском написании: Paul Chapin и Curtius Parry). И представил, что все главные герои Шопена имеют какие-либо физические недостатки.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

Хотя биография Поля Шопена никогда не публиковалась, очень многие знают этого человека и его работы. Наиболее исчерпывающая характеристика Шопена приводится во втором томе биографии великого детектива Ниро Вульфа, «Союз испуганных людей». Нам известно, что Поль Шопен родился в 1891 году, что уже с юношеских лет он относился ко всему, что окружало его в этом мире, с иронией и сарказмом и что в результате таинственного несчастного случая в Гарварде он остался калекой на всю оставшуюся жизнь. Критики считают, что это событие в значительной мере повлияло на его литературные труды, которые можно назвать гимнами грубой красоте насилия. Первая новелла Шопена была опубликована в 1929 году; наиболее известны «Железная пята» (театрализованная на Бродвее) и «К черту

всех отстающих». Последняя из них стала бестселлером в 1934 году, возможно, из-за огласки, вызванной запретом на продажу этой книги во время судебного разбирательства. Суд ссылался на непристойности, употребляемые в тексте, которые сегодня бы показались совершенно безобидными. В то же время Шопена подозревали в убийстве, но его невиновность была доказана Вульфом. Шопен отблагодарил Вульфа за это, введя его в свой следующий рассказ под именем Нестора Вейла, которого по ходу действия убивают самым ужасным образом. «Вулкан», как и все рассказы Шопена, повествует об убийстве, жестокости, психическом и физическом насилии. Но этот рассказ отличается тем, что в нем меньше риторики, чем в других его рассказах, а потому, возможно, это лишь фантазия автора, хотя мы не можем быть в этом уверены.

1

Легче было поверить в существование привидений, чем в появление вулкана на кукурузном поле Кэтскилс.

Частный детектив Кертис Перри верил в существование вулкана, потому что газетам и радиостанциям незачем было лгать. Дополнительным доказательством этого послужило письмо друга Перри, репортера «Глоуб» Эдварда Мэлоуна. Сидя на заднем сиденье лимузина, катившего по черным холмам округа Грин, Кертис держал в руках письмо, которое Мэлоун послал ему два дня назад.

Письмо было написано от имени Бонни Хевик и датировано первым апреля 1935 года.

Уважаемый г-н Перри!

Мне удалось поговорить несколько минут наедине с г-ном Мэлоуном, так чтобы мой папа и братья не слышали, о чем мы говорим. Он обещал, что пошлет вам от меня записку, если мне удастся незаметно ее передать. И вот я пишу вам. У меня мало времени, я пишу это письмо в погребе, все думают, что я спустилась сюда за грушевым джемом. Господин Перри, пожалуйста, помогите мне. Я не могу обратиться к шерифу: он тупой как баран. Все говорят, что Ван сбежал, после того как мой отец и братья зверски его избили. Я так не думаю; мне кажется они сделали с ним что-то плохое. Я никому не могу рассказать про Вана, потому что все ненавидят меня. Ван мексиканец. Пожалуйста, приезжайте! Мне так страшно!

В сопроводительной записке Мэлоуна было указано, что Ва-на зовут Хуан Тизок. Несколько лет назад он, вероятно, нелегально приехал из Мексики, скитался по стране, нищенствовал или батрачил на фермах. По последним сведениям, этот парень нанялся на работу к Хевикам на три месяца, спал в маленькой комнатке на чердаке их амбара. Мэлоун попытался заглянуть в амбар, но дверь была заперта на висячий замок. Когда Мэлоун спросил о Тизоке шерифа Хьюсмана, тот предположил, что Тизока вспугнул вулкан.

Имя Тизок, думал Перри, не испанское. Оно скорее всего мексиканское, возможно, он ацтек и, несомненно, представитель южномексиканской народности науатль. Мэлоун передал Перри описание Тизока, записанное со слов Бонни: невысокий и коренастый, с характерными чертами науатль, острым носом с широкими ноздрями, слегка выдающимися вперед крупными зубами и широким ртом. Как говорила Бонни, когда Хуан улыбался, его лицо светлело, будто темное небо при вспышке молнии.

Бонни страшно его любила. А Тизок, вероятно, был попросту сумасшедшим, путаясь с белой девушкой в отдаленном округе Кэтскилс. Всего три года назад в десяти милях от деревни был убит негр, путешествовавший автостопом, убит только за то, что ехал на переднем сиденье рядом с белой женщиной, которая согласилась его подвезти.

Мэлоун приложил к записке Бонни небольшое письмо и предварительный отчет геологов с места происшествия.

Отец и братья обращаются с девушкой очень жестоко. Мать помыкала ею, но, как вам известно, четыре дня назад она погибла от удара камнем, выброшенным из вулкана. Лицо Бонни пересекает ужасный шрам. Как говорят местные сплетники, это след от раскаленной кочерги, которой замахнулся на нее отец. А я видел на ее руках несколько довольно свежих синяков.

С другой стороны, деревенские парни поговаривают, что именно Бонни заставила «это» действовать. Они ссылаются на странное явление, которое якобы произошло в имении Хевиков, когда Бонни исполнилось одиннадцать. В доме и амбаре внезапно и беспричинно появилось пламя. В этом посчитали виновной Бонни. Ее побили и заперли в подвале, и через год возгорания прекратились. Так рассказывают жители деревни.

Кэтскилсские любители посплетничать утверждают, что у Бонни опять началось «это». Совершенно очевидно, они считают, что Бонни физически ответственна за вулкан,

что она наделена странными силами. Некоторые заезжие чудачки, гости из городка Гринвич, Лос-Анджелеса и других далеких от здравомыслия населенных пунктов тоже придерживаются этой теории. Это все, конечно, чушь собачья, но будь готов к возможным безумным разговорам и непредсказуемым действиям.

Отчет геологов был составлен через два дня после того, как на поле появилась трещина и оттуда стала извергаться раскаленная белая лава и повалил пар. Отчет предназначался для общественности, но разрешение на его огласку должен был дать губернатор. А он, конечно же, не хотел публиковать сведения, которые могли повергнуть в панику население лежащего к югу Нью-Йорка. Мэлоун стянул (то есть украл) копию этого материала.

В начале отчета сообщалось, что земли Кэтскилса не вулканического происхождения. Преобладают породы осадочного типа, обширные пласты песчаника и конгломератов. Ниже песчаника залегают сланцы.

Но по необъяснимым причинам песчаник и сланец были настолько нагреты какой-то неистовой силой, что хлынули раскаленный добела потоком и были извергнуты из кратера, открывшегося на поле. Куски песчаника, расплавленные до полужидкого состояния, были разбросаны по всему полю. Главной движущей силой этого процесса являлся пар, вода атмосферного происхождения, взорвавшаяся под залегавшими породами и вытолкнувшая их наружу.

Исследовав газы и золу, выброшенные из конуса вулкана, геологи остались в недоумении. Согласно результатам анализа вулканических газов, собранных на Гаваях в Килауэа в 1919 году, химический состав должен выглядеть приблизительно следующим образом: 70,75 процента воды, 14,07 процента углекислого газа, 0,40 процента угарного газа, 0,33 процента водорода, 5,45 процента азота, 0,18 процента аргона, 6,40 процента сернистого газа, сернистый ангидрид — 1,92 процента, 0,10 процента серы и 0,05 процента хлора.

Состав же газов из вулкана Хевиков, рассчитанный на сто единиц веса, выглядел так: кислород — 65 единиц, углерод — 18, водород — 10,5, азот — 3,0, кальций — 1,5, фосфор — 0,9, калий — 0,4, сера — 0,3, хлор — 0,15, натрий — 0,15, магний — 0,05, железо — 0,006, прочие элементы, содержащиеся в незначительных количествах, — 0,004 единицы. В выбрасываемом из вулкана паре, составлявшем основную часть газов, во взвешенном состоянии находились частички хлорида натрия (сто-

ловая соль) и бикарбоната натрия. В составе газов присутствовало также довольно много углекислого газа и частичек пепла.

Температура песчаной лавы, вытекавшей из жерла вулкана, составляла 710 градусов.

Перри, нахмурившись, прочитал список три раза. После этого он опустил бумагу, улыбнулся и сказал:

— Ха!

— Что? — переспросил шофер.

— Ничего, Сетон, — ответил Перри и пробормотал: — Геологи так близки к разгадке, что не видят ее, хотя все так просто. Но, конечно же, этого не может быть! Просто-напросто это невозможно!

2

Лимузин въехал в Рузвиль чуть позже часа дня. Городок был очень похож на другие отдаленные сельскохозяйственные центры юго-восточных районов штата Нью-Йорк. Рузвиль напомнил Перри деревню Индиана, в которой он вырос, только здесь было немного почище и не так убого. Он зашел на заправочную станцию, где ему объяснили, как добраться до пансиона миссис Дорн. Привлеченные вулканом посетители заняли все комнаты в пансионе, но Мэлоуну удалось снять для Перри и себя двухместный номер. Сетону пришлось спать на раскладушке в подвальном помещении. Хозяйка пансиона, миссис Дорн, проявила явный интерес к высокому статному незнакомцу из Манхэттена. Пустой левый рукав его пиджака не только не смутил, а заинтриговал ее. Извинившись за свою прямолинейность, она спросила, не потерял ли Перри руку на войне, и заметила, что ее муж умер недавно от последствий ранения, которое получил в Сант-Михеле.

— Я тоже был ранен, — сказал Перри. — В Белли Вуде. — Он не добавил, что его руку изорвали две пули сорок пятого калибра, выпущенные из ружья какого-то пьянчужки четыре года назад в кабачке Бавери.

Несколько минут спустя Сетон и Перри уже ехали на восток по гравийной дороге, ведущей к черной вершине в центре города. Дорога извивалась, словно змея, голова которой находилась в пасти волка. Она бежала вверх и вниз по холмам, густо поросшим хвойными и лиственными деревьями, пролегалa вдоль глубокого каменистого ущелья, каких много было в Кэтскилсе.

«Много лет назад насилие создало ущелья», — подумал Перри. Но это насилие исходило из геологической структуры местности. Насилие, неожиданно и неестественным образом,

породило и вулкан. Наличие вулкана в Кэтскилсе было так же необъяснимо, как вымирание динозавров.

Обогнув небольшую рощу, лимузин выскочил на сравнительно плоскую площадку. В четверти мили дальше по дороге находилась ферма Хевиков: большое двухэтажное деревянное здание, выкрашенное белой краской, и большой красный сарай. За сараем виднелась струйка белого пара, смешанного с темными частичками.

Лимузин остановился в конце длинного ряда машин, припаркованных левым колесом на гравии, а правым на мягкой и грязной обочине. Перри и Сетон вылезли из машины и пошли вдоль обочины к белому частоколу, огораживающему двор фермы. Из-за ограды, глянув поверх голов людей, стоявших у стены сарая, Перри увидел широкое поле. В центре его виднелся усеченный конус около десяти футов в высоту. Искривленные и красноватые края конуса непреодолимо напоминали рану, которая время от времени подсыхала, а затем кровоточила снова и снова. Мощная струя пара вырвалась из вулкана, вслед за этим на стенках кратера появился отблеск, а минутой позже стало ясно, что это блестело. Из черного жерла поползла раскаленная добела лава. Поднимающийся из недр расплавленный песчаник растекался вокруг, наращивая края кратера.

Перри показалось, что почва под ногами слегка сотрясается через неравные промежутки времени, словно под землей глухо стучит гигантское умирающее сердце. Должно быть, это ему только померещилось, так как ученые сообщили об отсутствии ожидаемой сейсмической активности. Но люди, толпившиеся во дворе и на поле, тревожно смотрели друг на друга. Глаза их были широко раскрыты, слышались нервные покашливания, шарканье отступающих назад ног. Волна беспокойства пробежала по толпе, что-то напугало всех этих собравшихся здесь людей.

Дверь машины окружного шерифа, припаркованной около ворот, открылась, из нее вылез шериф Хьюсман и вперевалку направился к Перри. Невысокий и очень толстый, он напоминал пузырь с жиром, куривший дешевые вонючие сигары. Узкие красные глазки на багровом лице шерифа с ненавистью уставились на вновь прибывших. Он скорее похож не на пузырь, наполненный жиром, думал Перри, а на сосуд с кровью, который вот-вот взорвется.

Тонкие губы на толстом лице шевельнулись:

— У вас тут дела, мистер?

Перри посмотрел на толпу. Некоторые из собравшихся, очевидно, были репортерами или учеными. Но большинство — просто местные жители, глазевшие на происходящее. Шериф, од-

нако, не собиравшись настраивать против себя потенциальных избирателей.

— Нет, если только вы не назовете делом любопытство, — ответил Перри. Он не хотел представляться, поскольку ему было легче действовать, не находясь под присмотром закона городка Рузвиль.

— Ладно, можете заходить, — проворчал Хьюсман. — Но это обойдется вам в доллар с носа.

— Доллар?

— Да. У Хевиков сейчас тяжелые времена, сгорела их силосная башня, старая леди Хевик убита камнем из вулкана всего четыре дня назад, а вокруг топчутся люди, нарушая их уединение и путаясь под ногами. Им надо как-то устроить свою жизнь.

Перри указал на Сетона, тот дал шерифу два доллара, и они прошли через ворота. Пробравшись сквозь толпу на скотном дворе, они миновали команду программы новостей Пате и остановились на краю поля. Из-за недавних проливных дождей поле совсем раскисло. Все сорняки были выжжены маленькими и большими «бомбами» лавы, вылетающими из вулкана. Они лежали повсюду, около нескольких сотен штук. Вылетая из вулкана, эти полужидкие камни имели сферическую форму, но от удара о землю расплющивались. Как заметил Сетон, от этого поле было похоже на пастбище, на котором паслись каменные коровы.

Лава прекратила течь и по мере остывания приобрела красноватый оттенок. Перри обернулся и посмотрел на сарай-развалюху, испещренный черными пятнами. Несколько камней, очевидно, попали в заднюю стенку дома, так как почти все окна были забиты досками, кроме нескольких, защищенных нависшей над крыльцом крышей.

Из-за угла сарая появился человек. Улыбаясь и протягивая руку, он шагнул навстречу Перри.

— Сукин сын, Керш! — радостно воскликнул он. — Я не очень-то надеялся, что ты приедешь! Ведь твой клиент ничего не может тебе заплатить!

3

— Одно дело в год я расследую бесплатно. Но в данном случае я бы еще и сам приплатил своему клиенту, — пожимая руку Мэлоуна и усмехаясь, ответил Перри.

— Я обнаружил кое-что, о чем еще не успел сообщить. — Эд Мэлоун поздоровался с Сетоном и продолжил: — Местные жители полагают, что вулкан — это лишь стихийное бедствие,

но к тому же они думают, что Господь привел вулкан в действие, чтобы наказать Хевиков. Их не очень-то любят здесь. Хевики держатся обособленно, редко ходят в церковь, неряшливы и вечно пьяны. Кроме того, деревенским жителям не нравится, как Хевики обращаются с Бонни, хотя все в деревне считают ее странноватой.

— А о Тизоке есть какие-нибудь новости?

— Никто его не видел. Хотя, конечно, его и не искали. Бонни ничего не сказала шерифу, поскольку боялась, что он проболтается кому-нибудь из Хевиков, а пострадает от этого она сама. Сегодня Бонни попытается удрать из дома, чтобы увидеться с вами, но...

Звук, подобный взрыву нескольких динамитных шашек, заставил Перри и Мэлоуна обернуться к вулкану. Сотни людей закричали одновременно — раскаленный добела предмет летел прямо в толпу. Они побежали в разные стороны, вопя от ужаса; позади раздался страшный грохот. Когда люди наконец остановились и обернулись, то увидели дыру в задней стенке амбара и валяющий оттуда дым.

Раздался крик: «Пожар!» Вместе с другими Перри подбежал к дверям амбара и заглянул внутрь. Раскаленный камень угодил прямо в ворох сена у задней стены. Стены и сено полыхали. Пламя быстро распространялось по направлению к стойлу, в котором стояли четыре лошади. Они становились на дыбы, испуганно лягая стены стойла. В загоне в передней части амбара в ужасе визжали свиньи.

Пока сбежавшийся народ тщетно пытался спасти амбар, Перри удалось рассмотреть Хевиков. Пожар заставил всех их выйти из дома. Генри Хевик, высокий и очень худой мужчина лет пятидесяти семи, лысый, со сломанным носом, выдающимися вперед зубами и толстыми губами. Его нос картошкой был испещрен красными прожилками — следами неумеренного потребления виски. Подойдя поближе к Перри, Хевик обдал его тяжелым запахом алкоголя и гнилых зубов. Сыновья Хевика, Родмен и Альберт, выглядели точь-в-точь как их отец двадцать лет назад. Через двадцать лет, а то и меньше, носы их станут такими же синюшными, а зубы такими же гнилыми, как у отца.

Во время всеобщего замешательства Бонни незаметно выскользнула из толпы и, делая вид, что озабочена пожаром в амбаре, стала искать Перри. Увидев Мэлоуна, Бонни подошла к нему, а тот указал на Перри. Ей был всего двадцать один год, но из-за глубоких морщин на лице, широкого шрама, прочертившего левую часть лица, и растянутого, оборванного полосатого джемпера выглядела Бонни гораздо старше. Ее русые во-

лосы можно было бы назвать красивыми, не будь они так расстрепаны. Вообще-то, думал Перри, если эту девушку помыть, накрасить и приодеть, она была бы красива. В тусклых голубых глазах Бонни светилось что-то дикое и тревожное.

Из сарая валил дым. Задыхаясь, кашляя и чертыхаясь, люди выводили лошадей и выгоняли свиней, другие же выстроились в цепочку и передавали друг другу ведра с водой. Телефона у Хевиков не было, и шериф в спешке уехал, чтобы вызвать пожарную команду из Рузвилля. Перри указал на Мэлоуна, и Бонни последовала за ним к другой стороне дома. Конечно, не мешало бы поставить Сетона на часах, но шофер затерялся среди клубов дыма и бурлящей толпы.

— Для предисловий нет ни времени, ни необходимости, — сказал Перри. — Расскажи мне о Хуане Тизоке, Бонни. Ведь это все из-за него, да?

— Вы угадали, господин Перри, — ответила Бонни. — Да, все случилось из-за него. Когда отец впервые нанял Хуана, я не обратила на него внимания. Он был маленького роста, смуглый, как индеец, говорил со смешным акцентом. К тому же он хромал. Хуан говорил, что в детстве его сбила машина, которую гнал американский турист, и после этого он уже не мог ходить, не хромя. Иногда Хуан сильно переживал из-за этого, но в моем присутствии в основном смеялся и шутил. Именно поэтому он начал мне нравиться. Знаете, до того как появился Хуан, у нас дома редко можно было услышать смех. Не знаю, как это ему удавалось, я видела его довольно редко, но с ним время шло быстрее и легче. В темноте моей жизни забрезжил какой-то свет, пусть и не очень яркий. Мама и отец загружали Хуана работой, он трудился не покладая рук, но они никогда не были довольны, оскорбляли Хуана, кричали на него, плохо кормили. И все-таки он находил для меня время...

— Если с ним так плохо обращались, почему он просто-напросто не ушел?

— Он влюбился в меня, — сказала Бонни, отворачиваясь.

— А ты?

— Я любила его, — она прошептала так тихо, что Перри едва ее расслышал. Потом застонала и сказала: — А теперь он сбежал, бросил меня! — Она перевела дыхание. — Но я не могу поверить, что он меня бросил!

— Почему?

— Я скажу вам почему! Мы оба знали о чувствах друг друга, хотя ни один из нас и словом об этом не обмолвился. Но это было ясно и без слов. Думаю, если бы я была мексиканкой, он давно бы уже все мне сказал, но Хуан понимал, что в Рузвиле

он все равно что ниггер. А я, я любила его, но стыдилась своего чувства. В то же время я удивлялась, как это мужчина, пусть даже мексиканец, может меня любить. — Она дотронулась до шрама на щеке.

— Продолжай, — попросил Перри.

— Как-то раз я подсыпала лошадям овес, и вдруг в амбар зашел Хуан — по какому-то делу, а может, и просто так, теперь я уже никогда этого не узнаю. Он огляделся, увидел, что кроме меня никого нет, и подошел прямо ко мне. Я знала, что он намеревается делать, и бросилась прямо ему в объятия, а он начал меня целовать. А между поцелуями он шептал о том, как ненавидит всех гринго, особенно мою семью, и что хотел бы, чтобы все эти проклятые гринго сгорели в аду, кроме меня, конечно, ведь он так меня любил, а потом...

Родмен Хевик случайно проходил мимо двери амбара и увидел Бонни с Тизоком. Он позвал братьев и отца, и все вместе они набросились на мексиканца. Тизок сбил Родмена с ног, но отец и Альберт повалили его и начали бить и пинать. Из дома прибежала мать Бонни, и с помощью Родмена они затащили Бонни в дом, затолкали в подвал и заперли.

— И больше я его не видела, — сказала Бонни сквозь слезы. — Отец сказал, что вышвырнет Тизока с фермы и прикончит его, если он не уберется из нашего городка. Отец ужасно избил меня тогда. Сказал, что следовало бы меня вообще убить; не пристало приличной белой женщине якшаться с проходимцем. Но я такая уродина и была счастлива, что хотя бы проходимец обратил на меня внимание.

— За что отец так ненавидит тебя? — спросил Перри.

— Не знаю. — Бонни вдруг зарыдала. — Жаль только, что у меня не хватило смелости покончить с собой!

— Я помогу тебе в этом! — проревел кто-то.

4

Весь перемазанный сажей, Генри Хевик, сощутив глаза и сжав зубы, бросился на свою дочь.

— Ты, сука! — заорал он. — Я приказал тебе не выходить из дома!

Перри встал между Хевиком и Бонни.

— Если ты хоть пальцем ее тронешь, я тут же засажу тебя в тюрьму.

Хевик остановился, но кулаки не разжал.

— Не знаю, кто ты такой, ты, однорукий болван, но лучше убайся куда подальше. Ты вмешиваешься в отношения отца и дочери!

— Она уже совершеннолетняя и может делать то, что сама посчитает нужным, — сквозь зубы проговорил Перри, не спуская с Хевика глаз. — Бонни, одно твое слово, и я увезу тебя в город! И не обращай внимания на его угрозы. Он ничего не может тебе сделать, пока у тебя есть защитники. Или свидетели.

— Да ему плевать, останусь я здесь или уеду, — всхлипнула Бонни. — А я боюсь уезжать! Я не знаю, как там жить и что делать!

Перри посмотрел на нее с жалостью и некоторым отвращением. И в конце концов сказал:

— Бонни, послушай, неизвестное зло для тебя гораздо лучше известного. У тебя достаточно здравого смысла, чтобы понять это. И ты достаточно смелая и мужественная, чтобы послушаться голоса разума.

— Но если я уеду отсюда, — рыдала она, — никто так и не позаботится о Хуане!

— Что?! — заорал Хевик и замахнулся на Перри, хотя сначала вроде бы намеревался побить дочь.

Перри перехватил руку Хевика и пнул его по колену. В тот же момент Мэлоун нанес фермеру удар в солнечное сплетение. Схватившись за колено и лоя ртом воздух, Хевик повалился на землю. Мгновение спустя из-за угла дома подошли сыновья, за которыми следовал шериф Хьюсман. Шериф рывкнул, приказывая не двигаться, и все застыли на месте. Только Хевик катался по полу от боли.

Все присутствующие заговорили одновременно, и Хьюсман, сначала попытавшийся что-либо понять, заорал, требуя тишины. Он попросил Бонни рассказать, что случилось. Выслушав ее, он сказал:

— Так вы, Перри, частный сыщик? Но у вас нет лицензии на занятие практикой в нашем округе.

— Да, — согласился Перри, — но в данной ситуации у меня не было другого выхода. Я представляю интересы мисс Хевик, — правда ведь, Бонни? — и мисс Хевик хочет покинуть ферму. Ей больше двадцати одного года, поэтому она вольна сделать это. А господин Хевик набросился на нас — у меня есть два свидетеля, которые могут подтвердить это, — и если он не успокоится, я обвиню его в ...

— Это моя собственность! — прорычал Хевик. — А с тобой, грязный французишка...

Перри взял Бонни за локоть и сказал:

— Пошли. Мы придем за твоими вещами позднее.

Сыновья посмотрели на отца. Хьюсман нахмурился и уставился на горящий кончик своей сигары. Перри знал, о чем

думает шериф. Хьюсман прекрасно понимал, что Бонни не выходила за рамки своих прав. К тому же за ним наблюдал репортер из Нью-Йорка. Что же он мог поделаться, даже если бы захотел как-то повлиять на создавшуюся ситуацию?

— Ты заплатишь за это, неблагодарная свинья, — сказал Хевик. Но при этом не сделал и шага, чтобы помешать дочери уйти. Вся дрожь, двигаясь только потому, что Перри подталкивал и направлял ее, Бонни вышла со двора и пошла в сторону лимузина.

5

Перри лег спать в десять, но слишком устал и не мог заснуть сразу. События, произошедшие у Хевиков, взбудоражили его, но то, что случилось позднее, истощило его энергию еще больше и заставило сильно понервничать. Шериф привел Перри в ярость. Выслушав историю Бонни, он открыто выразил презрение и отказался допросить Хевиков или обыскать их дом. Откровенно говоря, он думал, что избиение Тизока было действием, достойным аплодисментов. И заявил, что для расследования исчезновения Тизока недостаточно улики. Правда шерифа касательно последнего вопроса бесила Перри еще больше.

После продолжительного заседания в помещении тюрьмы Перри снял для Бонни комнату в пансионе миссис Амстер. Затем они отправились за покупками в небольшой магазин, приобрели одежду для Бонни и привезли покупки в пансион. Там Бонни приняла ванну, оделась и нарядилась, наложив при этом косметики гораздо больше, чем считала приличным. Затем в сопровождении Сетона и Перри она отправилась в ресторан. Завсегдатаи ресторана шушукались за спиной Бонни, в открытую с любопытством рассматривали ее, некоторые были настроены весьма враждебно. К тому времени как сопровождавшие Бонни решили, что пора уходить, девушка была в слезах.

После ресторана они погуляли по городу, и Бонни подробно рассказала о своей жизни в семействе Хевиков. Перри был закаленным и мужественным человеком, но людские мучения и трагедии каждый раз трогали его сердце. Подобно морю, волны которого бьются о плотину, страдания людей находили слабое место и проникали ему в самую душу. Перри не мог оставаться равнодушным к судьбе Бонни, похожей на судьбы миллионов мужчин, женщин и детей, страдающих от несправедливости, жестокости, недостатка любви. И сердце его обливалось кровью за всех этих несчастных.

Перри долго не мог уснуть, поскольку чувствовал себя словно огромная морская раковина, наполненная мучительным гро-

хотом волн океана страданий. В конце концов он задремал, но лишь на какое-то мгновение, после чего его, полуошеломленно, разбудил стук в дверь. Он включил свет и по пути к двери споткнулся о дышащего испарениями виски Мэлоуна, который при этом даже не проснулся. Дверь распахнулась, на пороге стояли хозяйки пансиона миссис Дорн и миссис Амстер. Остатки сна как ветром сдуло. До того еще, как миссис Амстер, заикаясь, начала рассказывать, Перри догадался, что случилось.

Несколько минут спустя, хлопнув дверью, он выбежал в тусклую ночь спящего Рузвилья и кинулся к дому Хьюсмана, который находился всего в квартале от тюрьмы. Разбуженного от хмельного сна шерифа совершенно не обрадовала необходимость вылезать из постели посреди ночи. Тем не менее он быстро оделся и вместе с Перри вышел к машине.

— Хорошо, что у вас хватило ума не ходить туда одному, — сказал он заплетающимся спросонья языком. — Старик Хевик запросто мог бы прострелить вам задницу, заявив, что вы вторглись в его частные владения. Честно говоря, я не уверен, что Бонни не пошла с отцом добровольно.

— Может быть, и так, — сказал Перри, усаживаясь на переднее сиденье. — Есть только один способ выяснить это. Но если Хевик принудил Бонни поехать с ним, его можно обвинить в похищении собственной дочери. Миссис Амстер сказала, что, проснувшись, увидела, как Хевик и его сыновья заталкивали Бонни в машину. До этого никакого шума не было.

Не включая мигалок и сирены, Хьюсман ехал так быстро, как только позволяла извилистая гравийная дорога. На повороте к дому Хевиков он выключил фары. Хотя в этом не было необходимости — сияние от текущей лавы и выбрасываемых камней ярко освещало дом.

— Похоже, что вулкан скоро взорвется! — испуганно проговорил шериф. — Никогда раньше он не светился так ярко!

Хьюсман и Перри закричали одновременно. В темноте ночи крупное яркое белое пятно оторвалось от конуса вулкана и полетело в сторону дома. Затем оно скрылось за крышей, и мгновение спустя на месте его падения вспыхнуло пламя.

Хьюсман резко затормозил. Раздался визг шин, машина остановилась, и Перри с шерифом выскочили из нее. Ослепительно блестящий вулкан и языки пламени на крыше осветили дом. В тот же момент показалась Бонни, в порванном платье, с перекошенным лицом, сбегавшая по ступенькам крыльца по направлению к ним. Она что-то кричала, но свист пара, гул вылетающих камней и крики бегущих за ней отца и братьев заглушали ее слова.

— У Хевика дробовик! — заорал Перри Хьюсману.

Хьюсман, чертыхаясь, остановился и расстегнул ремешок кобуры. Хевик сбежал по ступенькам во двор и остановился, чтобы направить двуствольное ружье на Бонни.

Перри закричал что было сил, чтобы она бросилась на землю. И хотя Бонни не могла его слышать, она тяжело плюхнулась прямо в грязь. Осветив двор, из-за дома вылетел еще один раскаленный светящийся шар, и Перри увидел, что Бонни упала на небольшой камень, который уже остыл и стал тускло-красным.

Дважды прогремело ружье Хевика, дробинки воткнулись в землю у ног Перри.

Хьюсман тоже бросился на землю и в этот момент неловко уронил пистолет.

И тут Перри понял, где закончится белая траектория летящего камня, и закричал. Позднее он спрашивал себя, почему он пытался спасти человека, который хотел убить собственную дочь и, несомненно, попытался бы убить его самого. Единственное, что он смог придумать в его оправдание, — что он обычный человек, а поступки людей, несмотря на обстоятельства, не всегда поддаются логическому объяснению.

Раздался глухой звук, Хевик упал, полужидкий камень шлепнулся рядом с его раздробленной головой. Запах горячей плоти и волос разнесся над двором.

Родмен и Альберт Хевики, в ужасе крича, бежали к отцу. Этим временем воспользовался шериф. Он нашарил свой револьвер и, поднимаясь, приказал братьям бросить винтовки. Они хотели подчиниться, но вдруг повернулись в сторону камней, падающих прямо за их спинами. Неправильно расценив их действия, шериф дважды выстрелил, и этого было достаточно.

6

Кертис Перри устроил Бонни Хевик домработницей в семье Вестчестер и поговорил со специалистом по пластической хирургии о возможности удаления ее шрама. Сделав для нее все возможное, он наслаждался покоем в своей квартире, на Сорок пятой западной улице. На столике перед Перри стояла бутылка отличного виски. Эд Мэлоун, сидя в огромном удобном кресле около Перри, держал в одной руке бокал, а в другой — сигарету.

Первым заговорил Мэлоун:

— Насколько я понимаю, Тизока уже не найти. Что ж, по крайней мере ты спас Бонни от смерти. Воспетая поэтами справедливость восторжествовала — Бонни избавлена от своего ужасного семейства.

— Да, конечно, они мертвы, — подняв густые брови, промолвил Перри, — но в сознании Бонни они все еще живы и все еще мучают ее и издеваются над ней. И еще долгое время Хевики будут продолжать свое черное дело. А что касается их смерти, на самом ли деле мы увидели пример торжества пресловутой справедливости? Знаешь, если я изложу тебе свою теорию о том, что на самом деле случилось с Хуаном Тизоком, ты решишь, что я совсем рехнулся.

— Керш, расскажи, пожалуйста, — попросил Мэлоун. — Обещаю, что не буду смеяться или считать тебя сумасшедшим.

— Прошу тебя только, никому не рассказывай об этом. Никогда. Кэтскилс расположен на невулканических землях, зато Мексика — да...

— Ну? — произнес Мэлоун после долгой паузы.

— Давай рассмотрим теорию, о которой поговаривали жители Рузвилья. Они рассказывали о внезапных вспышках огня в доме Хевика, когда Бонни было одиннадцать, намекая при этом, что Бонни каким-то образом связана с вулканом. Но они не знали, что в каждом якобы достоверном случае так называемого саламандризма этот феномен всегда исчезает, когда несчастное дитя достигает половой зрелости. То есть Бонни тут ни при чем.

— Я рад, что ты так считаешь, Керш, — сказал Мэлоун. — Я боялся, что твоя теория основана на каких-нибудь сверхъестественных силах.

— Сверхъестественные силы — всего лишь термин, который используют для объяснения необъяснимого. Нет, Эд, не Бонни нагревала песчаник почти у поверхности земли, и не она вскрыла поле, чтобы раскаленная белая лава изверглась на Хевиков. Это сделал Тизок.

Коктейль Мэлоуна пролился на пол.

— Тизок? — зачарованно спросил Эд.

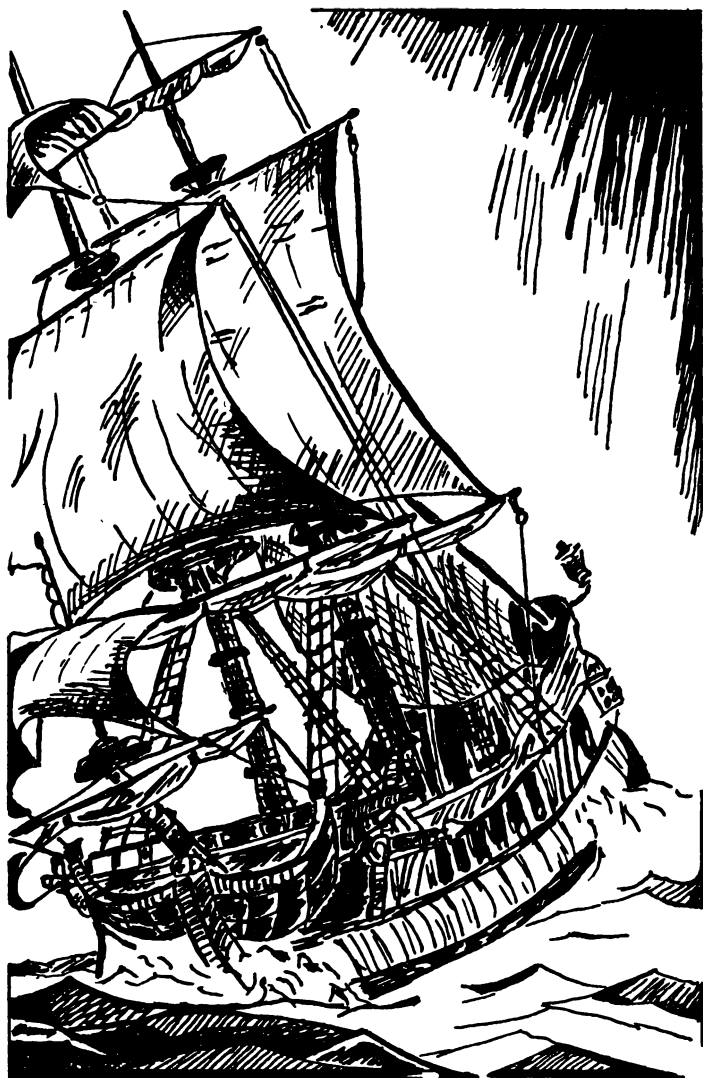
— Да. Хевики убили его, убили жестоко, в бешеной ярости, — я уверен в этом. Они выкопали могилу в центре поля, зарыли Тизока и забросали место преступления грязью. Они надеялись, что корни растений разрушат тело Тизока, а могила его быстро зарастет. Это было самое уместное решение. Но Хевики не знали, что впервые кукурузу стали культивировать в древней Мексике. И что Мексика к тому же — страна вулканов. И человек, пусть даже мертвый, проявил себя в духе мексиканской земли, на которой он вырос. Проявил при помощи самых доступных для него материалов и методов.

Хевики не знали, что ненависть Тизока была так велика, его желание отомстить было так огромно, что они пылали в нем даже после смерти. Он горел ненавистью, его душа пульсировала жестокостью, хотя сердце перестало биться. И песчаник

превратился в магму со всей яростью его ненависти и жаждой отмщения...

— Хватит, Керш! — прокричал Мэлоун. — Я обещал не считать тебя сумасшедшим, но...

— Да, я понимаю, — ответил Перри. — Но выслушай до конца, Эд, а затем, если можешь, предложи теорию получше. Ты видел отчет геологов о составе и относительных пропорциях газов и золы, выбрасываемых из вулкана. Они совершенно не такие, как у остальных, до сих пор известных вулканов. — Перри отпил виски и опустил стакан. — Извергнутые из вулкана элементы и их пропорции в точности соответствуют химическому составу человеческого тела.



ТОТЕМ И ТАБУ

ЧЕЛОВЕК НА ЗАДВОРКАХ

— Сегодня утром к нам заходил человек из дурдома, — произнесла Гамми. — Пока ты удила рыбу. — Она выронила из рук обрывок проволоочной сетки, который пыталась с помощью веревки приладить к заржавленной сетке на окне, чтобы прикрыть в ней дыру. Кряхтя, словно свинья в луже, и чертыхаясь, Гамми нагнулась, подняла его и, распрямляясь, со злостью шлепнула себя по голому плечу. — Чертова мошकारа! Их там, за окном, поди, миллион, все норовят убраться от горящего мусора.

— Из дурдома? — переспросила Дина. Она отвернулась от обшарпанной керосиновой плиты, на которой жарила порезанную ломтиками картошку, окуная и зубаток, выловленных в реке Иллинойс в полумиле отсюда.

— Ну да! — буркнула Гамми. — Ты же слышала, как говорил Старина. Желтый дом. Психушка. Ну так вот... Того малого из дурдома звали Джон Элкинс. Он еще давал Старине все эти тесты, когда того упрятали в сумасшедший дом. Такой тощий паренек с усиками, который никогда не смотрит тебе в глаза и ухмыляется, что твой скунс, жующий рубашку. Тот самый малый, что отнял у Старины его шляпу и не отдавал до тех пор, пока Старина не посулился быть пайнкой. Ну, теперь припоминаешь?

Высокая и худая Дина, одетая лишь в купальный халат из белой махровой ткани, была похожа на удивленную и строгую голову, насаженную на пик. На побледневшей коже резче обозначилось огромное родимое пятно, захватившее своим уродливым багрянцем щеку и шею.

— Его хотят снова забрать в больницу штата? — спросила она.

Гамми, разглядывая себя в большом, во весь рост, треснувшем зеркале, прибитом к стене, рассмеялась, обнажив оба своих зуба. Ее песочного цвета курчавые волосы были коротко острижены. Маленькие голубые глазки глубоко сидели под сводами выступающих надбровных дуг, а на кончике носа, очень длинного и чрезвычайно широкого, красовалась бугристая, в прожилках, шишка. Подбородка у нее не было вовсе, и голова, выдаваясь верхней частью вперед, формой походила на никогда не разгибающийся крюк. Из одежды на Гамми была лишь грязная, бывшая некогда белой комбинация, доходившая ей до распухших коленей. Когда она засмеялась, ее огромные груди, покоившиеся на объемистом животе, заколыхались, словно чаша хорошо сбитой сметаны. Судя по выражению ее лица, она осталась довольна тем, что увидела в разбитом зеркале. Гамми снова засмеялась.

— Вот еще, у них и в мыслях не было тащить его отсюда. Элкинс только хотел познакомить Старину с той цыпочкой, что была с ним. Смазливая брюнеточка с большущими карими глазами и в самых что ни на есть толстенных очках. Ни дать ни взять студенточка, да так оно и есть. Эта цыпочка доучилась до бакалавра медицины — или что-то в этом роде — по сексологии...

— Психологии?

— А может, по обществологии...

— Социологии?

— Хм-м. Может быть. Во всяком случае, эта четырехглазая цыпочка занимается наблюдениями для какого-то там фонда. Она хочет побродить со Стариной вместе, посмотреть, как он собирает свой хлам, по каким переулкам расхаживает, какие у него, э-э, характерные привычки, хочет разузнать, как он воспитывался...

— Старина никогда не пойдет на это! — вспыхнула Дина. — Ты ведь знаешь, ему претит сама мысль о том, чтобы за ним наблюдал Ненастоящий!

— Хм-м. Может быть. Во всяком случае, я сказала им, что Старине навряд ли понравятся их посещения из пустого любопытства, а они мне этак поспешно отвечают, что придут, дескать, не из любопытства, но ради науки. И что они заплатят ему за беспокойство. У них есть субсидия от фонда. Тогда я сказала, что это меняет дело и Старина, может стать, посмотрит на их посещения по-другому. Они потом вышли из дома...

— Ты *впустила* их в дом? А ты спрятала клетку для птиц?

— А чего ее прятать? Там же не было его шляпы.

Дина отвернулась, снова занявшись жаркой рыбы, но через плечо бросила:

— Не думаю, что Старина согласится с этой затеей. Она довольно унизительна.

— Ты что, смеешься? Кто это унижает Старину? Змеинное брюхо, поди. Как пить дать, согласится. Уж он-то разберется с этой четырехглазой цыпочкой, будь уверена.

— Не глупи, — сказала Дина. — Он просто грязный и вонючий старик без одной руки, уродливее которого нет никого в мире.

— Это уж точно, уродства ему не занимать. А пахнет от него, как от козла, который брякнулся в отхожее место. Но его запах возбуждает их. Он возбудил меня, он возбудил тебя, он возбудил целую прорву других, включая ту дамочку из высшего общества, у которой он собирал всякий утиль...

— Замолчи! — выпалила Дина. — Эта девушка, должно быть, очень утонченная и смышленная. Скорее всего она будет смотреть на Старину как на представителя обезьяньей породы.

— Да уж, в обезьянах ты разбираешься, — сказала Гамми и, подойдя к подержанному холодильнику, вынула из него кварту холодного пива.

Шестью квартами пива позже Старина все еще не вернулся. Рыба остыла и покрылась жирным налетом, а на небе вошла огромная июльская луна. Дина, похожая на длинную и тощую грязно-белую бездомную кошку, боязливо-настороженно бредущую по забору на заднем дворе, расхаживала по лачуге взад и вперед. Гамми, сгорбившись над бутылкой, сидела на скамейке, сколоченной из ящиков. Наконец она, пошатываясь, встала и включила старенький приемник, но, услышав вдалеке треск и стукотню разболтанного мотора, выключила его.

Прямо за дверью грохот и хлопки переросли в рев. Внезапно послышались мощные хриплые выдохи, как будто в кашле зашелся старый заржавленный робот с двусторонним воспалением своих железных легких. Затем все стихло.

Но ненадолго. Обе женщины, застыв в оцепенении, с опаской прислушивались. И пока они так стояли, они услышали голос, подобный раскатам отдаленного грома.

— Не волнуйся, детка.

Ему ответил другой голос — тихий, сонный и невнятный.

— Где... мы?

— Дом, милый дом, где мы славно отдохнем, — ответил громоподобный голос.

И снова яростный кашель.

— Это все дым от горящего мусора, детка. Тут и червяк блевать начнет, а? Во, ты глянь-глянь! Дым-то подымается прямо к лунной тарелке, как будто это призраки ужас до чего прогнивших людей. Таких, что даже их души забирают с собой гниль и разложение. Э, да ты, небось, и не знала, цыпленок, что Старина знает такие длинные слова, как разложение, а? Вот что значит жить на городской свалке! Я все время слышу это слово от больших шишек, которые приходят сюда и принохиваются к здешнему зловонию, чтобы отдохнуть от зловония Ратуши. Я не безграмотный. У меня вон и телевизор есть. Кха, кха, кха!

За дверью снова стало тихо, и женщины знали, что Старина сейчас, сгибая колени, отклоняется туловищем назад, чтобы взглянуть на небо.

— Ах, прекрасная, прекрасная луна, невеста Старого Друга В Небесной Выси! Настанет день, тара-тарапень, чудесный день, и я клянусь, Старушка Матерь Старого Друга В Небесной Выси, что если ты поможешь мне найти давно утерянный наголовник Короля Пейли, который мы с моими предками искали пятьдесят тысяч лет, то Старина Пейли расстелет для тебя по всей земле свежепролитую кровь девственницы Ненастоящих, чтоб ты могла улечься на нее, как на красный ковер или новое красное платье, и завернуться в него. И тогда при виде меня ты не станешь морщить свой прекрасный сияющий нос и плевать в меня своим серебристым плевком. Старина обещает твердо, и его слово верно, как и то, что своей здоровой рукой он держит дочь одного из Ненастоящих — девственницу, надеюсь, — и ведет ее в свое жилище, пусть даже и скромное, и мы увидим...

— Вдрызг пьяный, — прошептала Гамми.

— О Боже, он привел сюда девушку! — воскликнула Дина. — Ту самую!

— Не ту ли детку из колледжа?

— Вот же старый идиот! Он что, хочет, чтобы его линчевали?

— Эй вы, бабы, — взревел человек за дверью, — пошевеливайтесь, толстозадые, живо открывайте дверь, пока я не вышиб ее! Старина возвернулся домой с пригоршней долларов, с полным брюхом пива, а на плече — спящая овечка! Возвернулся, как герой-победитель, и как герой требует, естес-сно, чтоб ему прислуживали!

Сбросив внезапное оцепенение, Дина открыла дверь. Шаркая ногами, из темноты в свет ступило нечто настолько приземистое и массивное, что казалось скорее стволом ожившего дерева, нежели человеком. Ствол остановился, и тусклые глаза

под громадной черной фетровой шляпой пьяно заморгали. Даже большая шляпа не могла скрыть необычно удлиненную форму черепа, похожего на буханку хлеба. Лоб был ненормально низким, над глазами далеко вперед выдавались надбровные дуги. Брови на них представляли из себя пучки щетины вроде испанского бородатого мха, и впадины, в которых скрывались маленькие голубые глаза, казались от этого даже более похожими на пещеры. Его чрезвычайно длинный и широкий нос книзу, к ноздрям, расширялся еще больше. Губы были тонкими, но из-за выступающих вперед челюстей выпячивались. Подбородок у него отсутствовал, а голова плавно переходила в плечи почти без всякого намека на шею. Во всяком случае, так казалось. Из открытого ворота рубашки торчал целый лес крутых завитков ржаво-рыжих волос.

Через плечо была переброшена тонкая фигурка молодой женщины, поддерживаемая широкой и узловатой, словно корень дуба, ладонью.

Еле волоча ноги, Старина прошел в комнату. Он шел довольно странной походкой — на полусогнутых в коленях ногах и подворачивая ступни, обутые в ботинки из кожзаменителя, вовнутрь, так что опирался он на внешний край толстых подошв. Он вдруг снова остановился, втянул ноздрями воздух и улыбнулся, обнажая крепкие желтые зубы, созданные природой для того, чтобы кусать.

— Черт, пахнет совсем недурно. Забывает аж вонь от старого мусора. Гамми! Ты что, попрыскалась теми духами, что я нашел на куче отбросов в городских кварталах?

Гамми, хихикая, застенчиво потупилась.

— Не будь дурой, Гамми, — резко проговорила Дина. — Он же пытается умаслить тебя, чтобы ты позабыла, что он притащил домой эту девчушку.

Хрипло рассмеявшись, Старина Пейли опустил похрапывавшую девушку на походную кровать. Та растянулась на ней во весь рост, и юбка ее задралась. Гамми хохотнула, но Дина поспешно одернула юбку и сняла с девушки очки в толстой оправе.

— Боже, — произнесла она, — как же это случилось? Что ты собираешься с ней делать?

— Ничего, — проворчал Старина, неожиданно поугрюмев.

Он достал из холодильника кварту пива, вцепился в крышку зубами — крепкими и щербатыми, словно древние надгробные камни, — и сорвал ее. И вот бутылка уже вверх дном, колени его подогнулись, туловище откинулось, и янтарная жидкость потекла вниз — буль, буль, буль. Старина рыгнул, затем заорал во все горло:

— Хожу я себе там, хожу, Старина Пейли, занимаюсь своим дерьмовым делом, пакую всякие там газеты да журналы, какие я понаходил, и тут на тебе — прикатывает голубой форд-седан пятьдесят один с Элкинсом, этим тупицей докторишкой из дурдома. А с ним еще эта четырехглазая цыпочка, Дороти Сингер. И...

— Да, — сказала Дина. — Нам известно, кто они такие, но мы не знали, что они ищут тебя.

— Кто тебя спрашивал? Кто рассказывал об этом? Во всяком случае, они сказали мне, чего хотят. И только я собрался сказать «нет», как эта девчонка из колледжа говорит, что если я подпишу бумагу, по которой ей разрешается таскаться со мной повсюду и даже пару вечеров посидеть у нас дома, то она заплатит мне пятьдесят долларов. И я говорю «да»! Старый Друг В Небесной Выси! Это же сто пятьдесят кварт пива! У меня есть принципы, но бурный пенистый поток пива размывает их подчистую.

Я говорю «да», и смазливая поросюшка сует мне бумаженцию на подпись, потом дает задатку десять баксов и говорит, что остальное я получу через семь дней. В моем кармане — десять долларов! Так что залезает она в кабину моего грузовичка. А потом этот чертов Элкинс оставляет свой «форд» и говорит; он считает, будто обязан поехать с нами, чтобы проверить, что все будет в порядке.

Но Старину не проведешь. Парень приударяет за Маленькой Мисс Четырехглазой. Всякий раз, как он глядит на нее, любовный ток так и брызжет из его глаз. Значит, собираю я разный хлам часа так два и все время чешу языком. Сначала-то она меня пугалась, потому как я чертовски уродливый и диковинный. Но скоро она уже покатывалась со смеху. А потом притормаживаю я в переулке, с тылу, у Кабачка Джека, что на Эймс-стрит. Она спрашивает меня, что я делаю. Я говорю, что остановился выпить пивка и что делаю это каждый день. А она говорит, что ей тоже не помешает одна бутылочка. Так что...

— Ты в самом деле заходил туда вместе с ней? — спросила Дина.

— Нет. Я было попытался, но меня вдруг стало всего трясти. И я сказал ей, что не могу идти. Она спрашивает почему. Я отвечаю, что не знаю. Не могу с тех пор, как вышел из дитячьего возраста. Тогда она говорит, что у меня... что-то вроде какого-то цветка — что бы это могло быть?

— Невроз? — подсказала Дина.

— Ну да. Только я называю это табу. Так что Элкинс с девчонкой заходят к Джеку одни, покупают там коробку с шестью холодненькими бутылками, и мы отчаливаем...

— Ну и?

— Ну и ходим мы так из кабака в кабак, и все с черного хода, с переулочного, а ей так даже занятно. Говорит, что закладывать в задних комнатах кабаков куда как забавнее. Потом у меня начинается все двоиться, и мне уже на все плевать, и я перестаю трястись от страха, тогда мы заходим в Круговой Бар. И там даем взбучку одному деревенщине с гор в кожаной куртке и с баками, что околачивается там и норовит увести четырехглазую цыпочку к себе домой.

Обе женщины ахнули:

— И пришли полицейские?

— Если они и пришли, то чересчур припозднились. Хватаю я того деревенщину одной рукой — самой сильной в мире — и швыряю его прямо через всю комнату. А когда ко мне подбираются его дружки, я бью себя в грудь, как чертова горилла, и корчу им зверскую рожу, и они все вдруг накладывают в штаны и уходят снова слушать свою дурацкую горную музыку. А я подхватываю цыпочку — а она хохочет так, что вовсе заходится, — за мной Элкинс, белый как простыня только что из прачечной, и мы уходим, и вот мы здесь.

— Здесь, здесь, дурак ты, вот кто! — закричала Дина. — Это же надо, притащить сюда девочку в таком состоянии! Да она с перепугу завизжит, когда проснется и увидит тебя!

— Посуди сама! — фыркнул Пейли. — Она меня только поначалу испугалась и все норовила встать с подветренной от меня стороны. А потом я ей понравился. Я бы так выразился. И уж до того я ей понравился, что ей полюбился и мой запах. Я знал, что так будет. Разве не все девчонки такие? Эти Ненастоящие бабы не могут отказать, если хоть раз учуют наш запах. У нас, Пейли, есть такой дар в крови.

Дина рассмеялась.

— Ты, наверное, хочешь сказать, что он у тебя в голове, — сказала она. — По чести говоря, когда ты наконец перестанешь пичкать меня своими бреднями? Ты — ненормальный!

Пейли зарычал:

— Я ведь велел тебе никогда не называть меня психом, никогда! — И он ударил ее по щеке.

Отшатнувшись, она сильно ударилась о стену. Держась за лицо, Дина закричала:

— Уродливая и безмозглая вонючая обезьяна, ты ударил меня, дочь народа, чью обувь ты не достоин даже лизать! Ты ударил меня!

— Ну да, и можно подумать, ты не рада этому, — произнес Пейли голосом удовлетворенного землетрясения. Он скользнул к кровати и положил руку на спящую девушку. — У-у, сразу чувствуется. Упругонькая такая, а вы обе — дряблые мешки.

— Животное! — взвизгнула Дина. — Пользуешься беспомощностью девочки!

Словно одичавшая бездомная кошка, она подскочила к нему, растопырив пальцы с острыми коготками.

Хрипло посмеиваясь, Пейли схватил ее за одно запястье и вывернул его так, что она упала на колени и с силой сжала зубы, чтобы не закричать от боли. Гамми хихикнула и протянула Старине кварту пива. Чтобы взять ее, ему пришлось отпустить Дину. Та встала, и все трое как ни в чем не бывало уселись за стол и стали пить.

Незадолго до рассвета девушку разбудило чье-то грубое рычание. Она открыла глаза, но смогла различить лишь смутные, искаженные очертания троих человек. Она пошарила руками вокруг в поисках очков, но найти их не удалось.

Старина, чье рычание стряхнуло ее с высокого древа сна, снова басисто заворчал:

— А я говорю тебе, Дина, говорю тебе, не смейся над Старинной, не смейся над Старинной, и еще раз говорю тебе, и еще трижды, не смейся над Старинной!

Его невероятный бас взлетел до пронзительного крика ярости.

— Что стряслось с твоими куриными мозгами? Я тебя могу забросать доказательствами, а ты будешь сидеть там в своей глупости, как бестолковая курица, которая всей тяжестью плюхается на свои яйца и раздавливает их, но продолжает насиживать и не признает, что сидит на месиве. Я... я... Пейли, Старина Пейли, могу доказать, что я — тот, о ком я говорю, я — Настоящий.

Неожиданно он подвинул через весь стол свою руку.

— Пощупай кости на моей руке до локтя. Вот эти две кости не такие прямые и изящные, как у вас, Ненастоящих Людей. Они толстые, как флагштоки, и выгнуты, как спины двух котов, которые шипят над рыбьей головой и нагоняют друг на друга страху на крышке мусорного ящика. Эти кости устроены так, чтобы впрямь быть крепкими подпорками для моих мышц, а уж они-то поздоровее будут, чем у Ненастоящих. Давай-давай, щупай их!

А теперь глянь на бровные выступы. Они все равно как вершушки тех очков в оправе, что носят все ихние антеллигенты. Смахивают на очки, что носит эта цыпочка из колледжа.

И пощупай мой череп. По форме он не шар, как у тебя, а как буханка хлеба.

— Зачерствевшего хлеба! — усмехнулась Дина. — Насквозь твердого, как камень.

— Пощупай мои шейные кости, — продолжал реветь Старина, — если только у тебя достанет сил прощупать их через мои мышцы! Они изогнуты вперед, чтобы не...

— О, мне известно, что ты обезьяна. Ты не можешь просто так задрать голову и посмотреть, птичка на тебя капнула или дождинка, чтобы не сломать себе хребет.

— Черта с два обезьяна! Я — Настоящий Человек! А ты пощупай мою кость на пятке! Разве она похожа на твою? Нет, не похожа! У нее совсем другое строение, да и вся ступня другая!

— Так поэтому тебе с Гамми и всем вашим чадам приходится ходить, как шимпанзе?

— Смейся, смейся, смейся!

— Я и смеюсь, смеюсь, смеюсь. Ведь только из-за того, что ты — каприз природы, чудовище, чьи кости еще в утробе матери стали расти неправильно, ты придумал фантастический миф о своем происхождении от неандертальцев...

— Неандертальцев! — прошептала Дороти Сингер. Вокруг нее кружились стены, казавшиеся в полумраке изломанными и призрачными, будто в чистилище.

— ...Вся эта чушь об утерянной шляпе Старины Короля, — продолжала Дина, — что если ты когда-нибудь отыщешь ее, то сможешь разрушить чары, которые держат так называемых неандертальцев на свалке и в переулках, просто вранье, отбросы из помойки, причем не слишком аппетитные...

— Ох, гляди, — закричал Пейли, — напрашиваешься на хорошую взбучку!

— Вот-вот, этого ей как раз не хватает, — пробормотала Гамми. — Давай поколоти ее. Она, небось, тогда поутихнет со своими шуточками, перестанет дразнить тебя. И ты тогда сможешь малость соснуть. А еще ты хотел разбудить цыпку.

— Эта цыпка у меня так проснется, как отродясь не просыпалась, когда Старина полапает ее, — прогромыхал Пейли. — Дружище В Небесной Выси, разве нет тут чего-то такого, отчего ей надо было встретиться со мной и быть в этом доме? Не похоже, чтоб она собиралась так легко рвануть от меня, и это так же верно, как и то, что старая рубаха воняет.

— Эй, Гамми, она, поди, и ребятенка займет для меня, а? У нас уже лет десять как не было тут соплюшки. Я вроде как скучаю по моим ребятенкам. Ты родила мне шестерых, и все они были Настоящими, хотя я никогда не был уверен насчет того Джимми, уж больно он смахивал на О'Брайена. А теперь ты вся иссякла. Ты теперь такая же пустая, какой всегда была Дина, но ты все еще в состоянии вынянчить их. Как ты

насчет того, чтобы вынянчить ребятенка от цыпочки из колледжа?

Гамми крикнула и опрокинула в себя пиво из кофейной кружки с обитыми краями.

— Не знаю, — пробормотала она, громко рыгнув. — Ты еще полоумнее, чем я думала, если думаешь, что эта смазливая маленькая мисс Четырехглазка будет что-то иметь с тобой. А если она даже и тронется умом настолько, чтобы заниматься этими глупостями, то что за жизнь ожидает ее ребенка? Быть выращенным на мусорной куче? Да еще при старых, уродливых мамаше и папаше? Вырасти в уродину, с которым никто не захочет иметь дело, и вдобавок с таким странным запахом, что все собаки будут кусать его?

Она вдруг зарыдала.

— На свалке вынуждены жить не только неандертальцы. Здесь вынуждены жить калеки и больные, и глупые, и чокнутые. И они становятся неандертальцами — ну совсем как мы, Настоящие Люди. И не отличишь, не отличишь. Мы все — бесполезные, поганые уроды. Мы все — неандер...

Старина ударил кулаком по столу.

— Никогда не обзывай меня такими прозвищами вроде этого! Нас, Пейли, — Настоящих Людей, — так обзывает только *Гьяга*. Чтоб я никогда больше не слышал от тебя такого прозвища! Оно означает не человека, оно означает что-то вроде первой-классной гориллы.

— А ты не смотришь в зеркало! — взвизгнула Дина.

Троица продолжала вести разговор — с пререканиями, язвительными насмешками, переходящими на крик, — но Дороти Сингер закрыла глаза и снова уснула.

Некоторое время спустя она проснулась. Она села, нашла свои очки на столике подле нее, надела их и огляделась вокруг.

Дороти находилась в просторной лачуге, выстроенной из обрезков древесины. В ней было две комнаты, около десяти квадратных метров каждая. В углу одной из комнат стояла большая керосиновая плита. На огромной сковороде с длинной ручкой жарился бекон. От плиты в помещении было жарко. Ее очки быстро запотели, а на лбу выступили капельки пота, стекавшие вниз.

Выверев очки и лоб носовым платком, она принялась изучать обстановку лачуги. В основном она оказалась именно такой, какую она и ожидала увидеть, но три вещи удивили ее. Книжный шкаф, фотография на стене и клетка для птиц.

Книжный шкаф, из какого-то темного дерева и сильно поцарапанный, был высоким и узким. Он был битком забит книжеч-

ками комиксов, Синими книгами* и неисчерпаемым запасом книг, некоторые из которых, по ее предположениям, насчитывали по меньшей мере лет двадцать. Среди них находились книги, чьи рваные корешки и разводы от воды на обложках свидетельствовали о том, что их подобрали на мусорных кучах. «Аллан и ледяные боги» Хаггарда, «Очерки по истории» Уэллса, том I, и его же «Игрок в крокет». А также «Гог и Магог», «Возвещение Армагеддона» преподобного Галеба Г. Хэрриса, «Тарзан Грозный» и «В сердце Земли» Берроуза. «После Адама» Джека Лондона.

На фотографии, висевшей на стене в рамочке, была очень похожая на Дину женщина, которую, очевидно, сфотографировали примерно в 1890 году. Фотография была довольно большой, в коричневатых тонах, и изображала миловидную женщину аристократической внешности примерно тридцати пяти лет, в бархатном платье с высоким лифом и небольшим декольте. Ее волосы были стянуты назад в строгий узел на затылке. На груди сверкала бриллиантовая брошь.

Самым странным предметом была большая клетка для попугаев. Она стояла на высокой подставке, из основания которой торчали гвозди для прибивания клетки к полу. Сама клетка пустовала, но дверца была заперта длинным и узким велосипедным замком.

Хлопотавшие у плиты обе женщины, обратившись к ней, прервали ее размышления о клетке.

— Доброе утро, мисс Сингер, — произнесла Дина, — как вы себя чувствуете?

— Какой-то индеец зарыл в моей голове топор войны, — пожаловалась Дороти. — И во рту совсем пересохло. Вы не могли бы дать мне попить, пожалуйста?

Дина достала из холодильника кувшин и налила в оловянную кружку холодной воды.

— У нас нет водопровода. Нам приходится ходить за водой на заправочную станцию — туда, по дороге — и нести ее в ведре.

На лице Дороти отразилось сомнение, но она закрыла глаза и выпила.

— Мне кажется, меня сейчас стошнит, — сказала Дороти. — Извините.

— Я тебя отведу в уборную, — предложила Дина и, обхватив девушку за плечи, подняла ее с удивительной силой.

* Синяя книга — сборник официальных документов, парламентские стенограммы и т. п.

— На воздухе мне станет лучше, — слабо проговорила Дороти.

— О, я понимаю, — сказала Дина. — Это все запах. Рыба, дешевые духи Гамми, пот Старины, пиво. Я и забыла, как он на меня саму подействовал впервые. Но на улице не лучше.

Дороти не ответила, но, ступив за порог, пробормотала:

— О-о!

— Да, знаю, — сказала Дина. — Отвратительно, но от этого не умирают...

Через десять минут Дина и бледная, еле державшаяся на ногах Дороти вышли из ветхой убогой.

Они вернулись в лачугу, и Дороти впервые заметила, что на сиденье грузовичка лицом вверх лежит, вытянувшись во весь рост, Элкинс. Его голова свисала над краем сиденья, и над его открытым ртом жужжали мухи.

— Это ужасно, — сказала Дина. — Он здорово разозлится, когда проснется и обнаружит, где находится. Он такой почтенный мужчина.

— Пусть этот негодяй проспится, — проронила Дороти. Она вошла в лачугу, и минутой спустя в комнату протопал Пейли, опережаемый волной запахов несвежего пива и весьма необычного пота.

— Как здоровычко? — прорычал он таким низким тембром, что у нее позади на шее стали дыбом волосы.

— Заболела. Думаю, что пойду домой.

— Ну конечно. На-ка попробуй малость опохмелиться.

Он протянул ей полупустую пинту виски. Дороти неохотно проглотила большую дозу спиртного, поспешно запив ее холодной водой. Преодолев краткий миг отвращения, она почувствовала себя лучше и приняла еще одну дозу. Затем она сполоснула лицо в тазу с водой и выпила третью порцию виски.

— Думаю, что теперь я вполне способна идти с вами, — произнесла она. — Но завтракать мне не хочется.

— Я уже поел, — сказал он. — Пошли. По часам на бензозаправке сейчас пол-одиннадцатого. Мой участок уже наверняка почистили. Другие тряпичники всегда промышляют на моей территории, когда думают, что я остаюсь дома. Но помани мое слово, каждый раз, как они видят тень, они с перепугу из штанов выскакивают, потому как боятся, что Старина схватит их вот этой одной здоровой рукой, да и выдавит им все кишки и переломает ребра.

Засмеявшись таким хриплым и нечеловеческим смехом, что, казалось, он исходит от какого-нибудь пещерного тролля, оби-

тающего где-то в глубинах его внутренностей, Пейли открыл холодильник и достал еще одну банку пива.

— Мне, чтоб начать работать, надо беспрерывно пропустить в себя еще пивка, не говоря уж о том, что придется малость его уделить той упрямой потаскухе Фордиане, будь она неладна.

Выйдя на улицу, они увидели Элкинса, который брел, спотыкаясь, по направлению к уборной, а затем упал головой вперед прямо в открытую дверь. Он лежал на полу без движения, наружу торчали только его ноги. Встревоженная Дороти хотела было подойти к нему, но Пейли покачал головой:

— Он взрослый парень и сможет сам о себе позаботиться. А нам надо подзаправить Фордиану — и в путь.

Фордиана оказалась потрепанным и заржавленным грузовичком-пикапом. Она стояла за окном спальни Пейли, так что он мог выглянуть из окна в любое время ночи и удостовериться, что никто не ворует с нее детали, а то и весь грузовичок.

— Не то чтоб я сильно о ней беспокоился, — проворчал Старина. Выпив четыремя громадными глотками три четверти кварты, он снял крышку с радиатора и вылил в него остаток пива. — Она знает, что никто другой ее пивом не угостит, так что, думаю, если кто-то из тех воруя, что живут на свалке или в хибарах за поворотом дороги, попытаются стянуть что-нибудь с моей машины, она загудит и застреляет, и начнет разбрасывать вокруг себя всякие железки и брызгать маслом, так чтобы ее Старина проснулся и содрал с чертяки-вора его чертову шкуру. А может, и нет. Она женского племени. А доверять ихнему чертову племени никак нельзя.

Вылив в радиатор последнюю каплю, он взревел:

— Давай! Попробуй-ка теперь не завестись! Ты отобрала у меня славное пиво, иди найди такое еще! Будешь стрелять, так Старина мигом выбьет из тебя дурь кувалдой!

С широко открытыми глазами, но молча, Дороти взобралась на изодранное до дыр переднее сиденье рядом с Пейли. Стартер застрекотал, и мотор зачихал.

— Если не будешь работать, о пиве забудь! — крикнул Пейли.

Последовал грохот, шипение, треск, бух-бух-буханье, лязг шестеренок, зверский и торжествующий оскал Старины, и они затряслись по глубоким рытвинам и ухабам.

— Старина знает, как обращаться со всеми этими потаскухами — хоть из плоти, хоть из железа, хоть на двух ногах, хоть на четырех, а то и на колесах. Я потею пивом и страстью и обещаю дать им пинка в выхлопную трубу, если они не будут

вести себя прилично, и это возбуждает их всех. Я так чертовски уродлив, что их тошнит от меня. Но как только они унюхивают такую мою странную, диковинную вонь — и им конец, так и валятся к моим здоровенным волосатым ногам. И так было с нами всегда, с мужчинами Пейли, и с женщинами *Гъяги*. Вот почему их мужчины боятся нас, и вот почему мы попали в такую жуткую передрыгу.

Дороти безмолствовала, и Пейли, как только грузовичок протарахтел через свалку и выехал на Двадцать четвертое шоссе США, тоже замолчал. Он, казалось, замкнулся в себе, стараясь не привлекать к себе внимания. Грузовичку понадобилось всего три минуты, чтобы добраться от их лачуги до городских окраин, и все это время Пейли вытирал потеющую ладонь о свою синюю рубаху рабочего.

Но он не пытался снять напряжение ругательствами. Вместо них он бормотал набор бессмысленных, как казалось Дороти, рифм.

— Ини, мини, майни, ми. Мне, Дружище, помоги. Хула, була, тини, уини, протарань их, прокляни их, помоги мне пройти. Им преграду, мне пройти-идти-идти.

И только когда они углубились на милю в город Онабак и свернули с Двадцать четвертого в переулок, он расслабился.

— Фюйт! Что за пытка, а я ведь занимаюсь этим уже несколько лет, с тех пор как мне стукнуло шестнадцать. Сегодня, кажись, хуже, чем всегда. Может, потому что со мной ты. Мужчинам *Гъяги* не нравится, если видят со мной одну из их женщин, особенно такую милашку, как ты.

Неожиданно он улыбнулся и принялся распевать песню о том, что его усыпали с головы до ног «фиалками душистыми, душистее всех роз на свете». Он пел и другие песни, некоторые из которых заставляли Дороти краснеть, хотя в то же время она хихикала. Когда они пересекали улицу, чтобы попасть из одного переулочка в другой, он перестал петь, оборвав себя на полуслове, и возобновил пение лишь на другой стороне.

Подъезжая к западному кварталу, Пейли сбросил скорость грузовичка до предела, и его маленькие голубые глазки принялись внимательно ощупывать груды отбросов и мусорные ящики позади домов. Вскоре он остановил грузовичок и спустился вниз, чтобы осмотреть находку.

— Дружище В Небесной Выси, для начала просто здорово! Глянь! — несколько старых колосников от угольной топки. И куча кокса, и пивные бутылки — за все это можно получить деньжата. Слезай, Дороти. Если тебе охота знать, как мы, тряпичники, зарабатываем себе на жизнь, надо влезть в нашу шкуру и

попотеть с нами и почертыхаться. А если тебе попадутся какие-нибудь шляпы, непременно скажи мне.

Дороти улыбнулась, но, спустившись из кабины грузовичка на землю, поморщилась.

— В чем дело?

— Голова болит.

— На солнце все как рукой снимет. Вот гляди, как мы собираем. Задняя часть кузова поделена досками на пять секций. Вот эта секция здесь — для железа и дерева. Эта — для бумаги. Эта — для картона. За картон дают дорожку. Эта — для тряпья. Эта — для бутылок. Мы их продаем по залоговой цене и недурно наживаемся при этом. Если ты найдешь какие-нибудь интересные книги или журналы, клади их на сиденье. А я уж потом разберусь, оставить их себе или выкинуть в макулатуру.

Работа спорилась, и вскоре грузовичок уже катил дальше. Не проехав и квартала, им пришлось осадить его у другой кучи, куда их подзывала женщина. Своей худобой та напоминала засохший листок дерева, гонимый ветрами времени. Она с трудом приковыляла с заднего крыльца большого трехэтажного дома с перекошенными оконными рамами, дверьми и куполообразными скатами крыши по углам. Дрожащим голосом она объяснила, что является вдовой состоятельного адвоката, умершего пятнадцать лет назад. Она только вчера решила избавиться от его коллекции юридической литературы. Все книги аккуратно упакованы в картонные ящики, не очень большие, так что их совсем не трудно нести.

Даже, добавила она, и взгляд ее выцветших, водянистых глаз неумовимо переместился с Пейли на Дороти, даже бедному однокласснику мужчине и молодой девушке.

Старина снял шляпу и поклонился.

— Будьте уверены, мэм, моя дочь и я были бы только рады выручить вас с уборкой дома.

— Ваша дочь? — проскрипела старуха.

— Она, ясно, вовсе не похожа на меня, — ответил он. — Ничего удивительного. Она — моя приемная дочь. Бедняжка осиротела, еще когда пачкала пеленки. Ее отец был моим лучшим другом. Он погиб, спасая мою жизнь. Он лежал на моих руках и умирал, и он умолял меня позаботиться о ней как о собственной дочери. И я сдержал обещание своему умиравшему другу, да упокоится душа его в мире. И пусть я — бедный тряпичник, мэм, я все делал, чтобы воспитать ее порядочной, богобоязненной и послушной девочкой.

Дороти пришлось забежать за грузовичок, где она зажала рукой рот и корчилась, претерпевая муки в попытках сдержать

рвущийся из нее смех. Когда она овладела собой, старая леди говорила Пейли, что она проводит его туда, где находятся книги. Потом она заковыляла к крыльцу.

Однако Старина, вместо того чтобы проследовать за ней через весь двор, остановился у ограды, которая отделяла переулок от заднего двора. Он повернулся и бросил на Дороти взгляд, выражавший крайнее отчаяние.

— Что случилось? — спросила она. — Почему вы так сильно потеете? И дрожите? И вы такой бледный.

— Ты будешь смеяться, если я скажу тебе, а я не хочу, чтобы надо мной смеялись.

— Скажите мне. Я не буду смеяться.

Он закрыл глаза и стал бормотать:

— Ничего, в уме лишь все. Ничего, все хорошо. — Открыв глаза, он отряхнулся, словно пес, только что вышедший из воды. — Я могу это сделать. У меня хватит пороку. Все те книжки стоят уйму денег на пиво, и я их провороню, если не спущусь в самое нутро преисподней и не достану их оттуда. Дружище В Небесной Выси, дай мне бесстрашие торговца козлятиной в Палестине и выдержку тамошнего торговца свининой. Ты же знаешь, Старина никогда не праздновал труса. Это на меня действуют злые чары Ненастоящих Людей. Ну давай же, пойдём, пойдём!

И с силой вобрав в себя воздух, он шагнул через ворота. Опустив голову и не отрывая глаз от травы у ног, он еле волочил ноги к дверям в подвал, где стояла, уставясь на него, старая леди.

Не дойдя четырех шагов до входа в подвал, он снова остановился. Из-за угла дома выскочил маленький черный спаниель и принялся его облаивать.

Старина внезапно поднял голову, одновременно вывернув ее и склонив к плечу, скосил глаза и оглушительно, с прицелом на собаку, чихнул.

Взвизгнув, спаниель удрал за угол, и Пейли стал спускаться вниз по ступенькам, которые вели в прохладный сумрак подвального помещения, и, не переставая, бормотал: «Вот так налагаются злые чары на этих чертовых собак».

Когда они сложили в кузов грузовичка все книги, он снял свою фетровую шляпу и снова поклонился.

— Мэм, моя дочь и я — мы оба, так сказать, — благодарим вас от всего сердца, а сердца у нас хоть и бедные, но смиренные, за эту коллекцию книг, что вы нам подарили. А если у вас когда-нибудь отыщется еще что-то, что вам не нужно, а вдобавок понадобится крепкая спина и пусть слабое, но желание

вынести это из дома... тогда, пожалуйста, не забывайте, что мы бываем в этом переулке каждый понедельник перед великим постом и каждую рыбную пятницу примерно в то время, когда солнце перекатится по небу на три четверти. Если только не будет дождя, потому как Дружище В Небесной Выси плачет под хмельком над нами, несчастными смертными, какие мы дураки.

Он снова надел шляпу, и оба, забравшись в кабину, отправились на фыркающем и пытящем грузовичке дальше. Они оставались еще у нескольких многообещающих куч, пока Пейли не объявил, что грузовичок забит под завязку. Ему не терпелось отметить такое событие. Может, они остановятся за Кабачком Майка и пропустят этак парочку кварт. Дороти ответила, что она, пожалуй, смогла бы справиться с выпивкой, но только если ей дадут виски. А пиво ей как-то не на пользу.

— У меня есть деньжата, — пророкотал Старина, медленно расстегивая неуклюжими пальцами карман рубашки и вытаскивая из него пачку потрепанных, рваных банкнот. Руль он на это время выпустил, но колеса грузовичка послушно катились прямо по выбитым колеям переулка. — Ты принесла мне счастье, так что Старина сегодня будет морить деньгами, я хочу сказать, сорить, кха, кха, кха!

Он остановил Фордиану позади небольшого кабачка, который располагался неподалеку. У Дороти никто ничего не спрашивал, когда она, взяв протянутые им два доллара, вошла в здание. Она вскоре вернулась с консервным ножом, двумя квартами пива и полпинтой «V.O».

— Я добавила немного своих денег. Терпеть не могу дешевого виски.

Они пили, усевшись на подножку грузовичка, и Старина болтал не переставая. Немного погодя он уже рассказывал ей о тех временах, когда Настоящие Люди, Пейли, жили в Европе и Азии по соседству с мохнатыми мамонтами и пещерным львом.

— Мы поклонялись Старому Дружищу В Небесной Выси, который говорит то, что говорит гром, и живет на востоке на самой высокой горе в мире. Мы хоронили своих мертвых лицом к востоку, чтобы они смогли увидеть Старого Дружищу, когда тот придет за ними и возьмет их с собой, чтобы те жили вместе с ним на горе.

И жили мы так не тужили много-много лет. А затем с востока пришли эти Ненастоящие Люди, которые поклонялись матери, с их длинными прямыми ногами и длинными прямыми шеями, плоскими лицами и ужас до чего противными круглыми

головами, с их луками и стрелами. Они утверждали, будто являются сынами Матери-Земли, а она — самая что ни на есть девственница. А мы им на это: правда в том, что у вороны схватило живот и она села на пенё, а когда слетела с него, то под жарким солнцем они и вылупились.

Ну так вот, поначалу какое-то время мы разбивали их в пух и прах, потому как были сильнее. Даже наши женщины, и те не ударяли лицом в грязь: одна могла разорвать на куски самого сильного из их мужчин. Но у них, однако, были луки со стрелами, и они беспрерывно убивали нас одного за другим, и теснили нас, и теснили, а мы все пятились и пятились, пока не уперлись задом в океан.

Потом однажды одному нашему вождю пришла в голову замечательная идея. «Почему бы и нам не изготовить луки и стрелы?» — спросил он, и мы так и сделали. Но оттого, что руки наши были слишком велики и неуклюжи, мы делали луки и стреляли из них с большим трудом, хотя мы и могли натягивать тетиву потуже, чем у них. Так что мы продолжали бежать из наших славных охотничьих угодий.

В нашу пользу было, пожалуй, одно: мы здорово удивляли женщин Ненастоящих своим запахом. И не то что мы так уж приятно благоухаем. Мы воняем, как свинья, которая на куче навоза занимается любовью с козлом. Но почему-то у женщин Ненастоящих все поперепуталось в их химии — так вы, кажись, называете это, — потому как стоило им унюхать нас, как все они просто прыгали от возбуждения и таскались за нами ну прямо по пятам. Если б нас оставили с ними одних, мы бы донжуанили направо и налево и живо вытеснили бы Ненастоящих с лица земли. Мы бы так перемешали их и свою кровь, что нас через какое-то время было бы не отличить. Особенно если ребятенки пойдут в своих папаш по обличью. Кровь-то Пейли куда как сильнее.

Ясно, что при таком раскладе от войн между нами было никуда не деться. Особенно когда наш король, Старина Король Пейли, втюрился в дочку короля Ненастоящих, Короля Зеленого Юнца, и украл ее.

Боже ж ты мой, ты б посмотрела, что тогда началось! Все как засуетились! И то сказать, дочка Зеленого Юнца с ума сходила по Старине Королё Пейли. Именно она подала тому замечательную идею призвать всех здоровых Пейли, кто еще остался, и сколотить из них одну большую армию. Сложить, так сказать, все яйца в одну корзину. Страшновато рисковать всем, что есть, но мысль показалась нам совсем неплохой. На Операцию По Резне Ненастоящих одной большой толпой вы-

шли все, способные нести дубину. И всей сворой мы набрасывались на каждый городишко этих матерепоклонников, который попадался нам по дороге. И крушили там все подряд. И жарили человеческие сердца, и ели их. А иногда закусывали и женскими, да и детскими тоже.

А потом подходим мы вдруг к огромному полю. А на нем — армия этих Ненастоящих Людей, которых собрал Король Зеленый Юнец. Числом их поболее нашего, но мы чувствуем себя способными справиться с целым миром. Особливо из-за того, что магическая сила *Гьяги* лежит в их женщинах, потому как они поклоняются богине, Старушке Матери-Земле. А в наших руках их главная жрица, дочка Зеленого Юнца.

У нас же вся наша сила собрана в шляпе Старины Короля Пейли — его волшебном наголовнике. Каждый из Пейли верил, что сила человека и его душа заключены в наголовнике Короля.

В ночь перед великим сражением располагаемся мы на отдых. А на рассвете слышим душераздирающий крик, который пробудил бы мертвых. Даже сейчас, пятьдесят тысяч лет спустя, от того крика нас, Пейли, пробирает дрожь. То кричит и ревет Король Пейли. Спрашиваем его почему. А он отвечает нам, что эта бессовестная маленькая подлая тварь стащила у него наголовник и сбежала с ним в лагерь своего отца.

Мы тут, ясное дело, становимся совсем слабыми в коленках, как пиво без градусов. Наше мужество — в руках наших врагов. Но мы все же выходим на битву, а впереди — наши колдуны, трясут и гремят своими бутылочными тыквами, вертят своими трещотками и молятся. И тут появляются шаманы *Гьяги* и делают то же самое. Кроме одного: они вкладывают в свои труды всю душу, потому как насадили на острие копья наголовник Старины Короля.

Да еще собаки к тому же. *Гьяга* впервые пускает их в ход за все время, пока воюет. А собаки никогда не жаловали нас — так же, как и мы их.

А потом мы врезаемся друг в друга. Бах! Бух! Трах! Хлоп! Бац! У-у-уррру-у-у-у! И они разбивают нас в пух и прах, колошат нас почем зря. И мы уже никогда не становимся такими, как раньше, с нами навсегда покончено. Они заполучили наголовник Старины Короля, а с ним и нашу магическую силу, потому как все мы вкладывали в ту шляпу все наше, Пейли, существо, всю душу.

Наш, Пейли, дух и наше могущество стали пленниками, потому как в плену был наголовник. И жизнь стала для нас, Пейли, тяжелой ношей. Те, кого не убили и не съели, были рады обосноваться где-нибудь на мусорных кучах победивших

Ненасстоящих и находить себе пропитание вместе с курами. Иногда им не удавалось и этого.

Но мы знали, что наголовник Старины Короля где-то спрятан, и мы создали тайное общество, и поклялись не дать угаснуть его имени, и отыскать наголовник, даже если его поиски займут целую вечность. В общем-то, так оно почти и выходит, сколько уж времени прошло.

Но хотя мы были обречены жить в барачных поселках и чураться улиц, и рыться в переулках по кучам отбросов, мы никогда не переставали надеяться. Со временем к нам переселились некоторые из обнищавших людей *Гьяги*. И у нас, и у них были дети. Вскоре большая часть нас исчезла, смешавшись кровью с низшим классом *Гьяги*. Но род Пейли был всегда: он старался сохранить свою кровь чистой. Больше сделать никто не может, а?

Старина пристально посмотрел на Дороти:

— И что ты думаешь об этом?

— Ну, — слабым голосом произнесла она, — ни о чем подобном я никогда не слышала.

— Господь всемогущий! — фыркнул он. — Я тебе преподнес историю подлиннее сна шлюшки, историю более чем пятидесяти тысяч лет, секретный рассказ о давным-давно погибшей расе. И все, что ты можешь сказать, — это то, что ты ни о чем подобном никогда не слыхала.

Наклонившись к ней, он сжал ей бедро своей огромной ладонью.

— Не вздрагивай! — свирепо произнес он. — И не отворачивайся от меня. Понятно, что я воняю и что оскорбляю ваши нежные чертовы ноздри и расстраиваю ваши чертовы нежные кишочки. Но что такое минута, в которой ты нюхаешь меня, по сравнению с целой жизнью, в которой мой нос забит всем этим смердящим дерьмом со всего мира, а рот заполнен тем, что ты и не выговорила бы, если б твой рот был полон этого? Что скажешь на это, а?

— Уберите, пожалуйста, с меня свою руку, — холодно проговорила она.

— Я вовсе не хотел чего-то такого, ясное дело. Я увлекся и позабыл свое место в обществе.

— Нет, вы послушайте, — сказала она серьезно. — Это совсем ничего общего не имеет с вашим так называемым социальным положением. Я никому не позволяю вольности по отношению к своему телу. Может, я смехотворно старомодная, но мне хочется чего-то большего, чем просто чувственность. Я хочу любви, а...

— Да ладно, я все понял.

Дороти встала.

— Я живу неподалеку, всего в квартале отсюда, — сказала она. — Пойду-ка я домой, пожалуй. У меня от виски разболелась голова.

— Ну да, — прорычал он. — Ты уверена, что это от виски, а не от меня?

Она спокойно посмотрела на него:

— Сейчас я пойду, но завтра утром мы встретимся. Я ответила на ваш вопрос?

— Сойдет, — проворчал он. — До встречи. Может быть.

Она стремительно пошла прочь.

На следующее утро, сразу как рассвело, заспанная Дороти остановила машину у лачуги Пейли. Дома была одна Дина. Гамми ушла на реку удить рыбу, а Старина сидел в уборной. Дороти воспользовалась возможностью поговорить с Диной и нашла ее, как и предполагала, высокообразованной женщиной. Однако, несмотря на свое учтивое поведение, та умалчивала о своем происхождении. Дороти, стараясь поддержать беседу, упомянула в разговоре о том, что звонила своему бывшему профессору антропологии и спросила его, какова вероятность того, что Старина может оказаться самым настоящим неандертальцем. Только тогда Дина отбросила свою сдержанность и с нетерпением спросила о мнении профессора на этот счет.

— Ну, он просто посмеялся, — ответила Дороти. — Он сказал мне, что это совершенно невозможно, чтобы столь маленькая группа, даже группа кровных родственников, изолированная в горах, смогла бы сохранить свою культурную и генетическую самобытность в течение пятидесяти тысяч лет.

Я поспорила с ним. Я сказала ему, что Старина настойчиво утверждает, будто он и его род обитали в деревне Пейли, что в Пиренейских горах, до тех пор пока их не обнаружили солдаты Наполеона и не попытались завербовать их. Они тогда бежали в Америку, после недолгого пребывания в Англии. А во время гражданской войны их группа разделилась, вытесненная с Великих Туманных гор. Сам он, насколько ему известно, последний из чистокровных, а Гамми — наполовину или на четверть неандерталка.

Профессор уверил меня, что Гамми и Старина являются случаями эндокринной дисфункции, акромегалии*. Что они могут иметь внешнее сходство с неандертальским человеком, но антро-

* Акромегалия характеризуется чрезмерным, непропорциональным ростом конечностей и костей лица.

полог способен сразу определить разницу. А когда я немного рассердилась и спросила его, не занимает ли он ненаучную и предвзятую позицию, он стал довольно раздражительным. Наш разговор закончился несколько сухо.

Но тем же вечером я зашла в университетскую библиотеку и прочитала все, что касается отличий *Homo Neanderthalensis** от *Homo Sapiens***.

— Можно подумать, что ты и в самом деле поверила в не-серьезную сказочку Старины, выдуманную им самим, — заметила Дина.

— Профессор учил меня строить свои убеждения только на фактах и никогда не говорить, что что-то невозможно, — ответила Дороти. — Если он забыл, чему учил, то я — нет.

— Что ж, Старина умеет убеждать, — сказала Дина. — Он и дьяволу ухитрится продать арфу и нимб.

Старина, одетый лишь в джинсы, вошел в лачугу. Дороти впервые увидела его грудь обнаженной — огромную, покрытую почти таким же густым ковром золотисто-рыжих волос, как у орангутанга. Однако ее внимание привлекла не столько грудь, сколько его обнаженные ступни. Да, большие пальцы ног далеко отстояли от остальных, и он был явно склонен к хождению на наружной стороне стоп.

Да и рука его казалась неестественно короткой, несоразмерной его туловищу.

Старина пробурчал ей приветствие и был пока немногословен. Но после того как он, потяя, чертыхаясь и распевая всю дорогу по улицам Онабака, благополучно прибыл в переулки западного квартала, Старина расслабился. Возможно, ему помогло то, что они нашли огромную грудку бумаг и тряпья.

— Ну что ж, мы идем на работу, так не вздумай уваливать с ходу. Прыгай, Дороти! Без труда не наживешь добра!

Погрузив свою находку в кузов грузовичка, они двинулись в путь.

— Как тебе такая жизнь, без раздоров и капризов? Хороша, а? Тебе нравятся переулки, а?

Дороти кивнула:

— В детстве мне переулки больше нравились, чем улицы. И в них до сих пор еще что-то осталось для меня от их прежнего очарования. В них мне было интереснее играть, в таких красивых и уютных. И деревья, и кусты, и ограды склонялись к тебе и иногда касались тебя, словно у них были руки и им

* Человек неандертальский (лат.).

** Человек разумный (лат.).

нравилось ошупывать твое лицо и выяснять, бывал ли ты здесь прежде. И они узнавали тебя. Было такое чувство, будто некая общая тайна связывает тебя с переулками и с теми предметами, что там находились. А вот улицы... что ж, улицы всегда были одними и теми же, на них всегда приходилось быть начеку, чтобы тебя не переехали машины, а в окнах домов вечно торчали чьи-то лица и смотрели глаза, суя свои носы не в свое дело — если можно так выразиться, что у глаз бывали носы.

Издав радостный возглас, Старина шлепнул себя по ноге с такой силой, что, будь она ногой Дороти, та непременно бы сломалась.

— Ты, должно быть, одна из Пейли. Мы же одинаково чувствуем! Нам не разрешают болтаться по улицам, так мы создали себе из наших переулков маленькие королевства. Слушай, а ты, когда переходишь из одного переулка в другой и пересекаешь улицу, потеешь?

Он положил ей на колено руку. Она посмотрела на руку, но промолчала, и он не убрал ее. Грузовичок в это время самостоятельно продвигался вперед, катясь своими колесами по выбитым колеям переулка.

— Да нет, со мной такого никогда не бывает.

— Да? Вообще-то, конечно, когда ты была маленькой, то не была такой уродливой, чтобы избегать улиц. А я даже в переулках и то не чувствовал себя очень уж счастливым. И все из-за этих чертовых собак! Вечно они гавкали на меня и кусали. А раз такое дело, то пришлось мне постоянно таскать с собой большую палку и дубасить тех тварей, что приставали ко мне, да так, чтобы кишки вон. Но скоро я обнаружил, что мне достаточно всего лишь посмотреть на них особым образом. Й-и-их, как они неслись от меня, подтягивая! Не хуже, чем тот дряхлый черный спаниель вчера. Почему? Да потому что им известно, что я вычихиваю на них злых духов. Вот тогда-то до меня стало доходить, что я — не человек. Мой старик, конечно, рассказывал мне об этом — еще тогда, когда я только учился говорить.

По мере того как я рос, я с каждым днем ощущал, что чары *Гъаги* становились все сильнее. На улицах я ловил на себе их все более гнусные взгляды. А когда шел по переулкам, то чувствовал, будто здесь *самое мое место*. Наконец настал такой день, когда при переходе улицы у меня стали потеть руки и холодеть ноги, стало сохнуть во рту и было тяжело дышать. И все потому, что я стал взрослым Пейли, а проклятие *Гъаги* становится тем сильнее, чем больше волос вырастает на твоей груди.

— Проклятие? — переспросила Дороти. — Некоторые называют это неврозом.

— Это проклятие.

Дороти не ответила. Она снова посмотрела на свое колено, и на этот раз он убрал руку. Во всяком случае, ему так или иначе пришлось бы это сделать, так как они подъехали к асфальтированной улице.

По дороге к перекупщику старья он говорил все на ту же тему. И когда они вернулись в лачугу, он продолжал развивать ее.

На протяжении тысяч лет, которые Пейли провели на мусорных кучах *Гъяги*, за ними пристально наблюдали. Так, в древние времена для священников и воинов Ненастоящих вошло в обычай наносить внезапные визиты обитателям свалки всякий раз, когда достигал половой зрелости сильный и непокорный Пейли. Они тогда выкалывали ему один глаз или отрубали руку или ногу, или какой-либо другой член тела, чтобы тот навсегда запомнил, кто он есть и где его место.

— Вот почему я потерял эту руку, — прорычал Старина, махнув култей. — Страх *Гъяги* перед Пейли сотворил со мной такое.

Дина покатила со смеху.

— Дороти, правда в том, что он однажды ночью хлебнул лишнего и на железнодорожных путях полностью отключился, — сказала Дина. — Его рука попала под колеса товарного поезда.

— Да конечно же, конечно, так оно и было. Но этого бы не случилось, если б Ненастоящие не действовали своей зловредной черной магией. В нынешние времена они, вместо того чтобы калечить нас в открытую, используют колдовство. У них уже кишка тонка делать это самим.

Дина презрительно засмеялась:

— Все свои психопатические идеи он почерпнул из чтения комиксов и журналов, где печатаются всякие таинственные истории, и из этих бредовых книжонок, а еще из дурацких телепрограмм типа «Бродяга Ух и динозавр». Я могу перечислить все рассказы, из которых он украл идеи.

— Ты все врешь! — зарычал Старина.

Он ударил Дину по плечу. Та отшатнулась от удара, затем качнулась назад, кренясь в его сторону, словно противостоя сильному ветру. Старина снова ударил ее, на этот раз прямо по багровому родимому пятну. Ее глаза вспыхнули негодованием, и она заругалась на него. Он нанес ей еще один удар — достаточно чувствительный, но не настолько, чтобы нанести ей травму.

Дороти открыла было рот, чтобы выразить свой протест, но Гамми, положив ей на плечо жирную, потную ладонь, приложила палец к губам.

Дина рухнула на пол от сокрушительного удара. Она больше не пыталась встать. Вместо этого она, опершись на руки и колени, поползла к укрытию за большой железной плитой. Голой ногой он толкнул Дину в зад так, что та повалилась лицом вниз и застонала. Ее длинные и жесткие черные волосы упали ей на лицо и на родимое пятно.

Дороти, шагнув вперед, хотела схватить Старину за руку. Гамми остановила ее, пробормотав: «Все нормально. Оставь их».

— Полюбуйся на эту чертову блаженную бабу! — фыркнул Старина. — Тебе известно, почему я *вынужден* выбивать дурь из нее, когда все, что мне надо, — это тишина и покой? Да потому что я выгляжу как чертов дикарь, троглодит, а им полагается избивать своих баб до умопомрачения. Вот почему она водит со мной дружбу.

— Ты — ненормальный лгун, — тихо произнесла Дина из-за плиты, медленно и задумчиво баюкая свою боль, словно память о ласках любимого. — Я пришла к тебе жить, потому что пала так низко, что ты оказался единственным мужчиной, который захотел бы меня.

— Она отставная наркоманка из высшего общества, Дороти, — заметил Пейли. — Ее никогда не увидишь без платья с длинными рукавами. Это потому, что ее руки все в дырках. Это я сдернул ее с иглы. Мудростью и чародейством Настоящих Людей, когда злой дух изгоняется громкими заклинаниями, я освободил ее от проклятия. И с тех пор она живет со мной. Не могу избавиться от нее.

Да возьми хоть тот беззубый мешок. Я ни разу не ударил ее. Это доказывает, что я не какой-то там ублюдок, избивающий женщин, верно я говорю? Я бью Дину, потому как ей это нравится, она сама хочет этого, но я никогда не бил Гамми... Эй, Гамми, этот вид лечения тебе не очень-то по вкусу, а?

И он засмеялся своим невероятно грубым, хриплым *хо, хо, хо*.

— Чертов брехун ты, вот ты кто, — бросила Гамми через плечо, поскольку сидела на корточках и крутила на телевизоре ручки настройки. — Ты же мне и выбил почти все зубы.

— Я выбил лишь несколько гнилых пеньков, которые у тебя так или иначе выпали бы. Сама виновата, нечего было путаться с тем О'Брайеном в зеленой рубахе.

Гамми хихикнула:

— Не думай, что я бросила гулять с тем О'Брайеном в зеленой рубахе только потому, что ты вкатил мне пару оплеух. Вовсе нет! А бросила я потому, что ты был лучше его.

Гамми снова хихикнула. Она встала и, переваливаясь, пошла через всю комнату к полке, на которой стоял флакон с дешевыми духами. В ее ушах раскачивались громадные медные кольца, туда и сюда колыхались внушительные бедра.

— Посмотри на это явление, — произнес Старина. — Как два мешка с кашей в бурю.

Но глаза его следили за ними с одобрительным огоньком, а увидев, как она щедро поливает дурно пахнущей жидкостью свою грудь величиной с подушку, он схватил ее в объятия и зарылся своим огромным носом во впадину между грудями, восторженно втягивая запах.

— Я чувствую себя, словно пес, что нашел старую косточку, которую он когда-то зарыл и о которой вспомнил только сейчас, — прорычал Старина. — Гав, гав, гав!

Дина, фыркнув, заметила, что ей надо глотнуть свежего воздуха, а то она лишится своего ужина. Она схватила Дороти за руку и решительно попросила составить ей в прогулке компанию. Побледневшая Дороти пошла с ней.

На следующий вечер, когда все четверо сидели за кухонным столом и пили пиво, Старина неожиданно протянул над столом руку и нежно коснулся Дороти. Гамми рассмеялась, но в глазах Дины зажегся гнев. Девушке она ничего не сказала, но зато принялась отчитывать Пейли за то, что тот слишком долго не мылся. Он обозвал ее плоскогрудой наркоманкой и сказал, что она врет, потому что он моется каждый день. Дина на это ответила, что да, он, конечно, моется, — с того времени, как на сцене появилась Дороти. Страсти накалялись. Наконец Пейли встал из-за стола и повернул фотографию матери Дины лицом к стене.

Дина, причитая, попыталась развернуть ее обратно. Он оттолкнул ее от фотографии, отказываясь бить ее, несмотря на оскорбления, которыми она его осыпала, — даже когда она выкрикнула ему, что тот не достоин лизать обувь ее матери, не говоря уже о том, чтобы осквернять прикосновением ее портрет.

Устав от пререканий, Пейли оставил свой пост у фотографии и прошаркал к холодильнику.

— Если ты посмеешь перевернуть ее без моего разрешения, я выброшу ее в ручей. И ты никогда ее больше не увидишь.

Дина, пронзительно вскрикнув, поползла на свое одеяло за плитой и там лежала, тихо всхлипывая и проклиная его.

Гамми жевала табак и смеялась. Из беззубого рта текла коричневая струйка.

— На этот раз Дина уж слишком довела его.

— А, чтоб ее и ее чертову мать! — фыркнул Пейли. — Эй, Дороти, а ты знаешь, как она надо мной смеется, потому как я считаю, что у Фордианы есть душа? И что я навожу на них, образин этаких, порчу? И потому как я считаю, что мы, Пейли, будем спасены тогда, когда выясним, где спрятана шляпа Старины Короля?

Вот, полюбуйся на эту! На эту краснорожую антеллигентную дракониху, наркоманшу в отставке, на эту старую дохлую клячу для обезьянника, она ж еще и суеверна, как сто чертей. Она воображает, будто ее мать — бог. И молится ей, и прощения просит, и выпрашивает у нее, что ожидается в будущем. А когда она думает, что одна, то разговаривает с ней. Вот она, пожалуйста, поклоняется своей матери, словно та — Старушка Мать-Земля, врагиня Старого Дружищи. А ведь она знает, как это сильно обижает Старого Дружищу. Может, из-за этого он и не дает мне случая отыскать давно утерянный наголовник Старины Короля, хоть ему известно, что я ищу его в каждой куче отбросов отсюда до черт знает докуда в надежде, что какой-нибудь болван *Гьяга* выкинет его, не ведая, что это такое.

Так что эта дурацкая картинка, во имя всего святого, будет висеть своей уродливой рожей к стене, и точка. Ай, да заткнись ты, Дина, я хочу посмотреть «Бродягу Ух».

Немного погодя Дороти поехала домой. Оттуда она снова позвонила своему профессору антропологии. Тот, с нетерпением в голосе, стал отвечать ей, на этот раз более подробно. Он сказал, что рассказ Старины о войне между неандертальцами и вторгающимися *Homo Sapiens* неправдоподобен уже по той одной причине, что существуют свидетельства, указывающие на то, что *Homo Sapiens* скорее всего обитал в Европе до неандертальцев и, вполне вероятно, что вторгался как раз *Homo Neanderthalensis*.

Но он не был захватчиком в современном значении этого слова, — пояснил профессор. — Наплыв в Европу нового рода — или расы, или племени — во времена палеолита представлял собой, по-видимому, процесс миграции отдельных небольших групп. На завершение этого великого переселения могли уйти от тысячи до десятка тысяч лет.

И более чем вероятно, *Neanderthalensis* и *Sapiens* жили бок о бок тысячелетиями, крайне редко воюя между собой, поскольку были слишком заняты борьбой за существование. По той или иной причине — но, по всей вероятности, из-за своей малочисленности — Человек Неандертальский растворился в окружавших его народах. Некоторые антропологи высказали

предположение, что неандертальцы были белокурými и что они передали свои светлые волосы жителям Северной Европы.

Но какие б ни были догадки и предположения, — сказал в заключение профессор, — ясно одно: для такого меньшинства, явно отличающегося по всем параметрам, было бы невозможно сохранить свои индивидуальные физические и культурные признаки на протяжении столь длительного периода. Пейли сочинил свой, личный миф, чтобы хоть как-то компенсировать свое крайнее уродство, низкое положение в обществе, свое чувство отчуждения. Элементы мифа заимствованы из комиксов и литературы.

Тем не менее, — подвел черту профессор, — учитывая ваш юношеский энтузиазм и наивность, я выскажу свое окончательное мнение, если вы предоставите мне какое-либо вещественное доказательство его неандертальского происхождения. Скажем, вы могли бы показать мне, что у него есть тавродонтный зуб. Это было бы изумительно, если не сказать больше.

— Но, профессор, — взмолилась она, — почему бы вам самому не осмотреть его лично? Один лишь взгляд на ногу Старины убедил бы вас, я уверена.

— Дорогая моя, я не склонен гоняться за химерами. Мое время дорого.

Вот так обстояли дела. На следующий день Дороти спросила у Старины, не рвали ли у него когда-нибудь коренной зуб, или, может, у него есть рентгеновский снимок такого зуба.

— Нет, — ответил он. — У меня здоровых зубов поболее, нежели мозгов. И я вовсе не собираюсь рвать их. Сколько я буду хранить свой наголовник, столько я буду хранить и свои зубы, и свой желудок, и свое мужское достоинство. А вдобавок и свой здравый рассудок. Эти винтовкручиватели без винтиков в голове из больницы штата и впрямь здорово наломали мне бока своими осмотрами — вдоль и поперек, то вверх то вниз, то взад то вперед — и так всю ночь напролет, никогда не снимая комнату в гостинице прямо у лифта. И они доказали, что я не родился в часах с кукушкой. И все же они стали рвать на себе волосы и сказали, что что-то, должно быть, неправильно. Особенно после того, как мы поскандалили из-за моей шляпы. Я не позволю им брать мою кровь для анализа, ты знаешь, потому как считаю, что они хотят смешать ее с... водой — это все их, *Гъяская* магия — и превратить мою кровь в воду. Каким-то образом этот Элкинс подметил, что мне нужно быть в шляпе — думаю, потому, что я ни за что не хотел снимать ее, когда раздевался для медосмотра, — и он сорвал с меня шляпу. И я

погиб! Украсть ее значило украсть мою душу. Все Пейли носят свою душу в шляпе. Я должен был заполучить ее назад. Поэтому я смирился и позволил им тыкать в меня и обглядывать меня всего, и брать у меня кровь.

Пейли сделал передышку, во время которой глубоко вдохнул в себя воздух, чтобы набраться сил для запуска еще одной словесной ракеты. Дороти, ошеломленная одной мыслью, спросила его:

— Кстати о шляпах, Старина. На что похожа та шляпа, которую украла у Короля Пейли дочь Зеленого Юнца? Вы бы узнали ее, если б увидели?

Минуту Старина пристально смотрел на нее, широко раскрыв голубые глаза. Потом он взорвался:

— Узнаю ли я ее? Узнает ли собака, которая сидит у железнодорожных рельсов, свой хвост после того, как локомотив отрежет его? Узнаешь ли ты собственную кровь, если кто-нибудь вонзит тебе в брюхо нож и она будет выкачиваться из тебя с каждым ударом сердца. Конечно же, я узнаю шляпу Старины Короля Пейли! Да каждый Пейли еще с молоком матери впитывает в себя ее подробное описание. Хочешь услышать о шляпе? Что ж, погоди маленько, и я опишу каждую ее ниточку и ворсинку.

Дороти снова подумала о том, что ей не следовало бы делать этого. Если Старина ей доверяет, то получалось, что она в некотором смысле как бы предает его. Но если посмотреть на это с другой стороны, успокоила она себя, то она помогает ему. Ведь стоит ему отыскать шляпу, как он оживет и действительно освободится из-под власти различных табу, привязывающих его к свалке, к переулкам, к страху перед собаками, к убеждению, что он — пария и угнетаем. А кроме того, сказала себе Дороти, запись его реакций поможет ей в ее научных изысканиях.

Набивщик чучел, которого она наняла, чтобы тот подобрал необходимые материалы и придал им нужную форму, стал проявлять любопытство, но она сказала, что заказанная ему вещь предназначена для антропологической выставки в Чикаго, где будет представлять головной убор шамана некоего индейского тайного общества, совершающего фаллические мистерии. Набивщик чучел хихикнул и признался, что был бы совсем не прочь посмотреть на их обряды.

Намерениям Дороти помогла полоса удач, которая настала у Старины, пока она ездила с ним, в его поисках старья по переулкам. Он торжествующе изрек, что его поиски увенчаются

какой-то необыкновенной находкой. Он просто чувствует, как счастье вот-вот постучится к нему в дверь.

— Оно придет внезапно, — сказал он, обнажая в улыбке крупные, широко расставленные зубы, похожие на могильные плиты. — Как молния.

Двумя днями позже Дороти встала раньше обычного и поехала на задворки одного дома, где жил хорошо известный врач. В светской хронике она прочитала, что он и его семья проводят отпуск на Аляске. Отсюда она знала, что некому будет удивиться, обнаружив в мусорном ящике отбросы, а в большой картонной коробке — выброшенную старую одежду. Дороти захватила из своей квартиры разный мусор, чтобы казалось, будто в доме живут. Кроме поношенной одежды, которую она приобрела в магазине Армии Спасения.

Тем же утром около девяти часов она и Старина ехали перулком по своему обычному маршруту.

Первым из грузовичка вышел Старина. Дороти приотстала, чтобы он увидел свою находку сам.

Старина принялся по одной штуке вытаскивать из коробки одежду.

— Вот это бархатное платье сможет носить Дина. Она все жалуется, что у нее уже давно не было нового платья. А вот эта блузка и юбка такие огромные, что в них и слон завернется. Гамми они как раз впору. А вот...

Он поднял перед собой высокую коническую шляпу с широкими полями и двумя комками свалывшейся лошадиной гривы, прикрепленными к ленте. Это был довольно странный головной убор, сделанный из шкуры чалой лошади на каркасе из расщепленных костей. Другой такой шляпы не было, наверное, в целом мире, и она определенно выглядела как-то не к месту в этом переулке посреди огромного города в Иллинойсе.

Глаза у Старины полезли на лоб. Потом они и вовсе закатились, и он грохнулся на землю, словно подстреленный. Однако пальцы его, крепко ухватившиеся за шляпу, не разжимались.

Дороти испугалась. Она ожидала любой реакции, но только не этой. Если у него случился инфаркт, то он будет, подумала Дороти, целиком на ее совести.

К счастью, Старина всего лишь потерял сознание. Однако, придя в себя, он, вопреки ее ожиданиям, не стал проявлять бурного восторга. Напротив, он посмотрел на Дороти, посерев лицом, и проговорил:

— Не может быть! Это, верно, Старушка Матерь-Земля решила сыграть со мной шутку. Да и как может эта шляпа быть

шляпой Старины Короля Пейли? Да разве б *Гъяга*, в чьей семье все эти годы хранилась шляпа, не знал, что это?

— Возможно, и нет, — произнесла Дороти. — В конце концов, *Гъяга*, как вы называете человеческий род, больше не верит в магию. А возможно, ее теперешний владелец даже не подозревал, что это такое.

— Может быть. Скорее всего ее выбросили случайно во время уборки. Ты же знаешь, до чего глупыми могут быть бабы. Ну да как бы там ни было, давай-ка возьмем ее и пойдем. К этому, может статься, приложил руку сам Старый Дружище В Небесной Выси, похлопотал за меня. И если так, то вопросов лучше не задавать. Пойдем!

Старина редко надевал шляпу. Когда он был дома, то клал ее в клетку для попугаев и запирал дверцу клетки велосипедным замком. Ночью клетка свисала с подставки, днем стояла на сиденье грузовичка. Старина всегда хотел иметь шляпу перед глазами.

Сам факт, что шляпа наконец отыскалась, наполнил его мощным зарядом оптимизма и верой в то, что он теперь может все. Он пел и смеялся чаще, чем прежде. Он даже отважился ездить по улицам несколько часов подряд, пока не начал потеть и дрожать.

Гамми, увидев шляпу, попросту хмыкнула и отпустила по поводу ее внешнего вида непристойное замечание. Дина, ехидно улыбаясь, спросила:

— И почему это за столько лет лошадиная шкура и кости не сгнили?

— Только такая тупица *Гъяга*, как ты, и могла задать подобный вопрос, — презрительно фыркнул Старина. — Как шляпа может сгнить, если в нее втиснуты души целого миллиона Пейли и все на стоячих местах? Туда не влезут даже микробы. Ко всему лошадиная шкура и кости до отказа забиты могуществом и славой всех Пейли, которые умерли до нашего сражения с Зеленым Юнцом, и всех тех, которые умерли после. Да шляпа просто бурлит энергией душ под крышкой *Гъягской* магии.

— Смотри лучше, чтобы мы все не взлетели вместе с ней на воздух! — заметила Гамми, посмеиваясь.

— Вот ты заполучил свою шляпу, и что ты теперь собираешься с ней делать? — поинтересовалась Дина.

— Не знаю. Надо будет посидеть за пивком и хорошенько все обдумать.

Дина вдруг визгливо рассмеялась:

— Бог мой, да ты думал об этой шляпе пятьдесят тысяч лет, а теперь, когда она в твоих руках, ты не знаешь, что с ней

делать! Что ж, я скажу, что тебе с ней делать! Ты ведь далеко метишь, еще бы! Завоевать мир, очистить его от всех Ненасущных, все хорошо! Ты глупец! Даже если твой рассказ действительно не бред сумасшедшего, то ты все равно опоздал! Ты одинок! Последний! Один против двух миллиардов! Не беспокойся, Мир, этот тряпичник Рамзес, этот трущобный Александр, этот Юлий Цезарь с помойки не собирается завоевывать тебя! Нет, он собирается нахлобучить свою шляпу — и вперед! Для чего?

Стать борцом и чтоб его показывали по телевизору, вот чего! Вот вам предел его слабоумных мечтаний — увидеть себя в афишах как Однорукого Неандертальца, Ужасного Обезьяночеловека. Вот вам кульминация пятидесяти тысяч лет, ха, ха, ха!

Остальные с опаской поглядывали на Старину, ожидая, что тот ударит Дину. Но вместо этого он извлек из клеточки шляпу, надел ее и уселся за стол с четвертой пива в руках.

— Кончай кудахтать, старая курица, — сказал он. — Не видишь, что ли, — я думаю.

На следующий день Пейли, несмотря на похмелье, был в хорошем настроении. Он болтал всю дорогу до западного квартала и только однажды остановил грузовичок, чтобы пройтись взад и вперед по улице и показать Дороты, что он не боится.

Затем, продолжая хвастаться, будто он может справиться со всем миром, он въехал в переулочек и остановил грузовичок позади громадного, но в несколько запущенном состоянии особняка. Дороти с любопытством посмотрела на Пейли. Тот указал на густые заросли кустарника, который заполнил весь угол заднего двора.

— Кажется, будто и кролик не сможет пролезть туда, а? Но Старина знает то, чего не знают кролики. Давай за мной.

Неся с собой шляпу в клетке, он подошел к кустарнику, опустился на все три конечности и стал медленно продвигаться по невероятно узкому проходу. Дороти стояла, с сомнением глядя в сплетение ветвей, пока из его глубин не донеслось хриплое рычание:

— Струсил? Или попка слишком широкая, не дает пролезть?

— Как-нибудь попробую, — бодро отозвалась она. Вскоре она уже ползла на животе, а затем неожиданно увидела перед собой небольшую прогалину. На ней стоял Старина. Клетка была у его ног, а сам он смотрел на красную розу, которую держал в руке.

Она глубоко вдохнула:

— Розы! Пионы! Фиалки!

— А то как же, Дороти! — важно проговорил он, расправляя грудь. — Эдемский сад Пейли, его секретная оранжерея. Я обнаружил это местечко пару лет назад. Я тогда подыскивал себе уголок, где мог бы спрятаться от легавых, если б был в бегах от них. Да и вообще, хочется иногда просто побыть одному, сбежать от всех, даже от себя.

Я посадил здесь эти розовые кусты, и вот эти другие цветы тоже. Я то и дело прихожу сюда — проверяю их, опрыскиваю, подрезаю. А домой я никогда не ношу цветов, хоть мне и хотелось бы подарить их немного Дине. Но Дина-то не тупоголовая, поймет небось, что я их не из мусорного ведра вытащил. А я никак не хочу ей рассказывать об этом месте. И вообще никому.

Он впился в нее взглядом, словно пытался прочесть на ее лице каждое движение мысли, каждую подавляемую эмоцию.

— Ты единственная — кроме меня, конечно, — кто знает об этом месте. — Он протянул ей розу. — Держи. Это тебе.

— Спасибо вам. Вы оказываете мне честь. Правда. Я так счастлива, что вы показали мне это место.

— Правда счастлива? Мне очень хорошо от твоих слов. На самом деле. Просто невероятно, до чего хорошо.

— Он изумителен, этот уголок красоты. И... и...

— Я закончу за тебя. Ты никогда не подозревала, что самый уродливый человек в мире, обитатель свалки, человек, который даже вовсе и не человек или человеческое существо, а — я ненавижу это слово — неандерталец, способен оценить красоту розы. Верно? Что ж, я вырастил их, потому как люблю их.

Посмотри, Дороти. Посмотри на эту розу. Она круглая, но не как шар, а как сплюснутая округлость.

— Овал.

— Ну да. И посмотри на лепестки: как они обнимают друг друга, как устроены.словно одно кольцо из красных башенок оберегает следующее кольцо из красных башенок. А вместе они оберегают золотую чашечку, драгоценный источник жизни, сокровище. А может, это золотистые волосы принцессы в замке. Может быть. И посмотри на ярко-зеленые листочки под розой. Красиво, а? Старый Дружище знал, что делал, когда творил такие розы. Да ведь он был художником.

Но он, наверное, мучился от похмелья, когда кроил меня, а? У него в тот день тряслись руки. И он скоро оставил это дело и даже не дал себе труда закончить как-то меня, зато отправился за угол дома, чтобы добыть немного шерсти с собаки, а та укусила его.

Глаза Дороти неожиданно наполнились слезами:

— Не надо так переживать. У вас есть красота, чуткость, самые искренние чувства, только они таятся под...

— Вот под этим? — сказал он, показывая пальцем на свое лицо. — Ну конечно. Забуди об этом. Посмотри лучше на эти зеленые бутоны на этих молоденьких розах. Хорошенькие, а? Такие свежие в своем юном дыхании распускающейся красоты. Они созданы похожими на невинные девичьи груди.

Он шагнул к ней и обнял ее за плечи своей единственной рукой.

— Дороти.

Она уперлась обеими руками ему в грудь и мягко, чтобы не обидеть его, попыталась отодвинуться.

— Пожалуйста, — прошептала она, — пожалуйста, не надо. После того, как вы показали мне, каким прекрасным вы можете быть в действительности.

— Что ты этим хочешь сказать? — спросил он, не отпуская ее. — Разве то, что мне хочется испытать с тобой, не так же прекрасно и красиво, как эта роза здесь? И если ты действительно жалеешь меня, у тебя должно возникнуть желание позволить своему телу сказать то, о чем думает твой разум. Как цветы, когда они открываются навстречу солнцу.

Она покачала головой:

— Нет. Так нельзя. Пожалуйста. Я чувствую себя ужасно, потому что не могу сказать «да». Не могу. Я... вы... между нами слишком большая раз...

— Ясно, что мы разные. Идем в разных направлениях, потом заворачиваем за угол и — бац! — сталкиваемся друг с другом, и вот мы обхватываем руками друг друга, чтобы не дать упасть.

Он притянул девушку к себе, и ее лицо оказалось прижатым к его груди.

— Смотри! — громыхнул он. — Вот так. Ну же, дыши глубоко. Не отворачивайся. Не надо принюхиваться. Прижмись ко мне, будто мы склеены и ничто не в силах оторвать нас друг от друга. Дыши глубоко. Я обнимаю тебя своей рукой, как эти деревья обнимают собой эти цветы. Я не мучаю тебя, я даю тебе жизнь и оберегаю тебя. Верно? Дыши глубоко.

— Пожалуйста, — всхлипнула она. — Не мучайте меня. Осторожно...

— Осторожно и есть. Я не обижу тебя. Ну разве совсем немного. Все хорошо, расслабься, не будь такой застывшей со мной, как камень. Все хорошо, расплавляйся, как масло. Я не принуждаю тебя, Дороти, помни это. Ты сама хочешь этого, верно?

— Не мучайте меня, — всхлипывала она. — Вы такой сильный, о Боже, такой сильный.

Два дня Дороти не появлялась в доме у Пейли. На третье утро она для храбрости хлебнула еще до завтрака две двойных порции «V.O.». Приехав на свалку, она сообщила обоим женщинам, что все это время плохо себя чувствовала. Но что она вернулась, чтобы довести свои исследования до конца, раз уж они почти закончены, и что ее руководителям не терпится поскорее ознакомиться с ее отчетом.

Пейли молчал, хотя, увидев ее, даже не улыбнулся ей. Однако он все время украдкой поглядывал на нее, когда ему казалось, что та наблюдает за ним. И хотя он захватил с собой шляпу в клетке, он, как и прежде, потел и дрожал, когда пересекал улицы. Дороти сидела, глядя прямо перед собой и не реагируя на те немногие замечания, которые он высказывал вслух. В конце концов он шепотом выругался и, оставив всякие попытки продолжать работу как ни в чем не бывало, подъехал к потайному саду.

— Ну вот мы и здесь, — сказал он. — Адам и Ева возвращаются в Эдем.

Он взгляделся из-под нависших крутыми костистыми уступами бровей в небо.

— Нам бы лучше поторопиться залезть туда. Кажется, Старый Дружище встал сегодня не с той ноги. Собирается гроза.

— Я не пойду туда с вами, — возразила Дороти. — Ни сейчас, ни потом.

— Даже после того, что мы сделали, даже если ты сказала, что любишь меня, тебя все еще тошнит от меня? — спросил он. — Ты ведь в тот раз не вела себя так, будто тебя тошнит от Старины Урода.

— Я две ночи не могла глаз сомкнуть, — проговорила она невыразительным голосом. — Я тысячу раз задавала себе вопрос, почему я сделала это. И каждый раз я не находила ответа и говорила себе, что не знаю. Такое впечатление, будто в меня впрыгнуло что-то из вас и овладело мной. Я словно всех сил лишилась.

— Да уж, думаю, тебя не разбил паралич, — сказал Старины, кладя ей руку на колено. — А если ты лишилась сил, то это потому, что ты хотела быть бессильной.

— В разговорах нет смысла, — ответила она. — Больше такой возможности вы не получите. И уберите с меня свою руку. У меня от нее мурашки по коже бегут.

Он уронил руку.

— Ладно. Тогда к делу. Вернемся к сбору человеческих отбросов. Уедем отсюда! Забудь, что я говорил. Забудь и этот сад. Забудь тот секрет, про который я тебе рассказывал. Не говори никому. Обитатели свалки засмеют меня. Только представить себе: Старина Пейли, однорукий кандидат в психушку, изгнанник из древнего каменного века, выращивает пионы и розы! Ну и умора, а?

Дороти промолчала. Он тронул с места грузовичок. Въезжая в переулок, они увидели, что солнце прячется в тучи. Оно так и не выглянуло из них до конца дня, и до конца дня Старина и Дороти не разговаривали.

Разгрузившись у перекупщика, они ехали из города по Двадцать четвертому шоссе, и тут их остановил патрульный. Он вручил Пейли уведомление о штрафе за то, что у того не оказалось водительских прав, и приказал Пейли развернуться и следовать за ним в городской полицейский участок. Там Старине пришлось уплатить штраф в двадцать пять долларов. Которые он, ко всеобщему изумлению, спокойно вытащил из кармана.

Но бездельникам из полиции и зала суда наказание показалось, видно, недостаточным, и Пейли пришлось к тому же выносить их колкости. Очевидно, он не впервые посещал полицейский участок и был известен здесь как *Кинг-Конг*, *Бродяга Ух*, или просто Шимпанзе. Старину била дрожь. Был ли ее причиной подавляемый гнев или нервозность, Дороти сказать не могла. Но позднее, когда Дороти везла его домой, он дал волю кипевшей внутри ярости, чуть ли не до пены изо рта. К тому времени когда впереди показалась его лачуга, он кричал, что все его сбережения, которые он копил всю жизнь, пошли прахом и что все это подстроено *Гьягой*, чтобы уморить его с голоду.

И тут мотор грузовичка заглох. Чертыхаясь, Старина свирепым рывком открыл капот — да так, что сломался один ржавый шарнир. Рассвирепев от этого еще больше, он оторвал капот напрочь и забросил его в придорожную канаву. Не в силах найти причину поломки, он достал из ящика для инструментов молоток и принялся бить по бортам грузовичка.

— Я заставлю ее ехать, ехать, ехать! — кричал он. — А иначе она пожалеет! Заводись, потаскушка, урчи, жри бензин, прочисти свое проклятое брюхо и жри бензин, но только заводись, заводись, заводись! Иначе твой бывший любовник, Старина, продаст тебя в утиль, клянусь!

Не устрасаясь угроз, Фордиана даже не дрогнула.

В конце концов Пейли и Дороти пришлось оставить грузовичок у канавы и идти домой пешком. Когда они пересекали шос-

се с очень интенсивным движением, чтобы попасть на свалку, Пейли чуть не сбила машина. Он был вынужден отпрыгнуть, чтобы не попасть под колеса.

Пейли погрозил кулаком вслед мчавшемуся с огромной скоростью автомобилю.

— Я знаю, что ты охотишься за мной! — выкрикнул он. — Но у тебя ничего не выйдет! Ты пытался пятьдесят тысяч лет, а воз и ныне там! Мы еще поборемся!

В то же мгновение черные, распухшие, словно мешки, тучи у них над головой прорвались. Они промокли с ног до головы, не успев пройти и четырех шагов. Оглушительно рывкнул гром и сверкнула молния, ударившая в землю где-то на другом конце свалки.

Старина зарычал от страха, но видя, что остался цел и невредим, поднял кулак к небу.

— Ладно, ладно, значит, и ты на меня! Все понятно. Ладно, ладно!

Оставляя за собой лужицы воды, оба вошли в лачугу, где он тут же открыл кварту пива и принялся жадно пить. Дина завела Дороти за занавеску и дала ей полотенце вытереться и один из своих белых махровых халатов, чтобы та переоделась. К тому времени как Дороти вышла из-за занавески, Старина приступал к третьей кварте. Он выговаривал Дине за то, что та не поджарила как надо рыбу, а когда Дина резко ему ответила, принялся отчитывать ее за каждую провинность — большую и маленькую, настоящую и воображаемую, — какая только приходила ему на ум. Минут через пятнадцать он уже приколачивал гвоздями лицом к стене портрет Дининой матери. А сама Дина тихо всхлипывала за плитой и осторожно поглаживала те места, куда он ударил ее. Гамми возмутилась, и Пейли выгнал ее под дождь.

Дороти тотчас натянула на себя мокрую одежду и заявила, что уходит. Она пройдет мимо до города, а там сядет на автобус.

Старина огрызнулся:

— Проваливай! Ты для нас слишком чванлива, во всяком случае. Мы с тобой разной породы, так что и дело с концом.

— Не уходи, — взмолилась Дина. — Только ты его и можешь сдерживать, а без тебя он совсем распояшется.

— Извините, — сказала Дороти. — Мне следовало еще этим утром уехать домой.

— Да уж конечно, следовало, — зарычал он. А потом он вдруг расплакался. Его выпяченные губы дрожали, словно крылья птицы, а лицо подергивалось, как у горгульи*.

* Рыльце водосточной трубы, выступающей с крыши, в виде фантастической фигуры — в готической архитектуре.

— Убирайся, пока я не потерял над собой власть и не вышвырнул тебя, — произнес он, задыхаясь от рыданий.

Дороти, с выражением жалости на лице, тихо закрыла за собой дверь.

Следующий день был воскресеньем. Утром ей позвонила мать и сообщила, что приезжает из Уокигана навестить ее. Не смогла бы она взять выходной в понедельник?

Дороти ответила, что может, и затем, вздыхая, позвонила своему научному руководителю. Она сказала тому, что собрала наконец всю информацию, необходимую для отчета о Пейли, и что она начинает печатать его.

Поздно вечером в понедельник она, проводив мать на поезд, решила нанести дому Пейли прощальный визит. Она бы не смогла вытерпеть еще одну бессонную ночь, заполненную борьбой между желанием снова и снова вскакивать с кровати, чтобы дочиста отмыться, и душевной болью от предстоящей утром встречи лицом к лицу со Стариной и обеими женщинами. Она чувствовала, что если попрощается с семьей Пейли, то сможет попрощаться заодно с теми переживаниями. И если даже не сразу, то по крайней мере время перемелет их гораздо быстрее.

Когда она вышла из здания железнодорожной станции, небо над головой было ясным и сверкало звездами. Но когда она подъехала к свалке, западный ветер нагнал туч, и на город обрушился ослепляющий ливень с ураганом, затопляя все вокруг. Переезжая мостик, она увидела в свете фар, что бывший ручеек Кикапу Крик за два дня ливней превратился в небольшую речушку. Ее мутный, пенящийся поток с ревом устремлялся, минуя свалку, к реке Иллинойс, что протекала в полумиле отсюда.

Уровень воды настолько поднялся, что она плескалась уже на крылечках лачуг. Рядом с лачугами стояли грузовики и прочие ветхие машины, доверху набитые домашним скарбом, а их владельцы были готовы отбыть по первому же сигналу.

Отъехав немного от дороги, Дороти заглушила мотор. Ехать дальше было рискованно, так как машина могла застрять в топкой грязи. Когда она добралась наконец до лачуги Пейли, ее ноги до икр были вымазаны вонючей грязью. К тому времени уже наступила ночь и стало совсем темно.

В потоке света, струившемся из окна, стояла Фордиана, которую Старине, очевидно, удалось завести. В отличие от других машин, в ее кузове было пусто.

Дороти постучалась в дверь. Ей открыла Дина. Пейли сидел в изодранном мягком кресле. На нем были только выцветшие, в

заплатах, синие джинсы. Один глаз заплыл огромным черно-синие-зеленым синяком. Плотнo нахлобучив на голову шляпу Старины Короля из лошадиной шкуры, он вцепился рукой в горлышко бутылки пива, словно собирался задушить ее.

Дороти с любопытством посмотрела на заплывший глаз, но вопросов по его поводу задавать не стала. Вместо этого она поинтересовалась, почему Пейли до сих пор не упаковался в связи с угрозой наводнения.

Старина махнул ей голой култей руки:

— Это все проделки Старого Дружищи В Небесной Выси. Я молился этому старому идиоту, чтобы тот остановил дождь, но он полил еще сильнее, чем раньше. И я, значит, рассудил, что на самом деле это Старушка Матерь-Земля затеяла нам этот дождь. А Старый Дружище В Небесной Выси слишком хилый, чтобы тягаться с ней. Ему нужна сила. Так что... надумал я было пустить для него кровь из девственников, чтоб он напился этой кровью вволю и снова наполнил силой свои мышцы. Да приходится, видать, отказаться от этого, потому как такой штуки теперь больше не сыщешь — во всяком случае на сотню миль отсюда.

Стало быть... я тут подумываю, не выйти ли мне из дому и не сделать ли еще кое-что этакое. Например, вылить для него на землю кварту, а то и две, пива. Как говорят греки: обильные возлияния богам...

— Не разрешай ему больше пить того дрянного пива, — предупредила Гамми. — С нас хватит и этого поганого дождя, залил всех с ног до головы, и я не хочу, чтоб еще какие-то там боги блевали где попало.

Пейли швырнул в нее бутылкой. Пустой, конечно, потому что не настолько он опьянел, чтобы пустить в расход полную или даже полупустую бутылку. Но, ударившись о стену, она разбилась, и, поскольку за нее целую можно было получить монету в пять центов, Пейли обвинил Гамми в злонамеренном расточительстве:

— Если б ты попрдержала язык, она б не разбилась.

Дина не удостоила эту сцену вниманием.

— Я очень рада видеть тебя, детка, — сказала она. — Но было бы, наверное, лучше, если б ты осталась сегодня на ночь дома.

Жестом руки она показала на портрет своей матери, все еще прибитый гвоздями лицом к стене.

— Он по-прежнему в плохом настроении.

— Заодно скажи уж и об этом, — пробормотала Гамми. — Его долбанул рукояткой пистолета молодой Хромоногий Дулан, который живет в том доме из ящиков — ну, на его стене еще

приклеена реклама купальников от Джантсена, — когда Хромоногий потехи ради пытался сдернуть с головы Старины шляпу Старины Короля.

— Ну да, попытался сдернуть ее, — подтвердил Пейли. — Но я как следует саданул его по руке. Тогда он достает другой рукой из кармана пальто свою пушку и как звезданет ее прикладом мне в глаз! Ну да меня этим не остановишь. Он видит, как я подступаю к нему, будто опаздываю на работу, и говорит, что пристрелит меня, если я снова дотронусь до него. Мой старик воспитал не дураков-сынков, так что я на того Хромононогого больше не назираю. Но рано или поздно я еще доберусь до него. И будет он у меня хромать на обе ноги, если вообще будет ходить.

Но я не понимаю, отчего мне так не везет с тех пор, как я нашел эту шляпу. Ведь она не должна приносить несчастье. Полагается, чтоб она приносила мне все то счастье, какое когда-либо имел род Пейли.

Пристально посмотрев на Дороти, он добавил:

— А знаешь что? Мне везло, пока я не показал тебе того места, ну ты знаешь, цветы. А потом, сама знаешь после чего, все пошло наперекосяк. Что ты сделала со мной — высосала из меня силу, обстрипывая свои делишки? Тебя подослала ко мне Старушка Матерь-Земля, чтобы ты вытянула из меня крепость мышц, удачу и жизнь, если я вдруг отыщу шляпу, когда Старый Дружище положит ее на моем пути?

Он с трудом вытащил себя из кресла, достал из холодильника две кварты пива и, пошатываясь, направился к двери.

— Сил нет терпеть эту вонищу. Еще говорят, что я воняю. Да я по сравнению кое с кем из вас, провонявшими рыбой, просто душистые фиалки. Выйду-ка я проветрюсь на свежий воздух. Выйду да потолкую со Старым Дружищем В Небесной Выси, послушаю, что там у грома есть сказать мне. Он-то понимает меня, он не посылает меня к черту, если я старый урод, то есть полубезьяна.

Дина стремительно сорвалась с места и забежала перед ним, угрожающе протягивая к нему растопыренные пальцы с острыми ногтями — словно тощая разъяренная кошка из подворотни.

— Так вот оно что! У тебя хватило наглости оскорбить эту девочку! Ты грязное, развратное животное!

Старина остановился и, нагнувшись, осторожно поставил на пол свои две кварты. Затем, шаркая ногами, он подошел к портрету Дининой матери и сорвал его со стены. Гвозди жалобно взвизгнули, и Дина тоже.

— Что ты собираешься делать?

— То, что я хотел сделать давным-давно. Мне только тебя жалко было. А теперь нет. Хочу выбросить в ручей твоего идола. Знаешь почему? Потому что я думаю, она — засланная от Старушки Матери-Земли, врага Старого Дружищи. Она подслана сюда, чтобы следить за мной и докладывать Старушке Матери, чем я занимаюсь. А кто ее притащил в этот дом, как не ты!

— В ручей ты ее выбросишь только через мой труп! — завизжала Дина.

— С дороги! — рывкнул он и, пошатываясь, двинулся к двери, оттолкнув ее плечом.

Дина ухватила за раму портрета, который он держал в руке, но он, изловчившись, ударил ее по костяшкам пальцев. Затем он опустил портрет на пол, нагнулся и, придерживая его ногой, чтобы тот не упал, подхватил своей огромной ладонью две кварталы. Не выпуская их, он стал приседать, пока его культя не оказалась на уровне верхней части рамы. Прижав ее к телу культей, он выпрямился и, крепко прижимая к себе портрет, пошел шатаясь к двери и исчез в хлещущих струях дождя и сверкании молнии, с треском разрывавшей небо.

Дина на мгновение застыла, вглядываясь в темноту, затем ринулась за ним.

Ошеломленная Дороти смотрела, как они уходят. И только бормотание Гамми: «Они убьют друг друга» — помогло ей сбросить с себя оцепенение.

Она ринулась к двери, выглянула наружу и повернулась к Гамми.

— Что с ним стряслось? — крикнула она. — Он такой грубый, а ведь я знаю, что у него мягкое сердце. Ну почему ему надо быть таким?

— Это из-за тебя, — сказала Гамми. — Он думал, какая ему разница, как он выглядит и что делает, он все едино остается одним из Пейли. Он думал, что его пот вскружит тебе голову, как и всем цыпкам, которыми он похвалялся. Даже если его милашки много о себе воображали. А ты, раз не клюнула на него, здорово его разобидела. Потому как запала ты ему в голову, как никто до тебя.

Почему, как ты думаешь, жизнь стала такой скверной для нас после того, как он нашел тебя? Черт побери, да мужик — он и есть мужик, а он всегда знал толк в молоденьких цыпочках, верно? Дина этого не замечала, Дина ненавидит Старину. Но и обойтись без него тоже не может...

— Я должна их остановить, — произнесла Дороти и прямо с порога окунулась в черно-белый мир.

И тут же, сразу за дверью, в замешательстве остановилась. Свет струился лишь от лачуги позади нее, да от города Онабака, что на севере, исходило тусклое свечение. Но, кроме этих источников света, вокруг царила крошечная тьма. Тьма ночи, сгорающей в сверкании молнии лишь на одну ослепительную и пугающую секунду.

Обогнув лачугу, она побежала к Кикапу, находившемуся в пятидесяти ярдах. Она не сомневалась, что те двое должны быть где-то на берегу ручья. На полпути к ручью она заметила при вспышке молнии белую фигуру на берегу.

Это была Дина в своем махровом халате. Она сидела в грязи, наклонясь прямой спиной вперед, и содрогалась от рыданий.

— Я встала на колени, — простонала она. — Перед ним, перед ним. Я умоляла его пощадить мою мать. Но он сказал мне, что я еще буду потом благодарить его за то, что он избавил меня от поклонения ложной богине. Он сказал, что я буду руку ему целовать.

Голос Дины сорвался на крик:

— А потом он сделал это! Он разорвал мою благословенную матушку на мелкие клочья! Бросил ее в ручей! Я убью его! Я убью его!

Дороти погладила Дину по плечу.

— Ну же, успокойтесь. Вам лучше вернуться в дом и высушиться. Нехорошо, что он так поступил, но он не в своем уме. Куда он мог пойти?

— К той рощице тополей, где ручей впадает в реку.

— Возвращайтесь, — сказала Дороти. — Я полажу с ним. У меня получится.

Дина схватила ее за руку:

— Держитесь от него подальше. Он сейчас прячется в роще. Он опасен. Опасен, словно раненый вепрь. Или как один из своих предков, когда наши били их и травили насмерть.

— Наши? — переспросила Дороти. — Вы хотите сказать, что верите в его историю?

— Не всему, что он рассказал. Только частично. Тот его рассказ о массовом вторжении в Европу и о шляпе Короля Пейли — вздор. А если что и было похожее на правду, так оно через Бог знает сколько тысячелетий исказилось до неузнаваемости. Но то, что Пейли по меньшей мере наполовину неандерталец, правда. Послушай! Я пала низко, я — всего лишь шлюха старьевщика. Да и не только это... Старина больше не трогает меня — разве только чтобы ударить. И, что говорить, не его в том вина. Я сама напрашиваюсь, я хочу этого.

Но я не какая-то там слабоумная. Я принесла из библиотеки книги, читала, что они пишут о неандертальцах. Я внимательно изучала Старину. И я *уверена*: он, по всей видимости, и есть тот самый, за кого себя выдает. Гамми тоже — в ее крови по меньшей мере четверть неандертальской.

Дороти высвободила свою руку из Дининой.

— Мне нужно идти. Я должна поговорить со Стариной, сказать ему, что я больше с ним не увижусь.

— Держись от него подальше, — взмолилась Дина, вновь хватая Дороти за руку. — Если ты пойдешь поговорить с ним, то останешься и будешь делать то, что делала я. Что делали десятка два других. Мы позволяли ему заниматься с нами любовью, потому что он — не человек. Но для нас он все же был таким же человеком, как и любой другой, а некоторые из нас оставались даже после того, как уходило вождение, потому что приходила любовь.

Дороти мягко разняла пальцы Дины, сжимавшие ее руку, и пошла прочь.

Вскоре она подошла к тополиной роще на берегу, где ручей и река сливались вместе, и там остановилась.

— Старина! — крикнула она в паузе между раскатами грома. — Старина! Это Дороти!

Ей ответило рычание, словно она потревожила медведя в его берлоге, и из черноты тополиной рощи шагнула фигура, схожая с ожившим стволом дерева.

— Зачем ты пришла? — спросил он, подступив к ней так близко, что его чудовищный нос почти касался ее. — Я нужен тебе просто такой, какой я есть — Старина Пейли, потомок Настоящих Людей, — Пейли, который любит тебя? Или же ты пришла дать спятившему старому тряпичнику успокоительное, чтобы ты смогла взять его за руку, будто ягненка, и отвести его обратно на скотобойню, в дурдом, где ему будут тыкать пестом в зрачок и выдирать то, что делает его мужчиной, а не бараном.

— Я пришла...

— Ну?

— Вот зачем! — выкрикнула она и, сдернув с него шляпу, бросилась бежать от него к реке.

Позади нее грянул такой громкий вопль отчаяния и боли, что он заглушил собой даже раскаты грома. Шлепанье ног по грязи означало, что за ней пустились в погоню.

Она неожиданно поскользнулась и упала лицом в грязь. Очки при этом слетели с нее. Теперь настала ее очередь впасть в отчаяние, так как в этом царстве мрака она ничего не могла разглядеть без очков, кроме вспышек молний. Она должна

непременно отыскать их. Но если она замешкается с их поисками, он догонит ее.

Она вскрикнула от радости, когда ее шарившие по грязи пальцы наткнулись наконец на то, что искали. Но тут что-то ужасно тяжелое внезапно обрушилось сзади на ее спину и едва не оглушило ее. У нее перехватило дыхание, и она снова выронила очки.словно в тумане, она почувствовала, как от нее забрали шляпу. А через минуту, когда к ней вернулась прежняя четкость мыслей и чувств, она ощутила, что ее поднимают в воздух. Старина забрал ее у себя под мышкой, поддерживая выпирающим животом часть своей ноши.

— Мои очки. Пожалуйста, мои очки. Я не могу без них.

— Обойдешься чуток без них. А ты за них не волнуйся. Я их положил в карман штанов. Старина заботится о тебе.

Его рука еще сильнее сжала Дороти, и та вскрикнула от боли.

— Тебя послала сюда Гъяга, чтобы раздобыть эту шляпу, разве не так? — хрипло спросил он. — Что ж, ничего у тебя не вышло, потому как сегодня ночью по небу расхаживает Старый Дружище, а он защищает своих.

Дороти прикусила губу. Она едва не призналась, что хотела уничтожить шляпу прежде всего в надежде уничтожить заодно и вину за ее изготовление. Но Дороти не решилась сказать ему об этом. Если он узнает, что она сделала фальшивую шляпу, он убьет ее, ослепленный яростью.

— Нет. Только не опять, — проговорила она. — Пожалуйста. Не надо. Я закричу. И за тобой придут. Тебя возьмут в больницу штата и запрут там на всю жизнь. Клянусь, я закричу.

— Да кто услышит тебя? Разве что Старый Дружище, а уж он страсть как порадует, увидев, что фортуна к тебе повернулась задом, потому как ты из Ненастоящих и своей Ненастоящей магией вынула из моей шляпы и из меня всю душу. Ну да я возьму и себе и ему, и тем же манером, каким ты вынула ее из меня. Дверь открывается с обеих сторон.

Он остановился и опустил Дороти на груды мокрых листьев.

— Ну вот мы и пришли. Лес ничуть не изменился с прежних времен. Не волнуйся. Старина защитит тебя от пещерного медведя и лесного быка. Но кто защитит тебя от Старины, а?

Молния полыхнула так близко от них, что на секунду оба ослепли и онемели. А потом Пейли закричал:

— У Старого Дружищи сегодня ночью гулянка. Как всегда, развлекается на полную катушку! Кровь, убийство и злоба завладевают воющим ночным воздухом!

Огромным кулаком он гулко ударил по своей мощной груди.

— Пусть Старый Дружище и Старушка Матерь-Земля сегодня ночью померятся силами. Они не собираются мешать нам, Дороти. Если только тот волосатый дряхлый бог в облаках не захочет поджарить меня своей молнией, потому как завидует мне — ведь у меня есть то, чего нет у него.

Молния с заряженных небес вонзилась в землю, а к облакам скакнула молния с заряженной земли. Дождь полил еще сильнее, чем прежде. словно он извергался из огромной трубы, вставленной в горную речку, и выливался прямо на них. На какое-то время яркие вспышки молний бесновались в стороне от тополиной рощи. Затем одна из них разорвала вдруг ночной мрак рядом с Пейли и Дороти, оглушила и ошеломила их.

А Дороти, глядя поверх его плеча, решила, что сейчас ее сердце разорвется от страха, потому что над ними стояло привидение. Оно было высоким и белым, в развевающемся по ветру саване, и его руки были подняты, словно посылали им обоим проклятие.

Но привидение держало в руке нож.

Затем яркая вспышка, начертавшая позади белой фигуры огненный крест, исчезла, и ночь снова завладела миром.

Дороти пронзительно вскрикнула. Старина глухо ахнул, словно нечто вышибло из него дух.

Он встал на колени, что-то невнятно проговорил, задышав от напряжения, и медленно встал на ноги. Он повернулся спиной к Дороти, чтобы посмотреть в лицо существу в белом. Снова сверкнула молния. Дороти опять вскрикнула, увидев нож, торчавший из его спины.

Затем белая фигура бросилась к Старине. Но не потому, чтобы напасть на него. Вместо этого она упала на колени и пыталась поцеловать ему руку, сбивчиво вымаливая прощение.

Это было не привидение. Не человек. То была Дина в своем белом махровом халате.

Старина, качаясь взад и вперед, молчал.

— Я вернулась в лачугу за ножом, и вот я пришла сюда, потому что знала, что ты будешь делать, а я не хотела, чтобы из-за тебя жизнь Дороти пошла под откос, и я возненавидела тебя и захотела убить тебя. Но на самом деле я не питаю к тебе ненависти.

Пейли медленно завел руку за спину и ухватился за рукоятку ножа. Новая молния побелила все вокруг него, и в ее ослепительном свете женщины увидели, как он выдернул из тела лезвие.

— Это ужасно, ужасно, — простонала Дороти. — Все из-за меня, все из-за меня.

Она принялась ощупывать грязь рядом с собой, пока ее пальцы не наткнулись на джинсы Старины и на их задний карман, в котором лежали ее очки. Она надела их, но только для того, чтобы убедиться, что, кроме темноты, она ничего не видит. Она уже стала волноваться, как ей найти свою одежду. Встав на четвереньки, она принялась ползать по мокрым листьям и траве, ощупывая все подряд. Дороти уже совсем было отчаялась отыскать ее и решила вернуться назад, к Старине, когда еще одна вспышка молнии осветила кучку слева от нее. Радостно вскрикнув, она поползла к ней.

Но очередной удар молнии высветил ей нечто другое. Взвизгнув, она попыталась встать на ноги, но, поскользнувшись, упала лицом вниз.

С ножом в руке к ней медленно приближался Старина.

— Не пытайся дать стрекача! — проревел он. — Тебе ни за что не удрать! Старый Дружище высветит для меня все, что нужно, так что тебе не улизнуть в темноте. К тому же твоя кожа светится во тьме, как гнилая поганка. Тебе крышка! Ты сорвала с меня шляпу, чтобы бросить меня здесь беспомощным и чтоб Дина потом пырнула меня в спину. Ты и она — самые что ни на есть ведьмы Ненастоящих, уж я-то знаю, черт возьми!

— Вы соображаете, что делаете? — спросила Дороти. Она попыталась снова встать, но ей не удалось. Будто у грязи появились вдруг пальцы и они уцепились за ее лодыжки и колени.

— Старый Дружище вопит по крови женщин *Гьяги*. И он скоро получит крови сколько угодно. И это только справедливо. Дина проткнула меня ножом, и Старушке Матери-Земле досталось испить моей кровушки. Теперь твоя очередь дать напиться Старому Дружище.

— Не надо! — взвизгнула Дина. — Не надо! Дороти здесь совершенно ни при чем! И не тебе обвинять меня после того, как ты дурно обошелся с ней!

— Это она дурно обошлась со мной, хуже некуда. Я хочу принести последнюю жертву Старому Дружище. А уж потом пусть что хотят, то и делают со мной. Мне наплевать. Зато я смогу хоть на одно мгновение стать настоящим Настоящим Человеком.

Дина и Дороти пронзительно закричали. В следующую секунду молния рассеяла тьму вокруг них. Дороти увидела, как Дина прыгнула на спину Старины и повалила его. Потом снова опустился мрак.

Послышался стон. Затем снова взрыв света. Старина, скорчившись, стоял на коленях. Но, несмотря на то что он согнулся

чуть ли не пополам, Дороти разглядела рукоятку ножа, торчавшую из его груди.

— О Господи! — запричитала Дина. — Когда я толкнула его, он, должно быть, упал на нож. Я слышала, как в его груди сломалась кость. Теперь он умирает!

Пейли простонал:

— Ну да, теперь ты добила своего. Ты уж точно отплатила мне, да? Отплатила мне за то, что я вытряхнул из тебя эту твою наркоманью дурь и поддерживал тебя все эти годы.

— Ох, Старина, — задыхалась от рыданий Дина, — я не хотела делать этого. Я просто пыталась спасти Дороти и спасти тебя от самого себя. Пожалуйста! Могу ли я хоть как-то помочь тебе?

— Конечно, можешь. Заткнуть мне две огромные дырищи в спине и груди. Из меня выливается моя кровь, мое дыхание, моя настоящая душа. Дружище В Небесной Выси, что за дурацкая смерть! Помереть от руки спятившей женщины!

— Вам нельзя волноваться, — сказала Дороти. — Поберегите силы. Дина, беги на заправочную станцию. Она еще открыта. Позови врача.

— Не ходи, Дина, — проговорил Пейли. — Слишком поздно. Мои силы на исходе, и через минуту придется мне отправиться на тот свет. Мой дух держится во мне на волосинке. Еще немного — и он выскочит из меня, как гончая за кроликом.

Дороти, Дороти, неужели та злобная Старая Карга подбила тебя на это и подослала ко мне? Ведь, наверное, я что-то значил для тебя... под цветами... видно, к лучшему... я чувствовал себя богом, тогда... не тем, кто я есть на самом деле... чокнутым старым старьевщиком... из трущоб... Подумать только... за плечами у меня пятьдесят тысяч лет... куда старше Адама и Евы... и вот...

Дина принялась всхлипывать. Пейли поднял руку, и Дина схватила ее.

— Отпусти, — слабым голосом произнес он. — Я хотел дать тебе как следует, чтоб не ревела... прямо как потаскушка Ненастоящих... убить меня... а потом плакать... ты никогда не дорожила мной... как Дороти...

— У него холодеют руки, — прошептала Дина.

— Дина, похорони эту проклятую шляпу вместе со мной... сделай эту малость... Эй, Дина, к кому ты побежишь за помощью, когда услышишь, как за дверью застучит зубами та наркоманья дурь, а? К кому?..

Не успели Дороти с Диной удержать его, как он неожиданно сел. И в то же самое время новая молния обрушилась на землю

неподалеку от них. В ее свете они увидели его глаза, глядевшие мимо них в ночную мглу.

Он заговорил заметно окрепшим голосом, словно сквозь дыры в его теле жизнь вливалась в него обратно:

— Старый Другище устраивает мне шикарные проводы. Гром и молния. Чудеса, и только. На дешевку не разменивается, а? Почему бы нет? Он знает, что моя дорожка обрывается. Последний из его поклонников... последний из Пейли...

Он захлебнулся собственной кровью и, откинувшись назад, навсегда умолк.

ОНИ СВЕРКАЛИ, КАК АЛМАЗЫ

1

Все утро Джек Крэйн лежал в укромном месте среди кустов. Чтобы хоть немного размять мускулы и разогнать застоявшуюся кровь, он изредка двигался, но в основном оставался неподвижным и походил на грудку ветоши. За все это время он не видел и не слышал агентов БОЗИПа, да и вообще все вокруг было совершенно тихо и спокойно. Предраассветная мгла помогла Джеку скрыться от глаз преследователей, когда он, задыхаясь, бежал из притона транси, прятался по задворкам от настигающих пронзительных свистов и окриков, полз на четвереньках по аллее и в конце концов спрятался в высокой траве среди кустов, окаймлявших внутренний дворик какого-то дома.

На мгновение сердце Джека забилося слишком уж громко, и он обреченно подумал, что не услышит своих преследователей, даже если те подойдут совсем близко, и что в конце концов люди из БОЗИПа выследят его. Приятель рассказал Джеку, что недавно построенный лагерь находится всего лишь в трех часах езды от города. Это означало, что агенты в черной униформе будут кишеть в округе, как пчелы в улье. Однако до сих пор вокруг не наблюдалось ни души. Пока Джек лежал, горячее и неутомимое солнце стало взбираться на небо. Гулкие удары сердца сменились бесшумными, но болезненными движениями в желудке.

Он сжевал шоколадку и пару засохших печений, подаренных домохозяйкой накануне вечером. Голод, терзавший Джека так, что казалось, будто в животе взад-вперед расхаживает разъяренный тигр, немного утих. Зверь припал к земле и сладко

облизывался. Но его хвост застрял в глотке Джека, который явно чувствовал сухую шерсть, царапающую рот. Ощущения были пренепрятнейшие, но он уже давно привык к различным неудобствам. Ночь непременно придет. И тогда появится возможность утолить мучительную жажду.

Джека начала одолевает дрема, глаза его закрывались. Только он собрался немного вздремнуть, как случайным движением руки задел лист и обнаружил темную гусеницу, в центре некоторых сегментов которой красовались желтые пятнышки. Почувствовав себя лишенной укрытия, гусеница начала медленно уползать. Не успела она переместиться и на два дюйма, как ее накрыла движущаяся тень. Эту тень отбрасывала черная оса с оранжевым кольцом на брюшке. Быстрым плавным движением оса приблизилась к гусенице и бросилась в атаку.

Прежде чем оса успела захватить толстую шею намеченной жертвы, та начала быстро сворачиваться и разворачиваться, извиваясь из стороны в сторону. Какое-то мгновение полосатый агрессор никак не мог ухватить шею гусеницы. Острые челюсти осы соскользнули с судорожно дергающейся кожи, и тут утомленная жертва остановилась на долю секунды.

Пользуясь этим промедлением, оса поднялась высоко на ножках и оторвала голову гусеницы от земли, обнажив при этом желтую полоску на брюшке. В то же мгновение оса резко изогнулась и вонзила жало между двумя сегментами жертвы. По телу гусеницы пробежала дрожь, и она неподвижно застыла, словно тут же умерла.

Джек зачарованно смотрел на разыгравшуюся перед ним борьбу, переживая за гусеницу, как за выслеженного и затравленного товарища. Его собственная борьба в последние несколько месяцев была такой же отчаянной, хотя и небезнадежной, и...

Все мысли одновременно улетучились. Сердце снова бешено заколотилось. Краем глаза он заметил тень, упавшую на траву. Медленно и осторожно Джек повернул голову и увидел пару сияющих ботинок.

Он не промолвил ни слова. Что толку? Оттолкнувшись руками от земли, Джек рывком поднялся и угрюмо уставился в молчаливую пасть автоматической винтовки 38-го калибра, которая сказала ему, что бегство подошло к концу. И ответить такому собеседнику было абсолютно нечего.

2

Джеку повезло. Одним из последних его загнали в грузовик, который когда-то использовался для перевозки скота. И теперь, стоя лицом к задней решетке фургона, он хотя бы мог свободно

дышать. Машина ехала навстречу солнцу. И беспощадные лучи не так обжигали Джека, как остальных пленников, настолько прижатых друг к другу, что они даже не могли отвернуться от бьющего в глаза солнца.

Сквозь полуприкрытые веки Джек рассматривал молодых парней, стоящих по обе стороны от него. За последние три дня, проведенных в притоне транси, парень, стоявший слева от Джека, приобрел все признаки странного состояния, в которое впадали все транси. Он бормотал что-то, был безразличен к пище, не слышал, что ему говорят. А сейчас шок от внезапного нападения и поимки ускорил все прогнозируемые процессы. Вытянув руки, словно богомол, парень, полусогнувшись, держался за решетку. И даже давка не могла изменить позу этого несчастного, застывшего, как бетонная статуя.

Человек справа от Джека что-то бормотал, но рев мотора и гул переключаемых на подъеме скоростей заглушали его голос. Он заговорил громче:

— *Cereā flexibilitas*. Состояние глубокого ступора. Вот что ждет всех нас.

— Дурак, — сказал Джек. — Только не меня. Я не псих и не собираюсь им стать.

Поскольку ответа не последовало, Джек решил, что говорил недостаточно громко и потому его не расслышали. Позднее, даже когда было тихо, оказалось, что многим трудно расслышать его слова. Это приводило Джека в тихую ярость.

Он закричал. Было уже все равно — подслушают его или нет. Вряд ли кто-нибудь из пойманных мог оказаться агентом Бюро охраны здоровья и психики. Да и вообще — плевал он на это. Бозипские ублюдки не сделают ему ничего, что не запланировали заранее.

— Знаешь, куда мы едем?

— Конечно. ФРЛМ-три. Федеральный реабилитационный лагерь для мужчин номер три. Я провел в горах две недели, наблюдая за ним.

Джек окинул говорившего взглядом. Как и все остальные в грузовике, он был одет в обтрепанную рубашку, заляпанную и продранную куртку и сальные, грязные штаны. Щеки его покрывала черная, довольно длинная щетина, завитки густых волос спускались на шею. Большую пыльную шляпу он надвинул прямо на глаза. Под тенью ее широких полей глаза парня блуждали из стороны в сторону с таким же страхом, который, как знал Джек, светился и в его собственных глазах.

Голод и бессонные ночи иссушили щеки и заострили подбородок этого человека. Его окружал практически видимый

воздух; казалось, что горячая аура исходит из вен, полных лавы, и воспаленных глаз, излучающих жар, который невозможно уже сдержать внутри тела. Лицо парня было таким же, как у всех транси, — лицо человека, сгорающего в лихорадке или же галлюцинирующего под воздействием сильных наркотиков.

Джек отвернулся и с несчастным видом уставился на пыль, вскипающую за колесами, словно в ее желто-коричневом экране отражалось удаляющееся прошлое.

— Что случилось с нами? — проговорил он сквозь зубы. — Мы должны работать на хорошей работе, быть счастливыми и уверенными в будущем. А мы — всего лишь бездельники, бродяги, скитальцы, нищелюбы, попрошайки и воры.

Его товарищ пожал плечами и бросил искоса тяжелый взгляд. Он, вероятно, ждал вопрос, который рано или поздно задавали каждому транси: «А почему ты избрал такой путь?» Никто не давал вразумительного ответа на такой вопрос. Каждый врал, не получая никакого удовольствия от своей лжи. И даже спрашивая о том же самого себя, любой транси знал, что не узнает правды. Но что-то заставляло всех их снова и снова спрашивать об этом.

Сосед Джека тоже уклонился от ответа.

— Я читал в журнале статью доктора Веспы, начальника Бюро охраны здоровья и психики, — сказал он. — Веспа написал статью сразу после того, как указом президента создали Бюро. Он, цитирую, «с тревогой и опасением» указывал на тот факт, что шесть процентов молодых людей в возрасте от двенадцати до двадцати пяти лет — шизофреники, нуждающиеся в госпитализации. И он, цитирую, «был потрясен и напуган» тем, что пять процентов нации — бездомные и безработные, три и семь процента из которых — в возрасте от четырнадцати до тридцати. Веспа сказал, что, если шизофрения будет так прогрессировать, половина населения земли окажется в реабилитационных лагерях. Но если это произойдет — погибнет другая половина населения. Общество вернется к каменному веку. И шизофреники тоже умрут.

Парень облизнул губы, словно попробовал цифры на вкус, а они оказались горькими.

— Я очень заинтересовался ответом Веспы одной женщине, написавшей ему, — продолжил он. — Ее дочь скончалась в лагере БОЗИПа для психов, а сын покинул прекрасный родительский дом и отказался от превосходного будущего, чтобы стать бездельником и бродягой. Мать этих детей хотела узнать, почему так случилось. Ответ Веспы состоял из шести длинных параграфов, каждый из которых был теоретически обоснован и

изложен самыми выдающимися социологами. Сам Веспасклонялся к теории массовой истерии. Но если бы вы внимательно прочитали его статью, то поняли бы, что ответ лишь один: мы не знаем, почему все это происходит.

Он сказал, хотя тебе это и не понравится, что шизофреники и транси — две стороны одной монеты. Все они заражены одной и той же болезнью, какой бы она ни была. И транси часто умирают, как психи. Только живут немного дольше.

Переключались передачи машины. Пол кузова накренился. Джека прижали к задней решетке тела прочих пленников. Он молчал, пока не ослабло давление, и, только свободно вздохнув, заговорил.

— Не сравнивай меня с собой, — сказал он. — Я избрал такую жизнь по причине совсем другой, чем эти ненормальные. Совершенно другой, понимаешь? И тут все ясно как божий день. Я бы не оказался здесь с вами, ребята, если бы не увлекся наблюдением за осой, ловящей гусеницу, и не заметил, как агент БОЗИПа подкрался ко мне.

Пока Джек рассказывал про маленькую трагедию, свидетелем которой он случайно оказался, стоящий рядом парень позволил себе пару раз криво улынуться. Он даже казался поглощенным этим рассказом и, когда Джек замолчал, промолвил:

— Вероятно, это была оса-аммофила. *Sphex urnaria Klug*. Прекрасный, но злобный демон. Жалом она впрыскивает яд в центральный нерв гусеницы. Это не только парализует жертву, но и как бы консервирует ее. Оса прячет две таких гусеницы в подземную нору и прикрепляет к их телу одно из своих яиц. Когда из яйца вылупляется личинка, она съедает обоих червей. Они живы, но совершенно беспомощны и не могут сопротивляться, пока личинка полностью не сжирает их тела. Неплохо придумано, а?

Так поступают многие насекомые: *Sceliphron cementarium*, *Eumenes coarcta*, *Eumenes fraterna*, *Bembix spinolae*, *Pelopoeus*...

Джек перестал слушать эти излияния. Его осведомитель оказался одним из транси, проводящих почти все время в библиотеках. Эти умники радовались каждому шансу продемонстрировать свои энциклопедические, но бесполезные знания. Сам-то Джек, повзрослев, перестал зачитываться книгами. Последние три года все дни и вечера он проводил на улице, в круговерти несущихся мимо лиц, мерцании витрин ресторанов, магазинов и офисов, продолжая надеяться, надеяться...

— Так ты сказал, что следил за лагерем? — Джек прервал заумные высказывания на греческом и латыни.

— Что? Ах да. Две недели. Я видел огромное количество транси, которых везли туда, но не заметил, чтобы кого-нибудь вывозили. Может, они остались в ракете.

— В ракете?

Парень смотрел прямо перед собой. Его лицо оставалось невозмутимым, но голос дрожал.

— Да. В огромной ракете. Она приземлилась и выгрузила десятки людей.

— Ты что, рехнулся?

— Говорю тебе, я видел ее. Я еще не совсем свихнулся, чтобы видеть то, чего на самом деле нет. Пока еще не свихнулся.

— Может, у правительства и есть ракеты, просто они никому не говорят об этом.

— Но какая связь между реабилитационными лагерями и ракетами?

— Твоя история с ракетами совершенно фантастическая, — пожав плечами, хмыкнул Джек.

— Если бы четыре года назад кто-нибудь сказал, что ты станешь бездельником, которого увезут в концентрационный лагерь, ты бы наверняка тоже сказал, что это фантастично.

Не успел Джек ответить, как грузовик остановился около высокого забора с колючей проволокой. Ворота со скрипом отворились. Подпрыгивая на ухабах, грузовик двинулся по грязной дороге. Джек увидел нескольких агентов БОЗИПа в черной униформе, сидевших рядом с тяжелыми пушками. Машина остановилась около другого выхода, миновав еще один забор с колючей проволокой. Вокруг бегали мощные доберман-пинчеры, смотревшие на транси холодными, спокойными глазами. Подняв за собой клубы дыма, машина проскрипела еще по одному участку дороги, где наконец окончательно остановилась. Водитель заглушил мотор.

Агенты опустили заднюю решетку грузовика. С любопытством осмотрев пальцы вцепившегося в прутья несчастного шизика, они принесли лом. Затем с трудом отцепили парня от машины, и так, полусогнутого, и увели.

Загремели команды сержанта. Неуклюже спотыкаясь, транси выпрыгивали из грузовика. Их быстро разделили на небольшие группы и строем увели в загон, а оттуда — в огромные черные бараки. В течение часа каждый из пленников был раздет, обрит, помыт в душе. Каждому вручили серую форму, алюминиевую миску, полную бобов, ложку, кусок хлеба и чашку горячего кофе.

После всего этого Джек побродил вокруг, рассматривая песчаную почву под ногами, колючую проволоку и часовых в чер-

ной форме. Он все время задавал себе один и тот же вопрос: где, где, где? Это было двенадцать лет назад, но где же, где это было?

3

А как просто было бы избежать всего, что произошло, если бы только он послушался своего отца. Но мистер Крэйн, к сожалению, оказался не слишком строгим отцом.

— Джек, — сказал он, — пойди-ка, пожалуйста, поиграй на улице или выйди в другую комнату. Очень трудно разговаривать о делах, когда ты шумишь и носишься вокруг, а я должен обсудить с господином...

— Конечно, папочка, — ответил Джек, прежде чем отец успел назвать имя своего гостя. Джек сейчас был вовсе не Джеком Крэйном, а Чингачуком. Он вообразил, что стулья и диван — деревья. А большое тяжелое кресло, в котором сидел посетитель папы (Джек про себя называл его просто Мистером), — представляло для мальчика огромное поваленное бревно. И Чингачук намеревался засесть за этим бревном в засаде.

Мистер несколько не помешал Джеку играть. Он улыбнулся и с ласковой настойчивостью сказал, что Джек очень хороший мальчик. Гость был одет в легкий серо-зеленый летний костюм и носил с собой большой коричневый кожаный портфель, который казался слишком тяжелым для его тонких, как соломинки, рук и ног. Выглядел Мистер довольно странно: очень тонкая талия и слишком широкие плечи делали его фигуру совершенно непропорциональной. Он снял желто-коричневую панаму и обнажил белый пушок, покрывающий розовую кожу головы. Бледное лицо Мистера напоминало луну в солнечный день. Широкая улыбка обнажила ряд прекрасных, но искусственных зубов.

Внешность посетителя казалась еще более странной из-за очков, толстые стекла которых так сильно были окрашены в розовый цвет, что Джек никак не мог разглядеть глаза Мистера. Дневной свет как-то странно отражался в этих очках, и казалось, что под каким углом ни посмотришь — все равно не увидишь, что же за очками. Оправа причудливо изгибалась и полностью скрывала даже уголки глаз.

Мистер объяснил, что он — альбинос и должен постоянно носить очки, чтобы свет не резал глаза. Джек на минутку прекратил игру в Чингачука, чтобы послушать Мистера. Он никогда раньше не видел альбиносов и даже не знал, что такие существуют.

— Мальчик совершенно мне не мешает, — сказал Мистер. — Пусть играет здесь, если хочет. Он ведь развивает свое воображение и, возможно, в этой гостиной сможет найти гораздо больше занимательного, чем где-то во дворе. Мы, взрослые, не должны препятствовать развитию чудесного дара воображения, которым обладают наши дети. Фантазия, воображение — как бы мы ни называли эту способность человеческого мышления — именно она главный источник вдохновения и талантов, из которого черпают все эти ученые, музыканты, художники и поэты, которые в последующем становятся действительно что-то значащими личностями. Они — взрослые, которые остаются детьми.

Ты ведь сейчас последний из могикан и подкрадываешься к французскому капитану, чтобы метнуть в него томагавк, не правда ли? — обратился к Джеку Мистер.

Тот моргнул. Кивнул. Непрозрачные розовые линзы выглядели, словно врата, открывающие серый лысый череп Мистера.

— Послушай меня, Джек, — продолжил коммивояжер. — Ты забудешь мое имя, да это и не важно. Но ты всегда будешь помнить обо мне и моем визите, правда?

Джек посмотрел на непроницаемые стекла и тупо кивнул.

— Вам следует помочь сыну развить воображение. — Мистер повернулся к отцу Джека: — Оно непременно пригодится мальчику для осуществления его стремлений и желаний. Как и все перспективные молодые люди, он пытается отыскать затерянную дверь в райские сады. История великих поэтов и деятелей искусства — это история попыток вернуться в царство, утраченное Адамом, в забытые сады Гесперид разума, на Авалон, преданный забвению в нашей душе.

— Я внимательно вас слушаю. — Крэйн в удивлении щелкнул пальцами.

— Лично я считаю, что когда-нибудь люди поймут, чего же они ищут всю свою жизнь. И изобретут аппарат, который позволит ребенку проектировать в своем воображении различные видения — так, как пленка отбрасывает изображения на экран.

Я вижу, вы заинтересовались, — продолжил Мистер. — Ну конечно, ведь вы — профессор философии. Итак, давайте назовем эту игрушку спектроскопом, ведь сквозь нее человек может видеть спектры, которые часто проявляются в его подсознании. Ха-ха! Хотите знать, как он работает? Я расскажу вам. Хотя в научных журналах об этом ни разу не упоминалось, ученые моей страны разработали довольно простое устройство. Могу объяснить все очень просто: свет падает на сетчатку глаза, отдельные лучи посылают импульсы полярным клеткам, которые передают полученные сигналы на оптический нерв, соединяемый с мозгом...

— Ваши объяснения элементарны и слишком упрощены, — буркнул отец Джека.

— Прошу прощения. — Мистер кивнул. — Думаю, что будет достаточно простого наброска. Детали вы сможете добавить сами. Так вот. Такой спектроскоп преломляет свет, направленный в глаз, который теперь получает лучи только определенной длины волны. Я не могу сказать вам — какой именно, скажу лишь, что визуально это находится в красном диапазоне. При этом поток света концентрируется, проходя словно через линзу, что, как известно, увеличивает его мощность.

Результат? Активизируется до сих пор неоткрытое химическое вещество, находящееся в визуальном разряде красных лучей. Это вещество стимулирует зрительный нерв неизвестным ранее образом. Электромеханические раздражители затем начинают действовать на подсознание и полностью пробуждают его.

Давайте-ка я объясню немного по-другому. Особенности подсознания не в его местоположении, а в строении. Между нейронами коры головного мозга существуют миллиарды вариантов связи. Посмотрите на эти варианты, как на множество карт в одной колоде. Перетасуйте карты один раз, и вы получите мозг простого работника, который живет под девизом *cogito ergo sum* — «я мыслю, следовательно — существую». Но если вы перетасуете карты еще раз, то, возможно, — бинго! — вам повезло, и вы получили комбинацию нейронов (или карт), формирующих подсознание. Спектроскоп как раз и осуществляет перетасовку карт. Когда взрослый или ребенок смотрит сквозь этот прибор, он первый раз в жизни наяву видит результат работы своего подсознания, воспринимая мир иначе, чем в мечтах или фантазиях. Человек как бы попадает в свой собственный райский сад. И я уверен, что когда-нибудь такой спектроскоп будет доступен всем детям.

Когда это произойдет, мистер Крэйн, вы поймете, что мир только выиграет от тайных желаний людей. Земля станет гораздо лучшим местом. Рай, запрятанный глубоко в каждом человеке, может быть найден.

— Не знаю, — сказал отец Джека, задумчиво поглаживая подбородок. — Такие дети, как мой сын, и так слишком замкнуты. И если вы дадите им подобную психологическую игрушку, то увидите, как они растут, все более и более замыкаясь в своем внутреннем мире. Это не приведет ни к чему хорошему. Человек был изгнан из райского сада. И вся человеческая история — это долгие и мучительные скитания в поисках чего-то лучшего. Но люди не ищут сытой и ленивой жизни в золотом

веке. Если человечеству было бы предназначено вернуться в райские сады, оно бы регрессировало, стало статичным, инфантильным или даже остановилось в развитии. Люди бы задохнулись в западне собственных мечтаний.

— Возможно, — ответил коммивояжер. — Но я думаю, что ваш ребенок неординарный. И пойдет гораздо дальше, чем вы думаете. Почему? Потому что он крайне чувствителен, и все, что ему надо, — это надлежащее руководство воображением. Слишком многие дети становятся явными ничтожествами, думающими только о том, как набить желудок, чьи головы полны ничего не значащего вздора. Они так и останутся приземленными. Я имею в виду, что они погрязнут в быту и невежестве.

— Еще ни один страхового агент не говорил мне ничего подобного, — хмыкнул отец Джека.

— Как и все настоящие продавцы, я психолог от рождения! — взвизгнул Мистер. — Но у меня есть преимущество перед всеми прочими. Я доктор психологии. Разумеется, я бы предпочел остаться дома и проводить дни в библиотеке. Но мои собственные дети недоедают, и не подумайте, что это шутка. Поэтому я решил поехать за границу и заняться здесь чем-нибудь, что принесет нам хоть немного хлеба насущного. Я не мог более оставаться и смотреть, как голодают мои маленькие детишки.

Более того, — сказал Мистер, очертив рукой в воздухе большую дугу, — вся эта планета — проклятое место, где наказуем каждый, не предпринимающий активных действий и предпочитающий спокойную жизнь в четырех стенах.

— Ваши слова вызваны голодом. У вас интересное произношение и имя. Вы грек, да?

— В некотором отношении, — ответил Мистер, снова оживившись. — Мое имя в переводе означает «милосердный», или «добрый», или «имеющий благие намерения». Вполне уместный перевод. Я ведь пришел к вам, чтобы предложить свои услуги. Так, поговорим о ежемесячных выплатах.

Джек встряхнулся и сбросил с себя какое-то странное оцепенение, которое, как ему показалось, распространяли очки Мистера. Он снова превратился в Чингачгука и пополз на четвереньках от стула к дивану, оттуда к табуретке и поваленному бревну, которое взрослые принимали за большое кресло. Мальчик осторожно выглянул из-за кресла и прицелился в отца из древка метлы, которое сейчас служило мушкетом. Он застрелит белого человека и снимет с него скальп. Джек хихикнул, потому что на самом деле отец был абсолютно лыс.

В этот момент Мистер решил снять очки и протереть их платком из нагрудного кармана. Отвечая на вопросы Крэйна,

гость в задумчивости вертел очки в руках. Линзы оказались наравне с глазами Джека. Одного неосторожного взгляда было достаточно, чтобы Джеку снова захотелось посмотреть на очки. И один этот взгляд настолько ошеломил мальчика, что он сразу и не понял, что все, что он видит, — нереально.

На другом конце комнаты находился отец. Но Джек явно видел, что это уже не комната, а большая поляна под низко нависающей ветвью дерева, ствол которого был шириной со стену. И под ногами лежал не персидский ковер. Вместо него зеленела ровно подстриженная трава. Всюду росли огромные цветы с ярко-желтыми лепестками, алые кончики которых чуть колыхались от нежных дуновений ветра. У ног Крэйна белая лошадка, размером не больше фокстерьера, объедала пламенеющие верхушки цветов.

Все это было так чудесно! Но кто же этот обнаженный гигант, развалившийся на покрытом мхом валуне? Неужели его отец? Нет! Да! Хотя черты лица этого человека утратили былую заостренность, шероховатость и бледность. Хотя глаза его сверкали, под загорелой кожей играли мускулы и он выглядел привлекательно, как молодой атлет, — все же это был отец. Даже густые вьющиеся волосы, свободно падающие на широкий лоб, и тело, мускулистое как у пантеры, не смогли скрыть, кто же это такой на самом деле.

Нервы Джека трепетали. И хотя он боялся, что, если лишь на минуту отвернется, никогда больше не увидит эту чудесную картину, все же отвел глаза от радужного видения.

Возврат в серую, наполненную каким-то скрежетом и грохотом реальность оказался таким болезненным, что по щекам Джека побежали слезы и он задохнулся словно от удара под ложечку. Ведь вокруг существовала такая красота, а он ничего не знал об этом!

Мальчик внезапно понял, что всю свою жизнь был слепым и останется таким навсегда, на невыносимое навсегда, если не посмотрит снова через стекла очков.

Торопливо, украдкой Джек посмотрел на очки, и боль в сердце и животе ушла, все его нутро обдувал нежный ветер. Какая-то сила подняла Джека. Он парил, ласкаемый бледно-красным, бархатистым, приятно бодрящим ветром.

Джек увидел свою маму, которая выбежала из-за дерева. Это было очень странно, потому что она умерла много лет назад. Но Джек явно видел маму — но не такой, какой помнил ее: с вялой походкой, кашляющей, с тонкой, словно восковой кожей. Теперь бронзовый загар покрывал красивое и стройное тело, вьющиеся волосы рассыпались по плечам. Она подбежала

к отцу и нежно его поцеловала. И тот нисколько не возражал, что на маме не было никакой одежды. Джек наслаждался столь прекрасным зрелищем и купался в потоках мягкого светлорозового воздуха, согреваемый ветром, который наполнял его, словно воздушный шарик...

И вдруг он почувствовал, что падает, со свистом и шумом, ощущая тошноту, беспомощно несется через пустоту. А холодные сильные порывы желто-серого воздуха, обжигая кожу, крутят и терзают его снова и снова. Привычный мир, в котором Джек родился и вырос, обернулся теперь к нему самой страшной и жестокой своей стороной. Снова мальчик почувствовал удар под ложечку — казалось, что серые щупальца обычной реальности проникают в самую душу.

Джек посмотрел на коммивояжера, который как раз собирался надеть очки на переносицу длинного носа. Веки Мистера были закрыты, и мальчик так и не увидел его глаз.

Но Джеку и не было никакого дела до этого. Он думал совсем о другом. Припав к полу за креслом, мальчик судорожно соображал, искал хоть какую-то причину, чтобы задержать Мистера, и не находил ее. И ничто не могло заставить его язык зашевелиться, чтобы выкрикнуть во все горло: «Нет! Нет! Нет!»

Гость поднялся, собрал бумаги в портфель, потрепал Джека по голове и, обернув к нему свои розовые очки, попрощался и сказал, что больше не вернется, потому что собирается уехать жить в город. Но Джек не смог даже пошевелиться или сказать хоть слово. И после того как дверь за Мистером закрылась, мальчик долгое время не мог сбросить с себя какую-то тяжесть, которая придавила его, словно застывшая лава. С этого момента никакие крики и рыдания не могли уже вернуть Мистера назад. И все, что мог сделать его отец, — это позвонить доктору, который померил Джеку температуру и дал успокаивающие таблетки.

4

Над лагерем завис огромный, черный с серебром космический корабль, по форме напоминавший устрицу, с белой опорой с оранжевыми наконечниками. Джек стоял за проволокой, изогнув шею, чтобы рассмотреть, как эта махина светом прожекторов ощупывает сумерки в поисках места для приземления. Яркие лучи, ослепляя, скользили над лагерем.

Когда глаза Джека привыкли к яркому свету, он смог рассмотреть ровную площадку между забором и кораблем шири-

ной примерно в полмили. Ракета теперь стояла в тишине, поблескивая в освещаемых клубах дыма. Сбоку открылась дверь, и оттуда начали шеренгой выходить люди. Через равнину прогromыхал грузовик и остановился рядом с гигантской железной конструкцией. Из кабины вышел очень высокий человек, остановился рядом с бортом машины и оттуда, как показалось Джеку, стал приветствовать вновь прибывших или давать им какие-то указания. Что бы там ни происходило, все это длилось так долго, что Джек потерял всякий интерес к непонятным действиям незнакомцев.

В последнее время он даже на минуту не мог подумать о чем-то отвлеченном, постоянно вспоминая событие из детства. Он побродил вокруг, бросая украдкой взгляды на лица товарищей по несчастью и вяло отмечая, что униформа и бритые головы немного улучшили их внешний вид. Но ничто не могло умерить возбуждение в глазах этих людей.

Раздался пронзительный свист. Джек подпрыгнул от неожиданности. Бешено забилося сердце. Он почувствовал, что близок конец поисков. Он встретит кого-то за углом. Через минуту столкнется лицом к лицу с этим человеком, и тогда...

Джек прошел еще немного вдоль забора и ослабел от волны разочарования, в очередной раз поняв, что за углом никого нет. Это всегда случалось именно так. Кроме того, в этом лагере не было углов. Он дошел до стены в конце аллеи. Ну зачем только он стал рассматривать это проклятое место!

Сержанты построили узников в колонны по четыре человека, чтобы увести их в бараки. Джек предположил, что наступило время ложиться спать. Без всякого возмущения он покорился лающим командам и резким толчкам. Им предстоял долгий путь. Десять тысяч раз Джек успел подумать, что все это не должно было случиться с ним.

Если бы только он был достаточно сильным человеком, чтобы бороться с самим собой, как боролся Иаков с ангелом, если бы не позволял себе сдаваться до полного разрешения проблемы — то мог бы, как и отец, преподавать философию в небольшом колледже. Джек окончил школу, а потом, вместо того чтобы идти в колледж, как того хотел отец, решил годик поработать, накопить немного денег и посмотреть мир.

Так он и сделал. Но когда деньги кончились, Джек не вернулся домой. Он поплыл по течению жизни, работая там и сям, спал в ночлежках, притонах, на скамейках в парке и в чужих машинах.

А когда только что созданное Бюро охраны здоровья и психики, пытаясь решить проблему транси, запретило увольнения,

Джек отказался работать. Он знал, что, как только уйдет с работы, будет немедленно арестован. Как сотни тысяч других молодых людей, он нищенствовал, подворовывал и прятался от местной полиции и агентов БОЗИПа.

Все эти годы, проведенные в невзгодах и скитаниях, он ни разу не позволил себе вникнуть в настоящую сущность искомого им, окутанного таинственной туманной пеленой Грааля. Джек знал, что это такое и не знал одновременно. Это знание всегда находилось где-то на краю его сознания, вращаясь на периферии, легко узнаваемое даже по смутным очертаниям, но безымянное. В любое время Джек мог бы вызвать его поближе и сказать:

— Да, ты и есть *это*. Я знаю тебя и знаю, чего ищу. *Это?*.. *Что же это?* Бесплезность? Глупость? Безумие? Мечта?

Но Джеку никогда не хватало смелости приблизиться к загадке. Когда то, что он так жаждал найти, становилось ближе, он убегал сломя голову. Предмет его поисков должен был оставаться где-то на горизонте, вновь удаляться, всегда находясь в движении, — так чтобы Джек не мог ухватить его.

— Парни, шагом марш!

Джек не сдвинулся с места. Грузовик, отъехавший от ракеты, прогромыхал сквозь ворота и остановился около толпы транси. Около пятидесяти мужчин выбрались из машины.

Шедший за Джеком парень внезапно налетел на него. Джек даже не обратил внимание на это и не пошевелился. Он украдкой наблюдал за группой людей, которые вышли из ракеты. Все они, очень высокие, широкоплечие, были одеты в легкие серо-зеленые пляжные костюмы и коричневые панамы. В длинной тонкой руке каждый из них нес черный кожаный портфель. А переносицу каждого длинного носа украшали очки с розовыми стеклами.

Хриплый крик раздался из толпы транси. Некоторые из парней, шедших рядом с Джеком, упали на колени, как будто какой-то яд парализовал их ноги. Они кричали и протягивали к страным людям руки. Мальчик рядом с Джеком распластался на земле лицом вниз, снова и снова произнося:

— Мистер Пелопеус, мистер Пелопеус!

Джек никогда раньше не слышал этого имени. Он с отвращением смотрел, как парнишка повернулся на бок, опустил голову, прижал к груди судорожно сжатые кулаки и подтянул согнутые колени к животу. Много раз Джек видел подобную картину в притонах транси, но так и не смог преодолеть тошноту, которую вызывала в нем эта сцена.

Он отвернулся и чуть не столкнулся с одним из прилетевших на ракете. Человек опустил портфель, прислонил его к ноге, достал из нагрудного кармана белый носовой платок и стал протирать розовые стекла очков. Веки его были плотно сжаты, как будто он не переносил света.

Джек пристально смотрел на незнакомца, пока имя, которое произносил стоящий сзади парень, не проникло ему в сознание. Внезапно, словно рев мощной лавины наводнения, которая с грохотом вливается в изгиб сухого ущелья, слова ошарашили Джека. Он ринулся вперед и ухватился за очки в руках человека. Одновременно Джек еще и еще раз выкрикивал слова, наконец-то заполнившие пробелы его памяти:

— Мистер Эвменес! Мистер Эвменес!

Сержант выругался и ударил Джека кулаком в лицо. Тот упал навзничь. И хотя ощущение было такое, будто челюсть вывихнута, Джек перекатился на бок, встал на четвереньки и попытался подняться на ноги.

— Не рыпайся! — проревел сержант. — И становись в строй, а то еще раз получишь по морде!

Джек потряс головой, чтобы в ней хоть немного прояснилось. Припав к земле, он протянул руки к мужчине, но тот даже не шелохнулся. Джек снова и снова вполголоса нараспев повторял:

— Мистер Эвменес! Очки! Пожалуйста, мистер Эвменес, дайте мне очки!

Сорок девять мужчин, похожие на мистера Эвменеса как родные братья, вопросительно посмотрели сквозь непроницаемые розовые очки. Пятидесятый положил носовой платок в карман. Кривая улыбка обнажила блестящие вставные зубы. Свободной рукой он снял шляпу, помахал ею толпе и поклонился.

Голову мистера Эвменеса покрывал белый пушок, сквозь который просвечивала розовая лысина. Жесты его были комичны и ужасны одновременно. Взмах шляпой и манерный поклон сказали больше, чем слова. *«Прощайте навсегда и счастливого пути»*, — вот как можно было это понять.

Затем мистер Эвменес распрямился и разлепил веки.

Сначала показалось, что в глазных впадинах не было глазных яблок, как будто они наполнены лишь тенями.

Джек тщетно пытался рассмотреть эти странные глаза. Но мистер Эвменес, или один из прибывших в ракете людей, уносился куда-то вдаль и становился все меньше и меньше. Нет! Это уменьшался сам Джек, сознание которого взмывало куда-то вверх в собственном теле. Или падало в бездну.

Он, Джек Крэйн, чувствовал себя пустой шахтой, по которой сам же и скользил, пронзительно крича, — прочь, прочь от внешнего мира. Окружающая действительность виделась ему словно с обратной стороны бинокля, который во много раз увеличивал изображение. А человек, держащий в руках вождеденное сокровище, которое Джек искал всю жизнь, находился по другую сторону бинокля. И удалялся в противоположном направлении, словно соединенный с горизонтом резиновой лентой, конец которой кто-то отпустил. И мистер Эвменес летел к горизонту — прочь от Джека.

Странные картины мелькали перед глазами Джека, но он не переставал ясно мыслить и понимать, что случилось. В то же время Джек чувствовал, как руки застыли в умоляющем жесте, протянутые точно у попрошайки, как лицо исказилось в агонии мольбы, а губы тихо и проникновенно, будто заклинание, повторяли одни и те же слова.

Но настоящее осознание действительности оказалось столь же внезапным и ослепляющим, как проблеск понимания происходящего, который является эпилептикам перед припадком. Это была та самая мысль, которую Джек так старательно прятал на горизонте своего ума, мысль, которая наконец-то длинными скачками догнала его, а затем остановилась, присела на корточки и стала скалить зубы, ехидно высунав длинный язык.

Конечно же, все эти годы он должен был знать, что же на самом деле ищет. Понимать, что мистер Эвменес — самая жуткая вещь на свете. Джек знал это, но, словно наркоман, отказывался даже допустить такую мысль. Он искал человека. Хотя понимал, что результат поисков может оказаться для него фатальным. Очки с розовыми стеклами качнут створки ворот, которые не должны открываться настежь. И Джеку следовало догадаться что и кто такой мистер Эвменес, когда парень в грузовике демонстрировал свои энциклопедические знания.

Как он мог быть таким тупым? Тупым? Очень даже просто. Он *хотел* быть тупым. Но почему же мистер Эвменес и ему подобные использовали такие очевидно разоблачающие имена? Выражали ли они таким образом свое презрение к людям или же проявляли жестокое остроумие? Взять хотя бы те двусмысленные объяснения насчет спектроסקопа, данные коммивояжером отцу. А тот даже ничего не заподозрил. Даже глава Бюро охраны здоровья и психики не посчитал необходимым хоть как-то скрыть свою истинную сущность.

Доктор Веспа. Он назвался таким именем, словно бросил перчатку в лицо человечества. А человечество по-идиотски вни-

мало его словам, так и не догадавшись об истинном значении имени. Веспa — итальянское имя. Джек точно не знал, что оно означает, но, основываясь на смутных обрывках школьных знаний, предполагал, что на всех языках это имя имеет такое же значение, как и в латыни.

И можно считать крупным везением то, что он столкнулся с коммивояжером только сейчас. Если бы он нашел Эвменеса раньше, во время своих бесконечных скитаний, точно так же, как и теперь, он не заполучил бы очки. И шок был бы таким сильным, что Джек не смог бы даже крикнуть, чтобы разоблачить этого человека в глазах окружающих. И вел бы себя точно так же, как сейчас. И его все равно бы привезли в лагерь.

Сколько других транси встретили незабываемое лицо мистера Эвменеса на улицах? Все поиски несчастных скитальцев тут же прекращались, и они впадали в то состояние, которое официально превращало их в жертву БОЗИПа.

Это была последняя разумная мысль Джека. Он более не чувствовал свое тело. Тонкая розовая завеса опустилась между сознанием и чувствами. Словно пелена, она окутала Джека, облегчая падение в бездну пустоты и забвения. Завеса кружилась, мимо проносились размытые контуры разных предметов — большое дерево, которое Джек когда-то видел в гостинной, обнаженный гигант — отец, прислонившийся к дереву и жующий яблоко, и маленькое нежное создание, поедающее прекрасные цветы.

Но реальный мир все еще был где-то рядом. Джек чувствовал, как руки офицеров в черной форме поднимают его и кладут на что-то твердое, что качается и прогибается под тяжестью онемевшего тела. Но все перемещения и толчки ощущались очень смутно. Затем его переложили на какую-то более мягкую поверхность и внесли в помещение, которое, как смутно почувствовал Джек, находилось внутри одного из барakov.

Спустя час или два — не имело значения когда: Джек уже перестал ориентироваться во времени и вообще понимать, что это такое — он посмотрел сквозь бесконечную шахту самого себя в глаза одного из мистеров Эвменесов, или мистера Сфекса, или доктора Веспы. Каким бы именем он себя ни называл — человек этот был одет во что-то белое, на шее висел стетоскоп.

Рядом стоял еще кто-то точно такой же, только с накрашенными губами и в шапочке медсестры. Миссис Эвменес принесла поднос, на котором стояли несколько ящичков. В одном из них лежал большой и острый скальпель. В другом — яйцо. Размером с куриное.

Джек успел увидеть все это, прежде чем окутавшая его завеса приняла другой оттенок красного цвета и полностью заслонила окружающий мир. Но и сквозь почти непроницаемую розовую пелену Джек увидел, как доктор Эвменес с высоты смотрит на него, словно вглядываясь в бездонный колодезь. И Джеку наконец удалось рассмотреть глаза. Большие, гораздо больше, чем следовало бы. Не бледно-розовые глаза альбиноса. А сплошь черные, состоящие из множества шестигранников, стороны которых отражали свет.

Они сверкали.

Как алмазы.

Или как глаза огромной и очень высокоразвитой осы.

ПЕРВОКУРСНИК

Впервые я прочел «Мифы Кфулху» Лавкрафта еще в детстве. Тогда его попытки заглянуть в жуткий мир Мертвецов и древнего, вызывающего мороз по коже, ужаса совершенно меня очаровали. Став взрослым, я с неменьшим удовольствием неоднократно их перечитывал, однако уже без детского восторженного интереса. Тем более что у меня никогда не было и мысли написать что-либо подобное.

Но однажды, несколько лет назад, мне приснился сон в котором я, шестидесятилетний мужчина, поступил на первый курс в очень странный колледж и был сразу же приглашен на вечеринку в еще более странном студенческом братстве. Очень странную вечеринку: любой намек был полон зловещего смысла, и меня не покидало чувство растущей опасности... Вдруг лицо одного из братьев начало таять, расплываться, он захохотал надо мной кудахтающим смехом, и я понял, что вот сейчас со мной произойдет что-то непоправимо кошмарное и... проснулся.

Я помню большинство своих снов и этот-то уж точно никогда не забуду. Он и послужил толчком для написания рассказа «Первокурсник», который, в свою очередь, может привести к «Второкурснику», «Выпускнику», «Кандидату в магистры», «Доктору философии» — да мало ли к каким еще степеням и званиям!

В очереди перед Десмондом стоял длинноволосый юнец в сандалиях на босу ногу, потертых джинсах и уродливой футболке. Из его заднего кармана торчала брошюрка «Избранные труды Роберта Блейка». Обернувшись, он продемонстрировал

написанные на груди футболки большие буквы «М.У.». В его жидких усишках застряли хлебные крошки.

Он выпучил на Десмонда желтые (очевидно, от желтухи) глаза и фыркнул: «Папашка, ты ошибся, эта очередь не в приют для престарелых!» — и, показав в презрительной ухмылке ненормально длинные клыки, отвернулся к доске объявлений.

Десмонд почувствовал, что его лицо наливается краской. С той самой минуты, как он встал в очередь к столу с надписью «ОНИИФ, первый курс, A-D», он был мишенью для ухмылок, косых взглядов и перешептываний. Среди всего этого молодняка он был так же уместен, как старая афиша в цветнике или труп на банкетном столе.

Очередь передвинулась на одного. Хотя абитуриенты и разговаривали между собой, они все же понижали голоса. И для молодежи вели себя достаточно сдержанно (за исключением хлыща, который стоял впереди).

Возможно, их подавляла обстановка. Спортивный зал, в котором они находились, похоже, не ремонтировался с момента постройки здания (а это было в конце прошлого века). Когда-то он был выкрашен зеленой краской, которая теперь почти везде облупилась. Большинство окон, находящихся высоко под потолком, были разбиты и заколочены досками, в широкие щели между которыми проглядывало небо. Пол прогибался под ногами и скрипел, а баскетбольные кольца совсем заржавели. Однако колледж в течение многих лет удерживал первенство по всем видам спорта, даже несмотря на то, что набор новых студентов здесь был очень ограничен. Его команды совершенно непонятным образом ухитрялись выигрывать, и частенько с большим разрывом в счете.

Десмонд застегнул пиджак. Хотя стоял теплый осенний день, в помещении было довольно холодно. Если бы он не знал наверняка, что это невозможно, он подумал бы, что стены здесь из айсбергов. Высоко вверху большие лампы боролись с мраком, нависавшим, словно брюхо дохлого кита, дрейфующего в глубинах океана.

Он обернулся. Девушка, стоящая за ним, приснула. Она была закутана в нечто ниспадающе-эстравагантное и расписанное астрологическими символами. Темные волосы торчали мальчишеским «ежилом», а черты лица были мелкими и слишком правильными, чтобы ее можно было назвать обаятельной.

Конечно, среди всей этой молодежи должно было найтись несколько прелестных девушек и привлекательных парней. Он достаточно проучился на своем веку, чтобы составить представление о проценте красавцев среди студентов. Но здесь... Чуть дальше от него стояла девушка, которая с успехом могла бы стать моделью. Чего-то здесь явно не хватало.

А точнее, чего-то слишком многого. Внезапно он осознал, чего... хотя это... слишком противоречиво, что ли? Нет, понимание ушло. Нет, снова вернулось. Оно уходило и возвращалось, словно летучая мышь, снующая в темноте и на секунду вылетающая на свет.

Сопляк перед ним снова обернулся и оскалился в радушной улыбке лисицы, увидевшей цыпленка.

— Что, папашка, зацепило? Ей нравятся старикашки. Может, вам на пару попердеть — вот будет музыка!

Запахи немытого тела и нестиранной одежды роились вокруг него, как мухи вокруг дохлой крысы.

— Меня не интересуют девицы с эдиповым комплексом, — с ледяным достоинством ответил Десмонд.

— В твоём возрасте не привередничают, дедуля, — покачал головой юнец и опять отвернулся.

Десмонд снова покраснел и мысленно дал наглецу в челюсть. Но это его слабо утешило.

Очередь подвинулась еще на одного. Он взглянул на часы. Через полчаса нужно позвонить матери. Надо было прийти сюда раньше. И все же он проспал, невзирая на надрывающийся будильник, прилагавший все силы для того, чтобы разогнать его сон. Да-да, он уже не раз замечал, что вещи к нему равнодушны и питают ярко выраженные симпатии и антипатии. Это звучало иррационально, но если бы он предпочитал «рацио», разве пришел бы сюда? Как, впрочем, и остальные абитуриенты?

Вдруг очередь резко двинулась вперед, словно застоявшаяся многоножка, проверяющая, не украли ли у нее одну из ног. И вот, наконец, Десмонд оказался перед заветным столом (к тому моменту он уже на десять минут опаздывал со звонком матери). За столом сидел мужчина много старше Десмонда. Его лицо представляло собой морщинистую массу: словно серое тесто долго мяли, а потом наспех слепили что-то человекоподобное, воткнув посередине клюв каракатицы. Но в глазах, сверкавших под седыми лохматыми бровями, было жизни не меньше, чем в фонтане крови, бьющей из открытой раны.

И рука, которой он взял у Десмонда документы, была не похожа на старческую: большая, словно вздутая, с холеной белой кожей. А под ногтями грязь.

— Родерик Десмонд, я полагаю?

И голос у него был звучным, вовсе не похожим на старческий.

— Так вы меня знаете?

— Знаю о вас. Я читал несколько ваших романов на оккультную тему. Кстати, лет десять тому назад именно я забраковал вашу заявку на размножение отдельных частей вашей книги.

Именная табличка на лацкане поношенного твидового пиджака гласила: «Р. Лайамон ПКОНИИФ». Он и был председателем комитета оккультных наук и исторического факультета.

— Я признаю вашу работу по определению источника происхождения имени аль-Хазреда и доказательство того, что оно не арабское, блестящим образцом научного исследования. Я знаю, что это имя происходит не от арабских или семитских корней, но, признаюсь, не могу определить века, когда оно попало в арабский язык. Ваше объяснение того, что оно оказалось связано с йеменским аль-Хазредом и толкование его значения не как «сумасшедший», а как «тот, кто видит невидимое» было полностью верным. — Он помолчал, а затем, посмеиваясь, добавил: — Ваша матушка, должно быть, возражала, когда ее заставили прокатиться в Йемен?

— Н-н-никто ее не заставлял, — опешил Десмонд. — Но откуда вы знаете, что она...

— Я читал кое-что из вашей биографии. — И Лайамон довольно закудахтал. Его смех гвоздем впивался в барабанную перепонку. — Ваша работа об аль-Хазреде и знания, продемонстрированные в ваших оккультных романах, — и есть главная причина, по которой вы были допущены к поступлению на наш факультет, несмотря на ваши шестьдесят.

Он подписал анкету и вернул ее Десмонду:

— Отнесите это в бухгалтерию. Вы из семьи долгожителей, не так ли? Ваш отец погиб при несчастном случае, но зато его отец дожил до ста двух лет. Вашей матушке восемьдесят, но она вполне может протянуть до ста. А вы... Вы имеете в запасе еще лет сорок *и вы это знаете*.

Десмонд был взбешен, хотя и не настолько, чтобы осмелиться это показать. И вдруг сумрачный воздух сгустился до мрака, в котором единственным светлым, даже люминесцентно светящимся пятном было лицо этого жуткого старикашки. Оно росло, распухало, наплывало... и внезапно Десмонд оказался внутри его и заблудился в серых морщинах. Никогда еще ему не было так плохо.

На тускло мерцающем горизонте плясали крошечные фигурки, затем они растворились в тумане, и Десмонд провалился в удушающую черноту. Потом мрак рассеялся, и он обнаружил, что стоит, цепляясь за край стола, чтобы не упасть.

— Мистер Десмонд, и часто у вас такие приступы?

Десмонд окончательно пришел в себя и выпрямился:

— Очевидно, я слишком перевозволивался. Со мной такое впервые.

— Да-да, эмоциональный стресс, — прокудахтал старик. — Думаю, здесь вы найдете способы освободиться от подобных неприятных явлений.

Десмонд развернулся и вышел. Перед глазами все плыло, и он видел лишь смутные очертания фигур и предметов. Этот древний ящер... Откуда он может знать его самые тайные мысли? Или это просто объясняется тем, что старик читал его биографию, навел кое-какие справки и составил общую картину? Или было еще что-то, сверх?..

За то время, пока он торчал в очереди, небо успело затянуться такими мрачными грозowymi тучами, что на его свинцовом фоне горы Тамсикуэг почти растворились. По легендам давно вымерших индейцев, некогда здесь шла великая битва между злыми великанами и героем Микатунисом, которому помогал его друг Чегаспат, появившийся на свет магическим способом. Великаны убили Чегаспата, но и их самих Микатунис с помощью волшебной дубинки превратил в камень.

Но раз в несколько столетий главный великан Пконииф мог освободиться от заклятия — а точнее, если находился маг, достаточно сильный, чтобы вызвать его. И тогда Пконииф, прежде чем снова заснуть тяжелым каменным сном, мог немного погулять по окрестностям. В 1724 году в одну грозовую ночь домишко на окраине города и несколько росших неподалеку деревьев необъяснимым образом были раздавлены в лепешку, словно на них опустилась громадная ступня. А поваленные деревья образовали просеку, ведущую к горе, носившей имя Пкониифа.

Не было никаких сомнений, что индейцы и суеверные белые восемнадцатого столетия создали эту легенду на основе вполне реального события. Но было ли простым совпадением то, что аббревиатура комитета, возглавляемого Лайамоном, полностью совпадала с именем великана?

Только сейчас Десмонд осознал, что машинально ищет телефонную будку. Он взглянул на часы и занервничал. Очевидно, телефон в его комнате уже надывается от звонков. Поэтому лучше самому позвонить из будки и таким образом сэкономить минуты три.

Но он тут же отменил эту идею по причине ее очевидной глупости: если он позвонит из будки, то услышит лишь сигнал «занято».

«Вы имеете в запасе еще лет сорок, *и вы это знаете*», — сказал председатель.

Десмонд повернул назад. Но дорогу ему преградила весьма внушительная фигура молодого человека. Он был на голову выше Десмонда (хотя в том было шесть футов) и так толст, что

походил на уменьшенный шар Санта-Клауса на рождественском шествии. Одет он был в поношенный спортивный свитер, на груди которого красовались обязательные «М.У.», неглаженные брюки и продранные теннисные туфли. Бананоподобными пальцами он держал сэндвич с саями, который удовлетворил бы аппетиты и Гаргантюа.

Глядя на него, Десмонд внезапно осознал, что большинство студентов здесь были либо толстыми, либо слишком тощими.

— Мистер Десмонд?

— Верно.

Они пожали руки. Хотя ладонь парня была влажной и холодной, пожатие оказалось мощным и властным.

— Я — Венделл Трепан. С вашими познаниями вы наверняка слышали о моих предках. Самой большой славой, точнее — дурной славой, пользовалась Рашель Трепан, ведьма из Корнуолла.

— А-а, Рашель из деревушки Треданник Уоллас, что подле Полдху-Бей.

— Я так и думал, что вы знаете. Я изучаю наследие моих предков (конечно же, очень осторожно). Я старшекурсник и глава спорткомитета Лам Кха Алиф. Это наше студенческое братство. — Он откусил от сэндвича и, обдавая Десмонда запахом майонеза, саями и сыра, продолжил: — Вы приглашены на вечеринку, которая состоится сегодня в здании колледжа. — Свободной рукой он залез в карман и вытащил визитную карточку.

Десмонд бросил на нее короткий взгляд:

— Вы приглашаете меня стать кандидатом в члены вашего братства? Но я слишком стар для таких вещей. И буду чувствовать себя не в своей тарелке...

— Ерунда, мистер Десмонд. У нас очень серьезная компания. Такого вы нигде не найдете. И вам бы это следовало знать. Мы не берем кого попало, но вы придадите нам веса и, я надеюсь, престижа. Вы — знаменитость, как вы сами знаете. Кстати, Лайамон тоже состоит в Лам Кха Алифе. И он склонен поощрять студентов, которые состоят в его братстве. Сам он, конечно, это отрицает, и я тоже буду отрицать, если вы повторите ему мои слова. Но это так.

— Н-ну, я не знаю. Я, наверное, должен буду дать обет... ну да, конечно, если вы меня приглашаете — и буду вынужден жить в общине?

— Да. Мы не делаем исключений. Конечно, если вы принесете обет. Но когда вы активизируетесь, то сможете жить где захотите. — Трепан осклабился, демонстрируя недожеванный кусок. — Вы не женаты, значит, и проблем нет.

— Что вы этим хотите сказать?

— Ничего, мистер Десмонд. Мы не принимаем обета женатых, пока они не разведутся. Женатый мужчина — сами знаете — теряет часть своей силы. Нет, мы ни в коей мере не исповедуем целибата: у нас есть и чудесные пары. Раз в месяц мы устраиваем большой кутеж в рощице у подножия Пкониифа. Большинство из приглашенных туда женщин принадлежат к обществу Ба Гхай Син. И некоторые из них уже достигли зрелости (если вы понимаете, о чем я). — Трепан шагнул вперед, и его лицо приблизилось. — Не подумайте — никакого пива, алкоголя, гашиша и доступных девочек: у нас другие развлечения. Вы знаете ориентацию наших братьев. Мы развлекаемся по рецептам самого Маркуса Мануэля де Дембрана. Конечно, по большей части — это детский сад. Там даже будет козел.

— Козел? *Черный козел?*

Трепан закивал так, что его тройной подбородок заколыхался:

— Ага. И старина Лайамон будет всем верховодить, в маске, конечно. Когда он управляет ритуалами, все идет путем. На прошлом Хэллоуине... — он запнулся, — ...ну, в общем, там было на что посмотреть.

Десмонд облизал пересохшие губы. Его сердце колотилось в груди, как тамтам на колдовском ритуале, о которых он только читал, но столько раз представлял в мыслях.

Десмонд положил карточку в карман и спросил:

— Приходить в час?

— Так вы придете? Отлично! До встречи, мистер Десмонд. Вы не пожалеете.

Десмонд пересек квадратный дворик, окруженный зданиями колледжа, наиболее впечатляющим из которых был музей — одно из старейших строений кампуса. Если время обтесало и раскололо камни и кирпичи других домов, то музей выглядел так, словно впитывал в себя время и медленно отдавал его — как цемент, камень и кирпич поглощают солнечный жар и затем отдают его ночному мраку. К тому же, если другие строения были покрыты диким виноградом, даже почти скрывались под ним, музея растения избегали. Те немногочисленные побеги, что осмелились вскарабкаться на его камни цвета истлевшей кости, были иссохшими и вялыми.

Дом, в котором жил Лайамон, был узким трехэтажным кирпичным зданием с двускатной крышей. Он настолько густо зарос виноградом, что казалось удивительным, как он не рухнул до сих пор под его весом. Но цвет листьев несколько отличался от цвета растений, покрывавших другие здания. Если смотреть под одним углом, он казался ядовито-желтым. Под другим — он

в точности был цвета зеленых глаз змеи с острова Суматра, которую Десмонд видел на цветном вкладыше в книге по герпетологии.

Эту ядовитую рептилию колдуны племен рода Ян использовали для передачи посланий и убийств. Автор не объяснял, что он имеет в виду под «посланиями». Десмонд раскопал значение этого слова в другой книге, хотя для этого пришлось выучить малайский, записанный арабскими буквами.

Но так как здесь он был не туристом, а студентом, он поспешил домой. Здание dormitorio было пристроено в 1888 году к стене другого и в 1938-м подверглось полной реконструкции. Серая краска на нем облупилась. Несколько окон были разбиты и заклеены картоном. Доски крыльца скрипели и прогибались под ногами. Входная дверь была сделана из массивного дуба, с которого давно сошла вся краска. Роль звонка на ней исполняла бронзовая кошачья голова, державшая в пасти массивное кольцо.

Десмонд вошел и пересек по потертому ковру холл, а затем поднялся по лестнице из некрашенных досок на второй этаж. На грязно-белой стене первого пролета кто-то давным-давно написал: «Юг-Сотот, заколебал!» Эту надпись не раз пытались смыть, но оказалось, что только краска может скрыть это оскорбительное и опасное высказывание. Вчера один из старшекурсников рассказал ему, что никто не знает, кем она была сделана, но на следующее же утро, как она появилась, один из первокурсников был найден повешенным в туалете.

— Этот парень, прежде чем покончить с собой, изрезал себя так, что живого места не осталось, — рассказывал старшекурсник. — Я его не видел, но так понял, что он превратил себя в кровавое месиво. И проделал это бритвой и раскаленным железом. Вся комната была залита кровью. Его отрезанный нос и глазные яблоки лежали на столе, составленные в форме Т-креста (вы знаете, чей это символ), и он, ногтями содрав со стены штукатурку, оставил на ней множество кровавых отпечатков. Невозможно было поверить, что человек способен на такое.

— Удивляет, что он прожил так долго, чтобы еще и повеситься, — заметил Десмонд, — тем более при такой потере крови.

— Вы, конечно, шутите! — загоготал старшекурсник.

Десмонду понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что тот имеет в виду. И тогда он побледнел. Лишь много позже ему пришло в голову, что это мог быть всего лишь традиционный розыгрыш зеленого новичка. Он решил никого не спрашивать об этом. Если из него хотят сделать дурака, то больше одного раза им это не удастся.

В конце длинного коридора зазвонил телефон. Десмонд, вздохнув, зашагал к нему мимо ряда запертых дверей. Из-за одной из них раздалось тихое хихиканье. Он вошел в свою комнату и прикрыл за собой дверь. Какое-то время он просто стоял, глядя на надрывающийся телефон и, сам не зная почему, вспоминал стихотворение об австралийском грабителе, нырнувшем в омут, где баниип — загадочное и кровожадное исчадие вод (из языческого фольклора) — тихо и заботливо обеспечил ему вечный покой. А его чайник, поставленный на огонь, свистел и свистел. Но никто его не слышал.

А телефон все звонил и звонил.

На другом конце провода ждал баниип.

Десмонда затопило чувство вины и стыда.

Он пересек комнату, краем глаза заметив нечто маленькое и темное, метнувшееся под его продавленную, пахнущую сыростью и плесенью кровать, остановился у маленького столика, на котором стоял телефон, коснулся трубки и, ощутив кончиками пальцев ее механическую пульсацию, отдернул руку. Каким бы глупым это ни казалось, но он почувствовал, что *она* ощутила его прикосновение и поняла, что он уже здесь.

Он развернулся на каблуках и, бурча себе под нос, заходил кругами по комнате. И тут заметил, что в плинтусе снова зияет дыра: бутылка из-под колы, которой он ее затыкал, валяется рядом. Он остановился, присел, впихнул ее назад и выпрямился.

Спускаясь по лестнице, он все еще слышал непрекращавшиеся телефонные звонки. Хотя и не был уверен в том, что теперь они не раздаются только у него в голове.

Заплатив за обучение и поужинав в кафетерии (кстати, меню здесь оказалось приличнее, чем он ожидал), он направился в здание СПОР*. Оно было в лучшем состоянии, чем все остальные, — возможно, потому, что находилось в ведении военных. И все же ни один ревизор не одобрил бы его состояния. Как и все эти стоявшие у входа пушки и ящики с боеприпасами. Здесь что, обучали студентов воевать оружием времен Американо-испанской войны? И с каких это пор сталь нужно красить ярьомедянкой?

Дежурный офицер крайне удивился, когда Десмонд сообщил ему, что явился за формой и учебниками.

— Не знаю, что и сказать. Вы в курсе, что перво- и второкурсникам больше не нужно посещать СПОР?

Но Десмонд настаивал, чтобы его поставили на учет. Офицер задумчиво поскреб щетину и, глубокомысленно затянувшись длинной тонкой «Тихуана Голд», выпустил клуб дыма.

* Служба подготовки офицеров резерва.

— Хм-м-м... Ладно, посмотрим. — И он заглянул в справочник, который выглядел так, словно его обгрызли крысы. — Кто б подумал?! Здесь нет никаких возрастных ограничений! Правда, тут половины листов не хватает. Или просто — не додумались. Никогда не слышал, чтобы призывали в вашем возрасте. Ну... если в уставе ничего об этом нет, тогда... чем черт не шутит! Не хотелось бы вас огорчать, но знайте: наши ребята не бегают через полосу препятствий и все в таком роде... Но, Иисусе! Вам же шестьдесят! На черта вам призываться?

Десмонд не стал ему говорить о том, что во время второй мировой войны у него была броня, как у единственного кормильца больной матери. Даже сейчас он испытывал жгучий стыд, вспоминая об этом. Потому-то он и хотел искупить свой долг перед родиной, послужив ей хотя бы пару минут.

Офицер встал, слегка пошатываясь, и кивнул:

— О'кей. Я прослежу, чтобы вам выдали все, что нужно. Но должен вас честно предупредить, что эти типы выеживаются на довольно опасный лад. Еще увидите, *чем* они палят из этих пушек.

Пятнадцать минут спустя Десмонд вышел из здания, неся под мышкой объемистый тук с формой. Но не желая только из-за нее возвращаться домой, он оставил ее на хранение в книжной лавке колледжа. Девушка положила ее на полку рядом с другими временно оставленными вещами, назначение большинства из которых было определить невозможно. В стороне стоял маленький ящичек, завернутый в черную ткань.

Десмонд направился к ряду домов, занятых братствами. Все здания здесь носили арабские имена, за исключением одного: дома Астора. Как и все здания колледжа, они имели крайне неухоженный вид, но никого это, как видно, не волновало. Он свернул на цементную дорожку, сквозь многочисленные трещины которой росли чахлые одуванчики. Слева от нее торчал пятиметровый покосившийся деревянный столб. Он был весь покрыт вырезанными лицами и символами и, очевидно, когда-то служил тотемом племени, ныне вымершего. Он да еще парень в местном музее были единственными раритетами, сохранившимися от культуры многочисленного народа, некогда здесь обитавшего.

Проходя мимо него, Десмонд приложил кончик большого пальца левой руки к носу и указательный палец правой ко лбу и пробормотал древнюю формулу выражения почтения: «Шешпконииф-тинг-ононва-сенк». Он знал, изучив множество документов, связанных с этой местностью, что этот ритуал был обязательен для каждого тамсикуэга, проходившего мимо тотема в этой фазе луны. Сами индейцы не понимали смысла этой фра-

зы, так как она то ли пришла к ним из другого племени, то ли вынырнула из первобытных глубин их древнего языка. Но главное они знали: эти слова выражают почтение, и нередко те, кто пренебрегали его выразить, попадали в беду.

Сам Десмонд, исполняя ритуал, чувствовал себя довольно глупо, но подумал, что от этого, уж во всяком случае, вреда не будет.

Он поднялся по некрашенной деревянной лестнице, доски которой на все лады скрипели под его шагами, и оказался на огромной веранде. Ее окна были затянуты сеткой от москитов, от которой давно уже не было никакой пользы, так как дыр в ней было больше, чем целых фрагментов. Входная дверь была открыта нараспашку, и из нее доносились громкая рок-музыка, гул оживленной болтовни и едкий запах пота.

Десмонд чуть было не повернул назад: он всегда страдал, оказавшись в большой толпе, а сознание своего возраста еще и делало его болезненно подозрительным. Но дверной проем уже заслонила массивная фигура Трепана, и его огромная лапища сжала локоть Десмонда.

— Заходите! — проревел гигант. — Я представлю вас братьям.

И он буквально затащил Десмонда в большую залу, набитую молодежью обоих полов. Трепан шел сквозь нее напролом, миноходом дружески хлопая кого-нибудь по спине или отвечая на приветствия, а раз не удержался от соблазна шлепнуть по заднику хорошенькую девушку. Так они дошли до угла, где в окружении мужчин много старше по возрасту большинства из присутствующих восседал профессор Лайамон. Десмонд предположил, что, очевидно, это бывшие выпускники колледжа. Он пожал большую, словно вздутую, руку профессора и сказал: «Рад вас снова видеть», однако так и не понял, были ли расслышаны в этом шуме его слова.

Лайамон поманил его к себе и спросил:

— Вы уже изменили свое мнение?

От его дыхания исходил странный, правда, вовсе не неприятный запах, словно он выпил что-то неизвестное Десмонду. Его красные глаза странно мерцали, словно в глубине их зрачков горели две свечки.

— О чем?

— Сами знаете! — ухмыльнулся старик.

Десмонд выдернул руку и выпрямился. Внезапно, несмотря на то что еще минуту назад он потел от жары, стоявшей здесь, его охватил пронизывающий холод. На что он намекает? Он не может этого знать! Или знает?

Трепан быстро представил его сидящим и увлек за собой в водоворот толпы. Из многочисленных представлений Десмонд понял, что большинство находившихся здесь принадлежали либо к братству Лам Кха Алиф, либо к тому, что находилось в здании напротив. Единственным, кто еще не принял обета, был негр из Габона. Когда они отошли от него, Трепан объяснил:

— Бакавай потомственный колдун. Если он примет наше предложение, то станет одной из жемчужин братства. Дом Астора и Каф Даль Ва уже чуть из-за него не передрались. Наша кафедра слабовата в науках Центральной Африки. Раньше ею управляла великий учитель Джанис Момайя, но она уже десять лет как исчезла во время отпуска в Сьерра-Леоне. Поэтому, если Бакавай, будучи первокурсником, вдруг займет должность ассистента на кафедре, это никого не удивит. Слушайте, прошлой ночью он показал мне часть такого ритуала... вы не поверите! Я... ладно, пока не будем об этом. Как-нибудь в другой раз. Но так как Бакавай испытывает огромное уважение к Лайамону, а старый пердун руководит нашим братством, то будем считать, негр нам обеспечен!

Внезапно его губы побелели и раздвинулись, обнажая клещающие зубы; он так побледнел, что даже грязь этого не могла скрыть, и согнулся вдвое, схватившись за свой огромный живот.

— Что с вами? — встревожился Десмонд.

Трепан потряс головой, глубоко вздохнул и разогнулся.

— Ох как больно засадил!

— Кто?

— Я не должен был называть его «старым пердуном». Я не думал, что он меня услышит, но ведь он может слышать не только звуки. Черт, да никто во всем мире не испытывает к нему такого огромного уважения, как я! Ну, бывает, ну, заговариваюсь... все! Больше никогда!

— О ком вы?

— Именно о нем — о ком еще! Ладно, ничего. Пойдемте подальше от этого гвалта, туда, где можно слышать свои мысли.

Он пригласил Десмонда в небольшую комнатку, сплошь заставленную полками, на которых рядами стояли учебники вперемежку с романами и даже попадались старинные фолианты в кожаных переплетах.

— У нас здесь до черта всякой литературы. Мы гордимся нашей библиотекой перед другими домами. Она — одно из наших главных достижений. Но это только отдел открытого доступа.

Они вошли в низенькую дверь, миновали небольшой коридор и остановились перед запертой дверью. Трепан достал ключ

и открыл ее. За ней оказалась узкая винтообразная лестница со ступенями, покрытыми густым слоем пыли. Где-то высоко наверху было окно, но сквозь грязные стекла просачивалось очень мало света. Трепан включил лампу, и они начали подниматься. Наверху оказалась еще одна дверь, и толстяк открыл ее другим ключом. Они оказались в маленькой комнатке, все стены которой были до потолка заставлены книжными полками. Трепан включил свет. В углу оказался раскладной стул и небольшой столик, на котором стояли лампа и каменный бюст Маркуса де Демброна.

Трепан, мучаясь одышкой после крутого подъема, сказал:

— Сюда допускают только выпускников и студентов последнего курса. Но для вас я делаю исключение. Я хочу показать вам то, что составляет нашу огромную гордость — таких книг вы в других братствах не найдете, только в Лам Кха Алифе. — Он прищурился. — Любуйтесь, сколько влезет, вот только прикасаться к ним нельзя. Они, знаете, ну... абсорбируются... Если вы понимаете, о чем я.

Десмонд медленно двинулся вдоль полок, читая названия на корешках. Закончив, он признался:

— Я просто потрясен! Думаю, что часть из этого можно найти только в библиотеке колледжа. И то — в закрытых отделах.

— Все так и думают. Послушайте, если вы вступите в наше братство, то получите сюда доступ. Только не говорите другим студентам — обзавидуются.

Трепан сощурился, словно решал для себя какую-то трудную задачу, помолчал и вдруг сказал:

— Вам нетрудно повернуться лицом к стене и на минуту заткнуть уши пальцами?

— Что?

— Конечно, когда вы к нам присоединитесь, вас научат, как пользоваться здешними книгами. Но до той поры вам нельзя видеть, как я это делаю.

Смущенно улыбнувшись и в то же время чувствуя, как внутри растет непонятное возбуждение, Десмонд послушно развернулся и зажал уши. Он вдруг вспомнил, что с тех пор как они здесь, в этой комнате, снаружи не донеслось ни звука. Возможно, она покрыта звукоизоляцией, или ее оберегает что-то еще... Он начал считать секунды. Тысяча одна, тысяча две...

Прошло чуть больше минуты. Наконец он почувствовал на плече руку Трепана и обернулся. Толстяк протянул ему большой, но довольно тонкий том, переплетенный в кожу, всю в темных разводах. Десмонд удивился: ему показалось, что этой книги он на полках не встречал.

— Я его деактивизировал, — сказал Трепан. — Можете брать. — Он взглянул на часы. — Она будет держаться десять минут.

На обложке не было названия. И подержав книгу в руках и разглядев ее, Десмонд понял, что кожа, в которую она была переплетена, — не кожа животного.

— Это шкура самого Ахероннона, — объяснил Трепан.

Десмонд вскрикнул от неожиданности, и по спине у него побежали мурашки. Но он взял себя в руки.

— Должно быть, у него было много бородавок.

— Верно. Смотрите дальше. Вот здесь. Досадно, что вы не можете это прочесть.

Титульный лист был желтым, что неудивительно для бумаги четырехсотлетней давности. Книга была не отпечатана, а написана от руки. В середине листа крупными буквами значилось:

«Малые ритуалы чародея тамсикуэггов Ахероннона, — прочел Десмонд. — Записаны с картинного письма на кожи, оставшейся опосля сожжения неверного. Писано рукой Симона Конанта, год 1641. Да будет тот, кто прачтет сии слава-картины вслух, прежде слушать».

— Он не страдал излишней грамотностью, — захихикал над ухом Трепан.

— Симон был сводным братом Роджера Конанта, — заметил Десмонд. — И первым из белых, кто встретился с тамсикуэгами и кому не запихнули в задницу отрубленный палец. Он также бывал и в соседних племенах, враждующих с тамсикуэгами. И никто не знал, кому из них он отдает предпочтение. Однажды он удалился с израненным Атехиронноном в пустыню. И лишь двадцать лет спустя появился в Виргинии с этой книгой.

Он медленно перевернул первые пять страниц, с фотографической точностью запечатлевая в памяти каждую из пиктограмм. Среди них была одна, на которую ему очень не хотелось смотреть.

— Только Лайамон умеет это читать, — прошептал Трепан.

Десмонд не сказал ему, что он был хорошо знаком с маленьким словарем грамматики и языка тамсикуэгов, составленным Уильямом Кор-Даннесом в 1624-м и опубликованным в 1654 году. К нему прилагался небольшой раздел, содержащий перевод пиктограмм. Он заплатил за это знание двадцатью годами упорного труда и тысячью долларов за ксерокопию. Его мать была в ярости из-за того, что такая сумма выброшена на ветер, но единственный раз в жизни он настоял на своем. Даже в колледже не было такой копии.

Трепан взглянул на часы:

Осталась минута. — Он отобрал у Десмонда книгу и поторопил: — Давайте разворачивайтесь и затыкайте уши.

Почему-то он вдруг разнервничался. Десмонд отвернулся, и минуту спустя Трепан сам опустил его руки, зажимавшие уши.

— Извините, что я так, но крепь уже начала распадаться. Не могу понять, в чем дело. Она должна была продержаться десять минут. А тут...

Десмонд ничего не ощутил, но, очевидно, чувства Трепана были натренированы на восприятие тончайших флюидов.

— Пойдемте отсюда, — все еще нервничая, сказал Трепан. — Ей нужно остыть.

По дороге вниз он снова поинтересовался:

— Так вы правда не умеете это читать?

— А где я мог научиться? — ответил вопросом на вопрос Десмонд.

Они вновь окунулись в море голосов и запахов центральной залы, но оставались там недолго, так как Трепан горел желанием показать остальную часть дома. За исключением подвала.

— На этой неделе вы там побываете. Но сейчас туда нельзя.

Десмонд не стал спрашивать почему.

Демонстрируя ему крохотную комнатку на втором этаже, Трепан сказал:

— Обычно мы не выделяем первокурсникам отдельных комнат, но для вас... Как только вы захотите, она станет вашей.

Десмонду это польстило. Ему не хотелось бы делить ее с кем-то, чьи привычки утомляли бы, а болтовня приводила бы в ярость.

Они вернулись на первый этаж. В зале людей стало уже значительно меньше. Лайамон, только что поднявшийся со стула, поманил их к себе. Десмонд медленно направился к нему. У него было необъяснимое предчувствие, что ему вряд ли понравится то, что скажет ему этот старец. Точнее, ему казалось, что это почему-то будет для него опасным, невзирая на то, понравится ему это или нет.

— Трепан показал вам самые драгоценные книги братства, — спокойно начал председатель. — В частности, книгу Конанта.

— Но откуда вы... — удивился Трепан, но тут же ухмыльнулся: — А-а, ну да, вы же...

Конечно, — прозвучало в ответ, словно железом по стеклу. — Ну так как, Десмонд, может, подошло время ответить на тот звонок?

Трепан ошарашенно выпучился на обоих. Десмонд почувствовал слабость, и кожа снова покрылась мурашками.

Лайамон каким-то образом успел подобраться поближе и теперь стоял почти нос к носу с Десмондом. Морщины на его серой пористой коже были похожи на иероглифы.

— Вы уже приняли решение, но не отважились пока себе в нем признаться, — продолжал тот. — Слушайте. Не таков ли был совет Конанта? Слушайте. Уже в тот момент, когда вы в Бостоне сажались на самолет, вы были готовы свершить это. Да-да, это самое. Вы же могли отказаться лететь, но вы этого не сделали, даже — могу себе это хорошо представить — не взирая на то, что ваша матушка устроила вам сцену прямо в аэропорту. Вы не вернулись. Значит, нет никакого резона откладывать. — Он хихикнул. — Поэтому я, в знак глубокого к вам уважения, позволю себе дать вам совет. Мне думается, вы далеко пойдете, и довольно быстро к тому же. Но только в том случае, если сумеете расстаться с некоторыми чертами вашего характера. Для того чтобы здесь получить хотя бы бакалавра, требуются огромная сила, строжайшая самодисциплина и обширнейшие познания.

Очень многие, поступая сюда, думают, что возьмут все с налета. Им кажется, что задействовать мощные силы и общаться за панибрата с явлениями, о которых вслух не должно даже упоминать, не труднее, мягко выражаясь, чем катить бревно. Однако они очень быстро обнаруживают, что наша область науки требует знаний намного больших, чем, скажем, инженерный факультет. Не говоря о том, что гораздо более опасных.

Вот тут и начинаются сомнения: признание в том, что ты переоценил себя влечет за собой отчисление. Но у многих ли хватит воли уйти самим? Сколько из них понимает, что пошли не по той дороге? И они уходят, не зная, что уже поздно, что лишь малая часть их способна перейти на другую сторону. Они пытаются уйти, объявляют об этом... и исчезают. Навсегда.

Он сделал паузу, чтобы закурить длинную тонкую коричневую сигару. Дым клубами окутал Десмонда, однако, вопреки его ожиданиям, его запах ни в малейшей степени не напоминал запах дохлой летучей мыши, которую он как-то использовал для опытов.

— Каждый человек сам определяет свою судьбу. Но на вашем месте я бы не медлил с принятием решения. Я стану присматривать за вами, и ваше продвижение здесь будет зависеть только от моей оценки ваших качеств и вашего потенциала. Всего доброго, Десмонд. — И старец быстро вышел из залы.

— О чем это он? — обалдело спросил Трепан.

Десмонд не ответил. Он постоял с минуту рядом с не находившим себе места от любопытства толстяком, потом попро-

шался с ним и медленно пошел прочь. Какое-то время он просто бесцельно бродил по кампусу — домой не хотелось. Впереди мелькнула красная мигалка, и он решил подойти и посмотреть, что случилось. Перед входом в двухэтажный дом стояли две машины с отличительными знаками полиции кампуса и «скорой помощи» колледжа. Судя по облезлым надписям на грязных зеркальных стеклах, на первом этаже некогда была бакалейная лавка. На стенах, давно потерявших первоначанный цвет, там и сям торчала из-под обвалившейся штукатурки дранка. На деревянном полу лежали три тела. Одно из них принадлежало тому юнцу, что утром стоял перед ним в очереди. Он лежал на спине с широко открытым ртом, отчего его жидкие усишки казались еще более жалкими.

Десмонд спросил у одного из толпившихся у раскрытого окна, что случилось. Седобородый старик — очевидно, профессор, — ответил:

— Да у нас такое каждый год случается в это время. Кое-кого из молодняка заносит, и они лезут в такие дела, о которых, прежде чем получают магистра, даже думать не должны. Это строго запрещено, но что может остановить этих молодых идиотов!

Вокруг головы усатого сопляка виднелось большое черное, похоже, обгорелое, пятно. Десмонд хотел разглядеть его поближе, но медбраты уже накрыли тела простынями и унесли.

— Теперь ими займутся наши врачи и полиция колледжа, — продолжал седобородый и коротко хохотнул. — Городская полиция сюда даже носа не осмеливается сунуть. А родственникам сообщат, что ребята переусердствовали с героином.

— А с этим не будет неприятностей?

— Иногда бывает. Появляются частные детективы, но долго они здесь не задерживаются.

Десмонд развернулся и почти побежал прочь. Его решение окончательно сформировалось. Вид трупов его потряс. Он вернется домой, помирится с мамочкой, продаст все книги, на которые потратил столько лет и денег, и больше никогда в жизни не напишет ни одного оккультного романа! Он только что заглянул смерти в лицо, и теперь, если он реализует свои пустые идиотские фантазии, которым давал волю только в порядке психотерапии, он увидит ее лицо. Мертвое. На это он не способен.

Когда он вернулся в свою комнату, телефон все еще звонил. Он подошел к нему, протянул руку к трубке, подержал какое-то время и снова убрал. Подходя к кровати, он заметил, что бутылка из-под кока-колы снова валяется на полу рядом с дыркой в

плинтусе, которую затыкала. Он присел и прочно втиснул ее обратно. Бутылка тихонько задрожала в его руке, словно кто-то там, внутри, сопротивлялся.

Он уселся на продавленную койку и, достав из кармана пиджака блокнот, принялся по памяти зарисовывать пиктограммы из книги. Это заняло у него около получаса, так как память о них была еще свежа. А телефон все звонил.

Кто-то забарабанил в дверь кулаками и завопил:

— Я видел, как ты зашел! Подними эту проклятую трубку! Ответь или дай отбой! Или я тебе такое устрою!..

Он не ответил и даже не встал с кровати.

Одно из изображений, составлявших предложение, он пропустил. И сейчас нацеливался карандашом на тот пустой промежуток, где должен был изобразить очень толстую старуху. Да, сейчас она была уродливой глыбой жира, но когда-то именно она подарила ему жизнь и многие годы еще после этого была молодой и прекрасной. Когда умер отец, ей пришлось устроиться на работу, чтобы содержать дом и сына в том порядке, какой она считала единственно правильным. Ей пришлось устроить много работать, чтобы оплатить его учебу в колледже. И работу она оставила только после того, как он удачно продал два романа. После этого она стала болеть, но, как только он приводил в дом очередную кандидатку в жены, тут же выздоравливала.

Она любила его, но не способна была дать ему волю, а значит, ее любовь не была истинной. И он не мог от нее вырваться, а это означало, что, несмотря на все обиды, что-то внутри него любило цепь, на которую она его посадила. И вот однажды он все-таки решился сделать огромный шаг к своей свободе. Все делалось быстро и тайно. Он презирал себя за страх перед ней — но что поделаешь, таков уж он был. Выносить это было выше его сил. И все же придется вернуться домой.

Он посмотрел на телефон, встал и снова опустился на кровать.

Что же делать? Покончить с собой? Он наконец освободится, а она наконец узнает, как он ненавидел ее. Он снова привстал, и тут телефон замолчал. Что ж, она дала ему короткую передышку. Но очень скоро примется названивать по-новой.

Он бросил взгляд на бутылку: та подрагивала, постепенно выползая из дыры. Кто-то там, за стеной, упорно пробивался наружу. Сколько раз уже он начинал искать выход и обнаруживал, что он перекрыт? Слишком, чрезмерно много раз — могло подумать *это*, — если у него только было чем думать. И все же оно отказывалось смириться, и, возможно, настанет день, когда оно раз и навсегда решит покончить с этой проблемой, убив того, кто был ее причиной.

Но если огромные размеры того, что ему мешает, его смутят и оно потеряет мужество, то ему всю жизнь только и останется, что выпихивать бутылку, закрывающую выход. И...

Десмонд посмотрел на блокнот, и его охватила дрожь. Пробел в рисунке был заполнен. Там нарисован был Пконииф, и только сейчас, приглядевшись, он заметил, что великан имеет отдаленное сходство с его матерью.

Может, находясь в глубокой задумчивости, он нарисовал это машинально?

Или фигура на бумаге возникла сама собой?

Пока глаза его скользили по рисунку и он старательно произносил вслух слова этого давно умершего языка, что-то зашевелилось в его груди и стало расползаться по животу, ногам, заползло в горло, а потом в мозг. А в тот момент, когда он произнес имя Пкониифа, рисованная фигурка словно на секунду ожила и великан взглянул с листа прямо ему в глаза.

Комната окуталась мраком, и финальные слова были произнесены. Десмонд встал, включил настольную лампу и пошел в крохотную запущенную ванную. Но зеркало отразило лицо не убийцы, а шестидесятилетнего мужчины, прошедшего суровые испытания и вовсе не уверенного в том, что они уже закончились.

Выходя из комнаты, он обнаружил бутылку из-под колы снова на полу, а дыра была открыта. Но то, что ее выпихнуло, очевидно, еще не было готово к тому, чтобы выйти.

Он вернулся много часов спустя, сильно пошатываясь, так как провел их в местном кабаке. Телефон звонил снова. Но, как он и ожидал, звонок был не от мамочки, хотя и из его родного города.

— Мистер Десмонд, это сержант Рурк из окружного полицейского участка Бусириса. Боюсь, у меня для вас плохие новости. Э-э... ваша мать несколько часов тому назад умерла от сердечного приступа.

Нет, от этого известия Десмонд не окаменел, он и так уже был весь из камня, даже рука, державшая трубку, и та тверже гранита. Однако где-то на бессознательном уровне он отметил, что голос сержанта звучит как-то странно.

— Сердечный приступ? Сердечный? Вы уверены?

Он тихо застонал. Его мамочка умерла своей смертью. Не надо было произносить никаких древних слов. Теперь, произнеся их впустую, он навеки загнал себя в ловушку. Однажды воспользовавшись ими, он отрезал себе все пути назад.

Но... если все же это только слова — мертвые, как их язык; как истаявший звук после того, как они были произнесены — если они никоим образом не затронули подпространства, был ли он в таком случае связан с ними неведомой мыслью?

Может ли он теперь с чистой совестью обрести свободу? Сможет ли спокойно уйти отсюда, не опасаясь возмездия?

— Это было ужасно, мистер Десмонд. Совершенно невообразимая катастрофа. Ваша мать умерла во время разговора со своей соседкой миссис Самминз. Она-то и вызвала полицию и «скорую». В дом зашло еще несколько соседей и вот тогда-то... Вдруг... — Казалось, у Рурка перехватило горло. — Я тоже собирался туда войти, я уже поднялся на крыльцо, как вдруг это... это... — Он откашлялся и наконец выдавил из себя: — Мой брат тоже был там, внутри. Трое соседей, два полицейских и двое санитаров со «скорой» были раздавлены насмерть, когда дом совершенно неожиданно рухнул.

Это выглядело так, словно на него опустилась гигантская ступня. Он развалился в шесть секунд. Меня тоже задело.

Десмонд поблагодарил его и сказал, что первым же самолетом вылетит в Бусирис.

Он рванулся к окну и распахнул его настежь, чтобы вдохнуть холодного ночного воздуха. Внизу, в свете уличного фонаря появилась тяжело опирающаяся на трость фигура Лайамона. Он поднял голову, и на его сером лице ярко сверкнули белые клыки.

Десмонд зарыдал. Но оплакивал он исключительно самого себя.

ПОСЛЕДНИЙ ЭКСТАЗ НИКА АДАМСА

У этого рассказа довольно необычная история. Как, впрочем, и у любого другого.

Один молодой человек по имени Брэд Ланг, автор множества очень занятных, на мой взгляд, рассказов, решил открыть журнал «Популярная культура», который предназначался быть рупором того, что вынесено в его заглавие. Он отловил меня и попросил написать для него рассказ. Так получилось, что в это время у меня на руках был один свободный, который зарубил Эд Ферман из журнала «Научная фантастика и фэнтези». Он назывался: «Импотенция из-за плохой кармы» — и был подписан именем Кордвайнера Берда.

История названия этого рассказа и псевдонима к нему несколько запутанна, но я с этим уже примирился. Кордвайнер Берд — это, собственно, псевдоним Харлана Эллисона. Он прибегал к нему, когда подписывался под сценариями фильмов, если подозревал, что продюсер или режиссер все равно их испортят на свой лад. Он даже специально оговаривал в контракте особый пункт по этому вопросу.

Итак, как вы знаете, а может, и не знаете, я написал серию рассказов и пару романов под псевдонимами литературных персонажей (причем все они были писателями). Например: Килгор Траут, доктор Джон Г. Ватсон, Поль Шопен (писатель из романов о Ниро Вульфе), Дэвид Копперфильд, Лео Кви́кег Тинкродор (один из моих собственных писателей-фантастов), лорд Грейсток** (ну, этого уж вы,*

The Last Rise of Nick Adams

Copyright © 1978 by Philip Jose Farmer

* Килгор Траут — персонаж романов К. Воннегута. (Здесь и далее примеч. пер.)

** Лорд Грейсток — родовой титул Тарзана.

конечно, знаете) и несколько других. И вот однажды мне приспичило написать рассказ под именем Кордвайнера Берда, но дело осложнялось тем, что он-то не выдуманный персонаж! Ну что ж, для того чтобы это исправить, я сделал Берда аппендиксом генеалогического древа моего, обретшего известность благодаря дешевым журналам, Дока Сэвиджа. Затем я вывел его в рассказе «Дож, чей барк не стоил его гавани» и, утвердив его таким образом в правах персонажа, наконец-то написал под его именем рассказ.

Конечно же, все это делалось с согласия Харлана.

В то время я, однако, понятия не имел, что он когда-то уже издал под этим именем несколько рассказов.

«Импотенция из-за плохой кармы» (кстати, название предложил тоже Харлан) увидела свет в первом и — увы! — последнем номере «Популярной культуры». Издание получилось интересным, стимулирующим к продолжительному сотрудничеству, но Брэд Ланг не сумел раздобыть денег на дальнейшее издание. Так получилось, что в том же номере была напечатана статья Бэрри Мальзберга «Что случилось с научной фантастикой?». Он прочитал рассказ Берда и, разглядев в нем пародию на самого себя (он фигурировал там под именем Майкла Б. Хопсмаунта), обиделся. И это несмотря на то, что он пародирует всех и каждого. Я лично пародирую только тех, кого люблю. Так что Хопсмаунт был лишь моей данью таланту Мальзберга.

Спустя какое-то время Рой Торгенссон заказал мне рассказ. Я поведал ему о Берде, об «Импотенции из-за плохой кармы» и о крайне затруднительном положении «Популярной культуры». Рой сказал, что возьмет его, и я засел за переписку рассказа, включая туда купюры, касающиеся Хопсмаунта. Рассказ вышел снова, уже под названием «Последний экстаз Ника Адамса», в журнале «Хризалида-2».

Главная идея этого рассказа, его базисная концепция, пришла ко мне однажды во время обсуждения влияния на меня хороших или плохих отзывов на мою работу (я словно раздуваюсь от гордости, или же наоборот, сдуваюсь, в зависимости от того, что обо мне пишут). В рассказе эффект преувеличен, но, честно говоря, ненамного.

Читатели (правда, немногие) спрашивали меня, не является ли Ник Адамс из моего рассказа сыном хемингуэвского Ника Адамса. Но я до сих пор не могу ни отвергнуть это предположение, ни согласиться с ним.

Ник Адамс-младший, писатель-фантаст, и его жена опять затеяли старую свару.

— Если бы ты действительно меня любил, у тебя бы не было столько проблем с «ним»!

— У «него» есть множество названий, — ответил Ник, — и если бы у тебя не было грязных мыслей, то ты бы ими пользовалась. Кроме того, очень часто тебе на «него» не приходится жаловаться!

— Да уж — раз в месяц у меня к «нему» претензий нет!

Эшлар, высокая сухопарая экс-блондинка, до тридцати семи с половиной лет была красавицей. Теперь ей было пятьдесят. «Причем, сильно “за”, — подумал Ник. — И рядом с ней — я, которому за пятьдесят лишь чуть-чуть».

— Его активность идет по синусоиде, — сказал он вслух. — Если ты сделаешь график...

— Ах вот как! Теперь «он» зависит уже от погодных условий! Так что нам теперь, каждый раз, когда мы задумаем заняться любовью, справляться по барометру? Почему бы тебе не сделать график «его» подъемов и падений? Конечно, для этого нужно, чтобы «он» хоть раз поднялся!..

— Мне надо идти работать, — перебил ее Ник, — я уже несколько месяцев на пределе...

— Вот я и говорю, что на пределе! Только я имею в виду вовсе не твое бумагомарание. Ну хорошо, иди! Прячься за свою машинку! Лупи по своим клавишам, но ко мне больше не прикасайся!

Он встал и по супружеской привычке чмокнул ее в лоб — холодный и твердый, как надгробие, на котором морщины выгравировали: «Здесь похоронена Любовь. Покойся с миром». Она тихонько всхлипнула. Разведя руками, Ник стал подниматься по лестнице к себе в кабинет. К тому времени когда он достиг четвертого этажа, его пыхтение разнеслось далеко по дому и он вспотел так, словно прошел допрос у череды сменяющих друг друга следователей, обвинявших его в попытке изнасилования.

Пятьдесят лет — и уже одышка и ослабленная потенция. Хотя, в общем-то, его вины тут нет. Просто его жена — фригидная сука. Взять хотя бы для примера прошлую ночь: ее глаза уже начали закатываться, а лицо проступило сквозь грим, и он спросил ее: «Ты чувствуешь, как что-то движется, крольчонок?» (он всегда был без ума от Хемингуэя); и она ответила: «Что-то там еще только собирается двигаться. Встань. Мне нужно в туалет».

Когда-то подобные слова прозвучали бы для него сладостной музыкой искреннего доверия, в ритме которой вся вселенная

закружилась бы вокруг Полярной звезды... Сейчас же он почувствовал себя так, словно у него из груди выпали все волосы.

Он сел поплотнее к машинке, погладил клавиши — такие гладкие и прохладные — и стукнул пару раз, чтобы настроить пальцы и помочь разогреться вдохновению, которое еще разминалось где-то глубоко внутри, боксируя с тенью, прыгая через скакалочку, массируя конечности, потев в сауне; и с бьющимся сердцем готовилось выйти на ринг...

Но в этот момент зазвонил звонок, а он еще не успел сделать и шага из своего угла — споткнулся на первом же слове: «Это». «Это...» — что?

Если бы он только смог понять принцип своих сексуальных подъемов и падений! Может быть, идиотское саркастическое предложение этой суки строить графики не было таким уж глупым? Все может быть...

Звонок снова затрещал, и он подскочил, заерзал, размахивая руками, левое плечо поехало вверх — да что с ним?! Это же звонят во входную дверь, наверняка сообщая о прибытии почты. Ник же сам платит почтальону десятку в месяц за то, чтобы он звонил. Это, конечно, не положено, но кто узнает? Ник не пытался испытывать временем «горячие» чеки — остынут они в почтовом ящике или нет.

Он заспешил вниз, проносясь мимо Эшлар, которая никогда в жизни не стала бы отрывать свою задницу от стула ради того, чтобы принести мужу свежую почту. Кто угодно — только не она!

Так как было первое число, пришло десять счетов. Но кроме них — целая кипа писем от поклонников и письмо от его агента.

О! Агент прислал чек — аванс за новый роман! Две тысячи долларов. Минус десять процентов комиссионных агенту. Минус пятьдесят долларов международных почтовых расходов. Минус двадцать пять за междугородний звонок в прошлом месяце (звонил агент). Минус тысячу, которую он занял у агента. Минус пятьдесят долларов комиссионных за ссуду (тому же агенту). Минус десять долларов на бухгалтерию.

Оставалось только шестьсот шестьдесят пять долларов. Но и это было роскошеством после месячного воздержания. А прочитав письма своих поклонников, полные восторгов по поводу достоинств его книг, он почувствовал себя так, словно его подключили к городской газовой станции и накачивают, накачивают — до полного воспарения!

И тут внезапно Ник осознал, что понял принцип упадка той Римской империи, которую он таскает между ног. Но сейчас пускаться в разъяснения сути своего открытия жене Ник не собирался, опасаясь, что пока он ей все растолкует в теории,

демонстрировать на практике будет уже нечего. Он подхватил почту и штаны и со всех ног поспешил на кухню. Эшлар, склонившись над мойкой, опускала в нее тарелки.

Он задрал ей юбку, спустил трусики и сказал:

— Тарелки могут подождать, а «он» — нет!

И все могло быть хорошо и прекрасно и земля могла бы закрутиться быстрее, если бы Эшлар не застряла головой в проводах моечного аппарата.

— А ты ведь снова толстеешь, — заметила она. — Вон, брюхо отрастил. И побрился плохо — кое-где оставил щетину. Слушай, я, конечно, понимаю, что сейчас не самое лучшее время об этом говорить, но моя мамочка... В чем дело? Ты почему остановился?

— Если тебе так нужно объяснение, — Ник шмыгнул носом, — то пожалуйста: причина — в твоей глупости. Я спустил пары, как поезд, остановившийся не на той станции. Все. Я пошел к своей машинке. Женщины вечно найдут, чем тебя вывести из себя, а машинка — она машинка и есть: честная и заслуживающая всяческого доверия. Уж она-то не станет трепаться, когда занимаешься с ней любовью.

Двумя минутами позже, когда Эшлар с воплями колотила кулаками в дверь; литеры машинки сцепились насмерть и расцепить их не было никакой возможности.

Даже простейшему механизму и то нельзя довериться полностью! Нельзя полагаться вообще ни на кого. Все, что казалось таким светлым, чистым и хорошим, в нашей вселенной катится ко всем чертям. И пока ты вынужден это терпеть, есть одна защита: быть «мужчиной с *sopejos*». Или, правильно — *sojones**? А, неважно. Надо сказать себе: «Будь стойким!» и «Моя голова залита кровью, но я ее не склоню и не подниму лапки вверх!»

Это все, конечно, мило, но литеры машинки упорно не желали расцепляться, а у супруги еще не устали ни кулаки, ни голосовые связки.

Он встал и, выругавшись, распахнул дверь настежь. Эшлар, причитая, пала к нему на грудь.

— Прости! Прости! Прости! Что ж я за сука такая! Вся земля уже пришла в движение, ввергаясь сама в себя, а я додумалась тебя в этот момент подкалывать!

— Да, ты действительно сука, — согласился он. — Но я прощаю тебя, потому что люблю, и потому что ты тоже меня любишь, и потому что у нас бывают и хорошие моменты. Однако...

*Ячки; перен. «мужская сила» (исп.).

Но он не стал ей рассказывать о своем открытии принципа. Не время, милая. Сначала надо проверить теорию на практике.

Час спустя он, отдуваясь, предложил:

— Слушай, Эшлар, а почему бы нам не устроить себе отпуск? Давай съездим на Всемирную конвенцию фантастов в Лас-Вегасе. Развлечемся и между приемами и игрой в кости будем заниматься любовью. Там наше почти забытое чувство может снова ожить.

Или он сказал: «забытое почти чувство»? Чертовски сложно правильно расставить слова в фразах, подобных этой!

Впрочем, это неважно. Что важно, так это то, что Эшлар согласилась поехать на конвенцию, даже не сославшись на то, что ей там нечего будет надеть. Более того — его теория действовала! До определенной степени, конечно, но не по его же вине. Поклонники, клянча автографы, ходили за ним стадами, и он не услышал ни одного дурного слова в свой адрес. И, словно этого не хватало для опьянения (не говоря уже о стимуляции мужских гормонов), три самых известных в мире фантаста пригласили его на обед и в паузах между бурбоном и бифштексами выдали ему множество полновесных комплиментов.

Первым из них был Зек Вермут, доктор философии и самый богатый писатель-фантаст*. Даже то, что, когда все уже почти было съедено, он объявил, что каждый сегодня платит за себя, нисколько не испортило Нику настроения. А затем — победа из побед! — Робин Хайндбайнд** — старейшина писателей-фантастов пригласил его на семейный ужин. Ник был счастлив, как человек, получивший пожизненную контрамарку в кабинет массажа. Это было как в сказке — сидеть там в номере люкс (который был попросторнее всего дома Ника) и вкушать пищу в компании прославленного создателя ставших уже классическими «Моряк в земле сухой»***, «Не убоюсь и козла»**** и автобиографического романа «Для т...ханья времени всегда достаточно»***** с подзаголовком «Почему мне поклоняются все».

А затем — чудо из чудес! — сам великий старик — Престон де Тов*****, собственной персоной, пригласил Ника на трапезу для избранных. Де Тов был кумиром Адамса: это он в сороковые потряс мир научных фантастов своими убийными романами «Саями!»***** и «Мир Хрен-А»*****.

* Айзек Азимов.

** Р. Хайнлайн.

*** «Чужак в земле чужой».

**** «Не убоюсь я зла».

***** «Достаточно времени для любви».

***** Альфред ван Богт.

***** «Слэн!»

***** «Мир Нуль-А»

Однако в последующие тридцать лет де Тов почти ничего не писал: он был слишком занят изучением на практике МТП (мнемонической терапии перистальтики), созданной другим классиком — престарелым Б. М. Качаллом*. Это было учение о ментальном здоровье, психическая дисциплина, обещавшая тому, кто следует всем ее методам, поднять их IQ до 500 баллов, дать совершенную память, совершенное тело и в довесок — бессмертие.

Суть его сводилась к тому, чтобы держать свою кишечную систему на все сто процентов «в состоянии катарсиса» (то есть полностью очищенной). Достигнув этого, вы сможете вернуться в своей памяти обратно, пока не восстановите во всех мельчайших деталях — визуально, слухом, осязательно и обонятельно (особенно важно — обонятельно) — момент первого в жизни пищеварения. Это состояние называется ПП (первичный позыв).

Качалл заверял своих последователей, что обещанных результатов можно достичь за год интенсивных занятий МТП. Однако де Тов (как и большинство адептов новой терапии) три десятка лет спустя все еще сидел на слабительном, которое принимал в качестве физического стимулятора ментальных процессов. Но он не терял надежды, несмотря даже на то, что большую часть трапезы провел в ванной комнате.

Однако следовать религии В.О-Р.У., основанной Качаллом, как метафизическое развитие МТП, де Тов отказался (возможно потому, что никуда не выходил без подгузников, а посещающим службы В.О-Р.У было запрещено надевать хоть что-нибудь во время ритуалов). Суть религии сводилась к тому, что ее адепты через свое АЭ (анальное «эго») возвращались назад, к Первичному Позыву Вселенной, произошедшему во время Большого Взрыва. Если иницилируемый при этом выживал, ему выдавалось удостоверение, что он ОК (окончательно конченный) и дошел до точки Высшего Очистительно-Расслабительного Уровня. Считалось, что получившие ОК распространяют вокруг себя столь могущественную ауру, что не-избранным среди них делать нечего. Так что пускай даже не пытаются путаться под ногами!

Несмотря на то что в течение всей трапезы Ник сидел у открытого окна и его здорово просквозило, он был в экстазе. Ничего круче этого быть уже не могло! Но он ошибался. На следующий же день два англичанина Дж. С. Олдраб** и Вильям Раббойз*** пригласили его на вечеринку для авангардных

* Л. Рон Хаббард, основатель психологической системы «дианетика» и религии «сайентология».

** Брайан Олдис.

*** Уильям Берроуз.

писателей. Этой парочке повезло в том, что их признали критики большой литературы и даже отзывались о них настолько высоко, что их уже не удовлетворяло, когда их называли просто писателями-фантастами. Однако, когда Комитет Конвенции предложил им полностью оплатить их транспортные расходы, проживание в отеле и выпивку для гостей, они снизили до согласия прожить по меньшей мере три дня с пониженной категорией славы.

Олдраб был известен преимущественно по рассказам в которых антигерои, страдающие различными депрессиями, импотенцией, пассивностью и неприкаянностью, слонялись по пейзажам со следами былых катастроф, над которыми парили детали анатомии (обычно гениталии) различных знаменитостей. К тому же он явно завернулся на автокатастрофах, используя их в борще и в каше как символ прогнившей западной культуры (в особенности — Соединенных Штатов). Он сам посмеивался над своими сюжетами.

Как и его коллега, Раббойз был известен как уникальным содержанием, так и не менее уникальной техникой написания своих работ. Они в большинстве своем были созданы на основе его собственного опыта наркотических улетов и гомосексуальных встреч. Хотя он был довольно приятный в общении парень и не страдал снобизмом, как Олдраб, все же находились недоброжелатели, ворчавшие о том, что его дружба с молоденькими почитателями не является прямым продолжением курса его демократических склонностей.

Позже он был подвергнут зенитному огню критиков-феминисток, брызгавших слюной от порочной позиции, занятой им по отношению ко всему женскому полу, хоть он и ссыался на то, что это всего лишь литература. Их нельзя было не понять: даже пытаясь игнорировать его наклонности (он все же был очень известным писателем), они не могли сдержать свое праведное негодование, так как в своих произведениях он называл женщин не иначе, как «прорезями», «щелями», «волосатыми дырками» и просто — «п...дами».

Оригинальная техника Раббойза состояла в том, что он рвал рукопись на клочки, а затем наклеивал это все наобум на бумажные листы.

Ника не особенно волновала «чисто мужская литература», но он признавал, что фантазии Олдраба имеют больше смысла, чем бредятина Раббойза. Так кто бы с ним спорил? Но как бы то ни было, оказаться приглашенным к ним считалось в определенных кругах большой честью. Может, теперь серьезные критики обратят и на него внимание — хотя бы по ассоциации?

Нику объяснили, что, несмотря на его возраст и то, что он пишет в основном откровенную коммерцию, его пригласили как автора экспериментального романа о путешествиях во времени «Мужчина, поимевший себя»*, и добавили, что это великое творение: мрачное и невразумительное, но в то же время достаточно квазипоэтическое, чтобы удовлетворить самых утонченных эстетов.

Ник так и расплылся в улыбке. Вот только зачем он сказал им, что писал роман, накачиваясь мускателем и куря без передышки опиум?

Вечеринка вплоть до полуночи шла просто блестяще. Пока надравшемуся до поросячьего визга Олдрабу не стрельнуло прокатиться со своей подружкой на машине, взятой напрокат Раббойзом, и он не врезался на скорости 100 миль в час в фонарный столб. Наконец-то он стал участником настоящей автокатастрофы! (Позже свои впечатления он отразил высоким поэтическим слогом в новом романе «Крах-бах!»** о дьявольском пути западной культуры.)

Его подружке было не до его высоких переживаний: она билась в истерике. Раббойз, наоборот, веселился от души.

Результат: за то время, пока подружка набирала номер полиции, в дверях образовалась давка: гости с побледневшими вытянутыми лицами поспешно ретировались, причем Ник — одним из первых.

Эшлар искренне недоумевала, почему ее муж, бывший во время конвенции и несколько недель после в постоянно «приподнятом настроении», затем быстро снова регрессировал в состояние прежней полумпотенции.

— Чего это с тобой? — спросила она после очередной неудачной попытки. — Ты снова?!..

Тут она уронила пепел со своей сигареты на его лобковые волосы. Поэтому, прежде чем ответить, он потушил возникший мини-пожар и только затем грозно зарычал:

— Я тебе уже говорил! Ты постоянно меня обламываешь — и в прямом, и в переносном смысле! Критикуешь меня. Ты перебиваешь воздух моему «эго» и тем самым ослабляешь мою потенцию.

То же самое со мной происходит, когда я читаю плохие статьи о себе или ругательные письма от читателей. Это просто сбивает меня с ног. А вот когда поклонники, критики и другие авторы превозносят меня (что бывает не так уж часто), я раздуваюсь от гордости и взрываюсь от счастья. У меня нет ни малейшего

* Роман Д. Джеррольда «Мужчина, обнявший себя».

** «Крах!»

сомнения, что это так. Я установил научным методом, что я прибываю и убываю, как луна, прямо пропорционально в зависимости от того, сколько я получил похвал, а сколько оплеух. И их количество переходит в качество.

— Ты это всерьез?

— Я даже нарисовал график. И он как-то не похож на правильную синусоиду раскачивающегося маятника — это скорее расхромавшийся кактус!

— Так ты хочешь, чтобы я теперь говорила тебе только приятное и держала рот на замке всякий раз, когда ты пытаешься меня унасекомить? Носилась с тобой, как с золотым колоссом? Но ты же сам знаешь, какое ты золото: ноги у тебя из глины, причем вплоть до самой твоей лысой макушки!

— Вот-вот! Это-то я имел в виду.

Они яростно поспорили три часа, пока наконец Эшлар, заливаясь слезами, не пообещала перестать тыкать его носом в его ошибки и слабости. Мало того — с этой минуты она будет хвалить его без всякой меры!

Но она не смогла делать этого искренне, и потому это не сработало: ведь Ник знал, что, говоря ему о том, что он — потрясающий красавец, что он — великий писатель, что он — ось всей мировой научной фантастики, она искренне кривит душой.

К тому же положение еще больше ухудшилось после того, как его последнюю книгу оплевали все критики без исключения.

— Они все опустили палец*, и у меня тоже все опускается, — жаловался он.

Неделю спустя дела пошли лучше. Даже не просто лучше — замечательно хорошо! Он был счастлив, как Алладин после первой брачной ночи с невестой, которую ему подарила его волшебная лампа.

Издательство «Двудебил» неожиданно прислало гонорар за роман трехлетней давности и пообещало взять еще один, если Ник представит заявку на двух страницах. Потом Ник получил известие, что один из докторов философии, кандидатов наук Калифорнийского университета пишет диссертацию о его работах. Почта от поклонников на этой неделе была особенно обильной (причем ни один из них не высказывал пожеланий, чтобы он впредь писал на туалетной бумаге).

Какое значение имела теперь степень искренности Эшлар, когда незнакомые люди, не имевшие от этого никакой корысти, превозносили его, сравнивая с великим Килгором Траутом!

* Имеется в виду жест, применявшийся на гладиаторских боях для вынесения смертного приговора.

.. Он был настолько переполнен счастьем, что тут же предложил Эшлар устроить себе еще один отпуск на конвенции в Пекине, Иллинойс, находившемся всего в десяти милях от их родной Пеории. Она ответила, что поедет, хоть и терпеть не может двуногих пресмыкающихся, толпящихся вокруг него на конвенциях. Она проведет все время в барах в компании других писательских жен. С ними она сможет расслабиться и отдохнуть от базарного гвалта, который обычно устраивают писатели, стоит им только собраться до кучи. Жены писателей не увлекаются фантастикой и редко читают даже произведения мужей. Причем исключительно собственных мужей.

Ник не был суеверным, но когда он увидел программку конвенции, все же расценил ее как добрый знак свыше. На первой странице большими округлыми буквами было напечатано ее название, которое должно было звучать как «КОПЕЛ» (на сленге фанов — Ко(нвенция) Пе(кинская) Л(итераторов). Но там почему-то значилось: «КОБЕЛ».

Позже Ник признал, что истолковал предзнаменования неверно.

Сначала все шло настолько хорошо, насколько только можно было пожелать. Поклонники буквально лобызали ему ноги, и восторг во взглядах был очевиден. Некоторые даже платили за выпивку, вместо того чтобы, как обычно, оставлять его потеть наедине с непомерным счетом.

Эшлар тоже, казалось бы, должна была быть счастлива. Но вместо этого она принялась изводить его жалобами: мол, только из-за того что она хочет вести нормальную супружескую жизнь, ей, очевидно, всю эту жизнь придется протаскаться по уже осточертевшим конвенциям.

Тогда Ник сговорился с восемнадцатилетней почитательницей, обладающей гривой светлых волос, лицом эльфа, огромными глазами, в которых светилось поклонение, грудями, плывущими впереди нее, словно два воздушных шара, и ногами Марлен Дитрих. Звали ее Баркис, и она вся трепетала от желания, а он дурил от нетерпения. Наконец они уединились в ее комнате, и по секс-шкале Рихтера мощность достигла 8,6 баллов. Постепенно поднимаясь, она грозила уже перейти за критическую отметку в 9,6, когда дверь содрогнулась от грохота кулаков Эшлар и ее воплей с требованием немедленно открыть.

Позже он узнал, что одна из писательских жен засекла их с Баркис как раз в тот момент, когда они входили в комнату. Она тут же рысью помчалась разыскивать Эшлар по всему отелю, а та, в свою очередь, не теряя времени, по дороге

собрала в качестве свидетелей еще трех жен и одного коридорного мальчика.

Всю дорогу до Пеории она не переставала причитать. Ступив на порог родного дома, Эшлар быстро собрала вещи и тут же уехала на такси к мамочке. Однако там она оставалась недолго: в ярости она как-то забыла, что ее мамочка уже год как перекочевала в дом престарелых. Но это не выбило ее из колеи, и она поселилась в самом дорогом отеле, пересылая (через своего адвоката) мужу счета для оплаты.

Каждый день он получал от нее по длиннющему письму, и каждое из них было уничижительным. Выбрасывать их в мусорник, не читая, у него как-то не получалось: каждый раз он сгорал от любопытства — какие новые грехи она ему припишет и как обзовет. И все же после долгих раздумий он решился продать свой дом и переехать из Иллинойса в Нью-Джерси. Единственным, кто знал теперь его почтовый адрес, был его агент, и Ник попросил его, чтобы все письма от жены он возвращал обратно с пометкой «Не интересуется».

Но он знал, что однажды она до него доберется.

Прошло три месяца, в течение которых он не получил от нее ни одного письма. Дела шли настолько хорошо, насколько можно ожидать от нашего мира, в котором всем, в сущности, плевать, как они у тебя идут. Он нашел молоденькую поклонницу Мумах Смит, которая с жаром оставалась разделять с ним те ночи, когда он получал хорошие рецензии, восторженные письма и благожелательные отзывы критиков.

И вот однажды утром, когда он пил кофе, перед тем как усесться за машинку, зазвонил телефон. Звонила новая секретарша его агента, с которой он еще не был знаком. Ее хозяин сейчас в Европе (небось, в поте лица добывает свои десять процентов, подумал Ник), но у него есть хорошие новости: «Шарпер и Рэйк» — очень серьезное издательство, выпускающее книги в твердых обложках, только что купило заявку на его следующий роман «Санитарно ярко освещенная планета». И они собираются выписать ему огромный аванс. Более того, «Шарпер и Рэйк» полностью берут на себя рекламную кампанию.

Первое пришедшее в тот день письмо было от члена комитета по присуждению ежегодной премии «Пульсар»*, учрежденной ПФТ (Писатели-Фантасты Терры). Ник принадлежал к этому обществу, но до сих пор его членство выражалось в том, что он отчислял в его поддержку определенный процент своих доходов. И однако (смотрите-ка!) один из его романов, «Горячие

* «Небьюла» («Туманность») — литературная премия писателей-фантастов США.

ночки на Венере», был выставлен на соискание, и... И! — его монстр почувствовал себя, словно он — «Квин Мэри»*, на всех парах — только ветер свистит — стремящаяся в родную гавань! — он получил «Пульсар»!

«Нет никаких препятствий для того, чтобы Вы могли об этом рассказывать кому бы то ни было, — писал член комитета. — Приз будет вручен в течение двух месяцев с данного момента. Мы своевременно Вас известим, чтобы быть уверенными в Вашем присутствии на торжественном банкете ПФТ в Нью-Йорке».

Ник стал читать второе письмо. Оно было от Лекса Фиддлера — самого крупного в стране литературного критика. Фиддлер информировал, что он выдвинул роман Ника «Прощай, окружность»** на соискание самой почетной награды в Штатах — премии Майкла Оберста по литературе, учрежденной пятьдесят лет назад пивоваром из Сент-Луиса. Если Ник ее удостоится, то получит 50 000 долларов, станет знаменитостью, а его книга станет бестселлером. Но даже если он и не получит ее, контракт с Голливудом, можно считать, уже подписан.

Ник вскрыл третье письмо.

И, вопя от счастья, закрутился вокруг оси, сшибая концом своего колосса вазочки и пепельницы со столов и секретеров. Свой бешеный танец он прекратил, лишь когда у него окончательно закружилась голова. Оперевшись на стол и уставившись на свой все увеличивающийся конец, он взвыл:

— Мне срочно нужна Мумах! Только... Надеюсь, она не сомлеет, когда увидит ЭТО!

Но сомлел Ник, а не Мумах. При последней мощной попытке удовлетворить его «эго» кровь отхлынула от мозга, а сердце замерло. Вся кровь устремилась в ныне самую выдающуюся часть его тела, которая налилась так, словно Кинг-Конг сжимал ее своей лапой обезьяньего Гаргантюа.

Если бы Ник был еще способен соображать, возможно, он испугался бы, и это остановило бы процесс, заставив часть тела бробдингнежских размеров осесть, как непропеченную пищу. Но мозг его был обескровлен, и поэтому, не сумев принять никаких мер предосторожности, он стал валиться ничком. Лишь на секунду его падение замедлилось, встретив препятствие в виде его гигантского члена, уже упиравшегося в ковер; а затем, словно прыгун с шестом, он со всего размаху ахнулся побледневшим, осунувшимся лицом об пол.

* «Квин Мэри» — одно из самых быстроходных судов компании «Курнард» в 40—50 годы.

** Роман Э. Хемингуэя «Прощай, оружие».

Он лежал на боку, а его член, подстегиваемый подсознанием, все рос и рос, словно питон, выползающий из норы. Он раздувался, как воздушный шар, достигший более разреженных слоев атмосферы. Но и у воздушных шаров есть предел прочности — в какой-то критический момент, когда давление внутри становится выше, чем снаружи, оболочка с треском разрывается, и газ устремляется наружу.

Почтальонша как раз собиралась садиться в свой джип, когда услышала грохот. Она резко обернулась и закричала при виде летящих в нее стекол и дыма, валящего из разбитых окон.

Полиции было несложно определить эпицентр взрыва. Но, увидев, что послужило его причиной, они только обалдело pokrутили головами и вынесли решение, что это — загадка природы.

Полиция выяснила, что третье письмо, с адресом шведского посольства в Вашингтоне, было фальшивкой. Кто послал его, так и осталось невыясненным, и скорее всего не выяснится никогда. Но кому понадобилось сообщать Нику Адамсу-младшему, писателю фантастических романов, что он получил Нобелевскую премию по литературе?

Дальнейшее расследование показало, что письма от комитета «Пульсара» и от Лекса Фиддлера также были фальшивками. Равно как и звонок секретарши литературного агента, сообщившей ему об огромном авансе от «Шарпера и Рэйка». Все улики недвусмысленно указывали на миссис Адамс, но выяснилось, что она в Европе, где и остается по сию пору. Кроме того, полиция все равно не смогла бы вменить ей в вину ничего, кроме невинной шутки.

Сейчас Эшлар живет в Испании. Временами по ее лицу блуждает загадочная улыбка, причину которой затрудняются объяснить даже самые близкие ее друзья. Что она выражает — сожаление или триумф?

Писала ли она эти письма, отдавая себе отчет в том, что они сотворят с ее благоверным? Конечно же, она и представить себе не могла, как мощно они могут подействовать; она недооценила силу «эго» и переоценила возможности плоти.

А может, она хотела только подкачать его гордость, сделать его счастливым, потому что все еще продолжала его любить; и на свой лад постаралась по максимуму, чтобы дать ему возможность хоть один денек полетать от радости?

Хотелось бы думать, что так.

ВПЕРЕД! ВПЕРЕД!

Отче-искрец недвижно сидел в узкой щели между стеной и воплотителем. Двигались лишь глаза и указательный палец: палец постукивал по ключу, а глаза, серо-голубые, как небо его родной Ирландии, то и дело косились в распахнутую дверь толдильи — навесика на смотровой палубе. Видимость была паршивая.

Снаружи разгоняла сумерки висящая на поручнях лампа. Под ней стояли двое матросов. А за ними в темноте виднелись яркие огни и темные силуэты «Ниньи» и «Пинты» да ровный горизонт Атлантики, перечеркнувший кровавым и черным медный купол встающей Луны.

Угольный волосок лампочки над головой монаха освещал заплывшее жиром сосредоточенное лицо.

Светоносный эфир тем вечером шуршал и трещал, но вместе с шумом наушники доносили до искреца и обрывки непрерывного потока тире и точек, посылаемого оператором станции Лас-Пальмас на Больших Канарских островах.

— Зззиссс!.. Так херес у вас уже кончился... Хлоп!.. Плохо... (Треск)... Старая ты винная бочка... Ззззь... Да простит Господь твои грехи...

Уйма сплетен, новостей и прочего... (Свист!)... Лучше слушай и не перебивай, безбожник... Говорят, что турки собирают... хррр... армию для похода на Вену. Ходит слух, что летучие сосиски, которые не раз замечали над столицами христианского мира, происходят из Турции. Придумал их якобы отступник-роджериянец, обратившийся в магометанство... зззиссс... это все, я скажу. Никто из нас не пойдет на такое. Клевета,

распространяемая нашими врагами среди иерархов церкви. Но многие, однако, верят...

Во сколько Адмирал оценивает расстояние до Сипанго?

Громы Господни! Савонарола сегодня публично поносил папу, богатства Флоренции, литературу и скульптуру Греции, а также опыты учеников святого Роджера Бэкона... Ззз!.. Искренен, однако в незнании своем опасен... Предсказываю ему кончить дни на том костре, куда он отправляет нас...

...Хлоп!.. Сейчас помрешь... Два наемника-ирландца, Пэт и Майк, гуляют по улицам Гранады, а в это время прекрасная сарацинка с балкона выплескивает на них полный горшок... Хсссс!.. Пэт глянул вверх и... (Треск...) Хорошо, а? Брат Хуан прошлым вечером рассказал.

PV... PV... Ну, понял?... PV... PV... Да, знаю, что опасно такими шутками бросаться, но нас сегодня никто не подслушивает... Ззззз... То есть я так думаю....

Эфир гнулсЯ и скрипел от их болтовни. Наконец отче-искрец отстучал знаменующее конец разговора PV — *Rax Vobiscum**, выдернул шнур наушников из розетки и сдвинул их с ушей, как полагалось по уставу, на виски.

Он слез с толдильи, больно оцарапав брюхо о край доски, и подошел к поручням. Там стояли, негромко переговариваясь, де Сальседо и де Торрес. Висящая над ними лампа озаряла золотисторыжие волосы пажа и черную бородищу толмача. Розовые отблески бродили по гладко выбритым щекам и светло-алой рясе монаха-роджериянца. Откинутый капюшон служил вместилищем для блокнотов, перьев, чернильницы, гаечных ключей, отверток, книги шифров, логарифмической линейки и справочника по ангелике.

— Ну, шкурная твоя душа, — фамильярно обратился к нему юный де Сальседо, — какие вести из Лас-Пальмаса?

— Уже никаких. Слишком много помех. — Монах указал на катящуюся по окоему моря Луну и неожиданно взревел: — Ну что за зеница! Красна и прегромадна, как мой почтенный нос!

Моряки рассмеялись.

— Однако, отче, — заметил де Сальседо, — с течением ночи она будет становиться все меньше и блее. В то время как ваш отросток будет все больше и насыщенней цветом обратно пропорционально степени подъема...

Тут он, хихикнув, смолк, ибо монах внезапно опустил нос, подобно ныряющему дельфину, потом поднял его, словно упомянутый зверь, выпрыгивающий из волн, и снова углубился в

* Мир вам (лат.).

тяжелые струи их дыхания. Глазки его мерцали и, казалось, искрились наподобие воплощенного в его толдилье.

Несколько раз святой отец фыркал и принохивался, напоминая тем указанного дельфина, и, видимо, удовлетворившись учуянным, хитро подмигнул. Что именно он обнаружил своими опытами в дыхании моряков, святой отец, однако, не сообщил, а вместо того переменял тему беседы.

— Весьма забавная личность этот отче-искрец с Канар, — сказал он. — Развлекает меня самыми разнообразными философиями, равно истинными и ложными. Вот например, прежде чем нашу беседу прервало сие явление, — он махнул рукой в сторону кровавого глаза, взиравшего с небес, — мы обсуждали идею, высказанную Дисфагием Готемским. Он называл ее «параллельными потоками времени». По его словам выходит, что существуют иные миры во вселенных одновременных, но не сочетанных, ибо Господь, будучи Магистром Алхимии, иными словами, творцом всемогущим и пределов в творении, а равно и пространстве, лишенным, мог — а вероятно, и должен был — сотворить множественность континуумов, в коих истинным является любое вероятное событие.

— У? — хмыкнул де Сальседо.

— Именно так. Скажем, королева Изабелла могла отвергнуть планы Колумба, и он никогда не пытался бы добраться до Индии через Атлантику. И мы не стояли бы здесь, все дальше уходя в океан на наших трех скорлупках, между нами и Канарами не плыла бы цепь буюв-усилителей, а я с борта «Санта-Марии» не вел бы увлекательных разговоров в эфире с отче-искрецом из Лас-Пальмаса.

Или, допустим, Церковь преследовала бы Роджера Бэкона, вместо того чтобы поддерживать, и не возник бы орден, чьи изобретения так много совершили для обеспечения монополии Церкви в деле алхимии и ее духовного окормления в сем некогда языческом и дьявольском ремесле.

Де Торрес открыл было рот, но монах оборвал его величественным и властным жестом.

— Или — что еще более нелепо, однако наводит на глубокие раздумья, — представим себе миры, где действуют иные законы природы, как предположил этим вечером мой собрат. Одна мысль показалась мне особенно забавной. Как вы, конечно, не знаете, Анджело Анджелеи доказал, сбрасывая предметы с Падающей башни в Пизе, что тела разного веса падают с различной скоростью. Мой великолепный коллега с Канар пишет сатиру о вселенной, где Аристотель выставлен лжецом, а предметы падают с равной скоростью вне зависимости от веса.

Глупости, конечно, но они помогают коротать время и давать работу нашим эфирным ангелочкам.

— Э... мне не хотелось бы выведывать тайны вашего святого и загадочного ордена, — начал де Сальседо, — но ангелочки, которых воплощает ваша машина, меня завораживают. Не будет ли грешно, если я осмелюсь порасспросить о них?

Бычий рев монаха перешел в воркование голубки.

— Понятие греха относительно. Позвольте мне пояснить, юноши. Если бы вы скрыли бутылку, скажем, исключительно редкого на сем судне хереса, и не поделились бы с мучимым каждой благородным старцем, то был бы великий грех. Грех недосмотра. Но если бы вы дали иссушенному пустыней путнику, этой смиренной, богобоязненной душе, отягченной болезнями и дряхлостью, изрядный глоток сей целительной, возбуждающей, умиротворяющей и животворной жидкости, дочери виноградной лозы, — о, тогда всем сердцем я молился бы за вас в память о проявленной любви и всеобъемлющем милосердии. Столь доволен я буду, что, быть может, поведаю вам об устройстве воплотителя — не столько, чтобы причинить вам вред, но достаточно, чтобы вы прониклись уважением к великой мудрости и славе моего ордена.

Де Сальседо заговорщицки улыбнулся и подал монаху бутыл, которую прятал под курткой. Святой отец приложился к горлышку, и, пока бульканье вытекающего хереса становилось все громче, моряки понимающе переглянулись. Неудивительно, что столь одаренный, по слухам, в своей области алхимических ремесел священник оказался послан в несуразное путешествие к черту на рога. «Если выживет — отлично», — решила Церковь. А если нет — по крайней мере, не станет больше грешить.

Монах утер губы рукавом, громоподобно рыгнул и сказал:

— Грасиас, юноши. Благодарю вас от всего сердца, погребенного в жировых толщах. Благодарю от имени старого ирландца, иссушенного, как копыто верблюда, захлебывающегося пылью воздержания. Вы спасли мне жизнь.

— Благодаря лучше свой волшебный нос, — ответил де Сальседо. — А теперь, старая ты сутана, раз ты смазал свои шестеренки, не соизволишь ли рассказать о своей машине, сколько устав позволяет?

Рассказ отнял у отца-искреца четверть часа. Потом слушатели начали задавать дозволенные вопросы.

— ...И вещаешь на частоте тысяча восемьсот кх? — переспросил паж. — Что значит «кх»?

— «К» происходит от французского «кило» — искаженного греческого слова «тысяча», а «х» — от древнееврейского «херубим» — ангелочки. Само слово «ангел» — греческое «ангелос»;

то есть «вестник». Мы полагаем, что эфир забит этими ангелочками-херувимами. И когда мы, братья-искрецы, нажимаем на ключ нашего аппарата, мы воплощаем малую долю бесконечно-го множества вестников, готовых в любое мгновение прийти к нам на службу.

— Тысяча восемьсот кх значит, что в данный момент миллион и восемьсот тысяч херувимов мчатся в эфире, так что кончики крыльев одного касаются носа следующего. Крылья всех ангелов имеют равный размах, так что, очертив контур всего собрания, вы никак не смогли бы отличить одного херувима от другого. Такой поток вестников называется строем П.К.

— П.К.?

— Постоянной крыльности. Мой воплотитель — тоже постоянной крыльности.

— Голова кругом идет! — воскликнул молодой де Сальседо. — Что за откровение! Почти непостижимо. Только представить, что антенна воплотителя имеет ровно такую длину, что для уничтожения мечущихся по ней ангелов зла требуется равное и заранее известное число добрых херувимов. Совратительная катушка воплотителя сбивает всех злых ангелов на левую, сатанинскую сторону, и, когда ангелов ада скапливается столь много, что они не в силах более терпеть соседство подобных себе падших душ, они устремляются через бездну искрильника на правую, «добрую» пластину. Их бег, в свою очередь, привлекает внимание незримых вестников. А вы, отче-искрец, всего лишь управляя машиной, поднимая и опуская ключ, воплощаете ряды покорных гонцов, крылатых эфирных курьеров, связываясь с их помощью со своими братьями по ордену, где бы они ни были.

— Господи Боже! — воскликнул де Торрес.

То было не пустое суесловие, но возглас искреннего священного ужаса. Глаза толмача распахнулись. Он, видно, осознал, что за плечами каждого человека стоят стройными рядами и колоннами ангельские воинства. Черные и белые, они составляли шахматную доску пустого якобы пространства: черные — отринувшие, и белые — принявшие свет. Длань Господня поддерживает их в равновесии, и человек властвует над ними, как над рыбами морскими и птицами небесными.

Однако, узрев видение, способное многих сделать святыми, де Торрес спросил лишь:

— А ты мог бы сказать, сколько ангелов поместится на кончике иглы?

Очевидно было, что нимб не осенит голову толмача. Голову его прикроет разве что квадратная шапочка профессора, если ему суждено будет вернуться.

— Это и я знаю, — фыркнул де Сальседо. — С философской точки зрения, можешь засунуть туда столько, сколько хочешь. А с практической — столько, сколько влезет. И хватит. Меня интересуют факты, а не фантазии. Скажите, отец, как встающая Луна может помешать полету херувимов, посланных отцом-искрецом из Лас-Пальмаса?

— О Цезарь, да откуда я знаю? Разве я — сосуд вселенской мудрости? Увы! Я лишь смиренный и невежественный монах! Одно могу сказать вам — прошлой ночью, когда она кровавым пузырем встала из-за горизонта, мне пришлось остановить короткие и длинные колонны моих маленьких вестников. Станция на Канарах тоже прекратила передачу из-за помех. И сегодня — то же самое.

— Луна шлет нам вести? — переспросил де Торрес.

— Да, но этого кода я не знаю.

— Санта Мария!

— Быть может, на Луне есть люди, — предположил де Сальседо. — Они и посылают сигнал.

Отче-искрец презрительно высморкался. Ноздри его были огромны, а потому и презрение было отнюдь не мушкетного калибра. Артиллерия насмешки могла сокрушить любой бастион, кроме лишь убежденной души.

— Быть может, — негромко проговорил де Торрес, — если звезды — это окна в небесном своде, как я слыхивал, то ангелы высших чинов, быть может, воплощают... э... меньших? И делают это, когда восходит Луна, дабы мы поняли, что сие есть небесное знамение?

Он перекрестился и оглянулся.

— Не бойся, — успокоил его монах. — Инквизиторы не заглядывают тебе через плечо. Помни — я единственный духовник в сем походе. Кроме того, твои предположения не противоречат догме. Однако это неважно. Я не понимаю другого — как может передавать небесное тело? И почему сигнал идет на той же частоте, которой ограничен я? Почему...

— Я могу объяснить, — перебил его де Сальседо с юношеской дерзостью и нетерпеливостью. — Скажем, адмирал и роджериянцы ошиблись в отношении формы Земли. Скажем, земля не круглая, а плоская. Тогда горизонт существует не потому, что мы населяем поверхность шара, а потому, что земля немного выгнута, наподобие расплющенного полушария. А еще я сказал бы, что херувимы летят не с Луны, а с корабля вроде нашего, плывущего в бездне за краем земли.

— Что? — разом выдохнули его слушатели.

— А разве вы не слыхали, — поинтересовался де Сальседо, — что король португальский, отвергнув предложение Колумба, тай-

но отправил свою экспедицию? Откуда нам знать — быть может, это сигналы нашего предшественника, заплывшего за край мира, висящего теперь в пространстве и видимого ночью, поскольку он следует за Луной в ее движении вокруг Земли наподобие меньшего, а потому незримого спутника?

От смеха роджериянца проснулось немало матросов.

— Надо будет передать твою историю оператору в Лас-Пальмесе, пусть вставит в свой памфлет. Ты еще скажи, что сигналы посылают те огнедышащие сосиски, которые подчас видят в небесах легковерные миряне. Нет, дорогой де Сальседо, не смей меня. Даже древние греки знали, что Земля круглая. Этому учат во всех университетах Европы, а мы, роджериянцы, измерили ее окружность. Мы знаем, что Индия лежит за Атлантическим океаном, с такой же уверенностью, с какой математики доказали нам, что летательные машины тяжелее воздуха невозможны. Наши отцы-мозгокруты уверяют нас, что эти явления в небесах — лишь массовые видения либо фокусы турок или еретиков, стремящихся вызвать в народе панику.

Лунное же радио, согласен, не иллюзия. Что именно — не знаю. Но это не испанский или португальский корабль. Как вы объясните тогда его странный код? Даже выплыв из Лиссабона, этот корабль нес бы на борту оператора-роджериянца, притом, согласно нашим правилам, инородца, дабы не вмешиваться в политические дразги. Он не стал бы нарушать устав ордена, связываясь с Лиссабоном особым кодом. Мы, ученики святого Роджера, стоим выше мелких пограничных свар. Кроме того, воплотитель на судне недостаточно силен, чтобы его услышали в Европе, а значит, сигнал адресован нам.

— Как можем мы быть столь уверены? — возразил де Сальседо. — Пусть тебе неприятно слышать об этом, но священника можно подкупить. Или же мирянин мог вызнать ваши тайны и изобрести свой шифр. Думаю, этот португальский корабль связывается с другим, недалеко от нас.

Де Торрес вздрогнул и перекрестился.

— Быть может, то ангелы предупреждают нас о скорой гибели? Быть может...

— Быть может? Тогда почему они не пользуются нашим кодом? Ангелы знали бы его не хуже меня. Нет, никаких там «быть может». Наш орден не допускает их. Орден проводит опыт и открывает истину и не судит, прежде не узнав.

— Вряд ли нам дано узнать, — мрачно заметил де Сальседо. — Колумб обещал команде, что мы повернем назад, если суша не появится к завтрашнему вечеру. Иначе... — он чиркнул пальцем по горлу, — кхх!.. Еще один день, и мы двинемся

на восток, прочь от этой злобной кровавой Луны и ее непонятных вестей.

— То будет большая потеря для ордена и Церкви, — вздохнул монах. — Но оставим сие в руках Господа и обратим взоры наши лишь на данный им предмет исследований. — С каковым благочестивым заявлением отче-искрец поднял бутылку, дабы оценить уровень жидкости, и, определив научным методом наличие влаги, немедленно проверил ее качество и измерил количество, переместив в лучшую из реторт — собственное необъятное брюхо.

Потом, почмокав губами и напрочь игнорируя скорбные и разочарованные взгляды моряков, святой отец с энтузиазмом принялся описывать созданные недавно в генуэзском коллеже святого Ионы водяной винт и вертящий его движитель. Будь три испанских каравеллы оснащены такими устройствами, говорил монах, им не пришлось бы зависеть от ветра. Однако покамест отцы Церкви запрещали широкое использование сего устройства, опасаясь, что ядовитые дымы отравят воздух, а невероятные скорости, развиваемые с помощью мотора, будут непереносимы для человеческих тел. Затем отче-искрец углубился в детальное жизнеописание своего святого покровителя, избретателя первого воплощения и приемника херувимов, Иону Каркассонского, что принял мученическую смерть, схватившись за провод, который посчитал изолированным.

Моряки немедленно нашли причину удалиться. Монах был добрым малым, но агиография им прискучила. Хотелось поговорить о бабах...

Если бы на следующий день Колумб не уговорил бы команду проплыть на запад еще сутки, события пошли бы совсем по-иному.

На заре моряков весьма воодушевил вид кружащих над каравеллами огромных птиц. Суша была где-то поблизости; быть может, эти крылатые твари явились с берегов самого Сипанго, где дома крыты золотом.

Птицы спускались все ниже. При ближайшем рассмотрении они оказались не только велики, но и удивительно сложены. Тела их были уплощены наподобие тарелок, а несоразмерно огромные крылья имели в размахе добрых тридцать футов. Ног у них не было. Лишь немногие моряки оценили значение этого факта в полной мере: птицы жили в полете, не садясь ни на воду, ни на сушу.

Покуда моряки размышляли, до них донесся слабый звук, точно кто-то прокашлялся, но так далеко и почти неслышно, что каждому показалось, что это прочищает горло сосед.

Но порой минут спустя звук стал громче, сильнее — точно звенела струна лютни.

Все замерли, обернувшись на запад.

Даже тогда не поняли они, что звенела вдалеке та струна, что соединяет небо с землею, и нить эта натянута до предела, а дергают ее жестокие пальцы моря.

И только потом они увидели, что горизонт кончился.

А тогда было уже поздно.

Заря не блеснула молнией — она грянула громом. Хотя три каравеллы тут же развернулись и попытались галсами двинуться на восток, внезапно усилившееся течение сделало сопротивление бесполезным.

Втуне мечтал роджерианец о генуэзском винте и паровой машине, что могли бы помочь им противостоять ужасающей силе разъяренного моря. Некоторые матросы молились, некоторые бесновались; кто-то пытался убить адмирала, другие бросались за борт, третьи впадали в прострацию.

Только бесстрашный Колумб и отважный отче-искрец выполняли свой долг. Весь день толстопузый монах сидел, зажатый своим навесиком, выстукивая точки и тире своему собрату на Канарах. Остановился он, только когда встала Луна, подобно кровавому пузырю из глотки умирающего великана. Всю ночь монах внимательно слушал и работал не покладая рук, безбожно ругаясь, черкая в блокноте и сверяясь с книгой шифров.

Когда в реве и хаосе пришла заря, монах выскочил из толды, сжимая в руке клочок бумаги. Глаза его блуждали, губы шевелились, но никто не мог разобрать что ему удалось расшифровать код. Никто не слышал, как он кричал: «Это португальский! Португальский!»

Уши моряков не могли более воспринять слабый человеческий голос. Покашливание и звон струн были лишь прелюдией к концерту. Теперь пришло время увертюры. Как труба Гавриила, гремел океан, обрушиваясь в бездну.

ТОТЕМ И ТАБУ

— Джей, — сказала Китти Фелин своему жениху, — у тебя есть выбор: я или бутылка.

Джей* Мартин был совершенно убежден, что она говорит всерьез. Треугольное личико избороздили морщины, раскосые зеленые глаза мрачно полыхали.

Тем не менее Джей попытался запротестовать.

— Но, котик мой, я же не алкаш какой-нибудь. Так, питух-легковес, переходящий в среднюю весовую категорию.

Китти обнажила зубки; клыки у нее были непропорционально длинные.

— Категорию-шматерию, какая разница? Шесть порций, и ты в нокауте.

Невеста Джея отличалась не только красотой чистокровной сиамской кошки, но и скверным характером, присущим этой породе. Джей ответил, что ни минуты не поколеблется в выборе, отчего Китти улыбнулась, замурлыкала и довольно облизнула губы розовым язычком, прежде чем поцеловать Джея на прощание.

В бар «Зеленый змий» Джей впелся наподобие подраненной вороны. Лучшего места для мрачных раздумий о новообретенной трезвости он представить не мог. Только сухое мартини смягчит его гнев и скорбь.

Айвен Турсиопс** вошел минутой спустя. Он с головой ушел в огромную кружку пива, радостно поплескался в ней, фыркая и отплевываясь пеной и возгласами облегчения, и только тогда снизошел, наконец, до того, чтобы с подобающим сочувствием выслушать печальную повесть Джея.

Totem and Taboo

Copyright © 1954 by Philip Jose Farmer

* Jay — сойка (англ.).

** Tursiops truncatus — дельфин-афалина (лат.).

— Знаешь, твое стремление к спиртному просто неудержимо, — заметил он. — Тебе нужен хороший психиатр.

— Единственный, кого я знаю, — сам алкоголик.

— Ну не один же он на белом свете. Твоя проблема, парень, в том, что у тебя мало знакомых психов. Я их встречаю дюжинами, и каждый хвалит своего шамана, но в последнее время только и слышу об одном психиатре — таком ловком, что мне страшно к нему идти. Я не могу позволить себе лишиться моего невроза.

— Того, что не позволяет тебе выслушивать тещу?

— Именно. Вот адрес. Это в новом небоскребе Медицинских Искусств.

Доктор Капра* подергал себя за бородку.

— Да, — провозгласил он, — я принадлежу к новой школе в психиатрии. Мы сторонники антропологического подхода. Вы читали последний обзор нашей теории в «Еженедельнике пешехода»?

Джей кивнул. Доктор Капра удовлетворенно глянул на часы — приемная его была забита до отказа.

— Тогда основы вы знаете, тратить время на их повторение не стану. Вы у нас человек умный, колледж окончили. Администратор и менеджер?

— Да, доктор. Понимаете, Китти меня любит, но подавляет страшно. Она не может дать мне и минуты покоя. И...

— Неважно, мистер Мартин, — или можно просто Джей? Не обращайте внимания на действия вашей невесты. Заверяю вас, Фрейд и эдипов комплекс давно ушли в прошлое. Я вовсе не обязан выслушивать все ваши личные проблемы. Мы...

— Но она заставляет меня отказаться от всего, что я люблю. Ладно бы...

— Джей, все это абсолютно неважно. Ха! Хммм!

Психиатр присмотрелся к четырем фотографиям Джея, снятым под разными углами, и опять подергал себя за бородку.

— Превосходно. Никаких там пограничных случаев. Определенно птичий тип. — Не обращая ни малейшего внимания на сбивчивый рассказ Джея о злоключениях с Китти, он продолжил: — Посмотрите — сложение худощавое, угловатое, спина сутулая. Аист. Хохолок. Зимородок. Большие круглые глаза. Сова. Нос крючком. Ястреб. Улыбка широкая, дружелюбная, слегка ехидная. Пересмешник.

— Сэр! — возмутился Джей. — Я протестую...

* Сарга — коза (лат.).

— Ничуть не удивлен, юноша. Классический тип. Никаких проблем не предвидится. — Доктор Капра потер руки в профессиональном восторге и сунул Джею Мартину пузырек. — По одной таблетке каждые два часа до появления личного тотема.

— Чего-чего?

— Вы статью читали или нет? Вы, думаю, знаете, что примитивные общества разделяли племя на кланы, каждый из которых обладал своим тотемом, духом-покровителем в облике того или иного зверя. Мы, психиатры антропологической школы, выяснили, что дикари неосознанно наткнулись на великую истину. Каждый человек подсознательно является зверем: свиньей, медведем, лисом, сорокой и так далее. Присмотритесь к своим друзьям. Обратите внимание на их телосложение, лица, повадки, характеры. Все они основываются на неких зоологических прототипах.

Эти таблетки — плод нашего сотрудничества с невропатологами и биохимиками. Препарат перестраивает ваше подсознание, проецируя субъективный тотем в объективную реальность. Возможно, так и происходит, но поймать тотем нам до сих пор не довелось. Однако...

— Но, доктор, вы так и не выслушали, в чем моя проблема! Китти говорит...

Капра посмотрел на часы, встал, улыбнулся и вежливо, но настойчиво вытолкнул Джея из кабинета.

— Приходите через неделю в это же время. Я смогу уделить вам еще пять минут.

— Но, доктор, Китти говорит, что я слишком много пью!

Капра остановился и нахмурился. Пегая бородака задергалась.

— Я так и знал, что найдется подвох. Пока принимаете таблетки — не пейте спиртного. Можете вывести подсознание из равновесия.

— Но, но!..

— Мистер Мартин, не сейчас.

— Как прошло? — С этими словами Айвен Турсиопс вынырнул из пивных бездн.

— Только что сказал Китти. Ох и показала она коготки; хорошо еще, что не поцарапала. Говорит, чтобы я наплевал на эту ересь и что мне нужна только сила воли. Вот если бы я ее достаточно любил...

Айвен поманил официантку.

— Сухое мартини.

— Нет, увольте, — запротестовал Джей. — Мне доктор запретил. А Китти пригрозила глаза мне выцарапать, если я хоть глоток выпью. Как сговорились...

Официантка принесла мартини, и Джей отрешенно пригубил.

— Не обращай внимания, парень, — посоветовал Айвен. — Я тут встретился с Бобом Уайтом. Он говорит, что его знакомый психиатр применяет терапию передозировки. То, что тебе надо. Если твоя проблема в спиртном — не пробуй бросить. Попробуй *слишком* перепить.

Джей осушил стакан мартини одним глотком. Глаза его заблестели.

— Да? Расскажи-ка еще...

— Официантка!!!

На следующий день Джей Мартин проснулся к полудню. Поскольку была суббота и на работу идти не надо было, столь поздний час Джея нимало не волновал. Скорее его пугала сама перспектива просыпаться. Счет он потерял после седьмого мартини. Значит, голова будет, как «Гинденбург»* перед взрывом, тошнота достигнет мощи землетрясения, а...

Ничего подобного. Мысли Джея были ясны, как свежесваренный стакан, а нервы крепки, как рука бармена, получающего чаевые.

И только тогда Джей заметил примостившуюся на спинке кровати птицу.

Тукана.

Птица была здоровая — с небольшого грифа и такая же лысая. Под налитыми кровью слезящимися прищуренными глазками висели мешки. Несоразмерный алый клюв был раззявлен, открывая взору вздутый язык в лиловом пушку. Потрепанный черный хохолок вонял стоялым пивом, а дыхание — перегаром.

Если бы не превосходное самочувствие, Джей мог бы поклясться, что видит первые глюки надвигающейся белой горячки.

— Сгинь! — простонал он.

— Никогда! — каркнул тукан.

Джей не сразу сообразил, что птица вовсе не собиралась ему отвечать. Она просто повторила дословно страшную клятву, которую Джей давал всякий раз, просыпаясь с похмелья.

Джей встал и сварил себе кофе. Пока он пил, птица влетела в кухню и взгромодилась на спинку стула напротив.

— Никогда!**

* «Гинденбург» — один из крупнейших в мире дирижаблей, взрыв которого в 1932 году положил конец эре летательных аппаратов легче воздуха. (Здесь и далее примеч. пер.)

** «Никогда!» — фраза, которую произносит ворон из одноименного стихотворения Э. По.

Если бы не эта тварь, Джей даже позавтракал бы — а это не удавалось ему уже несколько лет.

Он вышел из дому. Птица вылетела, едва Джей открыл дверь. В дороге она норовила пристроиться у него на плече и каждые шестьдесят секунд в монотонной регулярностью метронома каркала: «Никогда!» Когда Джей сгонял ее, птица летела над его головой, тяжело хлопая крыльями, так что тень ее всегда падала на голову бедняги.

Идти к Китти Джей боялся, поэтому направился в кино. Птица влетела с ним, не взяв билета. Когда Джей сел, тукан устроился на его плече. Женщину на заднем ряду птица вроде бы не беспокоила, и Джей пришел к выводу, что у него действительно галлюцинации. Зрительный, слуховой, осязательный и обонятельный триумф таблеточек доктора Капры. Джей очень хотелось устроить психиатру сеанс физической терапии, но он боялся, что тот спросит, а не пил ли Джей во время приема пилюль. А Джей не просто пил — он проглотил их все в приступе смелости, когда Айвен предположил, что это всего лишь сахар.

Ровно в пять часов птица исчезла. Удивленный, но радостный, Джей тут же вышел из кинотеатра. Только у входа в «Зеленый змий» он вспомнил, что именно в это время всегда отступало его похмелье.

Подняв брови, он зашел в бар. Брови его взметнулись еще выше, когда он увидел поджидающую его на стойке птицу. Мужественно не обращая на нее внимания, Джей заказал martini.

Он поднес стакан к губам.

— Ик! — Тукан ргнул ему в лицо.

— Ыыы!!!

— В чем дело? — спросил бармен. — Подавились, или что?

— Запаха не чувствуете? — просипел Джей.

— Какого запаха?

— Н-никакого.

Птица вцепилась в стакан. Коготь опустилсЯ в коктейль, как грязный палец официанта. Лиловые в сумерках глазки укоряюще воззрились на Джейа.

— Хик! — заявил тукан.

— Хэк! — передразнил Джей.

— Хок! — протрубил тукан.

— Хрен! — простонал Джей.

Martini он оставил нетронутым. Как можно спорить с птицей, которая склоняет латинские местоимения*?

* Нис, хаес, нос (лат.) — этот, эта, это.

Китти была так рада увидеть Джея трезвым и без признаков похмелья, что едва не замурыкала. Глаза, только что подозрительно щурившиеся, распахнулись, открыв золотисто-зеленые глубины.

— О, Джей, ты действительно завязал! Ты меня любишь!

Поцелуй ее был более чем горяч, но Джей получил меньше удовольствия, чем мог бы. Китти это тоже заметила. Она напрыглась, впившись коготками в его руку.

— В чем дело? Ты не счастлив? Ты жалеешь о том, что для меня сделал?

— Принеси мне выпить.

— Что?! Ну нет!

— Да я не стану пить... наверное.

Почуввав нетерпение в его голосе, Китти сбегала к бару и налила виски. Глядя на нее, Джей задумался, почему это ему нельзя пить, а ей — можно. Сама Китти утверждала, что ей, в отличие от Джея, пить не обязательно. Неужели он окажется собакой на сене и откажет ей в маленьких радостях жизни только потому, что для него они — отвратительные пристрастия? Джей ощутил себя неблагодарной скотиной и сказал «нет», но обида почему-то осталась.

Китти сунула ему стакан. Тукан немедленно пропихнул свой неимоверный клюв между губами Джея и ободком.

— Ик!

Джей вернул стакан Китти.

— Видишь?

Китти не видела. Джей объяснил. Вместо того чтобы успокоиться, его невеста напряглась еще больше и опять прищурилась.

— Ты хочешь сказать, что эта птица *всегда* будет с нами? Даже после свадьбы? И мы не сможем побыть *одни*?

Мягкости в ее голосе не слышалось — только гневное и упрямое шипение.

Джей похлопал ее по плечу.

— Котик, это ведь не настоящая птица. Ты-то ее не видишь.

— Но я же знаю, что она тут! Я про нее не смогу забыть! У меня волосы дыбом от нее встают! Кроме того, я не хочу, чтобы ты бросил пить из-за какого-то мерзкого пернатого. Я хочу, чтобы ты сделал это по своей воле, чтобы ты стоял на своих ногах.

— Если бы не мой тотем, — парировал Джей, — я бы на ногах не стоял. Я бы валялся под столом в «Зеленом змие».

— Так я и думала! — ошетинулась Китти. — Где сейчас этот тукан?

Джей ткнул пальцем в направлении стола. Тукан дремал, взгромоздившись на керамический бюст Силена. Китти тщетно искала глазами птицу, потом разрыдалась:

— О, если бы я только его увидела! Если бы...

Внезапно она замолкла. Слезы мгновенно высохли.

— Так где принимает этот доктор Капра? — промурлыкала она вкрадчиво.

Через секунду Джей понял, что задумала его невеста. Китти равнодушно глянула на него и даже зевнула, всем видом показывая полное безразличие к тотемам и алкоголизму.

Джей быстро-быстро замигал, как перепуганная сова. Лицо Китти поплыло перед его взором, превращаясь во что-то иное. Новый облик продержался лишь мгновение, но Джей хватило и того. Невозможно ни с чем перепутать длинные встопорщенные усы, клыки в разверзнувшейся пасти и узкие щелки зрачков. И выражение на морде, говорящее «сейчас сожру канарейку»...

Джей пронесся мимо нее, подхватил тукана и ринулся к двери.

— Джей, вернись! — завизжала Китти.

— Никогда-а! — каркнула птица из-под мышки Джея.

Теперь Джей Мартин женат на маленькой женщине с большими карими глазами спаниэля, чью привязанность к нему друзья описывают как совершенно собачью. Живут они, как два неразлучника. Джей порвал с зеленым змием и добился успеха в делах — отчасти благодаря нескольким свинствам, отчасти — благодаря странному дару, позволяющему с нечеловеческой точностью определять характер собеседника с первого взгляда. В прошлом году он присоединился к «быкам», загнал «медведей»* в угол и прорвался в ряды акул большого бизнеса.

* «Быки» и «медведи» — брокеры, играющие на повышение и на понижение курса акций.

ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ

— Наш бюджет, — говорил биолог, показывая высокому гостю лабораторию и зверинец, — слишком ограничен, чтобы мы могли воссоздать все вымершие виды. Так что нам приходится возвращать к жизни только высших животных, самых красивых из тех, что были так безжалостно истреблены. Сейчас я пытаюсь исправить последствия той бессмысленной жестокости. Можно сказать, что, уничтожая очередной вид, человек плевал в лицо Господу.

Они заглянули за ров и силовые ограждения. Там радостно прыгала и гарцевала квагга, блестя на солнце гладкими боками. Там высовывал из воды забавные усы калан. Там горилла пряталась в зарослях бамбука. Ворковали странствующие голуби. Протоптал носорог, похожий на потрепанный крейсер. Жирафа посмотрела на них ласковыми глазами, продолжая пережевывать листья.

— А вот наш дронг. Не слишком красив и весьма туп. И совершенно беспомощен. Пойдемте, я покажу вам сам процесс восстановления.

Зайдя в гигантское здание, они прошли мимо выстроенных рядами огромных баков. Сквозь окошки и прозрачный гель внутри были ясно видны экспонаты.

— Вот эмбрионы африканских слонов, — объяснял биолог. — Мы собираемся вырастить большое стадо и выпустить их в новом государственном заказнике.

— Да вы просто светитесь от радости, — заметил высокий гость. — Вы очень любите зверей, не так ли?

— Я люблю все живые существа.

— Скажите, а откуда вы берете данные для восстановления? — осведомился гость.

— Большой частью из скелетов и чучел в древних музеях. Из книг и фильмов, найденных при раскопках, которые мы отреставрировали и перевели. О, видите те огромные яйца? В них растут птенцы моа. А вот тигрята, они почти готовы выбраться из баков. Когда они вырастут, то станут очень опасны, но мы поместим их в особом заповеднике.

Гость остановился перед последним баком.

— Только один? — спросил он. — А что это за зверь?

— Бедняжка, — грустно сказал биолог. — Ему будет так одиноко. Но я буду любить его, сколько смогу.

— Оно так опасно? — осведомился гость. — Больше, чем тигры, слоны и медведи?

— Чтобы вырастить этот, единственный экземпляр, — ответил биолог, и голос его слегка дрогнул, — мне потребовалось особое разрешение.

Гость отшатнулся от бака.

— Тогда это... Но как вы осмелились?!..

Биолог кивнул:

— Да. Это человек.

Содержание

От издательства	5
Странные родичи	
Отвори мне, сестра...	
<i>перевод В. Ватика</i>	9
<i>Мать, перевод И. Зивьевой</i>	66
<i>Дочь, перевод И. Зивьевой</i>	97
<i>Сын, перевод И. Зивьевой</i>	114
<i>Монолог, перевод А. Думеш</i>	134
Политропические парамифы	
На королевском жалованье,	
<i>перевод А. Дмитриева</i>	
Пролог: Оогенез птичьего города	141
На королевском жалованье	156
Политропические парамифы,	
<i>перевод О. Васант</i>	
Шумерская клятва	229
Не отмывайте караты	236
Вот только кто спортачит дерево?	240
Голос сонара в моем аппендиксе,	
<i>перевод А. Думеш</i>	253
Вулкан, <i>перевод А. Думеш</i>	263
Тотем и табу	
Человек на задворках, <i>перевод И. Зивьевой</i>	281
Они сверкали как алмазы, <i>перевод А. Думеш</i>	329
Первокурсник, <i>перевод О. Васант</i>	347
Последний экстаз Ника Адамса,	
<i>перевод О. Васант</i>	367
Вперед! Вперед!	
<i>перевод В. Серебрякова</i>	381
Тотем и табу, <i>перевод В. Серебрякова</i>	390
Царь зверей, <i>перевод В. Серебрякова</i>	397

МИРЫ ФИЛИПА ФАРМЕРА

Собрание фантастических произведений

Том пятнадцатый

Составитель *Д. Смушкович*

Редакторы *А. Александрова, М. Проворова*

Технический редактор *К. Козаченко*

Корректоры *Н. Дундина, И. Лаздина,*

А. Хиришфелде

Оператор компьютерной верстки *Н. Амосова*

Оформление шмуцтитлов: *В. Ковалев*

Иллюстрация на обложку: *И. Леонтьев*

ЛР № 062455 от 23.03.93.

Подписано в печать 25.03.97. Формат 84×108¹/₃₂.

Гарнитура Антиква. Печать высокая.

Усл. печ. л. 21,0. Тираж 10 000 экз.

Заказ № 444.

Издательство «Полярис»

Латвийская Республика, LV-1039, Рига, а/я 22

Отпечатано с готовых диапозитивов

на Тверском ордена Трудового Красного Знамени

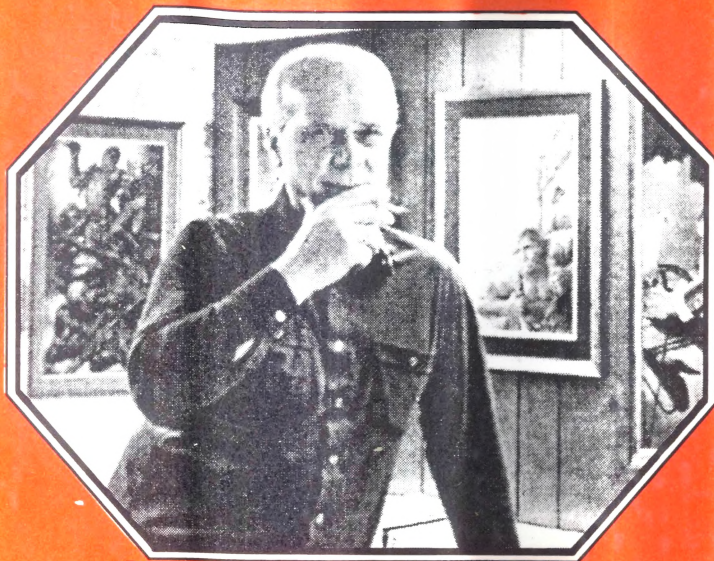
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР

Государственного Комитета Российской Федерации по печати

170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.







Рассказы

Марсианка учит землянина любви, которой он лишен — теряя ребенка... Художник Чибиабос Виннеган ищет свой путь в безумном мире изобильного и бездушного будущего... Инфантильный космонавт находит идеальную мать в жутком инопланетном существе... Таинственным образом прерываются радиопередачи с каравелл Колумба... Гибель и возрождение, секс и смерть неразрывно переплетаются в шокирующих, гротескных и мудрых рассказах Филипа Фармера, создавая удивительную мозаику искрометного воображения и блистательной фантазии.

